

Роман «Лотта в Веймаре» ко времени его написания был вершиной и синтезом двух рядов более ранних произведений Томаса Манна: его рассказов о художнике – «Тонио Крегер», «Тристан», «Смерть в Венеции» – и его статей и исследований, посвященных личности и творчеству великого Гете, – «Гете и Толстой», «Гете как представитель бюргерской эпохи» и, наконец, замечательного этюда о «Вертере». Этот этюд автор заключил призывом написать рассказ или даже роман, посвященный поздней встрече Гете с Шарлоттой Кестнер, урожденной Буфф, – прототипом Вертеровой Лотты, которую сорок один год тому назад полюбил безвестный тогда молодой поэт, состоявший (не слишком усердным) адвокатом-практикантом при «Имперской судебной палате» в Вецларе. Первым и единственным, кто откликнулся на этот призыв, был сам Томас Манн, год спустя написавший свою «Лотту в Веймаре».

Эта книга – не «последнее слово», сказанное писателем о роли художника в формировании человеческого общества. Таковым позднее стал его «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом». В этом едва ли не наиболее значительном произведении писателя преодолено его бывшее ограниченное понимание проблемы художника и искусства, высказано непреложное требование, чтобы художник ушел из эстетического затвора и, «побратавшись с народом», примкнул к его борьбе за справедливое переустройство общества, без чего, по убеждению Манна, немислимо дальнейшее существование искусства.

Эта революционизирующая роль искусства еще не открылась писателю в годы созревания замысла «Лотты в Веймаре», хотя его мысль двигалась в этом направлении уже и тогда. В аспекте всегда волновавшей Манна проблемы художник и общество повесть о встрече «веймарского олимпийца» с престарелой Лоттой – переходная книга, ступень, а не вершина его неустанных глубоких раздумий о назначении искусства.

С тем большим правом можно утверждать, что эта книга – лучшее, что удалось написать Т.Манну о Гете. Ценность романа-биографии как жанра, по нашему убеждению, в том, что он не столько анализирует и обобщает (на этом поприще исследователь может и превзойти художника-беллетриста), сколько воссоздает образ героя в его неповторимой жизненности. Проникновение в душевный мир гениального человека, способность сообщать всем его словам и поступкам печать неподдельной гениальности независимо от справедливости или несправедливости авторской концепции – вот что здесь главное. В этом-то главном, решающем пункте Томас Манн добился полной победы, сколько бы мы ни оспаривали его тогдашних взглядов на искусство и на самого Гете, – взглядов, которые лучше всего опроверг он сам своим позднейшим творчеством, и в первую очередь «Доктором Фаустусом».

«Лотта в Веймаре» писалась в годы добровольного изгнания Томаса Манна, когда на его родине бесчинствовала банда гитлеровцев. Это книга большого и гордого одиночества, озаренного глубокой верой в то, что Германия – не они, а он, Томас Манн, один из достойнейших ее сынов; в ней – заклинание прошлого без неразумного намеренья претворить его в настоящее и все же не без тайной надежды воздействовать им на современность. Это роман и вместе с тем книга раздумий. Ее манера и стиль напоминают облегченного Гете-прозаика, автора «Правды и поэзии» и философских глав

«Вильгельма Мейстера». Удивительнее всего, что некоторые страницы, некоторые отношения автора к изображаемому идут от Достоевского, но это в большей степени полемика, чем единомыслие с ним. Ибо истинный пафос книги, как, впрочем, и всего творчества Томаса Манна, в преодолении мира темных страстей и порывов, страшного подполья светом благого разума.

Мир неустройства, жестокой нелепицы непомерно громаден. Быть унесенным, смытым кипящей стихией неукротенной природы и социального зла так легко и так «естественно», что раскрепощать эти темные силы не только не дело искусства, но даже нечто исконно враждебное искусству. Искусство – преодоление бесформенного. Образ плотины из второй части «Фауста» – прототип не только грядущей, но и всякой культуры. Такова заветная мысль Томаса Манна. Искусство потому так и занимало воображение писателя, что он усматривал в нем закон и подобие, общие для всякого культурного созидания, для всего этического мира. Пример искусства – вот чем Томас Манн предлагает руководствоваться человеку.

В чем же существенный смысл этого «примера»?

Но прежде чем ответить на этот вопрос (в сложной, во многом и просто неверной его постановке автором «Лотты»), несколько замечаний о форме, о манере и стиле этой книги.

«Лотту в Веймаре» отличают прозрачность и чистота речи, то большое словесное искусство, которое кажется самой безыскусностью – так точно оно соразмерено с изображаемым. «Пафос точности» – пафос манновской прозы. «Любовь к вещи, к предмету, страсть к предмету, восхищение предметом является предпосылкой всякого формального совершенства, – писал некогда Томас Манн, откликаясь на письмо немецких педагогов, – ...и здесь прежде всего надо сломить один давний наш национальный предрассудок, согласно которому дельность изложения будто бы исключает красоту речи, – предрассудок, свидетельствующий об одинаковом непонимании и того и другого... Следует внушить ученикам: красота не щегольство и не довесок, а естественная прирожденная форма всякой мысли, которая достойна быть высказанной». Эти утверждения Манна тем более близки русскому читателю, что они перекликаются с пушкинским требованием от прозы «мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат...».

Томас Манн всегда стремился к такому сугубо «дельному» стилю. Впрочем, не только к «дельному», но и благородно сдержанному, прибранно-благопристойному – так властно здесь заявляет о себе скупая на жест и слово северонемецкая локальность. Эта сдержанность, эта размеренность речи не покидает Манна и тогда, когда он касается патологических явлений в человеческой психике, а последним в его творчестве уделено немалое место.

Несмотря на всю свою сдержанность и «трезвость», проза Манна проникнута истинной музыкальностью, и притом в такой степени, что заставляет усомниться в правомерности нашего «несмотря». Должно быть, музыкальность слова (и прежде всего – прозаического) связана не столько со звукописью, сколько с внутренней тональностью чувства, исключающей всякую случайность в словесном отборе. Музыка манновской прозы звучит немного салонно и старомодно-игриво, не без аристократической неприязни ко всему неотесанному – и все же вмещает в себя всю громаду человеческой души с ее радостями и томлениями, надеждой и отчаянием. «В этом что-то от Шопена», – заметил один выдающийся советский музыкант, и мы не станем оспаривать выдвинутой параллели.

Что отличает язык и стиль «Лотты в Веймаре» от языка и стиля большинства других произведений Томаса Манна? Последовательная и строгая объективность изложения. Между объектом повествования и рассказчиком в творчестве Манна обычно соблюдается известная дистанция. Последнее особенно относится к «Волшебной горе», где автор, не без некоторого кокетства, обыгрывает эту дистанцию, то учтиво извиняясь за запоздалое представление читателю того или иного действующего лица, то вдаваясь в рассуждения по поводу свершившегося, отменно остроумные и тонкие, всегда носящие отпечаток личной манеры рассказчика, – сочетание светской непринужденности с глубиной воззрений. В этой книге Манна почти выпала роль такого субъективного толкователя изображаемых событий. Голос рассказчика в «Лотте в Веймаре» не только не уводит в сторону, избегает лирических и философских отступлений (исключение составляет разве что замечательный абзац из шестой главы романа: «Время, время! И мы его дети...» – впрочем, звучащий почти как преображенный монолог растроганной героини), но чаще голос автора и вовсе смолкает, уступая слово действующим лицам – весьма искусным собеседникам, как и следовало ожидать от людей столь литературной эпохи, как эпоха Гете и Шиллера.

Такой объективизм изложения стоит в прямой связи с самим жанром, к которому принадлежит этот роман, – с историческим жанром. Автор «Волшебной горы» подобно рассказчику из романов Достоевского был вправе вести себя как зоркий свидетель свершающихся событий, в известной мере как их участник. Не то при изображении происшествий более отдаленной эпохи: здесь автор – прорицатель прошлого, не летописец современности.

То обстоятельство, что «Лотта в Веймаре» состоит на пять шестых из диалогов и монологов, заставляет хотя бы в нескольких словах коснуться вопроса о степени стилизации языка романа или хотя бы речи действующих лиц. Язык «Лотты в Веймаре» – не педантическая стилизация. Томас Манн не увлекся документальным обоснованием языка, кропотливой мозаикой, склеиванием речи из словечек и оборотов, побывавших под пером людей минувшего века. Это не значит, разумеется, что Томас Манн не пользуется иными сильными, самобытными оборотами «веймарской поры», без чего ему едва ли бы удалось столь мастерски уловить голос (а тем самым и дух) времени, сословия, поколения. И все же речь действующих лиц из «Лотты в Веймаре» чужда археологического крохоборчества. Как язык гетевской поры, этот язык воспринимается прежде всего в силу его литературности, его высокой приспособленности к прекрасному и точному выражению мыслей и чувств, абстрактного и житейского. Единственное действующее лицо в романе, язык которого не «литературен», – это центр веймарского литературного мира, сам Гете, его сбивчивый и напряженный разговор с самим собой, подпочвенный источник, вскормивший весь этот мир обиходного словесного совершенства и прежде всего собственное творчество поэта.

Сюжет романа прост, даже примитивен. К «Гостинице Слона» подъезжает почтовая карета, и из нее выходят три женщины, «в которых на первый взгляд – да, пожалуй, и на второй – не было ничего особенного. Их отношения друг к другу определялись без труда. Это были мать, дочь и служанка». Запись в книге для приезжающих открывает коридорному Магеру (замечательно удавшейся, трогательно комической фигуре), что эта старая дама не кто иная, как надворная советница Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф, – прообраз Лотты, героини «Страданий юного Вертера». Магер, как и многие другие люди из народа, особенно веймарцы, – восторженный читатель и почитатель Гете и его раннего романа. Весть о прибытии 63-летней бывшей возлюбленной 68-летнего поэта, виновника ее всемирной славы, быстро разносится по Веймару, крохотной столице карликового герцогства, и уже гостиницу осаждает огромная толпа любопытных, городских ремесленников и прочего простого люда. И вот уже первые посетители нарушают покой утомившейся с дороги путешественницы.

Курьезным образом это своеобразное паломничество открывает лицо достаточно случайное, но легко предположимое в местах, где обитают знаменитости (а Веймар был таким местом), – художница-ирландка мисс Гэзл, наскоро зарисовавшая черты Шарлотты в своем альбоме, украшенном портретами и автографами поверженного Наполеона и победителя Александра I и чуть ли не всех знаменитостей века. А затем один за другим посещают старую даму один из приближенных Гете, доктор Риммер, дочь писательницы Иоганны Шопенгауэр, говорливая Адель и, наконец, молодой Август фон Гете, посланец великого отца.

Со всеми этими действительными и невымышленными лицами Шарлотта вступает в превосходно вымышленные многочасовые беседы, и каждая беседа раскрывает одну из сторон многогранной и многозначимой личности Гете – поэта, человека, политика.

Всем этим содержательным встречам предпослан краткий монолог героини. В отличие от огромного, почти сплошь заполнившего седьмую главу монолога Гете, этот разговор с собой в большей степени пересказан автором, чем сказан самой героиней. И естественно: ведь это стабильный монолог ее души, выражение ее основного, пожизненного душевного состояния.

Сорок один год прошел с тех пор, как краткая, взволнованная записка известила Лотту и ее жениха о внезапном отъезде друга. Но по-старому Лотта под властью и обаянием незабвенной близости с единственным, тем более явственной, что эта близость не переставала жить на страницах бессмертного романа; некогда отвергшая ненадежную любовь гениального юноши, оболстительного «принца-бродяги», она тем прочнее сохранила женскую верность своим воспоминаниям – ценнейшему содержанию ее жизни.

«Но всего удивительнее было то, – поясняет автор внутренний смысл ее воспоминаний, – что вся отчетливость и ясность этих картин, вся исчерпывающая полнота деталей шла, так сказать, не из первых рук, что память, вначале не способная удержать все эти подробности, лишь позднее, часть за частью, слово за словом возродила их. Они были отысканы, реконструированы, заботливо восстановлены со всеми их «вокруг да около», до блеска отполированы и как бы залиты огнем светильников, зажженных перед ними во славу того значения, которое они нежданно-негаданно возымили в дальнейшем».

С поразительным мастерством Томас Манн показывает, как зыбка граница, отделяющая подлинные происшествия, действительную «сердечную эпопею» Шарлотты Кестнер от происшедшего в поэтическом мире, в прославившем ее романе. Смешение действительного и вымысла, правды и поэзии, и составляет зерно душевных переживаний – при всей реальности и здравости ее жизненных воззрений и ее твердой решимости никогда не свернуть с раз избранного пути порядка и меры ради романтической авантюры чувства.

«Нет, благомыслящая Лотхен никогда не пережила того страшно-прекрасного и преступно-сладостного чувства, как ее мать, – сравнивает старая Шарлотта свою судьбу с судьбой ее «строгой дочери», – в вечер, когда муж уехал по делам и пришел тот, хотя ему и запрещено было показываться раньше сочельника, когда она напрасно посылала за подругами и вынуждена была остаться с ним наедине, а он читал ей из Оссиана и прервал чтение о страданиях героя, изнемогши от собственной муки, когда в отчаянии он упал к ее ногам и прикладывал ее ладони к своим глазам, к своему измученному лбу, а она, движимая состраданием, пожимала его руки, и их пылающие щеки соприкоснулись, и мир, казалось, исчез в буре неистовых поцелуев, которыми его рот внезапно опалил ее слабо сопротивляющиеся губы...

Тут ей пришло в голову, что и она этого не пережила. Это была та высокая действительность, и сейчас, под платочком, она смешала ее с малой, в которой все протекало куда менее бурно».

Мало кто из современных писателей Запада умеет с таким увлекательным мастерством изображать, как сознание и действительность начинают становиться причудливо-фантастическими, ирреальными в своей реальности. Именно эта тонкая психологическая трактовка душевного смятения побудили западную критику называть Манна «романтическим реалистом», нельзя сказать, чтобы слишком удачно.

Выше мы сказали, что в беседах Лотты с Римером, Аделью и Августом с разных сторон и под разными углами зрения рассматривается неприступно сложный образ Гете. Но здесь следует сразу оговорить всю тщету этих усилий, несмотря на незаурядную глубину понимания, высказанную Римером, на острую женскую наблюдательность Адели, на кровную связь Августа с великим человеком.

Самая «философическая» из встреч, бесспорно, встреча с Римером. Большой пытливый ум, обостренное ощущение искусства, даже болезненная ранимость самолюбия делают его призванным толкователем Гете-художника и Гете-человека, тем самым и толкователем сравнительных человеческих масштабов. Именно в уста Римера влагает Томас Манн такие блестящие характеристики, как раскрытие природы гетевской прозы, которое может с честью выдержать сравнение со знаменитой характеристикой Шекспира из «Вильгельма Мейстера». Римеру же принадлежит и толкование душевной основы Гете (и тем самым всякого великого художника). Мы не знаем, насколько Томас Манн согласен с этим его толкованием, более того, мы убеждены, что видеть полную правду в словах Римера автор не может уже потому, что на несостоятельности всех попыток современников осмыслить «феномен Гете» он, видимо, как раз и настаивает. Но иное из сказанного Римером, надо думать, автором все же одобрено, и притом многое такое, с чем никак нельзя согласиться.

Содержание эпизода с Римером, впрочем, отнюдь не сводится к тем умным вещам, которые он говорит своей собеседнице. Ример – один из раздавленных, из тех, кто испытал на себе подземные толчки, которыми потрясает мир этот гигантский человек, внешне сдержанный, внутренне неукротимый. Вблизи от Гете он узнал наивысшие радости, его ласку и безотчетную симпатию, но и его холод, полный уход в себя, равнодушие к окружающим.

Пусть Ример за долгие годы совместной жизни убедился в глубокой неслучайности этих противоречивых черт, но смысл отобщенности Гете так и остался для него неясным. И отсюда смятение, надрыв и эта напряженно ищущая речь, спотыкающаяся о собственные обмолвки и торопливые самоисправления.

О той же опасной мощи, которую, сама того не чая, обрушивает на близких гигантская личность Гете, по сути, говорит и Адель Шопенгауэр, поверяя Шарлотте историю любви молодого Августа Гете к ее подруге Оттилии фон Погвиш.

Вся эта любовная история овеяна трагической атмосферой. Но прежде всего, любовь ли это? Ведь Оттилия любит в Августе лишь «сына Гете» – пусть до конца это ею и не осознано. Да и Август любит Оттилию не по безотчетному наитию сердца, а как девушку, предназначенную ему отцом, который охотно видел бы ее своей невесткой. В любви Августа много от не лишённой тщеславия подражательности. И эта «любовь» двух молодых людей дала трещину еще до брака, до помолвки даже. Чувствами Оттилии, страстной прусской патриотки и ненавистницы Наполеона, завладел юный Гейнке,

прусская егеря-доброволец из студентов-разночинцев, ринувшихся в бой «за освобождение отечества от французского ига». А Гете, как известно, далеко не сочувствовал этой борьбе и запретил принять в ней участие Августу, который, в подражание отцу, впрочем, и сам не хотел «воевать против величайшего монарха Европы». Такая солидарность с отцом разобщила сына с молодым поколением, с его сверстниками. Август видел, что его презирают, более того, подозревают в трусости. Не остались для него скрытыми и чувства Оттилии к студенту-егерю. И все же под напором все той же опасной мощи – своенравной воли его отца – их брак уже неотвратим. С машинальным послушанием Август и Оттилия разыгрывают некогда отвергнутый «счастливый исход» любви Гете – то ли к Шарлотте Буфф, то ли к Лили Шенеманн.

Рассказ Адели превосходно воссоздает картину веймарского общества, общественных и политических настроений, атмосферу эпохи «освободительных войн» с их героизмом, подлинным и фальшивым. Правда, эта картина оживает в интеллектуальном щебете светской барышни, а потому, естественно, заключена в достаточно узкие рамки.

Встреча Лотты с Августом Гете, бесспорно, является одним из лучших эпизодов книги. Трогательное смятение героини – рядом с вызывающим жалость образом этого надломленного жизнью юноши, нелепого при всей его не по возрасту чинной манере говорить и держаться, в котором так много от отца и так мало от «счастливой случайности».

Шарлотта Кестнер, казалось бы, неровня всем этим своим собеседникам. Где ей угнаться за ученостью Римера, за светским лоском Адели, даже за Августом, выросшим в отцовском доме, в общении с его друзьями. И все же Лотта с честью выходит из всех напряженных бесед о «самом важном» – так легко и непринужденно она умеет входить в чужой душевный мир и противопоставлять ему свой собственный. Здесь ей приходит на помощь ее наивная восприимчивость, о которой Томас Манн очень тонко дает понять читателю тем, что заставляет ее с милой женской ловкостью подхватывать только что оброненные обороты речи и мысли, чтобы тут же воспользоваться ими в беседе со следующим посетителем. Но в основном ее ориентирует при всевозможных обстоятельствах и встречах ее собственная честно прожитая жизнь, жизнь верной жены и многодетной матери.

Так, сквозь лабиринт бесконечных диалогов, вращающихся вокруг образа Гете, Томас Манн подводит нас к лицезрению самого Гете, который впервые предстает перед нами в седьмой главе романа. И в этом что-то от приближения к Елене сквозь предрассветный мрак «Классической Вальпургиевой ночи» (из второй части «Фауста»), сквозь мир преодолевающего себя несовершенства к высшей точке совершенной человечности.

Со смелостью большого художника Томас Манн выводит Гете не в случайном, так сказать, «характерном», эпизоде, а дерзает заговорить голосом Гете, воскрешает поток его сознания:

«Ах нет, не удержишь! Светлое видение блекнет, растекается быстро, как по мановению капризного демона, тебя одарившего и тут же отнявшего свой дар,

– и из сонной глубины всплываю я. Было так чудесно! А что теперь? Где ты очнулся? В Иене, в Берке, в Теннштедте? Нет, это веймарское одеяло, шелковое, знакомые обои, сонетка. Как? В полной юношеской силе? Молодец, старина! – «Так не страшись тщеты, о старец смелый!» Да и не мудрено! Такие дивные формы! Как эластично вжалась грудь богини в плечо красавца охотника, ее подбородок льнет к его шее и к раскрасневшимся от сна ланитам, амброзические пальчики стискивают запястье его могучей руки, которой он вот-вот смело обнимет ее... а там, в стороне, амурчик, сердясь и торжествуя, с кликами: «Ого!

Остерегись!» – уже вскинул свой лук; справа же умными глазами смотрят быстроногие охотничьи собаки».

Этим пересказом прекрасного сновидения открывается обширный монолог Гете, в котором поэт перескакивает с одного значительного предмета на другой, затрагивает самые различные вещи: и свою работу над «Фаустом», и учение о цвете, и злободневные политические вопросы; еще и еще раз он дает себе отчет в своей собственной сути, набрасывает планы будущих работ – и тут же всплывают заботы о доме, о сыне с той непоследовательностью, которая свойственна разговору с самим собой, беглому обзору того, что надо сделать, что осталось додумать.

Еще и еще раз он чувствует свой разлад с окружающим. Ему претят либеральные разглагольствования журнала «Изида» – значит, он консерватор? Должно быть, так. Но тогда почему ему столь противен его новый «единомышленник» Джон, который хочет служить в прусской цензуре и просит у него рекомендации? Он не хочет, чтобы «все обо всем судили», – значит, он за подавление народа? Но тогда почему он чтит народ только на парижских баррикадах? Ведь именно это имеет он в виду, говоря о нем: «Драться должен народ, тогда он достоин уважения, рассуждать ему не к лицу! Записать и спрятать. Вообще все прятать». «Что может быть веселее, чем предавать своих «единомышленников»? Есть ли удовольствие более каверзное, чем ускользать от них, не даваться им в руки, оставлять их в дураках, – есть ли что-нибудь смешнее, чем видеть их разинутые рты, когда ты одерживаешь верх над собой и завоевываешь свободу?» Это разлад, и далеко идущий; и только строгая самодисциплина, только отречение, только ненарушимый порядок, призывающий к труду и к мысли, может быть противопоставлен этой разрушительной силе.

Такой единый поток сознания несколько раз прерывается краткими разговорами с камердинером и тем же Джоном; и житейский, «дневной» голос Гете начинает звучать рядом с тем, внутренним, неподконтрольным. Последним вторгается в этот мир одиноких раздумий Август с вестью о приезде Шарлотты Кестнер (хронологически седьмая глава предшествует шестой). Приезд подруги молодости и произведенный им переполох не слишком по душе престарелому поэту. «Прошлое вступило с глупостью в заговор против меня, чтобы внести в мою жизнь вздор и беспорядок! Неужели старушка не могла поступиться своей затеей и избавить меня от лишних толков?» Надо встречу сделать по возможности официальной, не наедине, а в кругу друзей и домочадцев.

Эта официальная встреча, прием в доме Гете в честь Шарлотты Кестнер, ее дочери и ее веймарских родственников, изображена в следующей главе романа. Здесь перед нами тот Гете, о котором некогда сказал Эккерман: «Бывали дни, когда казалось, будто от него веет ледяным холодом, будто пронзительный ветер косит заиндевевший луг, оснеженные поля».

Его душевный холод скрыт под маской любезного хозяина, отнюдь не расположенного возобновить былую дружескую интимность. Гете, казалось, даже не замечает тщательно обдуманного наряда своей гостьи – точную копию «платья Лотты» с недостающим бантом, ибо ведь этот бант был некогда подарен Гете ее добрым Кестнером. Хозяин шутит, рассказывает интересные истории, но Шарлотта в письме к сыну (это подлинное письмо) позднее даст такой отзыв о состоявшейся встрече: «Я вновь познакомилась со старым человеком, который, не зная, что это Гете, да даже и так не произвел на меня приятного впечатления».

Вторая встреча, примирившая обоих стариков, состоялась позднее, в карете Гете (или только вообразилась героине романа?), после великолепно прокомментированного спектакля в Веймарском театре. Лотта не ждала ее. Она вдруг заметила, что не одна в

темной каретной кабинке: «Гете сидел рядом с ней».

Возникший здесь диалог превосходен и незабываем: запальчив и колок вначале и строг и величествен к концу. В словах, сказанных Шарлоттой, звучит старая, непоблекшая любовь, старая и обновленная обида. И когда она говорит ему о кровавых жертвах, которыми устлан его светлый путь, о разрушенных им людских судьбах, Гете, в оправдание и утешение, указывает на жертвенность всей своей жизни, на то, что он сжигает себя всего без остатка в своей работе, что вся его жизнь – ряд мучительных отречений и если он все же терпит ее, то только потому, что обладает даром «поведать, как он страждет».

Проникновенные, идущие от сердца слова поэта приводят к примирению его и Шарлотты. Она проникается трагическим величием его жизни. Его жизнь, жизнь большого художника, теперь осмыслена и осознана ею как ответ на все то, что ей казалось неприемлемым, жестоким и несправедливым. Карета остановилась у подъезда гостиницы. «Мир твоей старости!» – еще достигло слуха растроганной женщины.

2

Пример искусства! Он смягчил и утишил душевную смуту и возмущение Шарлотты. Тем самым мы возвращаемся к вопросу: в чем же существенный смысл этого примера?

Искусство – таков смысл утверждения Томаса Манна – досрочно приближает человека к гармонической целостности или (говоря словами Манна) к сознанию того, «что познание, мышление, философия являются не только порождением мозга, а всего человека с сердцем и чувствами, телом и душой...». Такая гармоническая целостность достигается искусством, художником в беспрестанной борьбе с действительностью, с социальным миром – поскольку там этой гармонии нет. Отсюда трагичность искусства, судьбы художника, его уход в себя, его отобщенность и глубокое одиночество.

Это утверждение Манна, несомненно, содержит в себе большую долю истины, которая многое уясняет в поведении художника, живущего в условиях капиталистического мира, и в частности в поведении Гете. Неверным нам кажется не само это утверждение, а привходящие мотивировки и выводы.

Итак, прежде всего – примером кому должно служить искусство? Ну, разумеется, людям, человечеству, – ответил бы Томас Манн. Но если так, то чему именно научает нас искусство? Быть целостным в условиях буржуазного общества, где человеческая жизнь отупляется до степени материальной силы? Но коль скоро речь идет не о революционной борьбе с существующим социальным злом, – это значит призывать к «досрочной» гармонии, а она (и то как исключение!) мыслима разве что в искусстве, в ее прекрасных порождениях, которые тоже, по сути, являются скорее залогом искомой гармонии, ее предвосхищением, чем самой гармонией.

Гармония искусства, как мы видели, связывается Томасом Манном с понятием «досрочности». Оно, искусство, «сопровождает человека на его многотрудном пути к самому себе, было вечно у цели», но этот путь к самому себе, т.е. к искомой гармонии, к преодолению «интеллектуальной скудости и обоготворенного инстинкта», еще не пройден человеком и человечеством. Быть может, искусство и может вооружить нас более отчетливо ясным представлением о цельном человеке (гениальные художники прошлого, как тот же Гете, как Леонардо, как Пушкин, в известной мере являлись прообразами новой породы цельных людей), но искусство само должно знать, как



провести человечество «по пути к самому себе», или, говоря словами основоположников марксизма, как добиться «возвращения человека к самому себе, как человеку общественному, т.е. человеческому» (Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Госполитиздат, 1957, с. 588).

Это знание искусство должно извлечь не из анализа собственных законов, а из действительности, из социального мира, который противится представленному в искусстве гармоническому началу. Иными словами, искусство должно проникнуться революционным сознанием, если хочет не только манить, но и вести человечество по пути к самому себе, к «человеческому в человеке». Только с преодолением гнета общественных противоречий, разрушающих целостность личности, калечащих человека и человечество, может возникнуть новое племя цельных людей, завершивших путь к самим себе.

Правда, рядом с Гете Томас Манн поставил другого человека, который по-своему достиг и цельности и подлинной человечности. Это Лотта, отрекшаяся от рискованной сердечной авантюры, прошедшая свой честный жизненный путь, примирившаяся с жизнью и со старой обидой. Видимо, Томас Манн, перефразируя Гете, хочет сказать: как художник должен творить изнутри, так человек должен жить изнутри, приводя свою жизнь в согласие со своими задатками, не только с разумом, «а и с сердцем и чувствами, телом и душой».

Но этому-то и препятствует действительность, социальный мир, расщепляющий и сознание и чувства. Когда Томас Манн в этюде, посвященном философии Шопенгауэра, обзывает «филистерством» учение Гегеля о государстве как об «абсолютном, завершенном этическом организме», он, по сути, говорит о большем, чем только об этом учении, а именно о неразрешимости конфликтов людского сознания социальным преобразованием человеческого общества. Эти конфликты, как полагает Манн, могут быть разрешены только «изнутри», каждым в отдельности, и только в итоге – всем человечеством. Мысль не новая и уже побывавшая в употреблении у Томаса Манна! Недаром в свое время он с таким сочувствием цитировал в своих «Размышлениях аполитичного» «Дневник писателя» Достоевского: «...если б только Коробочка стала и могла стать настоящей, совершенной христианкой, то крепостного права в ее поместье уже не существовало бы вовсе, так что и хлопотать бы не о чем было, несмотря на то, что все крепостные акты и купчие оставались бы у ней по-прежнему в сундуке... Она им «мать», настоящая уже мать, и «мать» тотчас же бы упразднила прежнюю «барыню»».

Если Томас Манн полагает, что это гетевское решение проблемы, то он глубоко ошибается. Гете был и сам явлением достаточно противоречивым, в котором Энгельс с полным основанием усматривал «насмешливого гения» и «трусливого филистера». Но основное в Гете то, что он, несмотря на все противоречия, смог быть автором «Фауста», всемирно-исторической драмы, в которой глубокий внутренний конфликт героя находит свое разрешение как раз в преодолении социального конфликта – в преобразении мира свободным, разумным трудом свободного человечества.

Этого Гете, автора «Фауста», все же нет на страницах этой книги Манна. А ведь именно это высшее прозрение грядущей человеческой истории заставило Гете ощущать как жалкую пародию на освобождение «освободительную войну» против Наполеона, которая вскоре повлекла за собой торжество реакции в Германии. «Измена единомышленникам» – что она означает, если не продвижение вперед, за пределы относительной правды, которую в иных случаях он же, Гете, воздвиг и он же перерос?

Но раз в книге нет этого Гете, то что же возвышает «Лотту в Веймаре» над обычными буржуазными романами-биографиями? Только ли писательское мастерство, что, конечно,

тоже не мало?

Нет, достоинство «Лотты в Веймаре» все же в мощном торжестве реализма, художественной правды. Гете, воскрешенный Томасом Манном, не весь Гете, но и сам Гете не всегда был всем Гете. Идея «Фауста» – конечный итог всей жизни и всего творчества великого поэта. Но она не всегда владела Гете в равной мере; она была высшей точкой его мыслей и чувств, не всем массивом его духовного мира, над которым она господствовала. Голос Гете, уловленный Томасом Манном, бесспорно голос Гете; но это не последний его самоотчет. А посему воспитательное значение книги заметно уступает ее чисто художественному значению, ибо подлинным воспитателем человечества может быть только тот писатель, кто умеет сам разобраться в сложных противоречиях своего века, а тем самым и в конфликтах прошлых веков.

Томас Манн это сознавал и сам. И уже в этом коренным образом отличался от своих собратьев по перу буржуазного толка. Но его путь познания был труден, более того – сугубо затруднен противодействующей критикой, шедшей из буржуазного лагеря.

Неотступная борьба писателя за более отчетливое понимание исторических перспектив, за более точную объективно верную оценку современности не встречала какого-либо сочувствия. Она решительно объявлялась «преобладанием в его творчестве, по сути, антихудожественной рефлексии». Так отзывалась о нем даже «благожелательная» критика, и то же говорил о нем Гергарт Гауптман, признанный «король поэтов» империи Вильгельма II, пытавшийся сохранить это звание и в нацистской «третьей империи».

Декаденты объявляли Манна «отсталым» за его приверженность к классическому немецкому реализму и буржуазно-демократическим воззрениям, ставя ему в заслугу его слабости, его уступки ходовой реакционной идеологии. Либерально-буржуазная критика (а мы знаем, что такое немецкий либерализм XX века) упрекала Манна за «бесплодный критицизм» и выделяла с особым сочувствием идейно едва ли не самый слабый роман писателя «Королевское высочество» (при всех его чисто литературных достоинствах – тонкой иронии и изощреннейшем психологизме) за то, что в этом произведении писатель «дал наконец положительное решение проблемы». Ничтожный немецкий принц, достойно «представляющий» своего брата, больного герцога, на придворных и прочих церемониях, молодой человек с прекрасной военной выправкой и с учебником буржуазного экономиста под мышкой, к тому же женившийся на девушке бюргерского происхождения, обогатившей его страну американскими миллионами ее родителя, – ну как не восхититься таким высокородным воплощением «прусского пути» в развитии капитализма? К нашему глубокому удовлетворению, Томас Манн и сам был невысокого мнения об этом своем романе.

Повторяем, путь познания давался писателю нелегко. Не раз приходилось нам сталкиваться с прямо противоположными высказываниями Манна в одном и том же произведении, как со следствием мучительных его колебаний. Так, в этюде о Шопенгауэре автор, с одной стороны, говорил о филистерском непонимании философом революции 1848 года, с другой – явно сочувствовал «трагическому гуманизму» Шопенгауэра, его вере в человека без веры в способность человека и человечества разумно устроить свое грядущее историческое бытие...

Мы потому вспомнили о «Королевском высочестве», что «положительное решение проблемы» хочет дать и роман «Лотта в Веймаре», это несравнимо более зрелое и значительное произведение, одна из крупнейших и бесспорных удач Томаса Манна. И все же некоторые аналогии напрашиваются...

И то и другое произведение принадлежат к жанру «воспитательного романа».

«Королевское высочество» – один из последних, несколько анахронических трактатов о «воспитании государя»; «Лотта в Веймаре», по сути, повествует о «воспитании художника», вернее, о «воспитании художником». Художник, по мысли Томаса Манна, учит нас «гармонии», согласно с самим собой, «дружески братскому доверию к своей природе, к своим прирожденным способностям», учит нас соизмерять «равно заложенные в нас духовные и природные начала».

Но этот призыв – соизмерять заложенные в людях духовные и природные силы – звучит в трактовке Томаса Манна не только абстрактно, но и достаточно двусмысленно. Ведь рядом с «прекрасной гармонией» может существовать и «убогая гармония» – соизмерение своих умственных и нравственных устремлений с рабским, униженным своим положением в обществе. За чтением «Лотты в Веймаре» не раз возникает вопрос: уж не этой ли «гармонии» должен научить нас художник? Во всяком случае, автор дает известный повод к такому пониманию «примера искусства». Ведь им вложена в уста Гете следующая тирада: «Господа и слуги, верно; но то были богом учрежденные сословия, достойные каждое на свой лад, и господин умел почитать то, чем он не был, богоданное сословие слуг...»

Правда, Томас Манн противопоставляет этим благочинным мыслям здоровое возражение камердинера Карла:

«– Не знаю уж, ваше превосходительство, в конце концов нам, малым сим, все же приходилось горше. Нам нельзя слишком полагаться на уважение богоданного сословия знати.

– Пожалуй, ты прав, Карл. Как мне с тобой спорить? Ты держишь меня, твоего господина, под гребенкой и раскаленными щипцами и можешь рвануть мне волосы или прижечь меня, лишь только я начну возражать. Поэтому разумнее попридержаться язык».

Но другое утверждение Гете Манн оставляет не поколебленным встречной репликой (поэт высказывает его в беседе с сыном Августом о предстоящем маскараде):

«– Сбоку, в цепях, медленно пойдут две женщины, красивые и благородные, ибо то Боязнь и Надежда, закованные в цепи умом, который и представит их публике как заклятых врагов человечества.

– И Надежду тоже?

– Непременно! С не меньшим правом, чем Боязнь. Подумать только, какие нелепые и сладостные иллюзии она внушает людям, нашептывая им, что они будут некогда жить беззаботно, как кому вздумается, что где-то витает счастье».

Итак, как следует из приведенного отрывка, «гармония», «согласие с самим собой» должны внедряться в сознание людей художником в стабильном мире, не в новом обществе, преображенном революционной волей народа. Искусство тем самым не ведет, не разрушает старое, не указывает высокие исторические цели, а выступает как сила, сглаживающая и примиряющая. Недаром Ример характеризует искусство как «всеиронию», как «моральный нигилизм», как всеобщее равнодушие к добру и злу, ибо «всерьез к страданиям мира оно не относится».

Повторяем: если автор «Лотты в Веймаре» полагал, что это – гетевское решение социальной и житейской проблемы, он жестоко ошибался. Более того, это, как позднее с достаточной очевидностью оказалось, не было даже решением писательской совести самого Томаса Манна, как ни глубоко внедрились в него иные антидемократические

буржуазные предрассудки.

Гитлеризм и вторая мировая война, навязанные народам заправилами «третьей империи», заставили писателя радикально пересмотреть свои позиции и, в частности, свои взгляды на сущность и назначение искусства. В замечательной статье 1945 года «Германия и немцы» Томас Манн страстно осудил реакционные тенденции немецкой истории и немецкой культуры. В романе «Доктор Фаустус» он с мукой, но с тем большей отвагой восстал против антинародного искусства эпохи империализма, против декадентского эстетизма, идущего рука об руку с реакционной варваризацией политической и культурной жизни современного капиталистического мира; более того, он в «Фаустусе» вплотную подошел к нелегко давшейся ему, буржуазному интеллигенту, мысли о неотложности социалистического переустройства общества ради спасения всего, чем справедливо гордилось и гордится человечество.

Насаждать «гармонию» в насквозь порочном обществе искусство не может уже потому, что «само нуждается в освобождении», в «побратимстве» с простым человеком.

Эти мысли еще не утвердились в сознании автора «Лотты в Веймаре». Но Томас Манн медленно продвигался к пониманию истинного назначения искусства уже и в этой книге. Прежде всего тем, что так решительно в ней осудил склонность немцев к преклонению перед любым «кликушествующим негодяем... который обращается к самым низменным инстинктам, оправдывает их пороки и учит понимать национальное своеобразие как доморощенную грубость», – слова, явно метившие в Гитлера! Любопытно, что оппозиционные круги нацистской Германии не раз приводили это изречение, приняв его за подлинное высказывание Гете.

Но, конечно, «Лотта в Веймаре» дорога читателю не как ступень в развитии мировоззрения Томаса Манна, а безотносительными, бесспорными ее достоинствами. В этой книге – вопреки тогдашней (а впрочем, и никогда до конца не преодоленной) классовой ограниченности автора – ожил «в исчерпывающей полноте деталей» замечательный кусок истории со всеми его драматическими конфликтами, ожил творческий мир величайшего немецкого поэта, стал нам более понятен и близок. Для знатоков, сверх этого, составляет совсем особое наслаждение слышать точно воссозданный голос Гете, произносящий то хорошо известные, то вовсе неведомые слова и мысли. Замечательно, что даже то, с чем ты не соглашаешься, что признаешь ошибочным, здесь, вложенное в уста Гете или Римера, кажется характерной чертой конкретной психологии отошедших в прошлое лиц и эпохи.

Это, конечно, только художественная иллюзия. Но ее надо приветствовать! Ведь читатель вправе усматривать в художественном произведении смысл более глубокий и верный сравнительно с тем, который хотел вложить в него автор. К этому поощряет нас сама природа искусства.

Н. Вильмонт

Сквозь дружный гром рожков  
Наш голос смелый  
Опять взнестись готов  
В твои пределы.  
В твоих мирах живя,  
Душа беспечна.  
Будь жизнь долга твоя,

Держава – вечна!

«Западно-восточный диван»

## Глава первая

Магер, коридорный веймарской Гостиницы Слона, человек весьма начитанный, однажды в погожий сентябрьский день 1816 года пережил волнующее и радостное событие. Хотя, казалось бы, ничего из ряда вон выходящего не случилось, ему на мгновение все же почудилось, что он грезит.

В этот день около восьми утра с почтовым дилижансом из Готы, остановившимся у заслуженно известного заведения на Рыночной площади, прибыли три женщины, в которых на первый взгляд – да, пожалуй, и на второй – не было ничего особенного. Их отношения друг к другу определялись без труда. Это были мать, дочь и служанка. Магер, уже приготовившийся к приветственным поклонам, стоял у сводчатого входа и смотрел, как привратник высаживал двух первых из кареты, в то время как служанка, по имени Клерхен, прощалась с почтальоном, за долгий путь, как видно, пришедшимся ей по вкусу. Тот, искоса поглядывая на нее, улыбался – вероятно, при воспоминании о своеобразном наречии, на котором болтала путешественница, – и с насмешливым вниманием следил, как она, кокетливо изгибаясь и не без жеманства подбирая юбки, слезала с высоких козел. Вслед за тем он дернул шнур от болтавшегося у него за спиной почтового рожка и весьма выразительно затрубил на потеху мальчишкам да нескольким ранним прохожим.

Дамы все еще стояли спиной к подъезду, наблюдая, как отвязывают их скромный багаж. Магер, в своем черном, наглухо застегнутом фраке и высоком стоячем воротничке, повязанном линиялым галстуком, ждал, покуда, уверившись в сохранности своих пожитков, они не направятся к двери. Тут он поспешил им навстречу, семеня длинными ногами в узких обтягивающих панталонах, и склонился перед ними с видом заправского дипломата, причем на его сырного цвета лице, обрамленном рыжими бакенбардами, заиграла обязательнейшая улыбка.

– Здравствуйте, друг мой, – произнесла старшая из женщин, довольно полная дама лет под шестьдесят – не менее, в белом платье, с черной шалью, накинутой на плечи, в нитяных митенках и высоком чепце, из-под которого выбивались пепельно-серые вьющиеся волосы, некогда бывшие золотистыми. – Нам нужно помещение для троих; комната для меня и моей дочки (дочка тоже была не первой молодости, лет около тридцати, с каштановыми буклями и в платье с рюшем вокруг шеи, изящный носик матери повторился у нее более остро и резко очерченный) и комнатка неподалеку для нашей горничной. Можем ли мы на это рассчитывать?

Голубые, чуть выцветшие глаза старой женщины смотрели мимо Магера на фасад гостиницы. Ее маленький рот на лице, уже немного по-старчески ожиревшем, двигался как-то особенно приятно. В юности она, вероятно, была прелестнее, нежели сейчас ее дочь. При взгляде на нее бросалось в глаза легкое дрожание головы, впрочем больше походившее на подтверждение ее слов или торопливый призыв согласиться с ними, отчего оно казалось следствием не столько слабости, сколько живости характера или хотя бы того и другого в равной мере.

– Рад служить, – отвечал Магер, ведя мать и дочь к дому, в то время как горничная со шляпной картонкой в руках следовала за ними на почтительном расстоянии. – Правда, у нас, как всегда, множество постояльцев и вскоре нам, вероятно, придется отказывать даже весьма уважаемым особам, но все же, смею заверить, мы не щадя своих сил,

пойдем навстречу желаниям досточтимых путешественниц.

– Ну, вот и отлично, – заметила приезжая, обменявшись с дочерью живым и многозначительным взглядом по поводу столь красноречивой тирады, к тому же произнесенной с сильным тюринго-саксонским акцентом.

– Милости просим, пожалуйста, – говорил Магер, с поклонами, пропуская их в дверь. – Приемная направо. Фрау Эльменрейх, хозяйка заведения, будет в восторге, – прошу пожаловать.

Фрау Эльменрейх, дама со стрелой в прическе и пышным бюстом, обтянутым душегрейкой «по случаю близости входной двери», восседала среди перьев, песочниц, счетов за стойкой, отделявшей сводчатую приемную от сеней. Тут же рядом, возле высокой конторки, письмоводитель беседовал по-английски с господином в плаще, по видимому владельцем нагроможденных у входа чемоданов. Хозяйка, флегматически взглянув скорее поверх приезжих, чем на них, ответила величавым кивком головы на приветствие старшей дамы и чуть намеченный книксен младшей. Затем внимательно выслушала переданные ей коридорным пожелания новоприбывших, достала вычерченный план и начала водить по нему кончиком карандаша.

– Двадцать седьмой, – постановила она, обращаясь к облаченному в зеленый фартук служителю, который стоял с с вещами новых постояльцев. – Отдельную комнату горничной я, к сожалению, предоставить не могу. Мамзели придется разделить помещение с камеристкой графини Лариш из Эрфурта. У нас сейчас много гостей с собственной прислугой.

Клерхен состроила гримаску за спиной своей госпожи, но та немедленно согласилась: «Как-нибудь стерпятся», – решила она и, распорядившись, чтобы в предоставленную ей комнату тотчас был перенесен ручной багаж, направилась к выходу.

– Еще минутку, сударыня! – воскликнул Магер. – Осмелюсь попросить вас об одной формальности. Дело в том, что мы имеем обыкновение всеми правдами и неправдами вымалывать себе две-три строчки. Этот докучный обычай заведен не нами, а Святой Германдадой, его же не преступишь. Законы и обычаи передаются из рода в род, я бы сказал, как наследственная болезнь. Смеем ли мы надеяться на милость и снисхождение?

Дама улыбнулась, снова взглянув на дочь, и, едва сдерживая смех, покачала головой.

– Ну конечно! Я совсем упустила из виду. Что положено, то положено. Он умный малый, как я замечаю (она пользовалась обращением в третьем лице, принятом во времена ее юности), начитанный и просвещенный. – И, воротившись к столу, она взялась тонкими пальцами своей полуприкрытой руки за висевший на шнурке мелок, который ей вручила хозяйка, и, все еще смеясь, – склонилась над доской с именами постояльцев.

Она писала медленно, постепенно переставая смеяться, и только легкие, как вздохи, шаловливые отголоски смеха еще свидетельствовали о ее потухавшей веселости. Частое дрожание головы стало при этом – может быть, вследствие неудобного положения – несколько более заметным.

На нее смотрели. С одной стороны – дочь, подняв красивые ровные брови (она их унаследовала от матери) и насмешливо поджав губки, заглядывала ей через плечо; с другой – на нее уставился Магер, отчасти чтобы наблюдать, правильно ли она заполняет отмеченные красным рубрики, отчасти же из провинциального любопытства, не чуждого

злорадному удовлетворению, что вот для кого-то пришло время, расставшись со всегда благодарной ролью неизвестного, назвать и разоблачить себя. По каким-то причинам письмоводитель и английский путешественник прекратили разговор и тоже наблюдали за склоненной женщиной, выводявшей буквы с почти детской тщательностью.

Магер прочитал, прищурившись: «Вдова надворного советника Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф, из Ганновера, последнее местопребывание – Гослар; родилась 11 января 1753 года в Вецларе. С дочерью и прислугой».

– Этого достаточно? – осведомилась надворная советница; и так как ей сразу не ответили, заключила сама: – Конечно, достаточно.

Она сделала энергичное движение, чтобы положить мелок на стол, позабыв, что он прикреплен к металлической подставке, и опрокинула ее.

– Какая неловкость! – воскликнула она, краснея, и снова быстро глянула на дочь; та насмешливо скривила рот и потупилась. – Ну, это дело поправимое, сейчас все будет в порядке. А теперь нам пора посмотреть комнату! – И советница поспешно двинулась к двери.

Дочь, горничная, Магер и плешивый привратник, нагруженный чемоданами и дорожными мешками, последовали за нею через сени к лестнице. Магер всю дорогу только и делал, что щурился, а в перерывах быстро-быстро мигал покрасневшими глазами и пустым взглядом уставлялся в пространство, открывая при этом рот с видом если не глуповатым, то мечтательно-задумчивым. На площадке второго этажа он заставил всех остановиться.

– Прошу прощения! – воскликнул он. – Умоляю великодушно простить, если мой вопрос – это не просто неуместное любопытство... Ужели мы имеем честь видеть в наших стенах госпожу надворную советницу Кестнер, мадам Шарлотту Кестнер, рожденную Буфф из Вецлара?..

– Да, это я, – с улыбкой подтвердила старая дама.

– Я имею в виду... прошу прощения... Неужто же речь идет о Шарлотте – короче Лотте Кестнер, рожденной Буфф из Немецкого дома, Немецкого орденского дома в Вецларе, бывшей...

– Именно о ней, любезный. Но я совсем не бывшая, а вполне настоящая и очень бы хотела поскорей попасть в отведенную мне...

– Незамедлительно! – вскричал Магер и, наклонив голову, уже принял было позу бегущего человека, но вдруг остановился, словно приросши к месту, и всплеснул руками.

– Господи боже ты мой! – проговорил он с глубоким чувством. – Господи боже ты мой! Госпожа советница! Да простит меня госпожа советница за то, что мне не сразу удалось установить это тождество и обнять взором все открывающиеся перспективы... Ведь это, можно сказать... гром среди ясного неба. Значит, нашему дому выпала высокая честь и неоценимое счастье... принимать... настоящую... подлинную... прообраз, если дозволено так выразиться... Короче говоря, мне суждено... сейчас... перед Вертеровой Лоттой...

– Вы не ошиблись, друг мой, – со спокойным достоинством отвечала советница, попутно бросив строгий взгляд на хихикающую горничную. – И если это послужит для вас лишним поводом поскорее проводить нас, усталых женщин, в нашу комнату, то я буду

искренне рада.

– В мгновение ока! – крикнул Магер и припустился по лестнице. – Комната номер двадцать семь. Бог ты мой, ведь она на втором этаже! У нас, сударыня, удобные лестницы, как вы можете убедиться, но если бы мы знали... Несмотря на обилие гостей, без сомнения нашлась бы... Во всяком случае, комната недурна, окна выходят на Рыночную площадь; надо думать, она придется по вкусу... В ней проживали недавно господин майор Эглоффштейн с супругой, приезжавшие с визитом к тетушке, оберкамергерше той же фамилии. В октябре тринадцатого года там останавливался генерал-адъютант его императорского высочества великого князя Константина. Это, так сказать, воспоминания исторические. Ах, боже ты мой, что я там болтаю об исторических воспоминаниях! Для чувствительного сердца они не могут идти ни в какое сравнение... Еще только несколько шагов, сударыня! От площадки несколько шагов вот по этому коридору. Все стены, как изволите видеть, свежесвыбелены. После постоя донских казаков в тринадцатом году нам пришлось все тщательно отремонтировать: лестницы, комнаты, коридоры, гостиные. Последнее, на мой взгляд, было уже излишне. Насильственные сдвиги мировой истории принудили нас к этой мере; отсюда можно было бы извлечь мораль, что насилие временами способствует обновлению жизни. Я, конечно, не хочу всю заслугу побелки дома приписать одним казакам. У нас стояли также прусские войска и венгерские гусары, не говоря уже о французах... Вот мы и у цели! Прошу пожаловать!

Он с поклоном распахнул дверь и пропустил их в комнату. Глаза женщин беглым испытующим взором окинули накрахмаленные занавеси на обоих окнах, в простенке между ними трюмо, не без тусклых пятен, две белые кровати с общим маленьким балдахинном и прочее убранство. Гравированный ландшафт с античным храмом украшал собою одну из стен. Хорошо навощенный пол так и блестел чистотою.

– Очень мило, – решила советница.

– Мы почтем себя счастливыми, если уважаемым дамам придется здесь по вкусу. Когда что-нибудь понадобится, вот сонетка. О горячей воде я, разумеется, позабочусь. Мы назовем себя счастливейшими из смертных, если угодим госпоже советнице.

– Ну конечно же, голубчик. Мы простые люди и не избалованы. Спасибо, любезный, – обратилась она к привратнику, который снимал с плеча и складывал в угол багаж приезжих. – Спасибо и вам, мой друг, – и она отпустила Магера кивком головы. – Мы всем улажены и довольны и теперь хотели бы только немного...

Но Магер стоял как вкопанный, молитвенно скрестив руки и вперившись своими красноватыми глазами в лицо старой дамы.

– Великий боже! – произнес он. – Госпожа советница! Какое достойное увековечения событие! Госпожа советница, должно быть, и понять не может чувств человека, на которого нежданно-негаданно свалился подобный казус со всеми его волнующими перспективами... Госпожа советница уже настолько привыкла к своему, так сказать, священному для нас тождеству, что принимает его легко и буднично и не может понять, что происходит с чувствительной душой, с юных лет приверженной литературе, при знакомстве, прошу прощения, – при встрече с особой, озаренной, если можно так выразиться, лучами поэзии и как бы взнесенной огненными руками к небесам вечной славы...

– Вот что, мой друг, – с улыбкой остановила его советница, хотя дрожание ее головы при словах коридорного усилилось, как бы служа им подтверждением. (Горничная, стоя



позади нее, с веселым любопытством разглядывала его почти до слез растроганное лицо, а дочь с показным равнодушием занималась в глубине комнаты раскладкой вещей.) – Друг мой, я простая женщина, без претензий, человек такой же, как все; у вас же столь необычная, высокопарная манера выражаться...

– Мое имя Магер, – пояснительно вставил коридорный. Он выговаривал «Маахер» на своем мягком средненемецком наречии, и в этом звуке было что-то молящее и трогательное. – Я, если это звучит не слишком самонадеянно, являюсь фактотумом этого дома, – что называется, правой рукой фрау Эльменрейх, хозяйки гостиницы. Она вдовствует уже много лет. Господин Эльменрейх, к несчастью, еще в 1806 году пал жертвой событий при трагических обстоятельствах, о которых здесь неуместно распространяться. В моей должности, госпожа советница, да еще во времена, которые суждено было пережить нашему городу, соприкасаешься со множеством людей; мимо нас проходит немало примечательных лиц, примечательных по своему рождению или заслугам, так что невольно перестаешь уже так пылко относиться к соприкосновению с высокопоставленными, причастными к мировой истории особами и носителями влиятельных, волнующих воображение имен. Это так, госпожа советница! Но профессиональная избалованность и черствость – куда они подевались? Во всю мою жизнь, признаюсь откровенно, мне не выпадало встречи, так взбудоражившей мне душу и сердце, как сегодняшняя, поистине достойная увековечения. Мне, как и многим людям, было известно, что почтеннейшая женщина, прототип того вечно милого образа, продолжает здравствовать, и именно в городе Ганновере. Теперь я окончательно убежден, что знал это. Но мое знание не имело реальной основы, и мне никогда не приходила в голову возможность оказаться лицом к лицу со священным для нас созданием. Я и мечтать об этом не смел! Когда я проснулся нынешним утром, – всего несколько часов назад, – я был убежден, что мне предстоит день, как сотни других, заурядный день, исполненный обычных хлопот в конторе и у стола. Моя жена – ибо я женат, госпожа советница, – мадам Магер, моя жена, которая возглавляет здесь кухню, может засвидетельствовать, что я не чаял никаких необыкновенных событий. Я был уверен, что вечером отойду ко сну тем же человеком, каким встал утром. И вот! «Чего не чаешь, то вернее сбудется», гласит народная мудрость! Да простит мне госпожа советница мое волнение и мою столь неуместную болтливость. «Когда сердце полно, слов не удержишь», как говорит народ на своем хотя и не очень литературном, но метком языке. Если бы госпожа советница знали, какую любовь и уважение я, так сказать, с молодых ногтей питаю к нашему королю поэтов, великому Гете, и как я, веймарский житель, горжусь тем, что мы вправе называть его своим... Если бы сударыня знали, чем для моего сердца были всю жизнь именно «Страдания молодого Вертера»... Но я молчу, госпожа советница, я отлично знаю, что не мне рассуждать об этом... Хотя, с другой стороны, такое чувствительное произведение ведь принадлежит всему человечеству и одинаково волнует души великих и малых сих, тогда как творения вроде «Ифигении» и «Побочной дочери» являются достоянием лишь высших слоев общества. Стоит только вспомнить, сколь часто, умиленные душой, мы с мадам Магер при тусклой свечке склонялись над этими божественными страницами, и вдруг отдать себе отчет, что вот сейчас передо мной всемирно известная и бессмертная героиня романа во плоти... такой же человек, как я... Ради бога, госпожа советница! – вскричал он и хлопнул себя по лбу. – Я болтаю и болтаю, и вдруг меня как обухом ударило; ведь я даже не осведомился, пила ли госпожа советница сегодня кофе?

– Благодарю вас, друг мой, – отвечала старая дама, со спокойным взглядом и слегка подергивающимися уголками рта, внимавшая излияниям доброго малого.

– Мы сделали это в положенное время. Вообще же, мой милый господин Магер, вы слишком далеко заходите в своих сравнениях и впадаете в крайность, попросту смешивая меня или хотя бы то юное существо, которым я некогда была, с героиней

нашумевшей книжки. Вы не первый, кому мне приходится на это указывать. Я это проповедую вот уже сорок четыре года. Правда, та романтическая фигура обрела столь повсеместную жизнь, столь законченное и прославленное существование, что каждый может прийти и сказать: из вас двоих она-то и есть настоящая, – хотя здесь я, безусловно, буду возражать, – но тем не менее девушка из романа очень отличается от меня тогдашней, о нынешней я уже и не говорю. Всякий видит, например, что у меня глаза голубые, в то время как Вертерова Лотта, как известно, черноглазая.

– Поэтическая вольность! – вскричал Магер. – Кто же этого не понимает – поэтическая вольность! Но она, госпожа советница, ни на йоту не умаляет существующего тождества! Пускай поэт воспользовался ею для маскарада, чтобы слегка замести следы...

– Нет, – произнесла советница, задумчиво покачав головой, – черные глаза это совсем другое.

– А если и так! – перебил ее Магер. – Пусть тождество даже и нарушается маленькими отклонениями...

– Существуют гораздо большие, – настойчиво подчеркнула советница.

– ...но ведь совершенно нетронутым остается другое тождество – тождество с самой собой, я хочу сказать, с той не менее легендарной особой, чей портрет великий человек еще совсем недавно с такою теплотой нарисовал в своих мемуарах; и если госпожа советница не до мельчайшей черточки Вертерова Лотта, то она до последнего волоска Лотта Ге...

– Вот что, почтеннейший! – оборвала его советница. – Прошло немало времени, покуда вы были так любезны указать нам нашу комнату, а теперь вы, видимо, позабыли, что не даете нам воспользоваться ею.

– Госпожа советница! – воскликнул коридорный Гостиницы Слона, молитвенно сложив руки. – Простите меня! Простите человека, который... О да, мое поведение непростительно, я это знаю – и все же осмеливаюсь просить вас о милости. Своим немедленным исчезновением я... Меня ведь так и подмывает, – вставил он, – не говоря уже о том, что мне диктуют правила благоприличия, меня так и тянет отсюда – туда; ибо когда я подумаю, что фрау Эльменрейх до сих пор еще не имеет понятия, – она, наверное, не удосужилась взглянуть на доску, а если и взглянула, то ее здравый практический ум... А мадам Магер, госпожа советница! Как мне хочется сбегать к ней на кухню и первым сообщить ей столь важную городскую и литературную новость. Но как раз, чтобы дополнить это волнующее сообщение, я, госпожа советница, и осмелюсь задать еще один вопрос... Сорок четыре года! И сударыня за эти сорок четыре года ни разу не виделись с господином тайным советником?

– Ни разу, мой друг, – отвечала она. – Я знаю молодого практиканта прав доктора Гете из Вецлара. Веймарского министра, великого поэта Германии, я и в глаза не видела.

– Я потрясен! – задохнулся Магер. – Потрясен до глубины души! Итак, значит, госпожа советница прибыла в Веймар, чтобы...

– Я приехала в Веймар, – перебила его старая дама несколько свысока, – после долгой разлуки свидеться с сестрой, супругой камерального советника Риделя, и представить ей мою дочь Шарлотту, приехавшую из Эльзаса, чтобы сопровождать меня в этом путешествии. Вместе с горничной нас трое, – мы не можем обременять ночлегом мою сестру – у нее большая семья. Поэтому мы и остановились в гостинице, но обедать мы

будем у наших милых родственников. Удовлетворены вы, наконец?

– Весьма, госпожа советница, весьма! Хотя мы тем самым лишимся чести видеть дам за табльдотом... Господин и госпожа Ридель, Эспланада шесть, о, я знаю! Значит, госпожа камеральная советница урожденная... Ах, да ведь мне это было известно! И отношения и родство были известны, только реально я себе не представлял... Боже милостивый! Да ведь, значит, госпожа камеральная советница находилась в толпе детей, окружавших госпожу надворную советницу в сенях охотничьего домика, когда Вертер впервые переступил его порог, значит, и она протягивала ручонку за хлебом, который госпожа надворная советница...

– Любезный мой, – снова прервала его Шарлотта, – в охотничьем домике не было никакой надворной советницы. Но, скажите-ка нам лучше, прежде чем показать нашей уже заждавшейся Клерхен ее комнатку, далеко ли отсюда до Эспланады?

– Ах нет, госпожа советница. Рукой подать! У нас в Веймаре нет больших расстояний. Наше величие – в другом, в духовном. Я почту за честь самолично проводить дам до жилища госпожи камеральной советницы, если им не угодно будет предпочесть извозчика или портшез, в которых наша столица не знает недостатка... Но еще одно, госпожа советница, еще одно только слово! Если сударыня и прибыла, главным образом чтобы навестить госпожу камеральную советницу, то, надо думать, на Фрауенплане тоже будут иметь честь...

– Время покажет, мой друг, время покажет! А теперь пора уже отвести мамзель вниз, так как она мне скоро понадобится.

– Да, а по дороге скажите мне, – зашебетала Клерхен, – где живет человек, который написал «Ринальдо», этот дивный роман, я читала его раз пять, и еще скажите, неужто мне может выпасть счастье встретить его на улице.

– Может, мамзель, очень даже может, – рассеянно отвечал Магер, направляясь вместе с ней к двери. Но на пороге он вдруг остановился, упершись одной ногой в пол и приподняв другую – для равновесия.

– Еще одно слово, госпожа советница, – взмолился Магер. – Последнее словечко, ответ на него не затруднит госпожу советницу! Госпожа советница поймет: человеку вдруг суждено было оказаться, так сказать, у первоисточника

– грех пренебречь таким обстоятельством, не воспользоваться... Госпожа советница, не правда ли, тот последний разговор перед отъездом Вертера, та душераздирающая сцена втроем, когда речь зашла о покойной матери и о вечной разлуке, и Вертер, держа руку Лотты, восклицает: «Мы свидимся, найдем друг друга, среди множества образов вновь друг друга узнаем!» – это правдивое воспоминание? Господин тайный советник его не измыслил? Ведь так все и было?!

– И да и нет, мой друг, и да и нет, – добродушно отвечала усталая жертва его любознательности, и голова ее задрожала сильнее. – Ну, идите уж, идите!

И потрясенный Магер спешно ретировался с кошечкой Клерхен.

Снимая шляпу, Шарлотта испустила глубокий вздох. Дочь, которая в продолжение всего разговора занималась развешиванием платьев в шкафу и методически раскладывала вещи, вынутые из несессера, по полочкам умывальника, насмешливо взглянула на нее.

– Вот, – заметила она, – твоя звезда снова взошла. Эффект был недурен.

– Ах, дитя мое, – возразила мать, – то, что ты называешь моей звездой и что было бы, вернее, назвать моим крестом – пусть даже орденом, – если хочешь, обнаруживается без моего содействия. Я здесь ни при чем, и не в моей власти скрыть его.

– Немного дольше, милая мама, если и не на все время нашей несколько экстравагантной поездки, он все же мог остаться скрытым, остановись мы не в гостинице, а у тети Амалии.

– Ты отлично знаешь, Лотхен, что это невозможно. Твой дядюшка, твоя тетка и твои кузины не имеют лишнего помещения, хотя и живут в аристократическом квартале, или, вернее, именно поэтому. Нельзя было явиться к ним втроем и до такой степени стеснить их, пусть даже на несколько дней. Твой дядя Ридель имеет определенный доход от казенной службы, но его постигли тяжелые удары; в шестом году он все потерял, теперь он человек небогатый, и мы ни в коем случае не можем вводить его в расход. А что у меня явилась потребность после долгих лет снова заключить в объятия мою младшую сестру, нашу Мали, и порадоваться счастью, которым она наслаждается вместе со своим достойным мужем, – разве можно поставить мне это в вину? Не забудь, что я надеюсь быть полезной моим милым родственникам. Твой дядя добивается поста директора великогерцогской камер-коллегии, – благодаря моим связям и прежним знакомствам я, может быть, здесь, на месте, посодействую осуществлению его мечты. И разве момент, когда ты, дитя мое, после десятилетней разлуки снова со мной, не наиболее подходящий для родственного визита? Неужто же необычная судьба, ставшая моим уделом, может помешать мне следовать естественному влечению сердца?

– Нет, мама, разумеется, нет.

– Да и кто мог подумать, – продолжала советница, – что мы тотчас же налетим на такого энтузиаста, как этот Ганимед с бакенбардами? Гете в своих мемуарах жалуется на мучения, которые ему доставляло вечное любопытство людей: кто, собственно, настоящая Лотта и где она живет? От таких настойчивых вопросов его не спасало даже инкогнито, – он называет это истинным наказанием и считает, что если и согрешил своей книжкой, то впоследствии сторицей искупил свой грех. Но из этого видно, что мужчины – тем более поэты – заботятся только о себе: он и не подумал о том, что нам тоже приходилось бороться с любопытством, вдобавок ко всем тревогам, которые он нам причинил – твоему незабвенному отцу и мне – своим безбожным смешением правды и поэзии.

– Черных и голубых глаз?

– Кто попал в беду, не избежит и насмешки, и прежде всего от собственной дочери. Надо же мне было одернуть этого неистового малого, принявшего меня такой, как я есть, за Вертерову Лотту.

– У него хватило дерзости в утешение за некоторые несоответствия назвать тебя Гетевой Лоттой.

– По-моему, я и этого не пропустила мимо ушей и с явным неудовольствием прервала его. Я плохо знала бы тебя, дитя мое, если б не почувствовала, что согласно твоим более строгим убеждениям мне следовало с самого начала крепче держать его в узде. А скажи мне как? Отречься от себя самой? Убедить его, что я ничего знать не знаю о себе и о своем жребии? Но вправе ли я свободно располагать этим жребием, если он так или иначе стал достоянием целого мира? Ты, дитя мое, совсем другой человек, – позволь мне

добавить, что это ни на йоту не умаляет моей любви к тебе. Общительной тебя никак не назовешь – это свойство не вяжется с готовностью жертвовать собою для других. Мне даже часто казалось, что жизнь, полная самопожертвования, – я никого не хочу ни восхвалять, ни порицать, – обычно предполагает известную черствость, которая мало содействует общительности. Ты, дитя мое, не можешь сомневаться ни в моем к тебе уважении, ни в моей любви. Вот уже десять лет, как ты – ангел-хранитель твоего бедного, милого брата Карла, которому суждено было потерять молодую жену и лишиться ноги, – беда ведь никогда одна не приходит! Что бы он делал без тебя, мой бедный, больной мальчик! Вся твоя жизнь – это труд и самоотверженная любовь, как же могла она не заронить в тебя известную строгость, не одобряющую праздной чувствительности – в себе и в других. Суровую прозу жизни ты предпочитаешь ее праздникам, – и ты, конечно, права! Связь с великим миром страстей и высокого духа, выпавшая нам на долю...

– Нам? Я не поддерживаю подобных связей.

– Дитя мое, они останутся при нас и будут сопряжены с нашим именем до третьего и четвертого колена, хотим мы этого или не хотим. И когда добрые люди нам докучают, движимые воодушевлением или просто любопытством (как здесь провести границу?), вправе ли мы скаречничать и резко отталкивать назойливых? Вот здесь-то и сказывается различие наших натур. И моя жизнь была сурова, и мне от многого приходилось отказываться. Я была, думается мне, хорошей женой твоему милому, незабвенному отцу. Я родила ему одиннадцать детей и девятерых вырастила честными людьми – двоих у меня отнял господь. И я жертвовала собой, терпя и страдая. Но общительность или благодушие, как ты бы презрительно назвала это, мне ни в чем не мешали. Жестокая жизнь меня не ожесточила, повернуться спиной к такому Магеру и сказать ему: «Дурень, оставь меня в покое», – на это, воля твоя, я не способна.

– Ты так говоришь со мною, милая мама, – возразила Лотта-младшая, – словно я позволила себе упрекнуть или, чего доброго, поучать тебя. А я ведь и рта не открывала. Мне только досадно, когда люди так неумеренно испытывают твою доброту и терпение и утомляют тебя своими восторгами, неужели ты поставишь мне это в вину? Вот и это платье, – сказала она, вынимая из чемодана матери платье – белое с бантами, розоватыми бантами – и расправляя его, – следовало бы прогладить, прежде чем ты его наденешь. Оно несколько измялось.

Надворная советница покраснела, что как-то трогательно шло к ней, сообщая ее лицу девическую миловидность: сразу можно было себе представить, какую она была в двадцать лет; ласковые голубые глаза под ровными бровями, изящно выточенный носик, приятный маленький рот – в этом розоватом отсвете обрели на несколько секунд всю свою прежнюю прелесть; славная дочка амтмана, мать его сироток, фея вольпертгаузенских балов внезапно ожила в краске, залившей лицо старой дамы.

Мадам Кестнер сняла плащ и стояла теперь в платье, таком же белом, как и то, более нарядное, которое дочь держала перед ней. В теплую погоду (а дни стояли еще почти летние) она из своенравного пристрастия носила только белые платья. Но то, что держала на вытянутых руках ее дочь, было к тому же украшено бледно-розовыми бантами.

Невольно обе они отвернулись; старшая, видимо, от платья, молодая – от краски, набежавшей на лицо матери и сделавшей его таким милым и молодым, что она почувствовала зависть.

– Да нет же, – отвечала советница на предложение Шарлотты. – К чему лишние хлопоты. Этот креп превосходно отвисится в шкафу. Да и кто знает, соберусь ли я вообще надеть

его.

– Почему бы и нет, – произнесла дочь, – и зачем же ты тогда его привезла? Но именно потому, что ты, безусловно, его наденешь, при случае, позволь мне, милая мама, еще раз спросить тебя, не решишься ли ты все же заменить эти несколько светлые банты на лифе и рукавах более темными, ну, скажем, лиловыми. Я могла бы перешить их в одну минуту.

– Ах оставь меня, Лотхен! – нетерпеливо возразила советница. – Ты, дитя мое, не понимаешь шуток. Хотела бы я знать, чем тебе не по душе эта забавная маленькая шутка, легкий намек и знак внимания. Позволь тебе заметить, что я редко встречала людей, до такой степени лишенных чувства юмора, как ты.

– Не следует у кого бы то ни было, – отвечала дочь, – кого не знаешь или знаешь недостаточно, предполагать это чувство.

Шарлотта-старшая хотела еще что-то возразить, но ей помешало возвращение Клерхен, которая принесла горячую воду и бойко затараторила о том, что камеристка графини Лариш весьма приятная особа и что они, надо думать, отлично уживутся вместе. К тому же этот комичный господин Магер заверил ее, что ей удастся увидеть господина библиотекаря Вульпиуса, шурина господина фон Гете и автора дивного «Ринальдо», на его пути в библиотеку и даже полюбоваться на его сынишку, названного Ринальдо в честь героя знаменитого романа, когда тот пойдет в школу.

– Вот и отлично, – сказала советница, – но время уже позднее, пора тебе, Лотхен, в сопровождении Клерхен отправиться на Эспланаду к тете Амалии и сообщить ей о нашем прибытии. Она еще не подозревает о нем и ждет нас к обеду или к вечеру, полагая, что мы задержались в Готе у Либенау, тогда как мы сумели уклониться от этого визита. Иди, дитя мое, пусть Клерхен хорошенько разузнает дорогу. Поцелуй от меня свою милую тетю и подружись за это время с кузинами. Мне, старой женщине, необходимо полежать часок-другой. Я последую за вами, как только немного передохну.

Она поцеловала дочь, как бы в знак примирения, легким кивком головы ответила на прощальный книксен горничной и осталась одна. На подзеркальнике стояла чернильница и лежали перья. Советница села, взяла листок бумаги, обмакнула перо и, со слегка трясущейся головой, быстро написала заранее приготовленные слова.

«Высокочитимый друг! Приехав навестить свою сестру и намереваясь пробыть несколько дней в вашем городе, я хотела бы представить вам свою дочь, не говоря уже о том, что для меня будет большой радостью снова взглянуть на лицо, ставшее миру столь драгоценным за долгие годы, прожитые каждым из нас по мере отпущенных ему сил. Веймар, Гостиница Слона, 22 сентября 16 года, Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф».

Она посыпала бумагу песком, подождала немного, искусно сложила листок концами внутрь и надписала адрес. Затем дернула сонетку.

## Глава вторая

Шарлотта долго не находила покоя, к которому, впрочем, и не слишком стремилась. Правда, сняв платье и покрывшись пледом, она растянулась на одной из кроватей под маленьким балдахином и, положив на глаза носовой платочек, чтобы защитить их от режущего света, – на окнах не было темных занавесей, – смежила веки. Но при этом она скорее предалась мыслям, заставлявшим сильнее биться ее сердце, чем дремоте,

требуемой голосом благоразумия. Тем более что именно неразумие представлялось ей доказательством и признаком ее внутренней несокрушимости, неподатливости годам, и втайне нравилось ей – слова, некогда написанные тем юношей в прощальной записке: «А я, милая Лотта, счастлив, читая в ваших глазах веру в то, что я никогда не переменюсь», это – религия нашей молодости, а от нее люди, собственно, никогда не отступают. И то, что она выдержала испытание временем, то, что мы остались такими же, как были, и старость для нас наступила лишь телесная, внешняя, ибо ничто не властно над нашей душой, над этим неразумным, через долгие десятилетия пронесенным «я», – наблюденье, утешительное в преклонных годах, ибо оно – стыдливая и радостная тайна нашего старческого достоинства. Да, так становишься старой женщиной, сама насмешливо именуешь себя таковою и пускаешься в дорогу с двадцатидевятилетней дочерью – девятою из детей, рожденных тобою супругу. Но вот ты лежишь здесь, и сердце у тебя бьется, как у школьницы перед сумасбродной шалостью. Шарлотта представила себе людей, которые найдут это очаровательным.

Но Лотхен-младшую лучше было себе не представлять свидетельницей этого сердечного порыва. Несмотря на примирительный поцелуй, мать не переставала на нее сердиться за «отсутствие чувства юмора» и критику, наведенную на платье и банты, по существу же относившуюся к этой, столь достойно и естественно обоснованной поездке, которую та назвала «экстравагантной». Неприятно возить с собой человека, слишком пронизательного, чтобы верить, будто вся поездка затеяна ради него, и догадывающегося, что он не более как ширма; еще неприятнее и оскорбительнее, когда на тебя смотрят столь прозорливо, вернее, косо, и из всех разнородных мотивов поступка видят только деликатно замалчиваемые, только их признают подлинными, благоприличные же и явно высказанные, как бы они ни были уважительны, считают пустыми отговорками!

Шарлотта с гневом ощутила оскорбительность такой – да, может быть, и всякой – психологии и приписала ее дочерней черствости.

Разве таким «прозорливцам», думала она, нечего страшиться? Это палка о двух концах. Если вытащить на свет божий мотивы их «прозорливости», вряд ли таковые сведутся к одному правдолюбию. Горделивая холодность Лотхен, – и в нее можно взглядеться пронизательным взором, и она даст повод к различным толкам, не слишком благоприятным. Треволнения чувств, выпавшие на долю матери, пока что не были суждены этой разумной дочке, да, судя по ее натуре, вряд ли и будут ей суждены. Треволнения, ставшие следствием знаменитого тройственного союза, который начался так весело, так мирно, но затем из-за сумасбродства одного звена выродился в мучительное смятение, в великий, честно преодоленный искус добродетельного сердца, чтобы однажды, – о, горделивое отчаяние! – стать достоянием целого света, возвыситься до сверхжитейского, обрести высшую форму существования и, как некогда девичье сердце, взбудоражить и смутить все человечество, более того, привести его в опасное, как тогда утверждалось, восхищение.

Дети жестоки, думала Шарлотта, и нетерпимы к личной жизни матери: из эгоистического почтения, способного любовь превратить в безлюбие и не делающегося более похвальным оттого, что к нему примешивается простая женская зависть – зависть к сердечной эпопее матери, под видом насмешливого недовольства широкой славой этой эпопеи. Нет, благомыслящая Лотхен никогда не пережила того страшно прекрасного и преступно сладостного чувства, как ее мать в вечер, когда муж уехал по делам и пришел тот, хотя ему и запрещено было показываться раньше сочельника, когда она напрасно посылала за подругами и вынуждена была остаться с ним наедине, а он читал ей из Оссиана и прервал чтение о страданиях героя, изнемогши от собственной муки, когда в отчаянии он упал к ее ногам и прикладывал ее ладони к своим глазам, к своему

измученному лбу, а она, движимая состраданием, пожимала его руки, и их пылающие щеки соприкоснулись, и мир, казалось, исчез в буре неистовых поцелуев, которыми его рот внезапно опалил ее слабо сопротивляющиеся губы...

Тут ей пришло в голову, что и она этого не пережила. Это была та высокая действительность, и сейчас, под платочком, она смешала ее с малой, в которой все протекало куда менее бурно. Безрассудный юнец на деле похитил у нее лишь один поцелуй, или, вернее, хотя это выражение не подходило к их тогдашнему состоянию, от души поцеловал ее – не то вихрь, не то меланхолик – за собиранием малины на солнышке, поцеловал быстро и горячо, вдохновенно и с алчной нежностью, и она это допустила. Но затем она повела себя здесь, на земле, не хуже, чем там, в выпренном мире, – да, именно потому она и могла навеки остаться там до боли благородной фигурой, что умела вести себя здесь так, что не заслужила бы укора и самой щепетильной дочери. Ибо, при всей своей сердечности, это был смущающийся и безумный, недозволенный и ненадежный поцелуй из другого мира, поцелуй принца-бродяги, для которого она была и слишком плоха и слишком хороша. И если у бедного принца из страны бродяг, да и у нее тоже, на глаза навернулись слезы, то она тем не менее с безупречным негодованием сказала: «Фу, как ему не стыдно! Пусть он остережется повторения, иначе дружбе конец! И пусть запомнит: это не останется между нами, я сегодня же расскажу обо всем Кестнеру». И как он ни молил ее промолчать, она в тот же вечер повинилась своему любезному, ибо ему надлежало знать: не то, что тот на это решился, а что она это допустила. И Альберт с болью выслушал ее рассказ, а затем в разговоре они, во имя своей разумной и нерушимой предназначенности друг для друга, решили покрепче держать в узде третьего и заставить его уяснить себе истинное положение вещей.

С закрытыми веками она еще сегодня, после стольких лет, с поразительной ясностью видела физиономию, которую он соорудил при более чем сухом приеме, оказанном ему помолвленной парочкой на следующий, вернее, на третий день после поцелуя. Он пришел вечером, в десять, когда они сидели вдвоем перед домом, – с букетом цветов, принятым до того небрежно, что он бросил его наземь, а затем понес несусветный вздор и даже заговорил тропами. Как вытянулось у него лицо под напудренными и скатанными возле ушей волосами, лицо с большим, печальным носом, легкой тенью усиков над женственным ртом и мягким подбородком, – и с какой мольбой смотрели на нее карие глаза под на редкость красивыми шелковисто-черными бровями, казавшиеся маленькими по сравнению с носом.

Таким она его увидела на третий день после поцелуя и, памятуя свой уговор с женихом, в сухих словах попросила его раз и навсегда запомнить: ему не на что рассчитывать здесь, кроме доброй дружбы. Разве же он этого не знал? Почему при ее словах у него ввалились щеки, и он так побледнел, что глаза и шелковистые брови еще темнее и резче выступили на побелевшем лице? Приезжая подавила растроганную улыбку под своим платочком при воспоминании об этой наивно разочарованной мине, которую она в тот же вечер описала Кестнеру, после чего они оба решили послать милому чудаку в день двойного рождения, его и Кестнера, в прославленный в веках день двадцать восьмого августа, вместе с карманной книжечкой Гомера еще и бант, бант от платья, – пусть у него будет хоть что-нибудь...

Шарлотта покраснела под платочком, и ее шестидесятитрехлетнее сердце школьницы забилось быстрее, отчетливее. Лотхен-младшая еще не знала, что мать зашла в своей шутке так далеко, и на приготовленном платье, повторении «платья Лотты», оставила пустым место подаренного банта: его не было, его место пустовало, ибо им владел тот отрешенный, которому она с согласия жениха послала в утешение этот бант; тот, который покрывал бесценную памятку тысячами исступленных поцелуев... Сиделке брата Карла



осталось бы только презрительно поджать губы, узнай она эту подробность материнской затеи. А ведь все было задумано в память ее отца, честного, преданного, который не только одобрил подарок, но сам предложил его и, несмотря на все, что пришлось ему вынести по вине взбалмошного принца, плакал вместе со своей Лотхен, когда уехал тот, кто едва не похитил лучшее его сокровище.

«Он уехал», – сказали они друг другу, прочитав каракули, писанные ночью и на рассвете: «Я оставляю вас счастливыми и пребуду в ваших сердцах... Прощайте, тысячу раз прощайте!» «Он уехал», – поочередно говорили они, и все дети в доме бродили как потерянные, печально твердя: «Он уехал!» Слезы выступили на глазах Лотты при чтении записки, но она могла плакать, не таясь от милого; ибо и его глаза увлажнились, и весь день он только и мог говорить, что о друге: какой это замечательный человек, иногда не без странностей, кое в чем неприятный, но до чего же преисполненный гения и удивительного своеобразия, заставляющего сострадать ему, о нем заботиться и от души перед ним преклоняться.

Таков был Кестнер. И ее потянуло с благодарностью прижаться к нему, прижаться крепче, чем когда-либо, за то, что он так говорил и находил вполне естественным ее слезы о том, уехавшем. И вот теперь, когда она лежала с закрытыми глазами, в ее беспокойном сердце во всей своей теплоте обновилась эта благодарность: ее тело двигалось, словно стремясь прильнуть к надежной груди, и губы ее повторяли слова, сказанные в тот день. «Хорошо, что он уехал», – бормотала она – этот извне явившийся третий, ведь все равно она не могла дать ему то, чего он от нее хотел. Ее Альберт радовался этим словам, ибо чувствовал превосходство и блеск ушедшего так же сильно, как и она, так сильно, что он начал сомневаться в их совместном разумном, ясном счастье и однажды, в письме, пожелал возвратить ей данное слово, чтобы она могла свободно выбрать между ним и принцем. И она выбрала – но было ли это выбором? – опять же его, положительного, суженого и предназначенного, своего Ганса-Христиана, – не потому только, что любовь и верность взяли верх над искушением, но и в силу неодолимого страха перед таинственной сущностью другого, – перед чем-то противообычным и житейски ненадежным в его натуре, чему она не могла и не смела подыскать имени и нашла лишь позднее в его же собственном покаянном жалобном признании: «Выродок без цели и покоя...» Как странно, что этот выродок мог быть таким славным и открытым, таким простодушным, что дети искали его и плакали: «Он уехал!»

Множество летних картин той поры проходило перед ее воображением, вспыхивало в свежей, солнечной живости и вновь потухало. Сцены втроем, когда Кестнер, вернувшись со службы, отправлялся вместе с ними на прогулку по горному хребту, с которого они любовались рекою, извивавшейся по лугам, холмистой долиной, чистенькими деревушками, дворцом и сторожевой башней, монастырскими стенами и руинами замка, и тот, радуясь совместному наслаждению всем чудным изобилием мира, говорил о высоких материях и тут же так неистово дурачился, что жених с невестой едва передвигали ноги от смеха. Часы чтения на лугу и в доме, когда он читал им своего излюбленного Гомера или «Песнь о Фингале» и вдруг, объятый чем-то вроде вдохновенного гнева, швырнул книгу и ударил кулаком по столу и тотчас, заметив их недоумение, разразился веселым смехом... Сцены вдвоем, между ним и ею, когда он помогал ей по хозяйству, срезал бобы в огороде или собирал с нею яблоки в саду Немецкого орденового дома, – славный малый и добрый товарищ. Одного взгляда или строгого слова было достаточно, чтобы одернуть его, если он намеревался предаться горестным излияниям. Она видела и слышала все это, себя, его, жесты и выражения лиц, возгласы, наставления, рассказы, шутки, «Лотта!», и «голубка Лотхен!», и «Пора ему оставить эту чепуху! Пусть лезет наверх и сбрасывает яблоки в мою корзину». Но удивительно было то, что вся отчетливость и ясность этих картин, вся исчерпывающая полнота деталей шла, так сказать, не из первых рук; что память, вначале не способная

удержать все эти подробности, лишь позднее, часть за частью, слово за словом, возродила их. Они были отысканы, реконструированы, заботливо восстановлены со всеми их «вокруг да около», до блеска отполированы и как бы залиты огнем светильников, зажженных перед ними во славу того значения, которое они нежданно-негаданно получили в дальнейшем.

Под учащенное биение сердца, ими вызванное и бывшее естественным следствием путешествия в страну юности, они начали сливаться, перешли в замысловатую нелепицу сновидения и растворились в дремоте, после рано начатого дня и дорожной тряски на добрых два часа объявшей шестидесятилетнюю женщину.

Покуда Шарлотта спала, забыв о своих тревогах, о чужой гостиничной комнате, где она лежала, этой прозаической станции по пути в страну юности, на придворной церкви во имя святого Иакова пробило десять и половина одиннадцатого, а она все продолжала спать. Проснулась она, прежде чем ее разбудили, от подсознательного ощущения приближающейся извне помехи, невольно торопясь предупредить ее. Может быть, она отнеслась бы к ней менее настороженно, если бы не предчувствие, что ее сон будет нарушен не заждавшейся сестрою, но вестью из другой, тревожащей ее сферы.

Она села, взглянула на часы, немного испугалась позднего времени, ничего другого не имея в мыслях, кроме того, что ей надо спешить к родственникам. Но едва она начала приводить в порядок свой туалет, как в дверь постучали.

– Что там такое? – спросила она досадливо и даже жалобно. – Сюда нельзя!

– Это только я, госпожа советница, – отвечали за дверью. – Я, Магер. Прошу прощения, госпожа советница, за беспокойство, но дело в том, что одна дама, мисс Гэзл из девятнадцатого номера, английская дама, проживающая у нас...

– Ну, и что же дальше?

– Я бы не посмел нарушить покой госпожи советницы, – продолжал Магер, – но мисс Гэзл, узнав о пребывании госпожи советницы в нашем доме и городе, покорнейше просит уделить ей хотя бы несколько минут.

– Передайте этой даме, – отвечала Шарлотта из-за двери, – что я не одета и, как только оденусь, должна буду немедленно уйти. Передайте мои сожаления.

Но вразрез с этими словами, она накинула на себя пудермантель; твердо решив отразить нападение, она в случае неудачи все же не хотела быть застигнутой врасплох.

– Мне не надо будет передавать это мисс Гэзл, – отвечал Магер из коридора. – Она все слышит сама, так как стоит рядом со мной. Дело в том, что мисс Гэзл крайне необходимо хотя бы на минутку повидать госпожу советницу.

– Но я не знаю этой дамы! – с сердцем воскликнула Шарлотта.

– Именно поэтому, госпожа советница, – возразил коридорный, – мисс Гэзл придает столь большое значение хотя бы беглому знакомству с госпожой советницей. She wants to have just a look at you, if you please[1 - Она хочет только взглянуть на вас, если позволите (англ.)], – произнес он, искусно артикулируя ртом и как бы перевоплощаясь в просительницу, что, видимо, и послужило для нее сигналом самой взяться за дело, изъев его из рук посредника; за дверью тотчас же послышалась взволнованная тарабарщина, произносимая высоким детским голосом, поток слов отнюдь не прекращающийся, но

под отчетливо выделенные «most interesting»; «highest importance»[2 - Весьма интересно, очень важно (англ.).] – так неудержимо льющийся дальше, что осажденная почла за благо сложить оружие. Шарлотта отнюдь не намеревалась предупредительным переходом на английский язык облегчать им хищение ее времени и все же была достаточно немкой, чтобы объяснить свою капитуляцию полушутливым «Well, come in please»[3 - Хорошо, войдите (англ.).], и тотчас же рассмеялась на Магеро «thank you so very much»[4 - Покорно вас благодарю (англ.).], с которым он распахнул дверь, чтобы, в низком поклоне перевесившись через порог, впустить мисс Гэзл.

– Oh dear, oh dear![5 - О боже, боже! (англ.).] – воскликнула маленькая женщина оригинальной и веселой наружности. – You have kept me waiting – вы заставили меня ждать, but that is as it should be[6 - Но это не существенно (англ.).]. Мне временами требовалось куда больше терпения, чтобы добиться цели. I am Roze Gazzle. So glad to see you[7 - Я Роза Гэзл и так рада видеть вас (англ.).]. – Едва только, пояснила она, ей стало известно через горничную, что миссис Кестнер сегодня приехала в этот город и стоит в той же гостинице, через два номера от нее, как она, не долго думая, отправилась с визитом. Ей отлично известно («I realise»), сколь важную роль сыграла миссис Кестнер in german literature and philosophy[8 - В немецкой литературе и философии (англ.).]. Вы знаменитая женщина, a celebrity, and that is my hobby, you know the reason I travel...[9 - Знаменитость, а это мой конек, цель моих путешествий (англ.).] Не разрешит ли dear миссис Кестнер на скорую руку набросать ее очаровательное лицо вот в этом альбоме для зарисовок?

Альбом широкого формата в холщовом переплете она держала под мышкой. Над ее лбом пылали красные локоны, красным казалось и ее лицо с веснушчатым вздернутым носом, толстыми, но приятно очерченными губами, открывавшими белоснежные здоровые зубы; глаза у нее были сине-зеленые, тоже весьма приятные, хотя иногда они вдруг начинали косить. На ней было платье a la grecque[10 - В греческом стиле (фр.).] из легкой цветистой материи, избыток которой в виде шлейфа она держала переброшенным через руку; ее грудь, такая же веснушчатая, как и нос, казалось, вот-вот весело выкатится из выреза платья, на античный манер высоко схваченного кушаком. Прозрачная шаль прикрывала ее плечи. По виду Шарлотта дала ей лет двадцать пять.

– Дитя мое, – произнесла она, несколько уязвленная в своих бюргерских понятиях бойкой эксцентричностью этой девицы и все же готовая проявить светскую терпимость, – милое дитя, я весьма польщена интересом, который внушает вам моя скромная особа. Позвольте еще добавить, что ваша решительность мне очень понравилась. Но вы видите, как мало я подготовлена к приему гостей, а тем более к позированию для портрета. Я собираюсь уходить, мои милые родственники уже заждались меня. Я очень рада знакомству с вами, хотя бы и беглому, как вы сами выразились, на последнем мне, к сожалению, приходится настаивать. Мы видели друг друга – все остальное шло бы уже вразрез с уговором. Итак, позвольте одновременно с приветствием пожелать вам всего наилучшего.

Неизвестно, поняла ли мисс Гэзл ее слова; во всяком случае, она не обратила на них ни малейшего внимания. Продолжая величать Шарлотту «dear» и быстро двигая забавными толстыми губами, она неудержимо пыталась втолковать ей на своем непринужденном и юмористически светском языке смысл и цель своего визита, посвятить ее в деятельную жизнь страстного следопыта-коллекционера.

Собственно, она была ирландка. Она много путешествовала, делая зарисовки, причем цель и средства с трудом поддавались различию.

Видимо, ее талант был недостаточно велик, чтобы не искать поддержки в

сенсационности объекта; живость же и практическая сметка слишком велики, чтобы удовлетвориться терпеливым совершенствованием своего искусства. Потому ее вечно видели в погоне за звездами современной истории или в поисках прославленных местностей, которые заносились в ее альбом, по мере возможности скрепленные удовлетворяющими подписями. Шарлотта дивилась, слушая, где только ни побывала эта девушка. Аркольский мост, афинский Акрополь; дом, где родился Кант, в Кенигсберге, она зарисовала углем. Сидя в шаткой лодчонке, прокат которой ей обошелся в пятьдесят фунтов, она запечатлела на Плимутском рейде императора Наполеона, когда он после торжественного обеда появился с табакеркой в руке на палубе «Беллерифонта». Рисунок вышел неважный, она сама в этом признавалась: невообразимая толчея лодок, наполненных кричащими «ура» мужчинами, женщинами, детьми, качка, а также краткость императорского пребывания на палубе весьма отрицательно отозвались на ее работе; и сам герой, в треуголке и расстегнутом сюртуке с развевающимися фалдами, выглядел, как в кривом зеркале: приплюснутым сверху и комично раздавшимся в ширину. Несмотря на это, ей все же удалось через знакомого офицера исторического корабля заполучить его автограф или, вернее, торопливую каракулю, которая должна была сойти за таковой.

Герцог Веллингтон удостоил ее той же чести. Превосходную добычу дал Венский конгресс. Необыкновенная быстрота, с которой работала мисс Гэзл, позволяла самому занятому человеку между делом удовлетворить ее притязания. Так поступили: князь Меттерних, господин Талейран, лорд Кестльри, господин фон Гарденберг и многие другие представители европейских держав. Царь Александр признал и скрепил подписью свое курносое изображение, вероятно потому, что художнице удалось из жидких волос, торчащих вокруг его лысины, создать некое подобие лаврового венца. Портреты Рахили фон Варнгаген, профессора Шеллинга и князя Блюхера фон Вальштадт доказывали, что и в Берлине она не теряла времени даром. Она везде умела его использовать. Холщовый переплет ее альбома скрывал еще немало трофеев, которые она, оживленно их комментируя, показывала опешившей Шарлотте. В Веймар ее привлекла слава этого города, of this nice little place<sup>[11 - Этого прелестного уголка (англ.)]</sup>, как средоточия прославленной немецкой культуры, – для нее он был полем охоты за знаменитостями. Она сожалела, что поздно выбралась сюда.

Old<sup>[12 - Старый (англ.)]</sup> Виланд, а также Гердер, которого она называла great preacher<sup>[13 - Великий проповедник (англ.)]</sup>, и the man who wrote the «Brigands»<sup>[14 - Человек, который написал «Разбойников» (англ.)]</sup>, то есть Шиллер, умерли и таким образом от нее ускользнули. Правда, в ее записках значилось, что здесь все еще живут писатели, на которых стоит поохотиться, как, например, господина Фальк и Шютце. Вдову Шиллера она уже заполучила в альбом, а также мадам Шопенгауэр и несколько наиболее известных актрис придворного театра – Энгельс и Лорцинг, например. До госпожи фон Гейгендорф, вернее Ягеманн, ей еще не удалось добраться. Но она тем настойчивее стремилась к этой цели, что через посредство прекрасной фаворитки надеялась открыть себе доступ и ко двору. Кое-какие зацепки для проникновения к великой княгине, супруге наследного принца, у нее уже имелись. Что касается Гете, чье имя, как, впрочем, и большинство имен, она выговаривала столь ужасно, что Шарлотта долго не понимала, кого она, собственно, имеет в виду, то она и здесь уже напала на след, хотя дичь еще пряталась в кустах. Весть о том, что знаменитая «модель» героини прославленного романа с сегодняшнего утра находится в городе, в той же гостинице, чуть ли не в соседнем номере, наэлектризовала ее не только из-за самого объекта, но и потому, что благодаря этому знакомству – откровенно призналась она – можно будет убить двух зайцев сразу: Вертерова Лотта, без сомнения, проложит ей дорогу к автору «Фауста»; а последнему стоит только замолвить слово, и перед ней распахнутся двери госпожи Шарлотты фон Штейн. Об отношении этой леди к образу Ифигении в ее записной книжке, в отделе german literature and philosophy<sup>[15 - Немецкая литература и философия (англ.)]</sup> значилось кое-что для памяти, что она и не

замедлила показать ее тезке из царства прообразов.

Случилось так, что Шарлотта, в своем белом пудермантеле, вместо нескольких минут, просидела с Розой Гэзл три четверти часа. Увлеченная наивной прелестью и веселой энергией маленькой женщины, подавленная величием ее охотничьих трофеев, она недоумевала, стоит ли считать пошлостью такой художественный спорт, или лучше на все это взглянуть сквозь пальцы: как-никак лестно быть причисленной к большому свету, дыханием которого веяло от «охотничьих записок» мисс Гэзл, быть принятой в сонм славных, запечатленных на этих страницах. Короче – жертва своей общительности – Шарлотта сидела в одном из обитых кретоном кресел, с улыбкой прислушиваясь к болтовне странствующей художницы, которая рисовала ее, примостившись напротив.

Она делала это виртуозно, слышными штрихами, видимо не всегда столь же удачными, сколь уверенными, так как ей часто приходилось стирать их большой резинкой, причем она не проявляла ни малейшей нервозности. Шарлотте было приятно встречать взгляд этих слегка косящих глаз, не причастных болтовне художницы. Веселую бодрость вселял вид ее округлых груди, белоснежных зубов и оттопыренных губок, рассказывающих о далеких странах, о встречах со знаменитыми людьми. Все это было в одинаковой мере безобидно и интересно, почему Шарлотта на малый срок и позабыла о том, что ей пора уходить. Если бы Лотхен-младшая и подосадовала на это вторжение, то тревогу о душевном состоянии матери она бы здесь не могла выставить истинной причиной своего недовольства. Нескромности со стороны этой маленькой представительницы англосаксонской расы опасаться не приходилось; она была ей несвойственна. Это действовало успокоительно и придавало особую прелесть общению с ней. Говорила только она, Шарлотта с улыбкой ее слушала и от души посмеялась над одной из историй, которую Роза протараторила, не прерывая работы. Однажды, в горах Аbruции, ей удалось включить в свою коллекцию разбойничьего атамана по имени Бокаросса, и прославленный своею храбростью и жестокостью бандит так растрогался оказанным ему вниманием, так по-детски обрадовался своему воинственному изображению, что приказал разбойникам отдать салют в честь мисс Розы из воронкообразных коротких ружей и под надежным эскортом выпроводил ее за пределы действий своей шайки. Шарлотту немало позабавила дикая и, как она решила, довольно тщеславная рыцарственность ее соседа по альбому. Слишком увлеченная, чтобы удивиться тому, откуда вдруг взялся Магер, она вопросительно взглянула на коридорного, многократный стук которого они за разговором и смехом не расслышали.

– Beg your pardon[16 - Прошу прощения (англ.)], – сказал он. – Очень сожалею, что нарушил собеседование, но господин доктор Ример просит передать, что он был бы весьма счастлив засвидетельствовать свое почтение госпоже советнице.

### Глава третья

Шарлотта торопливо привстала.

– Это вы, Магер? – растерянно спросила она. – Что случилось? Господин доктор Ример? Какой такой доктор Ример? Уж не докладываете ли вы о новом госте? Что вам взбрело на ум? Это же невозможно! Который теперь час? Так поздно! Милое дитя – обратилась она к мисс Розе, – нам необходимо закончить нашу дружескую беседу. На что это похоже? Мне пора одеваться и уходить. Меня уже заждались! Всего хорошего! А вы, Магер, скажите этому господину, что я не могу его принять, что я уже ушла.

– Слушаюсь, – отвечал Магер, покуда мисс Гэзл спокойно продолжала заниматься своим

делом. – Слушаюсь, госпожа советница. Но я не хотел бы выполнить приказание госпожи советницы... не убедившись, что ей известно тождество господина...

– Какое там еще тождество! – в сердцах воскликнула Шарлотта. – Да оставите ли вы меня, наконец, в покое с вашими тождествами? Мне некогда! Скажите этому господину...

– Незамедлительно, – покорно согласился Магер. – Но я все же считаю своим долгом поставить в известность госпожу советницу, что речь идет о господине Римере, докторе Фридрихе Вильгельме Римере, секретаре и доверенном лице его превосходительства господина тайного советника. Не исключено, что господин доктор является посланцем...

Шарлотта опешила, покраснела, и дрожанье ее головы заметно усилилось, когда она взглянула на Магера.

– Ах, так! – нерешительно произнесла она. – Но, все равно, я не могу принять этого господина, я никого не могу принять. Право, не понимаю, о чем вы, собственно, думали, предполагая, что я его приму? Вы контрабандой ввели ко мне мисс Гэзл, а теперь хотите, чтобы я, полуодетая, среди такого беспорядка принимала еще и доктора Римера?

– Этой беде можно помочь, – возразил Магер, – у нас в первом этаже имеется гостиная. В надежде на согласие госпожи советницы, я попросил господина доктора подождать, покуда госпожа советница закончит свой туалет, и затем хотел просить позволения госпожи советницы проводить ее вниз на несколько минут.

– Надеюсь, – сказала Шарлотта, – что речь идет все же о других минутах, чем те, которые я посвятила этой очаровательной барышне. Милое дитя, – обратилась она к Гэзл, – вы сидите рисуете... Вы видите мое положение! Благодарю вас за приятную встречу, но то, что вы еще не успели нарисовать, вам, к сожалению, придется восстановить по памяти.

Ее предупреждение оказалось излишним. Мисс Роза, ослабившись, объявила, что она готова.

– I am quite ready![17 - Я совсем готова! (англ.)] – воскликнула она, держа свое произведение в вытянутой руке и разглядывая его прищуренным глазом. – I am ready[18 - Я готова (англ.)]. Хотите посмотреть?

Хотел этого в первую очередь Магер, который тотчас же приблизился.

– Превосходный рисунок, – решил он с видом знатока. – И документ большого значения.

Шарлотта, озабоченная приведением в порядок своего туалета, едва взглянула на свежевозникшее произведение искусства.

– Да, да, очень мило, – пробормотала она. – Это я? О да, конечно, сходство есть. Мою подпись? Давайте сюда – только поскорей...

Не присаживаясь, она начертала углем свою подпись, по беглости не уступавшую наполеоновской, торопливым кивком ответила на прощальное приветствие ирландки и велела Магеру просить господина Римера набраться терпения еще на несколько минут.

Когда, уже одетая для выхода, в шляпе и мантилье, с ридикюлем и зонтиком в руках, она покинула свою комнату, Магер дожидался ее в коридоре. Он проводил ее вниз по лестнице в первый этаж и, пропуская вперед, распахнул дверь в гостиную. При ее появлении посетитель поднялся со стула, рядом с которым стоял на полу его цилиндр.

Доктор Ример – человек лет сорока, среднего роста, с густыми зачесанными на виски каштановыми волосами, уже слегка тронутыми сединой, с широко расставленными и выпуклыми глазами, с прямым мясистым носом и мягким ртом, вокруг которого залегала какая-то брюзгливая, недовольная складка, – был одет в коричневый сюртук, с высоким воротником, подпиравшим затылок, и пикейный жилет, в вырезе которого виднелись скрещенные концы галстука. Его белая рука, украшенная кольцом-печаткой, сжимала набалдашник трости с болтавшейся на нем кисточкой. Голову он держал несколько набок.

– Ваш покорный слуга, госпожа советница, – произнес он звучным носовым голосом. – Не могу не упрекнуть себя за непростительно поспешный визит. Такое отсутствие самообладания, бесспорно, менее всего подобает наставнику юношества. Но что поделаешь, если время от времени во мне аукается поэт; едва только слух о прибытии госпожи советницы разнесся по городу, я почувствовал непреодолимое желание тотчас же явиться сюда засвидетельствовать свое почтение и приветствовать в наших стенах женщину, чье имя столь тесно связано с отечественной историей, я бы даже сказал – с формированием наших сердец.

– Господин доктор, – проговорила Шарлотта, с церемонной обстоятельностью отвечая на его поклон, – внимание человека ваших заслуг нам весьма лестно.

То, что эти заслуги были ей несколько темны, приводило ее в замешательство. Она обрадовалась напоминанию, что он является воспитателем юношества, и новой для нее вести – что он поэт. Но в то же время эти сведения пробудили в ней нечто вроде досады или нетерпенья, так как они оттесняли основное и решающее качество этого человека, – его высокое служение тому. Она тотчас же почувствовала, сколь важно для гостя, чтобы значение и достоинство его особы не исчерпывались этим служением, – и удивилась такой причуде. Должен же он, по крайней мере, понимать, что для нее его значение определялось одним: вестник ли он оттуда, или нет? Она решила деловито направить разговор на разрешение этого вопроса и, довольная тем, что ее туалет с несомненностью свидетельствовал об ее намерениях, продолжала:

– Разрешите поблагодарить вас за то, что вы называете вашим нетерпением и что я считаю рыцарственным порывом. Правда, меня удивляет, что слух о событии столь частного характера, как мой приезд в Веймар, уже дошел до вас. Я спрашиваю себя, кто мог сообщить вам это известие? Надеюсь, моя сестра, камеральная советница, – торопливо добавила она, – на пути к которой вы меня застаете, скорее простит мне мое опоздание, узнав о столь приятном посещении, а также о другом, ему предшествовавшем, хотя и не столь лестном, но достаточно забавном: я имею в виду визит одной странствующей художницы, почему-то пожелавшей как можно скорей нарисовать портрет старой женщины – задача, с которой она, насколько я понимаю, справилась довольно относительно... Но не лучше ли нам присесть?

– Так, так, – отвечал Ример, продолжая держаться за спинку стула, – по-видимому, госпоже советнице пришлось столкнуться с одной из тех недостаточно уравновешенных натур, которые несколькими штрихами хотят создать слишком многое.

Мне лишь в наброске удалось Запечатлеть живое, –

с улыбкой процитировал он. – Но я вижу, что меня опередили, и если я чувствую себя до известной степени утешенным, узнав, что другие разделили со мной мое нетерпение, то тем более сознаю необходимость умеренно пользоваться благосклонным мгновением. Конечно, цель тем заманчивее, чем труднее ее достичь, и мне, госпожа советница,

признаюсь, будет нелегко тотчас же отказаться от счастья видеть вас, после того как я с таким трудом проложил себе к вам дорогу!

– С трудом? – удивилась она. – Мне кажется, что человек, которому здесь дана власть вязать и разрешать, а именно наш господин Магер, отнюдь не похож на цербера.

– Пожалуй, – согласился Ример. – Но да убедится госпожа советница самолично.

С этими словами он подвел ее к окну, выходявшему, как и окно ее спальни, на Рыночную площадь, и приподнял накрахмаленную занавеску.

Площадь, в час ее приезда по-утреннему пустынная, теперь была полна людей, стоявших кучками и глазевших на окна гостиницы. Больше всего народа толклось у подъезда, где два фельдфебеля старались оттереть от дверей непрерывно умножавшуюся толпу, которая состояла из ремесленников, торгового люда, женщин с детьми на руках, а также почтенных бюргеров.

– Боже милосердный! – проговорила Шарлотта, и голова ее снова задрожала. – Кого они высматривают?

– Кого же, как не вас, сударыня, – отвечал доктор. – Слух о вашем прибытии распространился с молниеносной быстротой. Смею вас заверить, да, впрочем, вы, госпожа советница, видите это сами, что город стал похож на разворошенный муравейник. Каждый надеется уловить хоть отблеск вашего сияния. Эти люди у ворот ждут, когда вы выйдете из дому.

Шарлотта невольно опустилась в кресло.

– Бог ты мой! – сказала она. – И это мне удружил все тот же несчастный энтузиаст Магер. Он раззвонил во все колокола о нашем приезде. И надо же было, чтобы эта странствующая рисовальщица помешала мне уйти, куда выход был свободен! Но эти люди там, внизу, господин доктор, – неужто они не нашли ничего лучшего, как осадить квартиру старой женщины, отнюдь не расположенной изображать из себя какого-то диковинного зверя и не имеющей в помыслах ничего, кроме своих частных дел.

– Не сердитесь на них, – сказал Ример. – Этот натиск свидетельствует о чувствах более благородных, нежели простое любопытство, а именно о наивной преданности наших жителей высшим интересам науки, о популярности духовного начала, не делающейся менее трогательной и отрадной, даже если к ней примешиваются известные экономические соображения.

Разве мы не должны радоваться, – продолжал он, возвращаясь со смятенной Шарлоттой в глубину комнаты, – если толпа, согласно ее собственному примитивному убеждению извечно презирающая дух, приходит к почитанию этого духа единственно доступным ей путем – признанием его полезности? Наш многопосещаемый городок извлекает немало ощутимой пользы из поклонения немецкому гению, который для всего мира концентрируется в нем, для нас же, здешних жителей, в свою очередь сосредоточивается в одном лице. Так можно ли удивляться, что веймарцы мало-помалу привыкли уважать то, что некогда казалось им вздором, и ныне почитают гуманитарные науки и все с ними связанное кровным своим интересом? При этом – творения духа недоступны им, как и всякой другой толпе, – они в первую очередь преклоняются, конечно, перед личностями, благодаря которым или ради которых возникли эти творения.

– Мне кажется, – возразила Шарлотта, – вы одной рукой даете этим людям то, что другой



от них отнимаете. Вы, видимо, хотели объяснить их столь тягостное для меня любопытство высокими побуждениями, но тут же подвели материально-корыстную основу под их благородный порыв, а это уже ничуть не утешает меня и даже кажется мне обидным.

– Уважаемая, – сказал он, – о столь двусмысленном создании, как человек, едва ли можно говорить недвусмысленно, и, право же, такая его оценка ничуть не погрешает против гуманности. Мне думается, что видеть не только положительные и отрадные проявления жизни, но и ее изнанку с подчас непрезентабельными узлами и путаницей ниток, отнюдь не значит быть мрачным мизантропом, а скорее – другом всего живущего. У меня есть основания заступаться за этих зевак, там у ворот, ибо только мое достаточно высокое общественное положение разнит меня от них и, не стой я сейчас по счастливой и завидной случайности здесь перед вами, я смешался бы с толпой там, внизу, и меня тоже отгонял бы от двери фельдфебель. Порыв, приведший сюда этих людей, определил, пусть несколько в более возвышенном и утонченном виде, и мое поведение, когда час назад мой парикмахер, за бритьем, сообщил мне городскую сенсацию: в восемь часов утра прибыла в почтовой карете и остановилась в «Слоне» Шарлотта Кестнер. Я знал так же хорошо, как он, как весь Веймар, знал и глубоко чувствовал, что значит это имя. Мне больше не сиделось в моих четырех стенах, и, прежде нежели я успел отдать себе отчет в своих действиях, я уже был одет и спешил сюда засвидетельствовать вам свое почтение – почтение незнакомца с родственной судьбой, даже брата, чье существование на иной, мужской, лад также причастно великой жизни, которой дивится весь мир, – передать вам братский привет человека, чье имя, имя друга и помощника, грядущие поколения вынуждены будут упоминать всякий раз, когда речь пойдет о Геркулесовых подвигах титана.

Шарлотте, несколько неприятно задетой, показалось, что при этих тщеславных словах складка вокруг губ доктора Римера углубилась, словно в его претенциозном требовании к потомству уже заключалось сомнение в том, что оно таковое выполнит.

– Ай, ай, – сказала она, взглянув на гладко выбритое лицо ученого мужа.

– Ваш парикмахер, видно, болтун! Ну, да это свойственно его профессии. Но всего час назад? Похоже, господин доктор, что я познакомилась с любителем сладко поспать?

– Не смею запыряться, – ответил он и как-то понуро улыбнулся.

Они сели на стулья с резными спинками, у столика, под портретом великого герцога, на котором он был изображен еще юношей, в высоких сапогах и при орденской ленте, облокотившись на античный постамент, отягощенный всевозможными воинственными эмблемами. Гипсовая Флора в складчатой тунике украшала скупо мебелированную, но украшенную богатым мифологическим орнаментом комнату. Белая колоннообразная печка, обвитая мраморной гирляндой, в противоположной нише являла собою как бы pendant к богине.

– Не смею запыряться, – продолжал Ример, – в этой моей слабости к утреннему сну. И если б можно было сказать: «придерживаться» слабости, я выбрал бы именно это выражение. Не покидать постели при первом крике петуха – доподлинная привилегия свободного человека, занимающего видное общественное положение. Я позволял себе роскошь спать до наступления дня, даже когда проживал на Фрауенплане, – хозяин дома должен был предоставить мне эту вольность, хотя сам он, в соответствии со своим точным, чтобы не сказать педантическим, культом времени, начинал день несколькими часами раньше. Мы, люди, устроены не одинаково. Один находит удовлетворение в том, чтобы опережать других, и садится за работу, когда весь дом еще спит, другой любит

посибаритствовать и понежиться в объятиях Морфея, даже когда докучная необходимость уже стучится в дверь. Главное – это терпимое отношение друг к другу, – а в уменье быть терпимым учитель, надо сознаться, истинно велик, хотя от этой его терпимости иной раз становится не по себе.

– Не по себе? – обеспокоенно переспросила она.

– Неужто я сказал: не по себе? – удивился Ример, рассеянно оглядывавший комнату, и воззрился на Шарлотту своими широко расставленными, чуть выпуклыми глазами. – В его близости чувствуешь себя превосходно – разве иначе человек столь нервной конституции, как я, мог бы девять лет, почти бессменно, состоять при нем? Да, да, превосходно! Правда, есть высказывания, которые сначала нуждаются в решительном преувеличении, чтобы затем свестись почти к столь же решительному ограничению. Это крайность, включающая в себя свою противоположность. Истина, уважаемая, не всегда довольствуется логикой; чтобы не отступить от истины, приходится временами себе противоречить. Высказывая эту мысль, я не более как ученик того, о ком мы сейчас говорили; он нередко произносит сентенции, содержащие в себе свою противоположность, из любви к правде или из своеобразного вероломства – этого я не знаю и знать не могу. Желательнее предположить первое, ибо он и сам считает, что куда труднее и честнее умиротворить людей, нежели смутить их... Я боюсь отклониться в сторону. Что касается меня, то я не поступлюсь правдой, говоря о великом счастье, которое испытываешь вблизи от него, – хотя и здесь наталкиваешься на мучительную противоположность, тяжелое чувство, до такой степени тяжелое, что трудно становится усидеть на стуле и так и порываешься бежать. Дражайшая госпожа советница, это прочные противоречия, они держатся девять лет, тринадцать лет, ибо их сменяет любовь и восхищение, которые, как гласит писание, превыше разума...

Он запнулся. Шарлотта молчала, во-первых, потому, что ждала продолжения, во-вторых, потому что мысленно сравнивала его одновременно уклончивые и уязвленно-язвительные вести из того далекого мира со своими воспоминаниями.

– Что касается его терпимости, – начал он снова, – чтобы не сказать: склонности к попустительству, – видите, я рассуждаю вполне логично и отнюдь не теряю нити, – то здесь надо различать между толерантностью, порождаемой смирением, – я имею в виду христианское, в широком смысле христианское чувство собственной греховности и потребности в индульгенции, – нет, даже не это; в сущности, я говорю о различии между толерантностью, порождаемой любовью, и другой, которая вызвана равнодушием, небрежением и ранит больше любой строгости и нетерпимости, которая, исходя она от бога, была бы невыносимой и уничтожающей, но и тогда, по всем нашим понятиям, в ней оставалась бы доля любви, – а здесь и этого нет; такая терпимость в равной мере состоит из любви и презрения и ничего божественного в себе не имеет; может быть, потому-то ее не только сносят, ей предаются в пожизненное рабство... Что я хотел сказать? Не напомним ли вы мне, почему мы об этом заговорили? Сознаюсь, на мгновение я все-таки утратил нить...

Шарлотта смотрела, как он сидел, скрестив свои холеные руки на набалдашнике трости и уставившись в пространство натруженными воловьими глазами, и вдруг поняла отчетливо и ясно, что он пришел не ради нее, но воспользоваться ею как предлогом, чтобы поговорить о своем господине и учителе, и, быть может, таким путем приблизиться к решению долголетней загадки, тяготевшей над его жизнью. Она внезапно почувствовала себя в роли Лотхен-дочери, прознавшей все предлоги и поводы и презирающей благой самообман. Она почти готова была просить у него прощения, ибо, говорила она себе, мы не повинны в своей прозорливости, навязанной нам извне и вопреки нашей воле. Вдобавок и сознание, что тобою пользуются как «средством», тоже

не очень лестное сознание. Тем не менее она не вправе упрекать этого человека, ибо приняла его также не ради него, как не ради нее он пришел сюда. Ведь и ее привело в эти стены беспокойство, вечно тревожащее воспоминание о неразгаданном и нечаянно разросшемся прошлом, неодолимое желание оживить его и «экстравагантно» связать с настоящим. Они были в известной мере соучастники, гость и она, и сошлись здесь, точно по сговору, во имя чего-то постороннего, мучительно счастливающего, загадочного, державшего их обоих в болезненном напряжении, что могло быть понято и до какой-то степени разгадано только с помощью взаимных усилий. Она натянуто улыбнулась и сказала:

– Ничего нет удивительного, мой милый господин доктор, что вы теряете нить разговора, если по поводу такой невинной и маленькой слабости, как любовь хорошенько поспать, пускаетесь в столь пространные рассуждения и разбирательства. Ученый, сидящий в вас, сыграл с вами злую шутку. Но на чем мы остановились? Вы могли потакать этой слабости, как вам угодно было выразиться, – я бы просто назвала ее привычкой, – в той вашей прежней должности, но ведь теперь, если я не ошибаюсь, вы состоите на казенной службе в качестве преподавателя здешней гимназии, не правда ли? Как же вам удастся совместить это пристрастие, которому вы, видимо, придаете значение, с вашей нынешней деятельностью?

– С грехом пополам, – отвечал он, закидывая ногу за ногу и кладя на колени трость, которую он теперь держал за оба конца, – и только ввиду уважения к прежней моей должности, несравненно более видной и слишком хорошо известной, чтобы не снискать мне права на эту небольшую поблажку. Госпожа советница верно заметила, – выпрямляясь, добавил он, ибо сидеть с палкой на коленях считал не совсем учтивым и принял эту позу лишь на минуту, в знак уважения к собственной персоне, – уже четыре года, как я служу в здешней гимназии и живу своим домом. Соображения, потребовавшие этой перемены, были неоспоримы. При всех духовных и материальных преимуществах моего житья в доме великого человека, для меня, уже достигшего тридцатидевятилетнего возраста, было в известной мере делом мужской чести – этого наиболее уязвимого из чувств, уважаемая, – так или иначе встать на собственные ноги. Я говорю «так или иначе», ибо мои желания, мои мечты шли дальше этого учительского прозябания и так и не освоились с ним, – я стремился к более высокому наставничеству, к академической карьере – по следам моего почтенного учителя, знаменитого филолога Вольфа из Галле. Но рок судил иначе. Это может показаться странным, не правда ли? Можно было бы предположить, что общественное долголетнее сотрудничество с тайным советником послужит наилучшим трамплином для достижения моей заветной цели,

– надо ли говорить, что столь высокая дружба и покровительство с легкостью могли бы доставить мне желанное место в одном из немецких университетов? Мне кажется, я читаю именно этот вопрос в ваших глазах? Могу только сказать: вопреки всем человеческим ожиданиям и расчетам, я не был удостоен этого поощрения, протекции, этого вознаграждающего представительства, – но что пользы предаваться горьким размышлениям! Правда, временами – о да! – я день и ночь ломаю себе голову над этой загадкой. Но это бессмысленное занятие, оно ни к чему не приводит, да и не может привести. Великим людям недосуг думать о личной жизни и о личном счастье своих помощников, сколько бы пользы те ни принесли им и их делу. Видимо, они должны прежде всего думать о себе, но если для них, в ущерб нашим личным интересам, на весах перетягивает нужда в наших услугах, наша незаменимость, то это так почетно, так лестно, что мы охотно становимся на их точку зрения и подчиняемся их воле с горькой, но в то же время и гордой радостью. Так, например, по зрелом размышлении, я счел себя вынужденным отклонить недавно предложенную мне вакансию в Ростокском университете.

– Почему?

– Потому, что я хотел остаться в Веймаре.

– Но, господин доктор, простите меня, тогда вам не на что жаловаться.

– А разве я жалуясь? – опять удивленно переспросил он. – Это отнюдь не входило в мои намерения; вы, видимо, неправильно поняли меня. Я всего только размышляю о противоречиях жизни, сердца и высоко ценю возможность потолковать об этом с умной женщиной. Расстаться с Веймаром? О нет! Я люблю его, я привязан к нему. За тринадцать лет я сроднился с жизнью этого города. Я приехал сюда уже тридцатилетним человеком из Рима, где был воспитателем детей прусского посла господина фон Гумбольдта. Его рекомендациям я обязан своим пребыванием здесь. Недостатки и теневые стороны? Веймар имеет недостатки и теневые стороны, свойственные человечеству – и прежде всего человечеству провинциальному. Пусть это мерзкое гнездо тупоумных придворных льстецов, спесивых и отсталых, пусть честному человеку здесь так же трудно, как и всюду на свете, – может быть, даже труднее; наверху, как и полагается, сидят плуты и бездельники, пожалуй более откровенные, чем где-либо. Зато это хорошая питательная среда, славный городок, – право же я не представляю себе другого места, где бы я теперь мог или хотел жить. Видели ли вы уже что-нибудь из наших достопримечательностей? Дворец? Экзерцирплац? Наш театр? Прекрасные парковые насаждения? Ну, да вы еще успеете на все это насмотреться. Вы подивитесь кривизне наших улочек. Но приезжему следует помнить, что наши достопримечательности примечательны не сами по себе, а тем, что они веймарские. С чисто архитектурной точки зрения наш дворец не бог весть что, театр хотелось бы видеть более грандиозным, что же касается Экзерцирплаца, так это просто-напросто нелепая затея. На первый взгляд кажется непонятным, почему такой человек, как я, всю свою жизнь трется среди этих кулис и декораций и чувствует себя до того приверженным к ним, что даже отказывается от назначения, венчающего мечты и желания, владевшие им с юных лет. Я возвращаюсь к Росток, ибо мне кажется, что вы, госпожа советница, не совсем уяснили себе мотивы моего отказа. Видите ли, я отклонил столь почетную пропозицию под известным давлением, а именно под давлением обстоятельств. Принять ее мне было запрещено, – я сознательно пользуюсь безличной формой, ведь существуют вещи, которые не приходится запрещать, ибо они сами по себе под запретом; впрочем, запрет может и здесь сказаться во взгляде или mine почитаемого тобою человека. Не всякий, уважаемая, рожден для того, чтобы идти своим путем, жить своею жизнью, быть кузнецом собственного счастья. Или, вернее, человек ничего не знает наперед. Он строит планы, носится со своими надеждами и вдруг нежданно-негаданно делает открытие, что его личная жизнь и личное счастье состоят в отказе от того и от другого. Для такого человека, как это ни парадоксально, личное состоит в отречении от самого себя, в служении делу, которое не является ни его делом, ни им самим; ибо это дело сугубо личное, более того – личность, отчего и служение ему становится механическим, подчиненным, – обстоятельство, искупаемое чрезвычайно высокой честью, с которой в глазах современников и потомства связано служение столь удивительному делу. Необыкновенной честью! Можно было бы, конечно, возразить, что честь человека в том, чтобы жить собственной жизнью, заниматься своим делом, пусть скромнейшим. Но судьба научила меня, что есть две чести – горькая и сладостная. И я мужественно избрал горькую, если человек вообще избирает, а не судьба делает за него выбор, не оставляя ему другого. Требуется много житейского такта, чтобы приспособиться к подобным велениям судьбы, примириться со жребием, вынутым ею, и прийти, если можно так выразиться, к компромиссу между горькой честью и сладостной, хотя к последней, несмотря ни на что, устремляются наши помыслы и честолюбие. К ней тяготеет наше мужское самолюбие, и оно-то и привело меня к несогласиям и недоразумениям, положившим предел моему долголетнему пребыванию в доме на Фрауенплане, и заставило меня довольствоваться местом преподавателя гимназии, к

чему я никогда не имел влечения. Вот вам один из неизбежных компромиссов – впрочем, его уважает и мое начальство, так что расписание греческих и латинских уроков составляется с учетом моих обязанностей, продолжающихся несмотря на то, что я больше не живу на Фрауенплане. В дни, когда, как, например, сегодня, там во мне не нуждаются, мне дается возможность воспользоваться светской прерогативой утреннего сна. Надо добавить, что я пошел еще дальше в этом согласовании горькой и сладостной чести, – назовем ее честью мужской, – основав собственный домашний очаг. Да, вот уже два года, как я состою в браке. Но и здесь, уважаемая, вы увидите все своеобразие «жизненного компромисса», в моем случае особо подчеркнутое. Упомянутый шаг должен был утвердить мою самостоятельность и помочь мне эмансипироваться от того дома горькой чести, на деле же он еще теснее связал меня с ним. Короче говоря, оказалось, что этот шаг ничуть не удалил меня от упомянутого дома, так что о шаге, в собственном смысле этого слова, по существу, не может быть и речи. Дело в том, что Каролина, моя супруга, – ее девичья фамилия Ульрих, – дитя все того же дома, юная сирота, несколько лет назад принятая туда в качестве компаньонки покойной советницы. Через некоторое время выяснилось непреложное желание всего дома: пристроить сироту. На лицах домочадцев, в их взглядах я читал, что во мне видят подходящую партию, и это пожелание тем легче вступило в компромисс с моим стремлением к самостоятельности, что девушка мне и в самом деле приглянулась... Но ваша доброта и терпение, уважаемая госпожа советница, побуждают меня излишне много говорить о себе...

– Нет, нет, прошу вас, – торопливо отвечала Шарлотта. – Я слушаю с большим интересом.

На деле она слушала с легким неудовольствием или, во всяком случае, со смешанными чувствами. Претензии и желчность этого человека, его тщеславное бессилие и беспомощная борьба за свое достоинство сбивали ее с толку, внушали ей презрение вместе с поначалу недружелюбным состраданием, которое, однако, постепенно перерождалось в чувство солидарности с посетителем и в известную удовлетворенность от сознания, что его манера выражаться давала и ей право – безразлично, пожелает она им воспользоваться или нет – высказаться и облегчить свою душу. Несмотря на это, она испугалась оборота, который он, словно угадав ее мысли, попытался дать разговору.

– Нет, – произнес он, – я злоупотребляю нашим положением жертв почетной блокады, блокады любопытства – военные события не настолько изгладились из нашей памяти, чтобы мы не могли спокойно, даже с юмором, примениться к подобной ситуации... Я хочу сказать, что плохо воспользуюсь благосклонностью мгновения, если не в меру добросовестно отнесусь к своему долгу отрекомендоваться вам. Право же, меня привело сюда желание не говорить, а видеть, слушать. Я назвал мгновение благосклонным, хотя на самом деле его следовало бы назвать драгоценным. Ведь вот я один на один с существом, к стопам которого несут свое растроганное благоговение и почитание все слои общества – от детски наивных масс до просвещеннейших людей эпохи, – с женщиной, имя которой стоит в начале или почти что в начале истории гения. Это имя навеки вплетено богом любви в его жизнь, а следовательно, и в историю становления отечественного духа, в царство немецкой мысли. И я, кому в свою очередь суждено было на свой, мужской, лад сыграть роль в истории и нередко служить советчиком герою, я, так сказать, вдыхающий тот же героический воздух, – как мог я не ощутить неудержимого влечения склониться перед вами, лишь только весть о вашем приезде коснулась моих ушей, – не увидеть в вас старшую сестру, мать, если хотите, близкую, родную душу, которой я стремился о многом поведать, но еще больше, – услышать от нее... Вот о чем я хотел спросить вас – вопрос уже давно вертится у меня на языке, – скажите мне, дорогая госпожа советница, скажите мне в отплату за мои, правда, куда менее интересные признания... Мы знаем, все знаем, всему человечеству известно, сколь много вы и ваш покойный супруг выстрадали из-за нескромности гения, из-за его, с обычной точки зрения трудно оправдываемого, поэтического своеуравия, позволившего

ему, не задумываясь, выставить ваши души, ваши взаимоотношения напоказ всему свету, буквально всему земному шару, и вдобавок смешать правду и вымысел с тем опасным искусством, которое умеет сообщать поэтический образ правдивому, а вымышленному придавать вид действительного, так что различие между тем и другим оказывается полностью снятым, сглаженным. Короче говоря, сколь много вы выстрадали из-за его беспощадности, пренебрежения верностью и верой, в которых он, конечно, был виновен, когда за спиной друзей втихомолку начал одновременно и возвеличивать и разоблачать то деликатнейшее, что может объединить троих людей... Все знают это, уважаемая, и все вам сочувствуют. Скажите мне, умоляю вас: как справились вы и покойный советник с этим гнетущим открытием, с этой участью насильственных жертв? Я хочу сказать: как и насколько удалось вам привести в согласие боль от жестоко нанесенной раны, обиду видеть свою жизнь обращенной в средство для достижения цели с иными, позднейшими чувствами, которые должно было возбудить в вас такое возвышение, такое могучее прославление вашей жизни? Если мне суждено будет от вас услышать...

– Нет, нет, господин доктор, – поспешно возразила Шарлотта, – во всяком случае, не теперь. Когда-нибудь в другой раз. Поверьте, это отнюдь не *façon de parler*[19 - Манера выражаться (фр.)], когда я говорю, что слушаю вас с живейшим вниманием, ведь ваши взаимоотношения с гением, несомненно, более интересны и примечательны.

– Это весьма спорно, уважаемая.

– Не будем обмениваться комплиментами. Не правда ли, вы родом из Северной Германии, господин профессор? Я заключила это по вашему произношению.

– Я силезец, – с достоинством отвечал Ример после короткой паузы. Его тоже одолевали двойственные чувства. Ее уклончивый ответ задел его; зато ее просьба продолжать говорить о себе не могла не прийтись ему по вкусу.

– Мои добрые родители, – продолжал он, – не пользовались изобилием благ земных. Не могу выразить, как бесконечно я признателен им, все положившим на то, чтобы дать мне возможность развить прирожденные способности. Мой учитель, тайный советник Вольф из Галле, возлагал на меня большие надежды. Моим заветным желанием было продолжать его дело. Карьера университетского преподавателя почетна и оставляет досуг для общения с менее постоянными музами, милостью которых я не совсем обойден, – она всего сильнее влекла меня, но где взять средства на то, чтобы долгие годы стоять в притворах храма? Мой большой греческий словарь – его научная известность, быть может, коснулась и вашего слуха, я издал его в четвертом году в Иене – занимал меня уже тогда. Недоходная слава, мадам! Я добился ее благодаря досугам, которые мне давала моя должность домашнего учителя при детях господина фон Гумбольдта, назначенного послом в Рим. Должность эту мне устроил Вольф. В таком звании я прожил несколько лет в Вечном городе. Засим воспоследовала новая рекомендация – моего дипломатического патрона его знаменитому веймарскому другу. Это было осенью 1803 года, достопамятной для меня, достопамятной, может быть, и для будущей, более подробной истории немецкой литературы. Я пришел, представился, внушил доверие. Предложение войти в круг домочадцев на Фрауенплане явилось следствием моей первой беседы с великим человеком. Мог ли я не ухватиться за него? У меня не было выбора. Иная, лучшая перспектива мне не открывалась. Должность школьного учителя я считал, по праву или нет, ниже своего достоинства, ниже своих дарований...

– Но, господин доктор, правильно ли я вас понимаю? Разве вы не были счастливы деятельностью, многим более почетной и привлекательной, чем всякая другая, не говоря

уж об учительстве.

– Разумеется, уважаемая. Я был счастлив. Счастлив и горд. Подумать только, ежедневные встречи, ежедневное общение с таким человеком! Я сам был достаточно поэтом, чтобы постичь всю его беспримерную гениальность. Я показал ему образцы своего таланта, которые, мягко говоря, даже если откинуть то, что следовало бы отнести за счет его удивительной лояльности, видимо, понравились. Счастлив? Я был упоен! На какую заметную, более того – завидную позицию в мире научном и светском возводила меня эта близость! Однако позвольте мне быть откровенным, и здесь имелись свои шипы, а именно: отсутствие выбора. Разве не верно, что необходимость испытывать благодарное чувство несколько умаляет таковое, лишает его элемента радости? Будем откровенны. Если тот, кому вы обязаны величайшей благодарностью, извлекает для себя выгоду из нашего подчиненного положения, то нас это больно ранит. Его вины здесь нет, ответственность несет судьба, неравномерно распределившая свои дары. Но он использует ситуацию... Это надо пережить самому... Нет, сударыня, не будем заниматься нравоучительными рассуждениями! Почетным и возвышающим было то, что наш великий друг, видимо, нуждался во мне. Формально моей задачей было преподавание латинского и греческого его сыну Августу, единственному оставшемуся в живых из детей мамзели Вульпиус. Но, как ни слабы были познания моего ученика, я вскоре понял, что этой задаче, как весьма несущественной, придется отступить перед более прекрасными и значительными обязанностями служения отцу. Таково, разумеется, было и первоначальное намерение. Хотя мне известно письмо, написанное им в свое время моему учителю и благодетелю в Галле, где он обосновывал мое приглашение недостаточными классическими познаниями мальчика, – бедой, как он выразился, которой он не умел помочь.

Но это было просто вежливостью по отношению к великому филологу. На деле маэстро не придает большого значения систематическим школьным занятиям и воспитанию. Скорее он хотел бы, чтобы юношество на свободе удовлетворяло естественную жажду знаний, которую он в нем предполагает. Вот вам новый пример его склонности к попустительству, его толерантности! Может быть, здесь сказывается его доброта, – я этого не отрицаю, – великодушие, снисходительность; он благосклонно принимает сторону молодежи против школьной муштры и педантства. Весьма возможно. Но сюда примешивается и нечто другое, менее похвальное, – известная пренебрежительность, недооценка молодежи и ее внутренней жизни. Ибо он все же не понимает прав и обязанностей юношества, придерживаясь того мнения, что дети существуют лишь для родителей, что их единственная задача – дорасти до них и мало-помалу впитать в себя их жизнь...

– Уважаемый господин доктор, – вставила Шарлотта, – везде и всегда, невзирая ни на какую любовь, между родителями и детьми существуют разногласия и непонимание, известная нетерпимость детей к личной жизни родителей, в свою очередь склонных с пренебрежением относиться к их особым правам.

– Без сомнения, – рассеянно отвечал гость, подняв глаза к потолку. – Я часто беседовал с ним в экипаже или в его рабочей комнате по вопросам педагогики – беседовал, а не спорил, ибо с благоговейным любопытством выслушивать его мысли мне было интереснее, чем настаивать на своих. Под формированием юноши он подразумевает процесс созревания, который, при благоприятных обстоятельствах, – а обстоятельства своего сына он справедливо расценивает как благоприятнейшие (поскольку, разумеется, речь идет об отце, ибо что касается матери... Ну да оставим это!) – и считает возможным в той или иной степени предоставить процесс его естественному развитию. Август – его сын. Этой формулой для него исчерпывался весь смысл существования мальчика, юноши, единственное назначение которого быть его сыном и со временем снять с него

тяготы будничных дел. Эту мысль Август впитал с малолетства. Об индивидуальном формировании характера, о воспитании ради него самого, в предвидении его будущих целей, никто, собственно, никогда не думал. А в таком случае к чему принуждение и систематическая школьная муштра? Не надо забывать, что отец в юности тоже не знал этого. Будем называть вещи своими именами: систематического воспитания он не получил ни в детском, ни в отроческом возрасте и лишь немного изучил основательно. Это никому не бросится в глаза или лишь при очень долгом и близком общении и при собственных действительно глубоких научных познаниях. Ибо само собой разумеется, что с его острым восприятием, прочной памятью, с необычайной живостью его духа он множество знаний схватил на лету, ассимилировал их и благодаря качествам уже иного порядка – остроумию, обаятельности, владению формой, красноречию – пользуется ими с большим успехом, нежели другой ученый, обладающий подлинными знаниями.

– Я слушаю вас, – произнесла Шарлотта, довольно успешно пытавшаяся выдать дрожание головы, снова ставшее заметным, за подтверждающие кивки. – Я слушаю вас с интересом, объяснение которому все время стараюсь подыскать. Ваша манера говорить проста, и все же в ней есть что-то волнующее, ибо невольно волнуешься, когда о великом человеке говорят не с предвзятой восторженностью, а трезво, сухо, с реализмом, основанным на интимном опыте ежедневного общения. Когда я начинаю вспоминать и сверяюсь с собственными наблюдениями, пусть очень давнишними, – но ведь они как раз относились к молодому человеку, о чьем свободном самовоспитании вы говорите, – то, по-моему, его пример лишь подтверждает превосходство этих личных прав над более строгой системой воспитания. Как бы то ни было, но этого юношу, этого двадцатитрехлетнего молодого человека я знавала, долго приглядывалась к нему и могу засвидетельствовать: систематического учения, трудолюбия, служебного рвения за ним не замечалось. В Вецларе он, собственно, ничего не делал – и здесь, я не хочу это замалчивать, его значительно превосходили коллеги, практиканты истряпчие, кого ни назови, – Кильмансегге, легационный секретарь Готтер, тоже писавший стихи, Борн и другие, даже несчастный Иерусалем, не говоря уже о Кестнере, который и тогда вел серьезную трудовую жизнь и однажды заставил меня призадуматься, заметив, как легко кружить головы женщинам, быть душой общества, всегда свежим, веселым, блестящим и остроумным, когда тебе живется так вольготно на божьем свете и ты наслаждаешься полной свободой, в то время как другие приходят к любимой после хлопотливого дня, уставши от деловых забот, и уже не в силах показать ей себя с наивыгоднейшей стороны.

Я всегда знала, и не забывала, что блага здесь распределены неравномерно, и обращала это в пользу моего Ганса-Христиана, хотя и сомневалась, чтобы другие молодые люди при большем досуге – а ведь какой-то досуг они все же имели! – могли выказать столь высокие душевные качества, были бы способны на такую теплую искреннюю шутку, как наш друг. И все же часть его пылкости я относил за счет его незанятости и того, что он мог невозбранно, всеми силами своей души предаваться дружбе, – но только часть, ибо я понимала, что прекрасная сила его сердца и – как мне это назвать? – его жизненный блеск не исчерпываются таким объяснением. Ведь даже когда он, печальный и скорбный, поносил весь мир и всех людей, он все же был интересней, чем наши трудолюбцы по воскресным дням. Это я знаю так же твердо, как знала тогда. Он часто напоминал мне дамаский клинок, – я уж не упомяну теперь, в чем тут было сходство, – но также и лейденскую банку, и это уж по ассоциации с электрическим зарядом, ибо он всегда был как бы заряжен. Казалось, стоит до него только дотронуться, и ты почувствуешь удар, словно от прикосновения к какой-то там породе рыб. Не удивительно, что другие, вообще говоря, превосходные люди, в его присутствии или даже отсутствии казались вялыми. И еще у него был, когда я ворошу свои воспоминания, необычайно открытый взгляд – я говорю «открытый» не потому, что его глаза, карие и близко посаженные, были особенно большими: но именно взгляд был очень открытый и одухотворенный, в полном смысле этого слова, а когда в них светилась сердечность, они



становились совсем черными. Что, у него еще и поныне такие глаза?

– Глаза, – повторил Ример, – глаза временами могучие. – Его собственные, остекленевшие и выпуклые, меж которых залегла бороздка мучительных раздумий, показывали, что он слушал невнимательно, отдавшись течению своих мыслей. Дрожание головы собеседницы он едва ли заметил, ибо его большая белая рука, когда он снял ее с набалдашника, чтобы чуть заметным прикосновением безымянного пальца благовоспитанно устранить легкое почесывание в носу, тоже дрожала. Шарлотта это заметила и была так неприятно поражена, что поспешила приостановить аналогичное явление у себя: при старании это ей вполне удавалось.

– Здесь речь идет о феномене, – продолжал свое Ример, – стоящем того, чтобы в него углубиться, и способном заставить человека часами предаваться размышлениям, пусть бесплодным и ни к чему не ведущим, так что это занятие должно было бы скорее называться мечтательством, чем подлинным размышлением, иными словами, о форме и обаянии, или печати божества, которую природа с улыбкой – так невольно себе это представляешь – накладывает на предпочтенный ею душ, отчего он становится прекрасным духом, – о слове, имени, которое мы машинально произносим для обозначения привычной и приятной человечеству категории; хотя вблизи, при более внимательном рассмотрении, подобный феномен остается непостижимой, тревожной и, в личном плане, даже оскорбительной загадкой...

Если я не ошибаюсь, мы говорили о несправедливости; что ж, и здесь, без сомнения, царит несправедливость, естественная, а потому всеми почитаемая, – восхитительная несправедливость, правда, не без колючих шипов для того, кому суждено изо дня в день видеть и ощущать ее. Тут имеют место изменения ценностей, обесценения и переоценки, которые ты принимаешь охотно, более того – с невольным восторгом, ибо отказать им в известном радостном признании значило бы идти наперекор господу и природе, и все же, из чувства справедливости, тайком, в тиши не можешь не порицать их. Ты сознаешь себя обладателем знания, достигнутого упорным трудом, из чистой любви к науке, солидного научного багажа, неоднократно и честно проверенного. И вот приходишь к столь же своеобразно прекрасному, сколь и горько смехотворному выводу, что тот изощренный и благословенный дух, тот предпочтенный ум может сообщить скудному осколку этих знаний, случайно подхваченных или тобою же ему поставленных, – ибо для него ты не более как поставщик научных сведений, – вдвое, втрое большую ценность, чем целый мир, целые поколения кабинетных ученых. И почему же? Да благодаря все тем же форме и обаянию, – впрочем, это только слова! – нет, попросту благодаря тому, что он, а никто другой возвратил миру случайно подхваченное и, придав ему частицу самого себя, как бы отчеканил на нем свое изображение. И правда, другие взрывают горы, роют землю, очищают руду, а властитель в результате всех их трудов знай себе чеканит дукаты!.. Королевская привилегия! Но в чем ее суть? У нас много говорят о личности, он сам любит говорить о ней, и, как известно, назвал ее высшим счастьем смертных. Таков его приговор, а следовательно, приговор, обязательный для человечества. Но это не определение. В лучшем случае это описание. Да и как определить таинство? Без таинств человеку, видно, не обойтись, и если христианские ему наскучили, он тешит себя языческими или природным таинством личности. О христианских наш властитель умов и слышать не хочет. Поэт или художник, преданный христианской мистике, обречен на его немилость. Но таинство природы он ставит очень высоко, ибо это его таинство... Величайшее счастье – за меньшее мы, смертные, не смеем почитать это таинство! Иначе как объяснить, что просвещенные умы и люди науки считают не ограблением себя, но великой для себя честью толпиться вокруг прекрасного гения, обаятельного человека, состоять в его штабе, в его свите, приносить ему в дар свои знания, быть для него живыми словарями, всегда имеющимися под рукой, дабы избавлять его от возни с научным хламом. Ну как объяснить, что человек, подобный мне, с блаженной улыбкой –

мне самому она иногда кажется дурацкой – год за годом служит ему простым писцом...

– Позвольте, дражайший господин профессор, – прервала его пораженная Шарлотта, не пропустившая ни слова из его монолога. – Не хотите же вы сказать, что вы все это время и в самом деле несли у него незначительные и недостойные вас канцелярские обязанности?

– Нет, – отвечал Риммер после паузы, собравшись с мыслями, – этого я сказать не хочу. И если я сказал нечто подобное, то, значит, зашел слишком далеко. Не следует чрезмерно заострять понятия. Во-первых, добровольные услуги, которые оказываешь великому и дорогому тебе человеку, не знают табеля о рангах. Тут каждый так же мал и так же велик, как другой. Не об этом речь. К тому же писать под его диктовку вообще не подходящее занятие для простого стрекулиста, слишком почетное для него занятие. Возложить эту обязанность на какого-нибудь секретаря Джона, Крейтера или, наконец, простого лакея, значило бы метать бисер перед свиньями. При одной мысли об этом человека образованного, способного мыслить и чувствовать, охватывает благородное негодование. Только ученому, только такому человеку, как я, способному оценить всю прелесть, редкость и достоинство этого положения, может быть препоручено подобное дело. Эта льющаяся драматическая диктовка любимого, звучного голоса, это неудержимое созидание, прерываемое разве что чрезмерным наплывом чувств, руки, заложенные за спину, взор, устремленный в многоликую даль, это властное и как бы небрежное заклинание слова и образа, эта жизнь в абсолютно свободном и смелом царстве духа, за которой, несмотря на все сокращения, едва поспевает торопливо смоченное перо, так что потом волей-неволей приходится корпеть над переписыванием, – уважаемая, это надо испытать, надо восторженно насладиться этим, чтобы ревниво отнестись к своим обязанностям и не уступать их первому встречному. Правда, следует оговориться и для собственного успокоения напомнить себе, что речь идет отнюдь не о творческом миге, что здесь происходит не чудо, а лишь рождение на свет божий того, что годами, может быть десятилетиями, вынашивалось, пестовалось, и, частично, в тиши, еще до диктовки, было тщательно отделано и продумано. Не надо забывать, что здесь имеешь дело не с вдохновенно порывистой, а скорее с доступной колебаниям натурой, к тому же беспрестанно взвешивающей, откладывающей, нерешительной и прежде всего легко утомляющейся, не способной сосредоточиться, не способной подолгу задерживаться на одном и том же задании, – с натурой, которой, при разнообразнейшей, мятущейся во все стороны деятельности, требуются обычно долгие годы, чтобы завершить задуманный труд. Это натура, склонная к замедленному росту и тихому развитию, которой нужно долго, может быть с юных лет, отогревать замысел на своей груди, прежде чем приступить к его выполнению. Для подобного характера прилежание равносильно терпению, то есть способности – при величайшей потребности в разнообразии – к неустанному, кропотливому труду над одним и тем же объектом в течение непомерно долгого времени. Все это так, верьте мне, ведь я одержимый наблюдатель этой героической жизни. Говорят, да он и сам говорит, что он умалчивает о замысле, формирующемся в тиши, чтобы не повредить ему, что он никому его не открывает, ибо никто другой не может постичь, почувствовать прелесть созревающего, столь обольстительную для пестуна. Но следует добавить, что это молчание не так уж нерушимо. Надворный советник Майер, я говорю о нашем «шивописце» Майере, как его прозвали за цюрихский диалект, – итак, этот Майер, которому он почему-то приписывает бог весть какие заслуги, похваляется, что великий друг чуть ли не целиком поведал ему «Избирательное сродство», когда еще только его вынашивал. Возможно, что это и так, он и мне однажды увлекательнейшим образом изложил план этого романа и к тому же до того, как открыть его Майеру, – разница только в том, что я не похваляюсь этим направо и налево. В таком раскрытии тайны, в такой общительности и, если хотите, болтливости меня тешит и трогает очевидная чисто человеческая тяга «поделиться», наивная доверчивость. Утешительно и радостно, радостно до восторга видеть эти человеческие

черты в великом гении, ловить его на маленьких хитростях и повторениях, подмечать экономию, которая наводится даже в таком необозримом для нас духовном хозяйстве. С месяц назад, шестнадцатого августа, в разговоре со мной он высказал одно замечание о немцах, достаточно колкое, – как известно, он не всегда лестно отзывается о своей нации. «Наших милых немцев, – сказал он, – я знаю: сначала они молчат, потом осуждают, потом отклоняют, потом обворовывают и замалчивают». Это буквально, я записал его слова тотчас же после разговора, – во-первых, потому что счел их отменно острыми, а во-вторых, потому что они мне показались блестящим примером его живого и исключительно понятного языка: как остро и точно он тут же на месте определил все стадии дурного поведения немцев. И вдруг я узнаю от Цельтера – в Берлине проживает некий Цельтер, музыкант и хормейстер, которого он, не совсем понятно почему, достаивает братского «ты»; с такого рода предпочтениями – тут ничего не поделаешь – приходится считаться, хотя поневоле вспоминаешь слова Гретхен: «В толк не возьму, что он находит в нем». Итак, от Цельтера я слышу, что та же фраза, слово в слово записанная мною, как я сказал, шестнадцатого августа, стояла в его письме от девятого того же месяца, адресованном Цельтеру из Теннштедта. Следовательно, эта мысль, видимо, очень ему понравившаяся, была уже написана черным по белому, когда в разговоре со мною он преподнес ее в качестве экспромта – маленькое жульничество, которое с улыбкой принимаешь *ad notam*[20 - На заметку (лат.)]. Вообще же мир даже такого могучего духа – все же мир замкнутый и ограниченный, единое целое, где мотивы повторяются и образы, пусть через большие промежутки времени, возникают вновь. В «Фаусте», во время знаменитого разговора в саду, Маргарита рассказывает возлюбленному о своей сестренке, этом бедном заморыше, которого мать не в состоянии кормить грудью и которого она, Маргарита, растит «на молоке и воде». Какие жизненные дали отделяют это от Оттилии, которая с любовью растит сына Эдуарда и Шарлотты, на «молоке и воде»! Молоко и вода! До чего же крепко засело в эту великую голову представление о голубоватой жидкости в бутылке. Молоко и вода... Не напомните ли вы мне, почему я заговорил о молоке и воде и что навело меня на эти, по-видимому, совершенно не относящиеся к делу и праздные подробности?

– Вы говорили о почете, господин доктор, который вам воздается за вашу помощь и участие в трудах друга моей юности. Но позвольте мне решительно не согласиться с тем, что высказанные вами мысли праздны и лишены интереса.

– Не отрицайте, уважаемая! Когда речь заходит о слишком большом, слишком жгучем, невольно растекаешься в празднословии, начинаешь лихорадочно метаться и не только не доходишь до единственно важного и жгучего, не только безрассудно упускаешь его, но сам же начинаешь думать, что все тобою сказанное лишь предлог для того, чтобы обойти молчанием истинно важное и волнующее. И какой же тут несешь несусветный вздор! Это можно сравнить разве что с известным опытом; попробуйте быстро опрокинуть горлышком вниз полную бутылку, и жидкость вытечет не сразу, она задержится в сосуде, хотя путь ей открыт. Ассоциация настолько посторонняя, что я снова чувствую себя сконфуженным. И все же! Как часто люди более значительные, чем я, несоизмеримо более значительные, предаются посторонним ассоциациям. Вот вам пример из моей, как бы побочной, на деле же основной работы: с прошлого года мы приступили к изданию нового собрания сочинений, рассчитанного на двадцать томов. Котта из Штутгарта выпускает его и за это уплачивает кругленькую сумму в шестнадцать тысяч талеров – великодушный, более того, смелый человек! Верьте мне, он приносит немалую жертву, ибо несомненно, что публика о большей части продукции нашего поэта ничего и знать не хочет. Так вот, трудясь над этим собранием, мы вместе, он и я, заново просматривали «Ученические годы»; мы вдвоем перечитали их от альфы до омеги; при этом я не только указывал на ту или иную грамматическую погрешность, но давал и советы по части правописания и пунктуации, в которых наш поэт, признаться, не очень силен. У нас состоялось несколько примечательных бесед о его стиле, причем он очень

заинтересовался моим разбором и толкованием. Ведь он мало знает о себе, и ему случалось, по собственному признанию, приступать к работе, например к «Майстеру», почти в сомнамбулическом состоянии. Поэтому он с ребячливым удовольствием слушает, когда ему остроумно комментируют его же самого, что опять-таки дело не Майера или Цельтера, но филолога. Одному богу известно, какие дивные часы я провел за чтением романа, составляющего гордость эпохи и на каждом шагу дающего столько поводов к восхищению, хотя – и это бросается в глаза! – описания природы, ландшафты почти вовсе отсутствуют в нем. И раз уже мы заговорили о праздных ассоциациях, уважаемая, какое холодное, неторопливое многословие порою встречается в этой книге! Какое сплетение случайных обрывков мыслей. Ведь сплошь и рядом – это необходимо уяснить себе! – вся прелесть и достоинство состоят здесь лишь в метких и живительно точных формулировках, давно выношенных и уже не раз произнесенных. Правда, это соединяется с черточками обаятельной новизны, с такой мечтательной смелостью и высоким риском, что дух захватывает, – да, да, в сочетании разумной чинности и неустрашимой отваги, более того, безумия, как раз и заключается источник сладостного смятения, в которое нас повергает этот единственный в своем роде автор. Когда я однажды с подобающей осторожностью высказал ему это, он рассмеялся и возразил. «Милое дитя, – так он и сказал, – что поделаешь, если мои напитки подчас кружат вам головы». То, что он меня, сорокалетнего человека, который кое в чем мог бы наставлять его, называет «милое дитя», может, конечно, показаться странным, но мое сердце это умиляет и наполняет гордостью, ибо, как бы там ни было, в такой короткости растворяется различие между достойными и недостойными услугами. Простая канцелярская служба? Мне невольно становится смешно, уважаемая госпожа советница: ведь она состояла в том, что я в продолжение многих лет вел его корреспонденцию, не только под диктовку, но вполне самостоятельно, за него, вернее, вместо него – от его имени и в его духе. Теперь вы видите, что здесь получается: самостоятельность диалектически переходит в свою противоположность и оборачивается полной обезличенностью – меня вообще уже не существует, и только он говорит моими устами, ибо я орудую оборотами столь старомодно куртуазными и остроумно вычурными, что эти письма, вышедшие из-под моего пера, кажутся более гетевскими, нежели продиктованные им. И так как моя деятельность широко известна в обществе, то нередко возникают мучительные сомнения, им или мною написано данное письмо. Нелепая и тщеславная тревога! – не могу не заметить, ибо в конечном счете это одно и то же. Правда, и меня тревожат сомнения, но они касаются проблемы чести, всегда остающейся наиболее трудной и волнующей из проблем. В свете этой проблемы, вообще говоря, в таком деянии заключается нечто постыдное, во всяком случае, временами мне мерещится, что это так. Но если ты подобным путем становишься Гете и пишешь его письма, то опять же трудно представить себе большую честь. Так что же он, наконец? Кто он, ради которого почитается честью, жертвуя собою, в нем растворяться? Стихи, свидетель бог, какие дивные стихи! Я тоже поэт, io sono poeta, но, признаюсь с сокрушением, несравненно меньший. О, написать «Стучало сердце» или «Ганимеда», или «Ты знаешь край» – хотя бы одно из них, уважаемая, – чего не отдашь за это, с оговоркой, что у тебя есть что отдавать! Франкфуртские рифмы, которые он себе позволяет, ибо он многие слова выговаривает неправильно, у меня не встречаются – во-первых, потому, что я не франкфуртец, а во-вторых, потому что я не могу их себе позволить. Но разве они единственно человеческое в его творениях? Нет, разумеется, нет! В конце концов созданное им все же дело рук человеческих и не может слагаться из одних шедевров. Да он и не обольщается на этот счет. «Кто же создает одни шедевры», – справедливо говорит он. Здравомыслящий друг юности, Мерк, – вы его знали, – назвал «Клавиго» дрянью. Впрочем, он и сам, видно, держится такого же мнения, ибо говорит: «Не всему же быть лучше лучшего». Скромность это или что-нибудь еще? Если скромность, то подозрительная. И все же в глубине души он скромен, скромн так, как другой не был бы на его месте. Я даже назвал бы его робким. По окончании «Избирательного сродства» он и впрямь оробел и лишь позднее составил об этом романе то высокое мнение, какого он,

несомненно, заслуживает. Дело в том, что он восприимчив к похвалам и, даже если раньше его и обуревали сомнения, охотно дает себя убедить, что созданное им – шедевр. Конечно, не следует забывать, что со скромностью у него сочетается самоуверенность, порою доходящая до курьеза. Говоря о своеобразии своей натуры, о некоторых ее слабостях и недостатках, он способен с невиннейшим видом присовокупить: «Все это, надо думать, обратная сторона моих огромных достоинств». Услышав такое, остаешься сидеть с раскрытым ртом, ужас охватывает тебя перед этой наивностью, хотя ты и стараешься себя уверить, что как раз сочетание необычайной духовной одаренности с подобной степенью простоты и повергает в восхищение. Но можно ли удовлетвориться таким объяснением? И оправдывает ли оно принесение себя в жертву? Почему превыше всех именно он, нередко спрашивал я себя, читая других поэтов, – кроткого Клаудиуса, изящного Гельти, благородного Маттиссона! Разве в их творениях не слышится милый голос природы, разве теплота и немецкая задушевность звучат только в его поэзии? «Вновь в долинах и кустах...» – это перл, я отдал бы свой докторский диплом за то, чтобы быть автором хотя бы двух строф этого стихотворения. Но Вандсбеккерова «Луна на небе встала»

– разве хуже? А мог ли бы он устыдиться «Майской ночи» Гельти: «Если серебряный луч блещет сквозь темень кустов»? Да нисколько! Напротив! Можно только порадоваться, что рядом с ним и другие подают голос, не только не позволяют его величию подавить и искалечить себя, но его наивности противопоставляют свою собственную и поют так, словно его и не существует. За это их голоса следует ценить еще выше, ибо нельзя рассматривать лишь абсолютную ценность продукта; к нему надо подходить и с нравственной меркой, надо учитывать условия, в которых он создавался. Спрашивается: почему превыше всех он? Какой еще ингредиент делает его полубогом, возносит его к звездам? Большой характер? Но где он у его героев – у Эдуарда, Тассо, Клавиги, даже у Мейстера или Фауста? Изображая себя, он изображает проблематиков и бесхарактерных неудачников. Право же, уважаемая, мне иногда приходят на ум слова Кассия из «Цезаря» великого бритта: «Боги! Я дивлюсь, как человек такой невзрачной стати мог первенство у мира оттягать, презрев людскую гордость».

Наступило молчание. Большие белые руки Римера, с золотым кольцом-печаткой на указательном пальце, опирающиеся на набалдашник трости, заметно дрожали. Голова старой дамы опять кивала быстро-быстро. Шарлотта заговорила первой:

– Господин доктор, я чувствую себя едва ли не обязанной выступить на защиту друга юности моей и моего мужа, создателя «Вертера», произведения, о котором вы даже не упомянули, хотя оно послужило фундаментом его славы и, по моему убеждению, так и осталось прекраснейшим из всего им написанного, против тех нападков, которым вы – простите меня – подвергаете величие его духа. Но я воздерживаюсь от этого соблазна или обязанности – как хотите, – вспомнив, что ваша, я бы сказала, солидарность с великим человеком не уступает моей, что в продолжение тринадцати лет вы были ему другом и помощником и что ваша критика – не знаю, как определить это по-другому, – короче, то, что я назвала реализмом вашего восприятия, основана на преданном восхищении, а потому моя защита выглядела бы смешной и привела бы только к взаимному непониманию. Я простая женщина, но я прекрасно понимаю, что некоторые вещи говорятся лишь в силу сознания, что предмет критики играючи устоит против твоих нападков. Здесь преклонение говорит языком злобы, а хула становится новой формой восхваления.

– Вы очень добры, – отвечал он, – становясь на сторону того, кто нуждается в помощи, и правильно толкуя мою оговорку. Откровенно говоря, я не помню, что я сказал, но из ваших слов заключаю, что, должно быть, зарпортовался. Иногда в мелочах язык шутит с нами недобрые шутки, мы нечаянно придаем комический оборот слову, и в результате

нам остается только вторить смеху слушателей. Но в больших вопросах и оговорка принимает большой масштаб, и бог долго ворочает слова в нашей гортани, покуда мы не начинаем славословить то, над чем хотели надругаться, и хулить то, что намеревались благословить. Собрание небожителей, верно, сотрясается от гомерического хохота над таким бессилием наших уст. Но будем говорить серьезно: мне кажется бесполезным и не адекватным, касаясь великого, только восклицать: «Грандиозно! Грандиозно!» – и пошлым мило тараторить о вершине обольстительности. А ведь речь идет именно об этом – о деликатнейшей форме, в которую великое облакается на земле: о поэтическом гении; о великом в образе высшей обольстительности и обольстительном, возвысившемся до великого. Так живет среди нас гений и глаголет ангельскими устами. Да, сударыня, ангельскими! Откройте наугад его книги, эти миры его творений; возьмите, к примеру, ну, хотя бы «Пролог на театре», – я еще сегодня перечитывал его, дожидаясь парикмахера, – или такую весело-глубокомысленную безделку, как басня о мушиной смерти:

Она сосет, дорвавшись до отравы, Пригвождена к ней первым же глотком, Блаженствует, а нежные суставы Уже давно разбиты столбняком... – но ведь тут смешная случайность, слепой произвол, что я выхватил именно это, а не другое из необозримого изобилия текущих в руки перлов, – короче, разве все это не сказано ангельскими устами, божественными устами высшей завершенности! Каким чеканом отчеканен любой образ, драма, песня, рассказ, поговорка! И на всем печать индивидуальнейшей обольстительности – Эгмонтовой обольстительности! Я так называю ее. «Эгмонт» приходит мне на ум, потому что в нем царит особенно счастливое единство и внутреннее соответствие; отнюдь не безупречная обольстительность героя корреспондирует с тоже отнюдь не безупречной обольстительностью произведения, в котором он действует. Или возьмите его прозу, рассказы и романы, – мы как будто уже касались этой темы, – помнится, я что-то такое говорил и зарпортовался. Не может быть более чарующего изящества, живости ума, более скромной и легкой. В них нет ни помпезности, ни высокопарности, ничего от внешней приподнятости, – хотя внутреннее все удивительно возвышенно, и всякий иной стиль изложения, в частности приподнятый, по сравнению с этим стилем кажется плоским, – ничего от торжественности и проповеднического тона, ничего от ходульности и чрезмерности; без огненных бурь и громогласных страстей, в тихом, легком журчании здесь присутствует божество. Можно было бы говорить о трезвости, о приглаженной красивости, если позабыть о том, что его речь тяготеет к крайностям. И все же она избирает срединный путь спокойно, с изящной простотой: ее смелость скромна, отвага совершенна, поэтический такт безошибочен. Возможно, что я продолжаю заговариваться, но, клянусь вам, хотя неистовые клятвы и находятся в несоответствии с затронутой темой, – что я прилагаю такие же старания говорить правду, как и тогда, когда я употреблял как раз обратные выражения. Я говорю, я хочу сказать: у него для всего найден средний регистр, весьма умеренный, весьма прозаический, но это самый причудливо-дерзкий прозаизм на свете: новорожденное слово приобретает какой-то улыбчатый колдовской оттенок, становится золотистым, весело призрачным, и абсолютно возвышенное, приятнейше сдержанное, изящно модулированное, полное детски мудрых чар преподносится нам с чинной дерзновенностью.

– Вы превосходно говорите, господин Ример. Слушая вас, я испытываю благодарность, которую всегда вызывает точность. К тому же ваше изложение свидетельствует о проникновенном знании, о долгом и метком наблюдении. И все же – не пеняйте на меня – опасение, что вы и теперь еще заговариваетесь, касаясь этой исключительно волнующей темы, кажется мне небезосновательным. Не стану отрицать, что удовольствие, с которым я слушаю вас, весьма далеко от настоящего удовлетворения, полного согласия. В вашей хвалебной речи – может быть, именно вследствие ее чрезмерной точности – содержится какое-то умаление, какой-то элемент злословия, втайне меня пугающий и которого я сердцем принять не могу. Сердце подсказывает мне,

что вы говорите не то. Пусть это смехотворно кричать о гении: «Грандиозно, грандиозно», пусть вы предпочитаете говорить о нем с педантичностью, в характере которой я, поверьте, не ошибаюсь, ибо знаю, что она порождена любовью. Но, не сердитесь на меня за этот вопрос, разве можно с помощью одной только точности объяснить поэтическое вдохновенье?

– Вдохновенье, – повторил Ример. Он медленно, как бы с трудом склонил голову к рукам, скрещенным на набалдашнике трости. Но внезапно вздрогнул и отрицательно покачал головой. – Вы ошибаетесь, – произнес он, – он не вдохновенен. В нем есть нечто другое, может быть высшее; он, ну, скажем, осенен благодатью; но не вдохновенен. Можно ли себе представить господа бога вдохновенным? Нет, нельзя. Бог – объект вдохновения, но сам он его не ведает. Нельзя не признать за ним своеобразной холодности и уничтожающего равнодушия. Да и чем прикажете господу богу вдохновляться? Чью сторону принимать? Ведь он все, а потому сам себе сторона, на этом он стоит, и его дело, видимо, сводится к всеобъемлющей иронии. Я не богослов, уважаемая, и не философ, но житейский опыт заставлял меня частенько задумываться над единством всего и ничего, над nihil и, если мне будет дозволено употребить производное от этого мрачного слова, определяющего образ мыслей, мировоззрение, то этот всеобъемлющий дух по праву можно будет назвать духом нигилизма, – из чего вытекает, что ошибочно воспринимать бога и дьявола, как противоположные принципы и что дьявольское, по существу, лишь обратная сторона, – хотя почему обратная? – божественного. Да и как же иначе? Если бог все, то он тем самым и дьявол, и ясно, что нельзя приблизиться к божеству, не приблизившись к дьяволу; можно даже сказать, что из одного глаза у него глядят небо и любовь, из другого – ад ледяного отрицания и уничтожающего равнодушия. Но у двух глаз, дражайшая госпожа советница, безразлично дальше или ближе они посажены, один только взор. И вот тут я и хотел бы спросить: что это, собственно, за взор, в котором исчезает разлад между столь разными глазами? Сейчас отвечу вам и себе. Это взгляд искусства, абсолютного искусства, одновременно являющегося абсолютной любовью и абсолютным уничтожением или равнодушием и означающий то страшное приближение к божественно-дьявольскому, которое мы зовем «величием». Вот вам и ответ. Покуда я говорил, мне стало казаться, что именно это я и хотел сказать вам с того самого момента, как узнал от парикмахера о вашем приезде, ибо мне думалось, что это будет вам интересно, хотя не в меньшей мере меня сюда привело и желание облегчить свою душу. Вы мне поверьте, что это не пустяки, что несколько тревожно с таким сознанием изо дня в день жить перед лицом такого феномена, что это приводит к известному перенапряжению сил, покончить с которым, однако, уехать в Ростов, где, конечно, ничего подобного тебя не ждет, становится совершенно невозможным... Чтобы лучше разъяснить вам положение вещей, – а мне кажется, что я не напрасно предполагаю в вас интерес к таковому и вы охотно выслушаете меня, – короче, если мне будет дозволено посвятить еще несколько слов этому явлению, то я скажу, что оно уже нередко заставляло меня вспомнить о благословении Иакова в конце книги бытия, где говорится, что Иосиф благословен господом «благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу».

Простите меня, но то, что я заговорил об этом месте из священного писания, только кажущееся отступление, на деле я не разбрасываюсь мыслями и весьма далек от того, чтобы потерять нить. Мы говорили о соединении могучих духовных даров с крайней наивностью в единой человеческой конституции и как будто решили, что такое соединение вызывает величайший восторг человечества. Речь идет о двойном благословении, дарованном природой и духом, которое, если вдуматься, является благословением всего человечества, вернее же, его проклятьем; ведь человек брэнной стороной своего существа причастен миру природы, другою же – и я бы сказал, решающей – миру духа; это можно было бы выразить в образе несколько комическом, но хорошо передающем суть дела: правой ногой мы стоим в одном мире, левой – в

другом, – головоломная позиция, и чувствовать глубоко и живо всю ее затруднительность нас научило христианство. Если человек отдает себе отчет в этой опасной, временами постыдной позиции и, порвав узы природы, стремится к чистому, духовному, он христианин. Христианство – это тоска по бесконечному, – беру на себя смелость думать, что мое определение правильно. Я, кажется, перескакиваю с пятого на десятое? Но не беспокойтесь! Я не забываю не только пятого, но и первого и крепко держу нить. Итак, значит, я возвращаюсь к феномену величия, – великого человека, – в равной мере великого и человека, поскольку то проклятье благословением, та осознанная человеческая двойственность в нем одновременно и заострена до предела и снята. Я говорю, снята в том смысле, что о тоске и тому подобных жалостных чувствишках здесь не может быть и речи, – двойное же благословение «небесным свыше и бездной, лежащей долу», зная не знает о печати проклятья и превращается в формулу если не покорной, то непокоряющейся абсолютно благородной гармонии и земного блаженства. В великом человеке доминирует духовное начало, отнюдь не враждебное природному; ибо его духу природа доверяет не меньше, чем самому духу созиданья, да и что удивительного, он сродни последнему и является как бы доверенным, братом природы, которому она охотно поверяет свои тайны; ведь созиданье – дружественно-братский элемент, связующий воедино дух и природу. Вы же понимаете, что этот феномен великого духа, любимец и доверенный природы, этот феномен нехристианской гармонии и людского величия приковывает к себе не на девять, не на тринадцать лет, но на целую вечность и что никакое самолюбие, если потворство таковому равносильно отказу от общения с ним, не может самоутвердяться вопреки ему. Я говорил о горькой и сладостной чести и, помнится, обосновал это различие. Но мыслима ли честь более сладостная, нежели любовное служение феномену, счастье жить возле него, ежедневно впивать его, пригвождаясь первым же глотком. Вы спросили, хорошо ли себя чувствуешь подле него? Я смутно вспоминаю, что уже говорил о необычной благодати, распространяемой его присутствием, и еще о том, что она не чужда известной насильственности и стеснения, так что иногда трудно становится усидеть на стуле и невольно порываешься бежать... Теперь я точно вспоминаю, мы заговорили об этом в связи с его терпимостью, его склонностью к попустительству, его покладистостью, – кажется, у меня вырвалось именно это выражение, по существу совершенно неправильное, ибо оно заставляет думать о мягкосердечии, христианстве и тому подобном, а это было бы нелепо прежде всего потому, что покладистость сама по себе не является феноменом, но, в свою очередь, стоит в прямой зависимости от единства всего и ничего, от всеобъемлющего и nihil, от бога и дьявола. Фактически она порождена безразличием, а потому не имеет ничего общего с мягкосердечием и скорее проявляется в своеобразной холодности, в уничтожающем равнодушии, индифферентизме абсолютного искусства, которое – мы уже говорили об этом, уважаемая, – само по себе сторона и, как гласит стишок, «я сделал ставку на ничто», короче говоря – на всеобъемлющую иронию. Как-то раз в экипаже он сказал мне: «Ирония это та крупница соли, которая и делает кушанье съедобным». Я не только открыл рот от удивления, у меня от этих слов мороз пробежал по коже, ибо вы видите перед собой человека, не похожего на того неустрашимого дурачка из народной сказки, пустившегося на поиски страха. Меня легко бросает в дрожь, а здесь к тому имелся достаточный повод.

Вдумайтесь, что это значит: без примеси иронии, id est[21 - То есть (лат.)] нигилизма, все становится несъедобным. Это – нигилизм как таковой, это – разгром вдохновения, если не говорить о вдохновении абсолютным искусством – поскольку к последнему вообще приложимо слово вдохновение. Я никогда не мог позабыть эти слова, хотя уже давно сделал открытие, – довольно неприятное, – что сказанное им легко забывается. Да, легко забывается! Отчасти это, вероятно, происходит оттого, что его любишь, слишком жадно вливаешь в себя его голос, взгляд, выражение лица, с которым он произносит те или иные слова, так что на сказанное уже не хватает внимания, вернее, от сказанного мало что остается, если отнять этот взгляд, голос, жест, неотъемлемые от самой сути: а



суть у него больше, чем у кого бы то ни было связана с личностью; я бы даже сказал, что этой-то связью и определяется его правда настолько, что без поддержки и придатка личного она уже перестает быть правдой.

Пусть так, тут нечего возразить! И все же одним этим не объяснишь, почему столь легко забываются его слова. Должна быть еще какая-то причина, в них самих заложенная. И мне думается, что эта причина – противоречивость, частенько неуловимая двусмысленность, видимо составляющая суть и природы, и абсолютного искусства, но, несомненно, наносящая ущерб их прочности и приемлемости. Приемлемо и пригодно для бедного человеческого разума только нравственное. Не нравственное, но стихийное, нейтральное, короче: злостно-дразнящее, то, что может быть названо эльфическим – давайте примем этот термин, – то, что идет от мира всепризнания и уничтожающей терпимости, мира без причин и цели, где зло и добро уравнены в своем ироническом праве, – человек не приемлет, ибо это не внушает ему доверия, за исключением того безграничного доверия, которое эльфическое все же ему внушает, а это значит, что к противоречивому человек может и относиться только противоречиво. Ибо, дражайшая госпожа советница, это беспредельное доверие вызывается беспредельным же добродушием, свойственным эльфическому существу и ему все же противостоящим настолько, что оно вопрошает: «Людские нужды – кто поймет?» – и само же дает ответ: «Святой глагол к благим делам взывает, об этом знает смертный человек и песням издавна внимает». Так, в силу одного только добродушия всеобъемлющая ирония и природно-эльфическое начало все же становятся нравственными, зато, будем говорить откровенно, бесконечное доверие, с которым к нему относятся, нисколько не нравственно, – иначе оно не было бы столь бесконечно. Оно, в свою очередь, стихийно, биологично и всеобъемлюще. Это аморальное, но целиком завладевающее людьми доверие к благодущию великого человека, которое делает его прирожденным исповедником. Ему все ведомо и все открыто, ему все хочешь и можешь сказать, ибо чувствуешь, как охотно он постарается для людей, скрасит им мир, научит жизни – не из уважения к ним, но именно из любви или, правильнее будет сказать, из симпатии. Предпочтемте это выражение, характеризующее и объясняющее ту необыкновенную благодать, которой проникаешься вблизи него, – я снова возвращаюсь к ней, ибо мне так и не удалось вдосталь о ней наговориться, – слово «симпатия», мне кажется, лучше подходит здесь, нежели то, более патетическое слово. Да и благодать эта не патетическая, я хотел сказать, не духовная, но, скорее, – видите, как меня затрудняет подбор слов, – деятельная, чувственная, хотя она и несет в себе свое противоречие, а именно крайнее стеснение и тревогу, и если я говорил о стуле, на котором не можешь усидеть от панического желания бежать, то ведь это, несомненно, связано с недуховной, не патетической, не нравственной сущностью этого благодатного чувства. Прежде всего необходимо предпослать, что такое стеснение не непосредственно, оно исходит не от нас, а из той же сферы, откуда на нас веет благодатью, которой оно сопричастно, а именно из тождества этого всего и ничего, из сферы абсолютного искусства и всеобъемлющей иронии. А что счастье там не обитает, это, моя дорогая советница, я знаю так твердо, что временами у меня сердце готово разорваться. Ну можно ли Протея, который принимает любые формы и облики, – всегда, правда, оставаясь Протеем, но вечно иным и продолжающим «ставить на ничто», – можно ли, позвольте спросить, считать его счастливым существом? Он бог или нечто вроде бога, а божественное мы чуем тотчас же. Древние говорили, что божественное узнается по особому благоуханию. По этому-то озону богов, вдыхаемому нами, и мы узнаем о близости бога и божественного. О, это неопишимо приятное ощущение! Но, говоря «бог», мы уже произносим нечто нехристианское. Да, христианства здесь нет ни на грош, это достоверно, – нет веры в благодать мира и нет желанья бороться за эту благодать, я бы сказал: нет души и воодушевления, ибо воодушевление даришь идеальному, а дух, ставший самой природой, весьма низко ценит идеи: это дух неверующий, дух без души, душевность проявляется у него разве что в симпатии, в известном чувственном предпочтении, вообще же его удел –

всеобъемлющий скепсис, скепсис Протея. Чудно приятное ощущение, испытываемое нами, все же не может внушить нам веры в то, что здесь обитает счастье. Ибо счастье, если я не окончательно заблуждаюсь, лишь там, где вера и воодушевление, более того, пристрастность, а пристрастности не ужиться с эльфической иронией и уничтожающим безразличием. Божественный озон, о да! Им никогда вдосталь не надышишься! Но нельзя девять лет и потом еще четыре года радоваться этим флюидам, и ничего не увидеть, не столкнуться с множеством явлений, – явлений, которые, вероятно, объясняешь правильно, только расценивая их как страшные доказательства того, что я сказал о счастье: угрюмость, недовольство, безнадежный уход в молчание, общество постоянно этого опасается, – не со стороны хозяина дома, в качестве хозяина он себе такого не позволит, но гостя, который впадает в угрюмое молчание и, тоскливо закусив губы, бродит из угла в угол. Попробуйте себе представить этот мрак и подавленность! Все молчит, ибо кто станет говорить, когда он не раскрывает рта? Гости разбредаются по домам, смущенно перешептываясь: «Он был не в духе». К сожалению, это случается довольно часто. И тогда какой же холод и чопорность, какая броня церемонности прикрывают его непонятную застенчивость, на редкость быструю утомляемость, усталость, замкнутый круг существования: Веймар – Иена – Карлсбад – Иена – Веймар, все возрастающее стремление к одиночеству, к окостенению, к тиранической нетерпимости, к педантству, к странностям, к манерности мага... Моя милая, моя дорогая и уважаемая госпожа советница, это не только преклонные лета! В преклонных летах не обязательно быть таким. В этих проявлениях я научился видеть тихие, страшные признаки законченного неверия и эльфической всеиронии, которая подменяет воодушевление пунктуальностью, хлопотливой деятельностью, сверхъестественной упорядоченностью. Людей она не уважает: люди – это животные, не способные совершенствоваться. В идеи она не верит: свобода, родина – это лишено естества, это пустышки. Но ведь она зерно абсолютного искусства, – так верит ли она хотя бы в него? Нисколько, уважаемая! По сути, она относится к нему едва ли не свысока. «Стихи, – услышал я однажды от него, – в сущности, ничто. Стихи – это, как вам сказать, поцелуй, который даришь миру. Но от поцелуя дети не рождаются». К этому он ничего не пожелал присовокупить... Если я не ошибаюсь, вы хотели что-то сказать?

Рука, которую он простер к Шарлотте, как бы предоставляя ей слово, непозволительно дрожала, такая дрожь уже внушала тревогу. Но он, казалось, этого не замечал, и хотя Шарлотта настойчиво желала, чтобы она, наконец, опустилась, он долго держал в воздухе эту руку с колеблющимися, как от землетрясения, вихляющимися пальцами. Ример, по видимому, изнемог, да и не удивительно. Нельзя, не переводя дыхания, так долго, с такой напряженной стройностью речи говорить о вещах, столь близко принимаемых к сердцу, и не выдохнуться, не выказать симптомов, которые Шарлотта с волнением и неудовольствием подметила в нем: он побледнел, пот выступил у него на лбу, воловьи глаза невидящим взором уставились в пространство, открытому рту со всегда брюзгливой черточкой сообщилось выражение трагической маски; он дышал тяжело, прерывисто, и слышно.

Сопение и дрожь мало-помалу прекратились, и так как ни одна тонко чувствующая женщина не может счесть приятным и для себя подобающим смотреть на зашедшегося – хотя бы в приступе кашля – мужчину, то Шарлотта отважно попыталась, несмотря на собственную взволнованность и нервное напряжение, успокоить собеседника веселым смехом, надо думать относившимся к шутливым словам о поцелуе. Впрочем, на них она уже откликнулась движением, которое Ример принял за желание говорить, – и небезосновательно, хотя она, собственно, и не знала хорошенько, что хочет сказать. Теперь она произнесла первое, что ей пришло на ум:

– Но что же вы хотите, мой милый господин доктор? Сравнение с поцелуем не ущемляет и не унижает поэзии. Напротив, это очень милое сравнение: оно воздает ей должное и

самым почтенным образом противопоставляет ее жизни и действительности... Хотите знать, – спросила она внезапно, словно ей пришло в голову нечто способное отвлечь разволновавшегося доктора и навести его на другие мысли, – хотите знать, скольким детям я подарила жизнь? Одиннадцати, считая тех двух, которых господь снова взял к себе. Простите мне мое самохвальство, но я была страстной матерью, из числа тех, что не скрывают своего счастья и любят хвалиться ниспосланным на них благословением. Я говорю это потому, что христианской женщине не приходится опасаться страшного возмездия, постигшего языческую царицу – я что-то запомнила ее имя – ах да, Ниобею, – ведь это она так жестоко поплатилась за свою материнскую гордость?.. Вообще же многодетность обычна в нашей семье, и моей личной заслуги тут нет. В Немецком орденом доме нас, если бы не смерть пятерых, насчитывалось бы шестнадцать детей. Впрочем, эта маленькая толпа, для которой я играла роль матери задолго до того, как стала ею, получила уже достаточную известность, и я как сейчас помню неистовый восторг моего брата Ганса, бывшего в особенно коротких отношениях с Гете, когда прибыла книжка о Вертере и стала ходить по рукам в нашем доме. У нас было два экземпляра, мы их разделили на листы и страницы, чтобы читать одновременно. И детворе, особенно нашему весельчаку Гансу, за радостью видеть весь свой домашний быт так обстоятельно воспроизведенным в романе, и в голову не пришло, как мы были уязвлены и напуганы, мой добрый муж и я, этим преданием нас гласности, всей этой правдой, на которую налипло столько неправды...

– Как раз об этом, – Ример, уже начинавший успокаиваться, воспользовался возможностью прервать ее, – об этих чувствах я и хотел спросить вас.

– Я заговорила о них между прочим, – продолжала Шарлотта, – сама даже не знаю почему, и не хочу на них останавливаться. Это зарубцевавшиеся раны, и только рубцы напоминают о прежних страданиях. Слово «налипло» пришло мне на ум, потому что оно играло тогда известную роль в наших объяснениях, и наш друг в ряде писем живо от него оборонялся. Он близко принял его к сердцу, – «не налипло, а вплетено в ткань, – писал он, – вопреки вам и всем остальным!» Ну хорошо, пусть вплетено. Нам от этого было не легче. Он также уверял Кестнера, что Кестнер не Альберт, отнюдь не Альберт. Но как заставить людей этому поверить? Что я не Лотта, этого он не утверждал, а только просил мужа горячо пожать мою руку и передать мне: «Сознание, что твое имя произносится тысячами благоговейных уст, все же некоторая компенсация за сплетни досужих кумушек». И здесь он, пожалуй, был прав. Да я и с самого начала думала не столько о себе, сколько о своем уязвленном муже, и потом всем сердцем радовалась удовлетворению, которое, в награду за его прекрасные качества, принесла ему жизнь, радовалась тому, что он стал отцом моих детей, – впрочем, и тот, другой, всегда относился к ним с сердечным участием, в этом ему отказать нельзя. Однажды он написал, что хотел бы крестить их всех, ибо они так же близки ему, как и мы. Мы и правда попросили его в крестные к нашему первенцу в семьдесят четвертом году, хотя нам очень не хотелось называть его Вольфгангом, на чем тот непременно настаивал; и мы потихоньку дали ему имя Георг. Но в восемьдесят третьем году Кестнер послал ему силуэты всех бывших у нас к тому времени детей, и очень его этим порадовал. Всего шесть лет назад он помог моему сыну Теодору, врачу, женатому на уроженке Франкфурта, девице Липперт, получить там права гражданства и профессию в Медико-хирургической академии. Да, в этом случае он пустил в ход все свое влияние; и когда в прошлом году Теодор вместе с братом Августом, легационным советником, навестил его в Гербермюле, у доктора Виллемера, он очень дружелюбно принял обоих, осведомился о моем житье-бытье и даже сказал, что знает их всех по силуэтам, присланным ему их покойным отцом, когда они еще были озорными мальчишками. Августу и Теодору пришлось дать мне подробный отчет об этом визите. Говоря о силуэтах, он выразил сожаление, что этот некогда столь принятый способ оставлять память о себе совершенно вышел из моды. Он был очень обязателен, рассказывали они, и только как-то непокоен во время беседы в

саду, где собралось небольшое общество. Он ходил взад-вперед по лужайке, заложив одну руку в карман, другую за борт сюртука, и когда останавливался, то казалось, не очень твердо стоял на ногах и всякий раз прислонялся к дереву.

– Ну, это вполне понятно, – произнес Ример, – он был не в духе. А сентенция по поводу силуэтов ровно ничего не значит и сказана лишь бы что-нибудь сказать. Но не будем к нему строги.

– Право, не знаю, мой милый господин доктор, в свое время он имел случай оценить всю прелесть искусства ножниц. Как мог бы он иначе составить себе представление о моих детях? Ведь несмотря на свою к ним приверженность, он никогда не нашел или не искал случая узнать их и вновь свидеться со своим старым Кестнером. Тут силуэты очень пригодились. Вам, наверное, известно, в Вецларе у Гете был также и мой силуэт (как бы я хотела знать, хранится ли он еще у него!) и какую неистовую бурную радость выказал он, получив его в подарок от Кестнера. Возможно, что отсюда и идет его пристрастие к этому виду искусства.

– О, конечно! Не могу вам сказать с уверенностью, находится ли эта реликвия среди прочих. Но это весьма важно, и я обещаю вам как-нибудь, в благоприятную минуту, разузнать у него о ее судьбе.

– Я предпочла бы спросить его сама. Как бы там ни было, но я знаю, что некогда он просто поклонялся этой бедной тени. «Тысячи, тысячи поцелуев запечатлел я на нем, тысячи приветов слал ему, уходя или возвращаясь домой». Так у него написано. По Вертеру, портрет был мне возвращен, но ведь он, слава господу и всем нам на благо, не застрелился, а следовательно, еще владеет им, если только время не испепелило силуэта. Да, кроме того, он и не мог вернуть его мне, ибо получил его не от меня, а от Кестнера. Но скажите, господин доктор, не кажется ли вам, что бурная радость, выказанная им по поводу этого подарка, который он получил даже не от меня, а от моего жениха, то есть от нас обоих, и его необыкновенная к нему приверженность свидетельствуют об удивительной готовности довольствоваться малым?

– Это поэтическое довольствование малым, – заметил Ример, – то, что для других – нищета, для поэта – величайшее богатство.

– Видимо, это же заставило его довольствоваться силуэтами детей, вместо того чтобы свести с ними настоящее знакомство и завернуть к нам во время одного из путешествий; если бы Август и Теодор не взяли на себя инициативы и не решились посетить его в Гербермюле, он так бы и не увидел ни одного из человечков, которых, по его же собственному признанию, хотел бы всех, без исключения, иметь своими крестниками, ибо они ему были так же близки, как и мы. Его старый Кестнер, мой добрый Ганс-Христиан, отошел в вечность, тому уже шестнадцать лет, так и не свидевшись с ним. О моем здоровье он очень учтиво расспрашивал мальчиков, но никогда, за всю нашу долгую жизнь, не сделал ни малейшей попытки узнать о нем от меня... И если бы теперь, в предвечерний час, я не взяла на себя почин, – от чего мне, может быть, следовало воздержаться, но ведь я приехала к своей сестре Ридель, а все остальное, разумеется, не более как а прогос[22 - Между прочим (фр.)].

– Дражайшая госпожа советница, – доктор Ример ближе придвинулся к Шарlotte, не поднимая на нее глаз, точнее, опустив веки, и его лицо как бы застыло в чаянии того, что он собирался сказать и для чего понизил голос. – Дражайшая госпожа советница, я умею уважать ваше а прогос, мне понятна чувствительность, даже легкая горечь, сквозящая в ваших словах, скорбное удивление перед такой нехваткой инициативы, не очень естественной и, пожалуй, не подобающей человеческому сердцу. Прошу вас, не

удивляйтесь моим словам. Поверьте мне, там, где есть столько причин восхищаться, не может не быть повода и для удивления. Он ни разу не посетил вас, некогда столь близкую его сердцу и внушившую ему бессмертную страсть. Это странно. Но если узам природы придавать еще большее значение, нежели узам приязни и благодарности, то обнаружатся факты, очевидная необычность которых послужит вам утешением в вашем горьком опыте. Какая-то своеобразная угрюмость наличествует там, трудно определимое душевное торможение, нечто противообычное и оскорбительное. Как относился он в продолжение всей своей жизни к кровным родственникам? Да никак. Отзывался о них с приятной учтивостью и преступно пренебрегал ими. Еще в юные годы, когда были живы его родители, сестра, какая-то робость, осуждать которую мы не вправе, мешала ему навещать их, даже писать им. О существовании единственного оставшегося в живых ребенка этой сестры, злополучной Корнелии, он ни разу в жизни не вспоминал и так и не знает его в лицо. Что уж тут говорить о внимании, хотя бы самом минимальном, к франкфуртским дядькам, теткам и всем остальным родичам. Мадам Мельбер, престарелая сестра его покойной матери, живет там со своим сыном, – он не имеет с ними никакой связи, если не считать маленького капитала, который они ему должны как наследнику покойной советницы. А сама мать, эта мамочка, подарившая ему, как он декларировал, «веселый нрав и страсть к повествованию»? – Доктор Риммер склонился еще ниже, по-прежнему не подымая глаз. – Уважаемая, когда восемь лет назад она отошла в вечность (он тогда как раз возвратился после долгого и живительного пребывания в Карлсбаде в свой нарядный дом), они не виделись ровным счетом одиннадцать лет. Одиннадцать лет! – нелегко выговорить эту цифру. Человеку тут остается лишь развести руками. Он был убит, потрясен до глубины души, мы все это видели, и знали, и от всего сердца радовались, когда Эрфурт и свидание с Наполеоном вывели его из подавленного состояния. Но за одиннадцать лет ему ни разу не пришло в голову – или он не удосужился? – заехать в родной город, в родительский дом. О, конечно, тут сыщутся уважительные причины: болезни, войны, необходимые поездки на курорт. О последних я упомянул для очистки совести, но боюсь, что невпадет, ибо во время этих поездок как раз и можно было, сделав небольшой крюк, завернуть в отчий дом! Но он пренебрег этим! Не спрашивайте меня почему! Помнится, на уроке закона божия учитель тщетно силился растолковать нам, мальчикам, слова спасителя, обращенные к его матери: «Женщина, что мне до тебя». Все это не так надо понимать, заверял он нас, и это непочтительное обращение и последующее, где сын божий подчиняет то, что для всех нас священо, своему высшему, особому искупительному призванию.

Но законоучитель напрасно старался примирить с этим изречением! Оно казалось нам столь мало назидательным, что никто не решался вслух произнести его. Простите мне это отступление! Сентенция, о которой я говорил, часто приходила мне на ум в этой связи и теперь тоже неволью примешалась к моим усилиям примирить вас с этой его странностью и объяснить столь непостижимое отсутствие инициативы. Когда ранней осенью четырнадцатого года, во время своего путешествия по Рейну и Майну, он снова посетил Франкфурт, родной город не видел его в своих стенах ровно семнадцать лет. Что это? Какая робость, какая неодолимая застенчивость или злопамятная стыдливость определили чувства гения к городу, где он возник, к стенам, которые видели его в эмбриональном состоянии и которые он перерос, чтобы выйти на всемирный простор! Что он, стыдится их или совестится перед ними? Нам остается только спрашивать и предполагать. Правда, ни город, ни его достойная мать, ничуть этим не были задеты. Франкфуртский «Почтовый вестник» посвятил его пребыванию статью (я сохранил ее); что же касается матери, уважаемая, то ее преклонение перед гением сына всегда было равновелико ее гордости тем, что она произвела на свет такое чудо, и ее бесконечной любви к нему. Он хоть и оставался вдали, но посылал ей, по мере выхода в свет, каждый том полного собрания своих сочинений, и с первым из них – стихотворным – она никогда не расставалась. Восемь томов успела она получить до своей смерти и велела

переплести их в тисненую кожу...

– Мой милый господин доктор, – перебила его Шарлотта, – право же, вы напрасно превозносите передо мной необидчивость родного города и материнское всепрощение. Насколько я понимаю, вы хотите поставить мне их в пример, но я в этом не нуждаюсь! Мои скромные выводы я сделала с полным спокойствием, не без сознания курьезности его поступков, но и без горечи. Вы же видите, что я следую примеру пророка и иду к горе, раз гора не захотела пойти ко мне. Обидчивый пророк этого бы не сделал. Не надо также забывать, что пророк идет к горе лишь по оказии, вернее, просто не собирается ее обходить, ибо это уже смахивало бы на обиду. Надеюсь, вы меня правильно понимаете: я вовсе не хочу сказать, что мне так уж по душе материнское смирение нашей дорогой, с миром почившей госпожи советницы. Я сама мать, я произвела на свет нескольких сыновей, и они выросли почтенными, деятельными людьми. Но если бы хоть один из них повел себя подобно сынку имперской советницы и в продолжение одиннадцати лет не пожелал бы заглянуть ко мне и только знай катал бы мимо моего города – на курорт и обратно, – я научила бы его благоприличиям и, верьте мне, господин доктор, задала бы ему хорошую головомойку.

Гневно-веселое настроение, казалось, овладело Шарлоттой. Произнося эти запальчивые слова, она постукивала зонтиком, ее лоб под пепельно-серыми кудряшками покраснел, губы искривились не совсем так, как кривятся для улыбки, а в голубых глазах стояли слезы задора или какие-то другие слезы. Они блеснули на ее ресницах, когда она продолжала:

– Нет, скажу откровенно, такое материнское всепрощение мне не по нраву; даже как оборотную сторону великих достоинств я бы не признала эту сыновнюю «непритязательность». Уж я бы примчалась – пророчица к горе – и заставила бы его призадуматься. Вы этому поверите, раз я и теперь приехала посмотреть, что с этой горой происходит, – не потому, что я имею какие-нибудь права на него, боже упаси, я не мать ему, и он может проявлять свою «непритязательность» по отношению ко мне, сколько его душе угодно, – хотя, не стану отрицать, есть старый непогашенный счет между мною и им, и, может быть, это он и привел меня сюда, давнишний, непогашенный, мучительный счет...

Ример со вниманием следил за Шарлоттой, слово «мучительный», выговоренное ею, было первым словом, соответствовавшим выражению ее рта, слезам на ее глазах. Мужчина и тяжелодум, он дивился и восхищался: на что только не способны эти женщины и как они хитрят, даже в чувстве. Она заранее позаботилась о тексте, сообщающем иной смысл выражению муки, – вероятно, пожизненной муки, – слезам и искривившемуся рту, так ложно интерпретировавшем ее, что казалось, будто все это вызвано ее гневно-веселой тирадой и стояло с нею в прямой связи задолго до того, как вырвалось это изобличающее слово, дабы никто не мог, не осмелился его связать с той давней мукой и, напротив, воспринял в свете ранее сказанных слов, которыми она заблаговременно обеспечила себе право на внезапные слезы. Изошренные создания, думал Ример, невероятно искусные в притворстве, владеющие даром нераздельно смешивать лукавство и искренность, рожденные для света и любовных интриг. Мы, мужчины, – пентюхи, неповоротливые медведи в сравнении с ними. Мне удалось заглянуть ей в карты и постичь ее уловки только потому, что и я испытал мучения, столь схожие с ее мучениями, потому что мы соучастники, соучастники в муке... Он поостерегся прервать ее и выжидательно смотрел своими широко расставленными глазами на ее искривившиеся губы. Она снова заговорила:

– Сорок четыре года, мой милый господин доктор, прибавившиеся к моим тогдашним девятнадцати, для меня оставалась загадкой, мучительной загадкой – зачем мне таиться

от вас? – эта «непритязательность», это довольствование силуэтами, довольствование поэзией, поцелуем, от которого, как он сам говорит, дети не рождаются. Но они родились, одиннадцать человек, если не считать двух умерших, родились из любви моего Кестнера, преданной честной любви. Вдумайтесь хорошенько, попробуйте себе это представить, и вы поймете, почему я за долгую жизнь так и не справилась со своими сомнениями. Не знаю, известны ли вам все тогдашние обстоятельства? Когда началась судейская ревизия, Кестнер приехал из Ганновера к нам, в Вецлар, в качестве личного секретаря Фалька – Фальк, как вы, наверно, помните, был посланником герцога Бременского. Все это со временем получит историческое значение, и – не будем скромничать – каждый, именующий себя просвещенным человеком, обязан будет знать все эти подробности. Итак: Кестнер, спокойный, благонравный, положительный молодой человек, приехал в наш город в качестве секретаря бременской миссии. Я, пятнадцатилетнее создание – ведь мне тогда минуло всего пятнадцать, – тотчас же прониклась к нему глубоким доверием. Он же, поскольку ему позволяла постоянная занятость, начал бывать в Немецком доме, стал как бы членом нашего многочисленного семейства, за год перед тем потерявшего милую, любимую и незабвенную мать. О ней теперь весь мир знает из «Вертера». Наш отец, амтман, остался вдовцом с целой кучей детей, и я, его вторая дочь, сама еще почти ребенок, изо всех сил старалась заменить покойную мать в воспитании детей и домоводстве; как умела, чистила носы малышам, кормила их и силилась покрепче держать бразды правления в своих руках, ибо Лина, наша старшая, не проявляла ко всему этому ни охоты, ни склонности. Позднее, в семьдесят шестом году, она вышла замуж за надворного советника Дица и родила ему пятерых бравых сыновей. Старший из них, Фрицхен, в свою очередь сделался надворным советником при архиве имперского верховного суда, – все это станет важным со временем, когда в целях просвещения начнут докапываться и до этих сведений, а потому я уже теперь стараюсь покрепче держать их в памяти. Кроме того, я только хочу сказать вам, что Каролина, наша старшая, впоследствии тоже стала превосходной женой и матерью – надо позаботиться о том, чтобы история и ей воздала должное. Но тогда домовитостью отличалась я, а не она; так, по крайней мере, утверждали все, хотя я в ту пору была еще довольно тщедушным созданием, белокурым и голубоглазым. Лишь в последующие четыре года я несколько выровнялась как женщина – в угоду Кестнеру и из любви к нему. Так мне, по крайней мере, казалось, – он ведь давно уже заглядывался на мою материнскую домовитость, и, что греха таить, заглядывался влюбленными глазами. А так как он всегда и во всем знал, чего хочет, то и здесь он едва ли не с первого дня знал, что хочет иметь меня, Лотхен, супругой и хозяйкой в своем доме, когда служебное и материальное положение позволит ему посвататься ко мне. Последнее было условием, которое поставил наш добрый отец, обещавший дать свое благословение не раньше, чем Кестнер добьется известных жизненных благ и сможет прокормить семью. К тому же я в свои пятнадцать лет была еще совсем неоперившимся цыпленком. Но тем не менее это была помолвка, нерушимый, молчаливый обет, данный обеими сторонами. Мой добрый Кестнер хотел во что бы то ни стало добиться меня из-за моей домовитости, а я желала его всем сердцем, потому что он так сильно желал меня и из доверия к его достойному характеру, – короче говоря, мы были помолвлены. Мы навек полагали свою жизнь друг в друге, и если я в последующие четыре года несколько развилась физически и приобрела, так сказать, женский облик, кстати, довольно приятный, то это, конечно, сделалось бы и само собой; просто для меня пришла пора из подростка стать женщиной или, выражаясь поэтически, расцвести. Конечно, это так, но в моем представлении все выглядело иначе, все совершалось по определенному умыслу, из любви к нему, преданному и желавшему меня, в его честь, дабы ко времени, когда он станет достаточно представителем для звания жениха, и мне, со своей стороны, быть достаточно представительной в качестве невесты и будущей матери... Не знаю, понятно ли вам, почему мне кажется важным подчеркнуть, что, по моему тогдашнему убеждению, я исключительно для него, доброго, преданного, стала хорошенькой девушкой или, по крайней мере, авантажной...

– Думается, я понимаю, – отвечал Риммер, потупившись.

– И вот в ту самую пору появился третий, друг, милый соучастник. Он пришел извне, впорхнул в мир этих отношений и заботливо уготовляемой жизни, как мотылек или пестрая летняя птица. Не удивляйтесь, что я называю его мотыльком, – он, конечно, был не очень легким юношей, то есть легким-то, пожалуй, и был: немного сумасбродный, суетный в манере одеваться, немного ветрогон, любивший щегольнуть силой и проворством. Душа общества, он изобретал самые веселые игры, и лучшие из наших танцорок всегда с радостью протягивали ему руку; все это так, хотя задорная веселость и нарядное оперенье не всегда были ему к лицу, ибо для этого он все-таки был слишком тяжел, слишком полон духа и мысли, – но ведь как раз тяга к глубоким размышлениям, гордость великими мыслями и служили у него связующим звеном между серьезностью и легкомыслием, между грустью и самодовольством. В общем же он был очарователен; в этом нельзя не признаться: такой открытый и добросердечный, в любую минуту готовый честно искупить свою провинность. Кестнер и я, мы одинаково сдружились с ним, все трое объединились в сердечной дружбе, ибо он, явившийся извне, пришел в восторг от отношений, существовавших между нами, с радостью воспринял их и к ним присоединился как друг и третий. У него на это хватало досуга, ибо хорош или плох был имперский суд, но он не проявлял к нему интереса и ровно ничего не делал, в то время как мой, желая выдвинуться – опять же ради меня, – дневал и ночевал в канцелярии посланника. Я еще поныне убеждена и готова поручиться перед будущими исследователями, что он и от этого был в восторге – я имею в виду трудолюбие и занятость Кестнера – не потому, что это ему позволяло быть наедине со мною, нет, он не был неверным другом, никто не посмеет этого сказать. К тому же поначалу он вовсе не был в меня влюблен, не поймите меня превратно, а был влюблен в нашу предназначенность друг для друга, в наше терпеливое счастье. В моем добром Кестнере он видел братскую душу и о неверности ему не помышлял. Он дружески положил руку на его плечо, чтобы в единении с ним любить меня, получая свою долю в наших продуманно-спокойных отношениях. И вот тут-то и случилось, что он позабыл о руке, покоившейся на плече Кестнера, хотя и не отнял ее, и его взор, обращенный на меня, принял другое выражение. Доктор, представьте себе мое состояние: все долгие годы, вынашивая и растя детей, я день и ночь вспоминала об этом, без устали думала и думаю по нынешний день! Боже милостивый, я все заметила, я была бы не женщина, если б не заметила, что его взор мало-помалу пришел в разлад с его верностью и что он влюблен уже не в нашу помолвленность, но в меня, то есть в то, что принадлежало моему доброму Кестнеру, в то, во что я превратилась за эти четыре года ради него, желавшего меня на всю жизнь, желавшего стать отцом моих детей. Однажды тот, третий, дал мне прочесть нечто выдавшее, намеренно выдавшее мне, как обстоит дело и что он ко мне чувствует – невзирая на руку, все еще покоившуюся на Кестнеровом плече, – нечто, отданное им в печать; ведь он писал и сочинял непрестанно и уже в Вецлар приехал с рукописью драмы о Геце фон Берлихингене, рыцаре с железной рукой, почему его приятели из трактира «Кронпринц», читавшие эту драму, и дали ему прозвище «Гец прямодушный». Он писал также рецензии и тому подобное.

Заметка, о которой я говорю, была напечатана во «Франкфуртском ученом вестнике». В ней разбирались стихи, написанные и выпущенные в свет каким-то польским евреем. Правда, о еврее и его стихах там говорилось немного. Словно не в силах сдерживаться, он быстро переходил к рассказу о юноше и девушке, встреченной им среди мирной сельской природы. И в этой девушке я, несмотря на всю мою стыдливость и скромность, не могла не узнать себя; так густо был уснащен текст намеками на мою жизнь, на меня, на мирный семейный круг домашней деятельной любви, где расцветала эта девушка во всей своей душевной и телесной прелести, душа столь любвеобильная, что к ней неодолимо влеклись все сердца (я почти дословно цитирую его), поэты и мудрецы охотно шли к ней в ученье, с восторгом созерцая врожденную добродетель в союзе с



врожденной прелестью. Короче говоря, конца не было намекам, надо было быть уже совсем богом ушибленной, чтобы не заметить, к чему он клонит, – тут никакая стыдливость и скромность не могли помешать проникновению в истину. В трепет и отчаяние меня повергло то, что юноша предложил девушке свое сердце, столь же молодое и пылкое, сердце, созданное, чтобы вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству этого мира (так он выражался) и в оживляющем содружестве (как было мне не узнать «оживляющего содружества») питать золотые надежды на вечную близость (я цитирую дословно) и вечно подвижную любовь.

– Позвольте, дражайшая госпожа советница, вы же делаете важнейшее открытие, – прервал ее Ример. – Вы сообщаете сведения, в ценности которых едва ли отдаете себе отчет. Об этой рецензии ничего не известно. Я слушаю и ушам не верю. Ясно, что старик... ясно, что он утаил от меня этот документ. Возможно, впрочем, что он забыл...

– Этому я не верю, – перебила Шарлотта. – Такое не забывается. «Вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству», – об этом он, конечно, помнит, так же, как и я.

– Очевидно, – горячился Ример, – этот документ связан с Вертером и чувствами, легшими в его основу. Уважаемая, это дело огромной важности! Сохранился ли у вас экземпляр? Надо его найти, сделать доступным филологам...

– Я почту за честь послужить науке таким указанием, – отвечала Шарлотта, – хотя должна заметить, что мне вряд ли необходимо обращать на себя внимание единичными заслугами.

– Вы совершенно правы.

– Приходится разочаровать вас, у меня нет этой рецензии, – продолжала она. – В свое время он дал мне ее только на прочтение и требовал, чтобы я прочитала ее при нем, на что я бы никогда не согласилась, если б хоть на мгновение заподозрила, в сколь тяжкий конфликт здесь вступят моя скромность и проникательность. Так как я отдала ему рецензию, не взглянув на него, то не могу вам даже сказать, какую мину он соорудил. «Вам понравилось?» – спросил он беззвучным голосом. «Еврей будет не слишком доволен», – холодно отвечала я. «Ну, а вы, Лотхен, – настаивал он, – вы довольны?» – «Я не утратила душевного равновесия». – «О, если б я мог то же сказать о себе!» – воскликнул он, словно недостаточно было одной рецензии и понадобилось еще это восклицание, чтобы сказать мне, что рука, покоившаяся на плече Кестнера, забыта и вся жизнь теперь сосредоточена в глазах, которыми он смотрит на то, что принадлежало Кестнеру, на то, что для него одного, под теплым, пробуждающим взглядом его любви, распустилось во мне. Да, все, чем я была, и все, что было во мне, все, что я могу теперь назвать моей девятнадцатилетней прелестью, принадлежало моему милому, было посвящено нашим честным житейским намерениям и цвело не для «таинственного блаженства», не для какой-то «вечно подвижной любви», отнюдь нет. Но вы, доктор, поймете, да и все люди, я надеюсь, поймут, что девушка радуется и веселится, когда не только один видит ее весеннее цветение, не только тот, кому оно посвящено и кем, я бы сказала, оно вызвано, но когда на это цветение раскрываются глаза и у другого, третьего, ибо это ведь подтверждает нашу прелесть и для нас и для того, кому суждено владеть ею. И как же я радовалась, видя, что и мой добрый Кестнер радуется моим успехам у других и прежде всего у его необыкновенного, гениального друга, которым он восхищался, в которого верил так же, как в меня, или нет, пожалуй, несколько иначе, несколько менее почетной верой. В меня он ведь верил потому, что не сомневался в моем благоразумии и был убежден, что я знаю, чего хочу; в него же верил именно потому, что тот понятия не имел, чего он хочет, и любил смятенно и бесцельно, как поэт. Вот,

доктор, видите, как все было! Кестнер в меня верил, так как принимал меня всерьез; в того же верил, так как его всерьез не принимал, хотя и бесконечно восхищался его блеском и гением, хотя и сочувствовал страданиям, уготованным ему его бесцельной любовью поэта. Я тоже жалела его за то, что он так страдал из-за меня, за то, что из дружбы угодил в такой переплет, но ко всему мне было еще и обидно за него, за то, что Кестнер не принимал его всерьез и верил в него какой-то непочетной верой, а потому меня часто мучила совесть: мне казалось, что я обкрадываю моего милого, объединяясь с другом в обиде на такого рода доверие. Но, с другой стороны, это доверие успокаивало меня, позволяло мне смотреть сквозь пальцы и чет считать за нечет, видя, как подозрительно перерождается добрая дружба третьего и как он забывает о руке, положенной на плечо моего милого. Понимаете ли вы, господин доктор, что это чувство обиды было уже признаком моего собственного небрежения долгом и благоразумием и что доверие и невозмутимость Кестнера сделали меня немного легкомысленной.

– Благодаря моему высокому служению, – отвечал Ример, – я привык разбираться в подобных тонкостях и, думается мне, постигаю всю тогдашнюю ситуацию. Я отдаю себе отчет также и в трудностях, вырвавшихся для вас, госпожа советница, из этого положения.

– Благодарю, – отвечала Шарлотта, – и возьму на себя смелость заверить вас, что давность всего происшедшего нисколько не умаляет моей благодарности за это понимание. Ведь время здесь, против обыкновения, играет весьма ничтожную роль. Я берусь утверждать, что, несмотря на эти сорок четыре года, все то давнее сохранило свою свежесть и непосредственность, постоянно наводящую на новые и новые размышления. Да, как ни полны были эти долгие годы радостями и страданиями, но дня не проходило, чтобы я напряженно не раздумывала о тогдашнем; впрочем, его последствия и то, во что оно выросло для всего просвещенного человечества, делают это понятным.

– Вполне понятным!

– Как хорошо вы это сказали, господин доктор, и как вы меня ободрили! До чего же приятно беседовать с человеком, у которого всегда наготове столь добрые слова. Видно, то, что вы называете своим «высоким служением», и вправду во многом отразилось на вас, сообщило и вам качества исповедника, которому можешь и хочешь все открыть, ибо ему все «вполне понятно». Вы придаете мне мужество поведать вам еще кое-что о мучительных размышлениях, на которые наталкивали меня некоторые события, тогдашние и более поздние, размышления о характере и роли того, третьего, явившегося извне, чтобы положить в заботливо свитое гнездо кукушечье яйцо своего чувства. Не пеняйте на меня за такое определение, как «кукушечье яйцо», – вспомните, что вы сами подали мне пример подобных оборотов, смелых или дерзких, называйте их как хотите. Вы говорили об «эльфической» сущности, а эльфичность, на мой слух, звучит ничуть не лучше кукушечьего яйца. К тому же это слово только выражение долголетних непрестанных дум, – правильно ли вы меня понимаете? – я имею в виду: не плод их! В качестве такового оно действительно было бы некрасиво и недостойно, с этим я согласна. Нет, такие определения – это в известной мере продолжающиеся думы, не больше. Итак, я говорю и ничего другого не хочу сказать: добропорядочный юноша, несущий к ногам девушки свою любовь и поклонение – поклонение, а следовательно, и домогательства, которые не могут не смущать ее, – тем паче, чем необычнее и блистательнее проявляет себя этот юноша и чем увлекательнее общение с ним, естественно, вызывающее некоторые ответные чувства в ее сердце: такой юноша, я полагаю, должен был бы, если можно так выразиться, самостоятельно избрать свою избранницу, сам обнаружить ее на своем жизненном пути, сам оценить ее достоинства и вывести ее из мрака неузнанности, чтобы отдать ей свое сердце. И вот... почему бы мне и

не спросить вас о том, о чем я так часто спрашиваю себя в продолжение этих сорока четырех лет: что сказать о юноше – пусть общение с ним стоикрат увлекательно, – которому недостает самостоятельности в любви и избрании и кто предпочитает быть третьим и любить то, что расцвело для другого и благодаря другому? – кто, влюбившись в чужую влюбленность, вторгается в жизнь, созданную другими, и лакомится яствами с чужого стола? Любовь к нареченной другого – вот что заставляло меня ломать голову все эти годы моего замужества и вдовства, любовь, сочетаемая с верной дружбой к жениху, которая – при всех домогательствах, неразлучных с нею, – отнюдь не намеревалась ущемить его права или разве что поцелуем, – любовь, предоставляющая другу все права и обязанности и наперед ограничивающая себя намерением крестить детишек, которые произойдут от брака тех двоих, а если и это не удастся, то довольствоваться представлением о них по силуэтам... Скажите, что же это такое – любовь к чужой невесте, и почему эта любовь может стать предметом долголетних, трудных дум? Они привели к тому, что у меня на языке стало неотвязно вертеться одно слово, и я, несмотря на внутреннее сопротивление, так и не смогла от него отделаться. Это слово – прихлебательство...

Наступило молчание. Голова старой дамы дрожала. Ример на мгновение закрыл глаза и закусил губы. Затем он заговорил с нарочитым спокойствием:

– Имея мужество выговорить это слово, вы, должно быть, учли, что у меня достанет мужества его выслушать. И, верно, вы согласитесь, что испуг, на мгновение заставивший нас умолкнуть, был только испугом перед божественным значением и смыслом этого слова, не ускользнувшим от вас, когда вы его обронили. Могу вас заверить, что принимаю эту мысль во всей ее чистоте. Существует божественное прихлебательство, нисхождение божества в обитель человека, не новое для нашего воображения, божественно случайное соучастие в земном блаженстве, высшее избрание избранницы смертного, любовная страсть бога к жене человека, достаточно благочестивого и богобоязненного, чтобы чувствовать себя не оскорбленным и не униженным такого рода дележом, но, напротив, вознесенным и отличенным. Его доверие, его спокойствие вызвано именно этой бродяжно-божественной сущностью сотрапезника, которому, независимо от благоговения и набожного восторга, им возбуждаемого, свойственна некая реальная незначимость, – я упоминаю об этом, так как вы первая заговорили о «непринимании всерьез». Божественное, право же, не принимается вполне всерьез, конечно, поскольку оно обитает среди людей. Земной жених по справедливости может сказать себе: «Успокойся, это только бог», – хотя «только» здесь, разумеется, исполнено прямодушного признания высшей природы солубовника.

– Так все и было, друг мой; его доверие было исполнено этим чувством и притом даже слишком, так что я нередко замечала сомнения и терзания моего милого: достоин ли он быть моим обладателем перед лицом столь высокой, хотя и не совсем всерьез принимаемой страсти другого? Сможет ли он осчастливить меня в той мере, как тот, и не лучше ли ему отказаться от соперничества?

И, признаюсь, я была не всегда, не всем сердцем готова снять с Кестнера эти сомнения. И все это, доктор, заметьте, хотя мы оба и чуяли про себя, что его страсть, сколько бы страданий она ни несла с собой, была лишь чем-то вроде игры, чем-то, на что нельзя положиться, каким-то сердечным средством для достижения сверхобычных, – мы едва решались так думать, – сверхчеловеческих целей.

– Дражайшая, – произнес фамулус растроганным и в то же время предостерегающим тоном; он даже простер ввысь украшенный перстнем палец, – поэзия – это не сверхчеловеческий феномен, несмотря на всю ее божественность. Девять плюс четыре года служу я ей поденщиком и писцом. В тесном общении я многое заметил за нею и

вправе о ней говорить: на деле она

– таинство, очеловечивание божества; она человечна и божественна в равной мере – феномен, отсылающий нас к глубочайшим тайнам христианского учения и к обольстительным мифам язычества. Пусть причина – в ее божественно-человеческой двойственности или в том, что она сама красота, – безразлично; она склонна к самолюбованию и ассоциируется с древним прелестным образом отрока, в восторге склонившегося над своим отражением. Как слова в ней, улыбаясь, любят себя, так и чувства, и мысли, и страсть. Самолюбование не в чести у смертных, но в высоких сферах, дражайшая госпожа советница, смею вас уверить, это слово не есть порицание. Да и как может прекрасное, поэзия не прельщаться собою? Она продолжает собой любоваться и в страстнейших страстях, – она человечна в страданиях и божественна в самовосхищении. Она любит себя созерцать в самых странных облициях и причудах любви, – к примеру, в любви к невесте, то есть к недозволенному, запретному. Ей нравится, неся на себе печать принадлежности к чужому, нечеловеческому, любовному миру, вступать в людские связи и соучаствовать в них, пьянея от греха, в который она впала, которому предалась по доброй воле. В ней много от знатного вельможи – и в нем от нее, – которому нравится, распахнувши плащ, предстать перед ослепленной, молящейся на него девочкой из народа во всем великолепии испанского придворного платья... Такова природа ее самовосхищения.

– Сдается мне, – заметила Шарлотта, – что такое самовосхищение связано с чрезмерной неприязнительностью, уже не позволяющей всецело признать его права. Мое смятение в ту пору – долго не проходившее смятение, не буду этого скрывать – было вызвано сравнительно жалкой ролью, на которую здесь согласилось божество, как вам угодно было выразиться. Вы, милый доктор, сумели грубому слову, вырвавшемуся у меня, дать высокое величественное толкование, и я от души благодарна вам. Но, по правде говоря, это божественное сотрапезничество имело жалкий вид и непонятное сострадание к этому другу, к этому третьему меж нами, столь превосходящему блеском простых смертных, повергало в конфузливое удивление обоих нас, предназначенных друг для друга. Разве ему нужно было строить из себя нищего и принимать милостыню? А чем был мой силуэт или бант от платья, подаренный ему Кестнером, как не милостыней? Правда, я знаю, что одновременно они были и жертвой, примирительной жертвой, ибо я, невеста, безусловно хотела этого, и дар был сделан с моего согласия. И все же, доктор, всю мою долгую жизнь я не переставала дивиться неприязнительности богоподобного юноши. Сейчас я хочу вам рассказать кое-что, над чем я ломала голову в продолжение сорока лет, да так и не подыскала объяснения, – мне однажды поведал это Борн, практикант Борн, проживавший тогда в Вецларе, сын лейпцигского бургомистра, знакомый с ним, как вы знаете, еще с университета. Борн хорошо относился к нему и к нам, в особенности к Кестнеру. Превосходный, благовоспитанный юноша, он обладал большим тактом и на многое из того, что происходило, смотрел с неодобрением. Его заботила, как я узнала позднее, близость того ко мне и его поведение, ибо все это было похоже на шуры-муры, опасные для Кестнера, то есть на то, что он волочился за мною, желая отбить меня у моего жениха. Борн высказал это тому, когда мой милый был в отъезде... «Брат, – сказал он, – не дело ты затеял! К чему все это приведет? Ты даешь повод к пересудам о девушке и о тебе. Будь я Кестнером, клянусь богом, мне бы это пришлось не по вкусу. Опомнись, брат!» И знаете, что тот ему ответил? «Пусть я дурак, – сказал он, – но я бесконечно высоко ставлю эту девушку, и если она меня обманет (если я его обману, так он сказал), если она окажется столь заурядной и воспользуется Кестнером, как ширмой, чтобы тем увереннее расточать свои прелести, то миг, в который я это узнаю, миг, в который она предаст жениха, будет последним мигом нашего знакомства». Что вы на это скажете?

– Весьма благородный и деликатный ответ, – промолвил Риммер, опустив глаза, –

свидетельствующий о доверии, с которым он к вам относился, о вере в то, что вы ложно не истолкуете его приверженность.

– Ложно не истолкую? Я и поныне стараюсь не истолковать ее ложно. Но скажите, как правильно толковать ее? Нет, он мог быть спокоен, мне и на ум не приходило предаваться кокетству под прикрытием нашей помолвки. Для этого я была слишком глупа или, говоря его словами, недостаточно заурядна. Но он-то сам, разве он не пользовался Кестнером и нашим обручением как прикрытием для своих поступков и страсти к уже несвободной девушке, которой зазорно предавать своего жениха? Разве он не обманывал меня, не мучил своей вдохновенно взволнованной, будоражившей мне душу привлекательностью, которой я не могла, и он это знал наверняка, не могла, не хотела и не дерзала покориться?

Однажды в Вецлар появился его друг, долговязый Мерк, – я его не терпела, – вечно насмешливый и озлобленный вид, противная физиономия, заставлявшая меня сжиматься, но умник и на свой лад действительно любивший его, может быть единственного на свете. Убедившись в этом, я волей-неволей стала лучше к нему относиться. Так вот! То, что ему сказал этот Мерк, позднее дошло до меня. Мы вместе с брандтовскими девочками Анхен и Дортельхен, дочерьми прокуратора Брандта, снимавшего большой дом в Орденском дворе, моими соседками и закадычными подругами, отправились на вечеринку потанцевать и поиграть в фанты. Дортель, красивая и рослая, была куда представительнее меня, все еще довольно subtilной, несмотря на мое цветение в честь Кестнера, – а глаза у нее были как черные вишни и частенько возбуждали мою зависть, ибо я знала, что он, в сущности, любит черные глаза и предпочитает их голубым. И вот этот долговязый отзывает Гете в сторонку и говорит: «Глупец, какого черта ты волочишься за невестой и попусту теряешь время? Обрати-ка лучше внимание на эту черноокою Юнону, Дортель, и приударь за нею, тут дело живо наладится, она свободна и ничем не связана. Ну, да, впрочем, ты охотник расточать время». Анхен, ее сестра, слышала это и точно пересказала мне. Он только рассмеялся на слова Мерка, говорила она, и пропустил мимо ушей упрек в трате времени, – тем более лестно для меня, если хотите, что он не признавал потерянным время, отданное мне, и свободу Дортель не посчитал достоинством, превышавшим мои достоинства. Или, быть может, и видел в этом достоинство, да только ему не нужное. Впрочем, в романе он наделил Лотту черными глазами Дортель, – если это ее черные глаза. Ведь говорят, что они идут от Максимилианы Ларош, впоследствии Брентано, во франкфуртском доме которой, в ее медовый месяц, он просиживал целые дни перед написанием «Вертера», покуда муж не устроил сцену, положившую конец этому сиденью. Люди говорят, что это ее глаза, у некоторых даже хватает бесстыдства утверждать, будто в Вертеровой Лотте от меня не больше, чем от иных прочих. Что вы скажете об этом, доктор, в качестве мужа науки? Разве это не ужасно и разве я могу спокойно относиться к таким разговорам? Подумайте только, из-за этой чуточки черных глаз я уже перестаю быть Лоттой?

Ример с умилением заметил, что она плачет. У старой дамы, круто отворотившейся, чтобы укрыться от его взора, покраснел носик, ее губы дрожали, и тонкие пальцы торопливо шарили в ридикюле, отыскивая платочек, которому предстояло осушить слезы, готовые вот-вот пролиться из ее быстро мигающих незабудковых глаз. Но и опять, как прежде, – Ример снова заметил это, – она плакала по заранее предусмотренному поводу. Быстро и хитро, из женской потребности в притворстве, она его сымпровизировала, чтобы дать беспомощным слезам, давно уже подступавшим к горлу, слезам о непостижимом, которых она стыдилась, более простое, хотя и довольно вздорное толкование. Несколько секунд она прижимала платочек к глазам.

– Дорогая, бесценная мадам Кестнер, – проговорил Ример. – Возможно ли это? Возможно ли, что вы усомнились в вашей почетнейшей роли и что это сомнение хотя бы

на малый миг огорчило вас? Наша беседа здесь, осада, терпеливыми и, как мне думается, довольными жертвами которой мы стали, должна со всей ясностью показать вам, в ком нация видит прообраз вечной героини. Я говорю так, словно еще может быть место сомнению в вашем величии, после того как он сам в... позвольте... да, в третьей части своей исповеди высказался об этом. Но мне ли вам это напоминать? Как художник, говорит он, концентрирует в своей Венере множество виденных красавиц, так и он позволил себе из добродетелей многих хорошеньких девушек сформировать свою Лотту; но основные черты, добавляет он, взяты от любимейшей, – любимейшей, госпожа советница! А чей дом, чью семью, характер, внешность и деятельную любовь описывает он с нежностью и точностью, не оставляющими места каким бы то ни было сомнениям в... сейчас, одну минуточку – в двенадцатой книге? Пусть спорят празднословы, существует одна или несколько моделей Лотты Вертера, – героиня одного из прелестнейших, трогательнейших эпизодов в жизни великого гения, Лотта юного Гете, уважаемая, существует только одна...

– Это я сегодня уже слышала, – улыбаясь и краснея, сказала она, выглянув из-под платочка. – Здешний кельнер, Магер, не знаю уж по какому поводу, высказал то же самое мнение.

– Я ничего не имею против, – возразил Ример, – разделять проникновение в истину с человеком из простонародья.

– В конце концов, – заметила она с легким вздохом и дотронулась платочком до глаз, – эта истина не столь уже много значит, мне следовало бы помнить об этом. На один эпизод, разумеется, довольно и одной героини. Но эпизодов-то было множество, и говорят, что они все еще имеют место. Я внесена в длинный список...

– Бессмертный список, – дополнил он.

– Вернее, – поправилась она, – судьба внесла меня в него. Я на нее не в претензии. Она была ко мне милостивее, чем ко многим из нас, даровав мне полную, счастливую жизнь бок о бок с добрым мужем, которому я хранила разумную верность. Среди нас есть куда более блеклые, печальные фигуры: они изошли одинаковыми слезами и обрели мир в безвременной могиле. Но когда он пишет, что покидал меня не без страданий, но все же с более чистой совестью, нежели Фредерику, то я не могу не сказать: и в моем случае совести есть за что попрекнуть его. Немало он измучил меня своими бесцельными домогательствами и до того возмутил мое сердечко, что оно готово было разорваться. Когда он уехал и мы снова оказались одни, простые люди в своем кругу, грустно стало у нас на душе, и только о нем мы и могли говорить. Но и легко нам стало тоже. Да, мы почувствовали облегчение, – я тогда же это подумала и все старалась убедить себя, что вот отныне и уже навек восстановились естественные для нас и нам подобающие мирные будни. Как бы не так! Тут все только и началось! Пришла книга, и я сделалась бессмертной возлюбленной, – не единственной, боже упаси, ведь их целый список, но прославленной, больше других возбуждающей людское любопытство. И вот я вошла в историю литературы, стала предметом исследований и паломничеств, статуей Мадонны, перед чьей нишей всегда толпится народ в соборе человечества. Таков был мой удел. И я, вы уж не удивляйтесь, продолжаю спрашивать себя: почему это случилось? Потому ли, что юноша, смущавший меня в то лето, стал так велик, что и меня увлек за собою, и с тех пор всю свою жизнь я живу в тревоге болезненного возвеличения, в которое меня ввергло его тогдашнее бесцельное волокитство? Как случилось, что мои бедные, глупые слова были произнесены для вечности? Когда мы с кузиной ехали на бал и разговор вертелся вокруг романов, а затем перешел на танцы, я что-то болтала о том и о другом, нимало не помышляя, – боже избави! – что я болтаю для столетий и что это будет стоять в книге на веки веков. Я бы тогда попридержала язык или попыталась

сказать что-нибудь, быть может, более подходящее для бессмертия. Ах, господин доктор, когда я читаю эти слова, я стыжусь их, стыжусь так вот стоять с ними в моей нише перед всем человечеством! А этот мальчик, раз уж он был поэтом, неужели он не мог немножко их приукрасить, пересказать половчее, чтобы мне лучше было стоять с ними – Мадонной перед лицом человечества? Ведь собственно, это было его обязанностью, раз уж он непрошено втянул меня в нескончаемый мир вечности.

Она опять заплакала. Кто раз всплакнул, у того глаза уже на мокром месте. И снова, качая головой, в беспомощном недоумении перед своим жребием, поднесла к глазам платочек.

Ример склонился к ее левой руке в митенке, вместе с ридикюлем лежавшей на коленях, и ласково положил на нее свою руку.

– Милая, дорогая мадам Кестнер, – произнес он, – трепет, некогда возбужденный вашими милыми словами в груди юноши, во веки веков будет разделяться всем чувствующим человечеством – об этом он, как поэт, позаботился, и не в словах тут дело. – В дверь постучали. – Войдите, – машинально произнес он, не изменяя ни своего положения, ни мягкого утешающего тона. – Примите смиренно, – продолжал он, – что ваше имя всегда будет блистать среди женских имен, отмечающих эпохи его великого творчества, и питомцы просвещения будут говорить о вашей встрече, как о любовных похождениях Зевса. Сживитесь с тем, – да, впрочем, вы уже давно сжились, – что вы, как и я, принадлежите к людям, мужчинам, женщинам, девушкам, на которых благодаря ему падает свет истории, легенды, бессмертия, – как на тех, вокруг Иисуса... Кто там? – спросил он, выпрямляясь, но все еще растроганным голосом.

В комнате стоял Магер. Услышав, что речь идет о господе Иисусе Христе, он молитвенно сложил руки.

#### Глава четвертая

Шарлотта торопливо засунула в ридикюль свой платочек, быстро замигала глазами и втянула воздух покрасневшим носиком. Таким путем ей удалось побороть нарушенное появлением коридорного душевное состояние. Мина, которую она теперь соорудила, относилась уже к новой фазе ее чувств: это была весьма рассерженная мина.

– Магер! Вы опять здесь? – с досадой воскликнула она. – Я ведь, кажется, предупреждала, что должна обсудить с доктором Римером весьма серьезные вопросы и не хочу, чтобы мне мешали.

Тут у Магера нашлось бы что возразить, но он из почтения отказался оспаривать этот самообман и ограничился тем, что, простерев к старой даме и без того уже молитвенно сложенные руки, проговорил:

– Госпожа советница, смею заверить, что я до последней минуты старался не нарушить происходящего здесь собеседования. Я безутешен, но что мне было делать? Вот уже более сорока минут новая гостья, дама из веймарского общества, дожидается возможности предстать перед госпожой советницей. Я не мог более медлить с докладом и решил войти, уповая на чувство справедливости госпожи советницы и господина доктора, без сомнения привыкших, подобно другим высоким и почитаемым особам, делить между людьми свое время и благосклонность, дабы не оставить многих обойденными...

Шарлотта поднялась.

– Это уже слишком, Магер, – заявила она. – Битых три часа или больше, а я ведь и без того проспала, я собираюсь уходить, чтобы добраться наконец до моих, наверно уже обеспокоенных родственников, – а он хочет задержать меня новыми визитерами! Право, это уже чересчур. Я сердилась из-за мисс Гэзл, из-за господина доктора я сердилась тоже, хотя, как оказалось, это был визит более чем интересный. А теперь он навязывает мне еще новое промедление! Приходится всерьез сомневаться в преданности, которую он на все лады изъяснял мне, видимо только для того, чтобы удобнее выставить меня напоказ.

– Недовольство госпожи советницы, – с покрасневшими глазами воскликнул Магер, – разрывает мне сердце, уже ранее растерзанное борьбой двух священных обязанностей. Ибо как мне не почитать священной обязанности защищать нашу знаменитую гостью от нежелательных вторжений? Но пусть госпожа советница, прежде чем навеки обречь меня своей немилости, соизволит взвесить, что не менее священны и понятны такому человеку, как я, чувства высокочтимых особ, которые тотчас же по принятии к сведению вести о прибытии госпожи советницы возгорелись страстным желанием предстать перед нею.

– Прежде всего, – строго взглянув на него, сказала Шарлотта, – следовало бы узнать, кем пущен этот слух.

– Кто спрашивает госпожу советницу? – осведомился Ример, в свою очередь поднявшийся со стула.

– Демуазель Шопенгауэр, – отвечал Магер.

– Гм, – буркнул доктор. – Уважаемая, этот добрый человек не так уж неправ, взявшись доложить о ней. Речь, с вашего разрешения, идет об Адели Шопенгауэр, весьма просвещенной девице, принадлежащей к лучшему обществу, дочери мадам Иоганны Шопенгауэр, богатой вдовы из Данцига, которая уже много лет проживает у нас. Она преданный друг учителя, к тому же сама писательница и хозяйка литературного салона, в котором он, в пору когда еще охотно бывал в обществе, нередко проводил вечера. Вы были так добры приписать известный интерес нашему собеседованию. И если вы чувствуете себя не слишком утомленной и располагаете еще малой толикой времени, то я взял бы на себя смелость посоветовать вам уделить несколько минут этой барышне. Не говоря уже о благодеянии, которое вы таким образом окажете чувствительному юному сердцу, это свиданье, я готов поручиться, даст вам лучшую возможность ознакомиться с нашими обстоятельствами и взаимоотношениями, нежели беседа с ученым отшельником. Что же касается последнего, – с улыбкой добавил Ример, – то он очищает поле действий, упрекая себя за слишком долгое пребывание...

– Вы чересчур скромны, господин доктор, – успокоила его Шарлотта. – Я благодарна вам за этот час, столь приятно проведенный, он навсегда останется у меня в памяти.

– Два часа, – позволю себе заметить, – вставил Магер, в то время как Ример с чувством склонился над ее рукой. – И так как обед, по-видимому, несколько отсрочился, было бы весьма желательно, чтобы госпожа советница, прежде чем я введу демуазель Шопенгауэр, подкрепила свои силы легкой закуской, чашечкой бульона с гренками, например, или стаканчиком венгерского.

– Я не голодна, – отвечала Шарлотта, – и в полном обладании сил! Будьте здоровы,



господин доктор! Надеюсь еще увидеться с вами в последующие дни. Ну, а Магер пусть идет с богом и просит ко мне эту барышню, оговорив, однако, – я на этом настаиваю, – что у меня осталось лишь несколько минут для беседы с нею, ибо теперь даже малая проволочка явится непростительным обкрадыванием моих заждавшихся родственников.

– Слушаюсь, госпожа советница! Но позвольте заметить: отсутствие аппетита еще не означает отсутствия потребности в пище. Если бы госпожа советница мне дозволила возобновить просьбу о небольшом подкреплении сил... это, наверно, послужило бы ей на пользу, и госпожа советница, возможно, благосклоннее отнеслась бы к предложению моего друга, полицейского сержанта Рюрига... Он, вместе с одним из своих коллег, наблюдает за порядком возле нашего дома и только что заглянул ко мне в прихожую. По его мнению, наших жителей легче было бы заставить разойтись, если бы им удалось бросить хотя бы взгляд на госпожу советницу, и госпожа советница оказала бы немалую услугу полиции и общественному порядку, согласившись, пусть только на мгновение, показаться толпе у раскрытого окна...

– Да ни за что, Магер! Ни под каким видом! Это совершенно нелепое, абсурдное предложение! Может быть, еще прикажете мне держать речь? Нет, я не покажусь, ни в коем случае. Я не владетельная особа...

– Больше, госпожа советница! Больше, возвышеннее, чем таковая. При нынешнем расцвете культуры смотреть сбегаются не на владетельных особ, но на светил нашей духовной жизни.

– Глупости, Магер! Я, слава тебе господи, знаю толпу и знаю мотивы ее любопытства; с духом они имеют ох как мало общего. Все это вздор. Я пойду, когда мой прием, наконец, кончится, не оглядываясь по сторонам. И, конечно, ни о каком «показаться» не может быть и речи.

– На усмотрение госпожи советницы. Но горько сознавать, что небольшое подкрепление сил могло бы побудить госпожу советницу увидеть все в ином свете... Я иду известить демуазель Шопенгауэр.

Воспользовавшись краткими минутами своего одиночества, Шарлотта подошла к окну и, выглянув из-за тюлевой занавески, которую она присобрала в руке, убедилась, что на площади не произошло никаких перемен и двери гостиницы осажжены по-прежнему. Ее голова сильно дрожала, а щеки от волнующих перипетий разговора с фамулусом пылали румянцем. Отвернувшись от окна, она дотронулась до них тыльной стороной ладони, чтобы ощутить тепло, туманившее ей глаза. Вообще же ее утверждение, что она находится в полном обладании сил, соответствовало истине, хотя лихорадочная природа ее бодрости была, вероятно, не вполне ясна ей. Безудержная общительность и возбужденно-нервная словоохотливость одолевали ее, а также нетерпеливое расположение к дальнейшим разговорам и почти торжествующее сознание небудничной беглости речи, способной касаться самых скользких вещей. Она с любопытством поглядела на дверь, которая должна была распахнуться перед новой гостьей.

Адель Шопенгауэр, впущенная Магером, застыла в глубоком реверансе, дожидаясь ответного приветствия старой дамы. Молодая девушка, лет двадцати с небольшим, по оценке Шарлотты, обладала наружностью весьма некрасивой, но интеллигентной – даже ее манера с первого мгновения непрестанно быстро-быстро мигать, озираться и воздевать взор к небу, чем она силилась скрыть косящий взгляд желто-зеленых глаз, производила впечатление нервной интеллектуальности, а ее рот, большой и узкий, но умно улыбающийся и, видимо, понаторелый в просвещенной беседе, отвлекал внимание от длинного носа, такой же длинной шеи и удручающе оттопыренных ушей, на которые

из-под несколько экстравагантной соломенной шляпы свисали мелкие букольки. Фигура у нее была тощая. Белая плоская грудь утопала в батистовых рюшах, обвивавших худые плечи. Ажурные митенки на тонких руках не закрывали сухих, красноватых пальцев с бледными ногтями. Помимо ручки зонтика, она сжимала в них еще какой-то пакетик и стебли цветов, завернутых в шелковую бумагу.

Говорить она начала тотчас же, быстро, безупречно, не делая пауз между фразами, с тем проворством, которого Шарлотта заранее ждала от ее умного рта. При этом он слегка увлажнялся, так что быстрые, чуть окрашенные саксонским акцентом слова, казалось, катятся как по маслу, и Шарлотта невольно ощутила беспокойство: захочет ли эта гостья посчитаться с ее собственной возбужденной словоохотливостью?

– Госпожа советница, – начала Адель, – нет слов, чтобы выразить, как я благодарна вам за доброту, даровавшую мне радость незамедлительно вам засвидетельствовать свое глубокое уважение. – И, не переводя дыхания: – Я делаю это не только от лица моей собственной скромной особы, но также и от имени, если не по поручению, – такового я еще не успела получить, – нашего содружества муз, дух и единство которого блестяще выдержали испытание перед лицом чудесного события, я имею в виду ваш приезд, – поскольку одна из нас, а именно моя возлюбленная подруга, графиня Лина Эглоффштейн, принесла мне окрыляющую весть, едва услышав ее от своей камеристки. Совесь говорит мне, что я должна была бы поставить в известность Музелину, – ах, простите, это прозвище Лины Эглоффштейн, в нашем содружестве у всех такие имена, вы будете смеяться, если я перечислю их, – о задуманном мною шаге хотя бы из чувства благодарности. Она, конечно, не замедлила бы ко мне присоединиться. Но, во-первых, твердое решение я приняла уже после ее ухода, а во-вторых, у меня имеются достаточно веские основания желать в единственном числе приветствовать вас, госпожа советница, и поговорить с вами с глазу на глаз... Разрешите мне преподнести вам несколько астр, колокольчиков и петуний, а также этот скромный образчик нашего усердного искусства.

– Милое дитя, – отвечала повеселевшая Шарлотта, так как произношение Адели: «бедунии» разбудило ее смешливость и ей не надо было удерживаться от смеха, который мог относиться еще к «Музелине», – милое дитя, это очаровательно. С каким вкусом подобраны тона! Надо нам позаботиться о воде для этих чудесных цветов. Таких красивых петуний, – и смех снова разобрал ее, – я сроду не видывала.

– Наш край славится цветами, – вставила Адель. – Флора к нам благосклонна. – И она взглядом указала на гипсовую фигуру в нише. – Эрфуртское семеноводство пользуется мировой известностью уже целое столетие.

– Прелестно! – повторила Шарлотта. – А то, что вы называете образчиком веймарского усердного искусства, что это такое? Я хоть и старая, но любопытная женщина.

– О, я прибегла к иносказательному выражению! Это пустяк, госпожа советница, создание моих рук, самый скромный приветственный дар. Разрешите помочь вам развязать? Узелок вот с этой стороны! Силуэт, вырезанный из черной глянцевитой бумаги и наклеенный на белый картон, групповой портрет, как видите. Это не что иное, как наше содружество муз, портретное сходство достигнуто по мере сил. Вот это упомянутая Музелина, она же Лина Эглоффштейн, восхитительная певица и любимая придворная дама великой княгини, нашей наследной принцессы. Рядом Юлия, ее прелестная сестра, художница, по прозванию Юлемуза. Дальше иду я, так называемая Адельмуза, а та, что держит руку у меня на плече, – Тиллемуза, то есть Оттилия фон Погвиш! – очаровательная головка, не правда ли?

– Очень мило, – сказала Шарлотта, – все это очень мило! И как искусно сделано! Я

восхищена вашим умением, дитя мое. Как это сработано! Эти рюши и пуговики, локоны, ножки кресел, ресницы и носики! Просто необыкновенно хорошо. Я давнишняя поклонница этого искусства и всегда считала большой потерей для ума и сердца то, что оно вышло из моды. Потому я тем больше восхищаюсь выдержкой и терпением, благодаря которым выдающееся природное дарование достигло такого полного развития и совершенства.

– В нашем краю нельзя не развивать своих талантов, коль скоро ты не обойдена ими, – возразила молодая девушка. – Иначе не достигнешь светских успехов и останешься незамеченной. Здесь все совершают жертвоприношения музам, это слывет хорошим тоном, да, по-моему, и является им. Я с детских лет имела перед собой превосходный пример моей милой мамы. Еще до переезда в Веймар, при жизни моего отца, она занималась живописью, но серьезно культивировать этот талант начала только здесь; далее она усердно играла на клавикордах и еще училась итальянскому языку у ныне покойного Ферно, ученого любителя искусств, долгие годы жившего в Риме. Она всегда с большим вниманием следила за моими скромными поэтическими опытами, хотя ей самой и не дано писать стихи – во всяком случае, по-немецки, – итальянский сонет во вкусе Петрарки она под руководством Ферно однажды сочинила. Замечательная женщина! Какое впечатление произвело на меня – мне было тогда лет тринадцать-четырнадцать – то, как она сумела, едва обосновавшись здесь, сделать свой салон средоточием просвещенных умов. Если я добилась чего-нибудь в искусстве ножниц, то и этим обязана ей и ее примеру: она была и осталась великой мастерицей в вырезывании цветов, и сам тайный советник неизменно восхищался ее искусством на наших чаепитиях.

– Гете?

– Ну да. Он не уgomонился, покуда мама не украсила цветами весь каминный экран, и сам с величайшим усердием помогал ей при наклеивании. Я как сейчас помню, что он добрых полчаса сидел перед этим экраном и не мог им налюбоваться.

– Гете?

– Ну да! Любовь великого человека ко всему сделанному, к продукту усердного искусства и всякого рода сноровке, одним словом – к созданию рук человеческих, просто трогательна. Тот, кто не знает его с этой стороны, вообще его не знает.

– Вы правы, – промолвила Шарлотта. – Даже я знаю его с этой стороны и вижу теперь, что он все тот же старый Гете, я хочу сказать: молодой. Когда мы были молоды, там, в Вецларе, он приходил в восторг от моих вышивок цветными шелками и нередко с охотой и усердием помогал мне набрасывать для них узоры. Мне вспоминается один, так никогда и не законченный, храм любви, на ступенях которого подруга приветствует возвратившуюся паломницу. В этой композиции он принимал живейшее участие...

– Божественно! – вскричала гостя. – Божественно, дорогая госпожа советница! Пожалуйста, пожалуйста, говорите дальше!

– Во всяком случае, не стоя, душенька, – отвечала Шарлотта. – Не понимаю, как я могла забыть о долге гостеприимства. Мне это тем неприятнее, что меня отвлекли от него ваше внимание и ваши дары.

– Я была безусловно уверена, – продолжала Адель, усаживаясь на канаве рядом со старой дамой, – что я не единственная и не первая прорвусь сквозь кордон вашей славы. Вы были заняты, наверно, весьма интересной беседой. Я встретила с выходящим от

вас дядей Римером...

– Как, он ваш...

– О нет! Я так называю его еще с детства, как называла и продолжаю называть всех завсегдаев или даже просто посетителей маминых воскресных чаепитий: и Мейеров, и Шютце, и Фальков, и барона Эйнзиделя, переводчика Теренция майора фон Кнебеля и легационного советника Бертуха, основателя «Всеобщей литературной газеты», Гримма и князя Пюклера, еще братьев Шлегелей и обоих Савиньи! Да, все они были и остались для меня дядями и тетями. Даже Виланда я называла дядей.

– Вы так же зовете и Гете?

– Его нет. Но тайную советницу я называла тетей.

– Эту Вульпиус?

– Да, ныне покойную госпожу фон Гете, которую он тотчас же после венчания ввел в дом моей матери, – в других домах это встретило известные затруднения. Можно даже сказать, что и сам великий человек едва ли бывал тогда где-нибудь, кроме нас, так как двор и свет, смотревшие сквозь пальцы на его свободное сожителство с покойной, не хотели простить ему законного брака.

– А баронесса фон Штейн, – осведомилась Шарлотта со слегка заалевшими щеками, – тоже выказывала недовольство?

– Даже больше других. Во всяком случае, она делала вид, что гневается на легализацию этой связи, тогда как на деле эта связь издавна заставляла ее страдать.

– Ее чувства вполне понятны.

– О, разумеется! Но, с другой стороны, разве не благородный порыв заставил великого человека сделать бедняжку своей законной женой. В том году она мужественно и преданно перенесла вместе с ним страшные дни французского нашествия, и он счел, что они, вместе прошедшие через такое испытание, принадлежат друг другу перед богом и людьми.

– Правда ли, что ее поведение оставляло желать лучшего?

– Да, она была вульгарна, – отвечала Адель. – De mortuis nil nisi bene<sup>[23]</sup> - О мертвых – ничего или только хорошее (лат.), но вульгарна она была до непозволительности, в высшей степени прожорлива и тучна, со всегда красными щеками, помешана на танцах, да и бутылочку почитала сверх меры, постоянно якшалась с актерами и молодыми людьми, сама уже будучи не первой молодости; конца не было маскарадам, ужинам, катаниям на санях и студенческим балам, где иенские бурши позволяли себе строить куры тайной советнице.

– И Гете терпел подобное поведение?

– Он смотрел на него сквозь пальцы и даже посмеивался. Я бы сказала, что в известной мере он сам потакал жене в ее распущенной жизни – по слухам, не без тайного умысла, желая выговорить и себе право свободно располагать своими чувствами. Гениальный поэт не может черпать поэтическое вдохновение в супружеской жизни.

– У вас очень широкие, очень свободные воззрения, дитя мое.

– Я жительница Веймара, – отвечала Адель. – Амур у нас в чести, ему даны широкие права, при всем уважении к благоприличию. Следует также заметить, что наше общество осуждало грубоватую жизнерадостность тайной советницы скорее с эстетической, чем с моральной точки зрения. Ибо всякий, желавший быть справедливым, не мог не признать, что на свой лад она была примерной женой – всегда озабоченная физическим благодеянием высокого супруга, а к нему он никогда не был безразличен, усердная в создании наилучших условий для его творчества, в котором она, по правде говоря, ничего не понимала, – ни единого слова. Духовный мир был для нее миром за семью замками, хоть она и сознавала его значение для человечества. Впрочем, Гете и после женитьбы не оставил своих холостяцких привычек и большую часть времени проводил в Иене, Карлсбаде, Теплице. Но когда в июне этого года она в корчах умерла, на руках наемных сиделок, сам он в тот день был нездоров и прикован к постели, – он уже давно подвержен внезапным болезненным приступам, она же была олицетворением жизни, доходившей до антиэстетического, отталкивающего... Но вот, когда она умерла, он, как говорят, припал к ее телу, восклицая: «Ты не можешь, не можешь меня покинуть!»

Шарлотта молчала, и посему гостя, светское воспитание которой не терпело запинок в разговоре, поспешила затараторить:

– Как бы там ни было, мама поступила очень умно, принимая у себя – единственная из всего здешнего общества – эту женщину и с большим тактом выводя ее из всевозможных неловкостей. Таким путем она лишь крепче привязала великого человека к своему молодому салону, для которого он, разумеется, служил главной приманкой. Она же приучила меня называть Вульпиус «тетей». Но Гете я никогда не называла дядей. Это не подобало. Правда, он любил меня и нередко мною забавлялся. Мне разрешалось задувать фонарь, которым он освещал себе дорогу, он рассматривал мои игрушки и однажды протанцевал экосез с моей любимой куклой. И все же я не могла называть его «дядей» – для этого он был слишком почитаемой особой, не только для меня, но и для взрослых, что я отлично понимала. Ведь даже когда он бывал не в духе и молча сидел у стола, что-то рисуя, он доминировал в салоне, хотя бы потому, что все и вся применялось к нему, и он тиранил общество, – не потому, что был тираном, но потому, что из него делали тирана. И он входил в эту роль, распоряжался, стучал по столу, отдавал то одно, то другое приказание, читал шотландские баллады, требуя, чтобы дамы хором подхватывали рефрен, и горе той, которой овладевал смех, – в таких случаях он, сверкая глазами, объявлял: «Я прекращаю чтение» – и маме, чтобы восстановить равновесие, приходилось впредь гарантировать абсолютное послушание. Или вдруг ему казалось забавным до полусмерти пугать какую-нибудь боязливую даму страшными рассказами о привидениях. Да и вообще он любил дразнить. Я вспоминаю, как однажды вечером он вывел из себя старого дядю Виланда, непрестанно ему противореча, – не по убеждению, но шутки ради, – Виланд же принимал все за чистую монету и очень сердился, а Гетевы подпевалы, Мейер и Ример, снисходительно его поучали: «Милый Виланд, вы напрасно расстраиваетесь...» Это было недостойно, я, маленькая девочка, и то это чувствовала, как, вероятно, чувствовали и все другие, кроме, как ни странно, самого Гете.

– Да, это странно.

– У меня давно сложилось впечатление, – продолжала Адель, – что общество, по крайней мере наше, немецкое, из тяги к сервильизму, само портит своих властителей и любимцев, позволяя им злоупотреблять своим превосходством, что не сулит радости ни той, ни другой стороне. Так, например, однажды Гете целый вечер промучил общество и довел его до полного изнеможения непомерно растянутой шуткой: он заставлял гостей по отдельным реквизитам угадывать содержание новых, еще никому не известных пьес,

которые он только что репетировал. Это была задача с чрезмерным количеством неизвестных. Лица стали вытягиваться, зевки слышались все чаще и чаще. Но он не отступался и продолжал пытаться их скукой, так что я невольно спрашивала себя: неужто он не чувствует насилия, которому подвергает людей? Нет, он его не чувствовал, общество отучило его от этого. Но, право же, непонятно, как ему самому до смерти не наскучила эта свирепая игра. Тиранство, надо думать, довольно скучное занятие.

– Вы правы, дитя мое.

– К тому же, – добавила Адель, – он, по моему мнению, рожден вовсе не тираном, а скорее другом человечества. Я сделала этот вывод из того, что он так любил и так хорошо умел смешить людей. Эту способность, отнюдь не свойственную тирану, он выказывал как чтец, как рассказчик, даже повествуя о самых обыкновенных вещах или описывая комические происшествия и людей. Он читает не всегда удачно, это общепризнанно. Разумеется, все охотно слушают его голос, обладающий прекрасной глубиной, и с радостью всматриваются в его взволнованное лицо. Но в серьезных сценах он слишком легко впадает в пафос, в чересчур трескучую декламацию, а это не всегда приятно. Зато комическое он неизменно передает с таким великолепным юмором и наблюдательностью, так натурально и безошибочно точно, что все общество не помнит себя от восторга. Даже когда он рассказывал веселые анекдоты или попросту городил фантастический вздор, все наши гости буквально покатывались со смеху. Но вот что примечательно: во всех его произведениях доминирует сдержанность и тонкость характеристик, временами дающих повод к улыбке, но к смеху – я не припоминаю. Ему же лично милее всего, когда люди катаются от хохота над его выдумками! Я сама была свидетельницей, как дядя Виланд накрыл себе голову салфеткой и запросил прощенья – он совершенно изнемог, да и все сидевшие за столом уже едва дышали. Сам он сохранял в таких случаях известную серьезность, но у него была своеобразная манера: с блестящими глазами и каким-то радостным любопытством всматриваться в изнемогающих от смеха слушателей. Я часто задумывалась, что это значит и почему человек столь непомерной силы, так много переживший и создавший, с такой охотой заставляет людей надрываться от смеха.

– Вероятно, это объясняется тем, – сказала Шарлотта, – что он остался молодым в своем величии и в трудной серьезности своей жизни сохранил верность смеху. Меня это не удивляет, а радует. В дни нашей юности мы много и безудержно смеялись вдвоем или втроем, и нередко бывало, что в минуты, когда на него находили мрак и меланхолия, он вдруг брал себя в руки, все оборачивал в шутку и своими проказами заставлял нас смеяться не меньше, чем гостей вашей матушки.

– О, продолжайте, госпожа советница! – взмолилась молодая девушка. – Расскажите мне еще об этих бессмертных днях вдвоем и втроем! Что же я делаю, чудачка! Я знала, к кому иду, чувствовала неодолимую потребность открыть вам свою душу. А теперь у меня вдруг выскочило из головы, кто та, рядом с которой я сижу на этом канapé, и только ваши слова напомнили мне об этом, так что я даже испугалась. О, говорите дальше о той поре! Умоляю вас!

– Мне куда приятнее слушать вас, моя дорогая, – возразила Шарлотта. – Вы так очаровательно занимаете меня, что я испытываю угрызения совести за то, что заставила вас долго дожидаться, и хочу вас еще раз поблагодарить за ваше терпение.

– О, что касается моего терпения... Я сгорала от нетерпения увидеть вас, женщину, прославленную в веках, и открыть вам свое сердце, так что вряд ли я заслуживаю похвалы, ведь терпение я проявила лишь во имя нетерпения. Нравственное – это обычно производное от страсти, а искусство, по-моему, можно рассматривать как высокую

школу терпения и нетерпеливости.

– Ах, как хорошо, дитя мое! Прелестное aperçu![24 - Наблюдение (фр.).] Я вижу, что среди ваших талантов не последнее место занимает и философическая одаренность.

– Я жительница Веймара, – повторила Адель. – Здесь это носится в воздухе. Если, прожив десяток лет в Париже, человек начинает говорить по-французски, то тут нечему удивляться, не правда ли? Да вообще все наше содружество муз привержено философии и критике не меньше, чем поэзии. Мы читаем друг другу не только собственные стихи, но также исследования и разборы, посвященные прочитанному, – новейшим порождениям разума, как говорили раньше, или «духа», как говорят теперь. Хотелось бы только, чтобы до великого старца не дошел слух о наших собраниях.

– Почему?

– На то есть множество причин. Во-первых, тайный советник иронически предубежден против интеллектуальных женщин, следует остерегаться, как бы он не поднял на смех эти столь милые нашим сердцам занятия. Видите ли, смешно, конечно, утверждать, что великий человек предвзято относится к нашему полу – это было бы слишком просто опровергнуть. И все же в его отношении к женщине примешивается нечто пренебрежительное, я бы даже сказала: грубоватое – мужская брутальность, готовая закрыть нам доступ к наивысшему – к поэзии, к делу – и охотно видящая в комическом свете то, что нам всего дороже. Кстати или некстати, но мне вспомнилось в этой связи, как однажды при виде нескольких наших дам, собиравших цветы на лужайке, он заметил, что они напоминают сентиментальных коз. Очень любезно, не правда ли?

– Не слишком, – ответила Шарлотта и рассмеялась. – Я не удержалась от смеха, – пояснила она, – потому что это хоть и зло, но довольно метко. Впрочем, злым быть не следует.

– Метко? – повторила Адель. – В том-то и дело! В подобном слове есть нечто убийственное. Достаточно мне теперь наклониться во время прогулки, чтобы прижать к груди несколько детей весны, и я кажусь себе сентиментальной козой. То же ощущение не покидает меня и когда я вписываю стихотворение в альбом, свое или чужое.

– Вам не следует принимать это так близко к сердцу. Но по каким еще причинам Гете не должен знать об эстетических интересах ваших и ваших подруг?

– Дражайшая госпожа советница, в силу первой заповеди...

– Что вы хотите сказать?

– Которая гласит, – продолжала Адель, – да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Здесь мы снова возвращаемся к разговору о тирании, – на этот раз уже не насильственной, не навязанной обществом, но прирожденной и, по-видимому, всегда неотделимой от чрезмерного величия, – тирании, которую надобно щадить и уважать, стараясь ей не подчиняться. Он великий человек, но он стар и мало расположен печься о том, что будет после него. Жизнь же идет дальше, не останавливаясь даже на величайшем, и мы, Музелины и Юлемузы, мы дети нового времени, новое поколение, уже отнюдь не сентиментальные козы, но люди, познавшие новых богов, самостоятельные, передовые умы, смело отстаивающие свое время и свой вкус. Мы знаем и любим художников вроде благочестивого Корнелиуса или Овербека, по чьим картинам он, я сама слышала его слова, с удовольствием выстрелил бы из пистолета, а также божественного Давида Каспара Фридриха, картины которого, по его мнению, можно с тем

же успехом рассматривать вверх ногами. «Эти всходы не вырастут!»

– гремел он, – подлинно тиранический гром, ничего не скажешь, но мы в содружестве муз, смиренно вслушиваясь в его раскаты, переписываем в свои альбомы стихи Уланда и с наслаждением читаем друг другу восхитительно причудливые рассказы Гофмана.

– Я не слыхивала об этих авторах, – холодно заметила Шарлотта. – Но вы ведь, верно, не хотите сказать, что они, при всей своей причудливости, поднимаются до автора «Вертера»?

– Они не поднимаются до него, – возразила Адель, – и все же – простите этот парадокс – его превосходят, вероятно, просто потому, что возникли позднее и являют собой новую ступень, потому что они нам любезнее, ближе, твердят нам о более новом, задушевном, нежели застывший утес величия, повелительно и грозно врезавшийся в новые времена. О, не считайте нас чуждыми пиетета! Пиетета чуждается время, ибо оно оставляет позади старое и выращивает новое. Правда, вслед за великим оно дает взойти малому. Но это малое под стать времени, и для нас, его детей, оно живое, подлинное, оно затрагивает нас с непосредственностью, которой не знает пиетет, взывает к сердцам и нервам тех, кому оно принадлежит и кто принадлежит ему, тех, кто как бы содействовал его возникновению.

Шарлотта сдержанно молчала.

– Ваше семейство, демуазель, – с деланным дружелюбием осведомилась она, – как я слышала, родом из Данцига?

– Совершенно верно, госпожа советница. С материнской стороны безусловно, с отцовской только относительно. Дед моего покойного отца, богатый негодичант, обосновался в Данциге, вообще же род Шопенгауэров голландского происхождения. Правда, мой отец охотнее имел бы своими предками англичан, ибо он, сам до мозга костей джентльмен, был рьяным сторонником и почитателем всего английского. Даже его загородный дом в Оливе был построен и обставлен на английский манер.

– Нашему роду Буфф, – вставила Шарлотта, – приписывают английское происхождение. Правда, доказательств этому я не обнаружила, хотя, по вполне понятным причинам, усердно занималась своей родословной, изучала генеалогию и собрала кое-какие интересные сведения, главным образом после смерти моего дорогого Ганса-Христиана, когда у меня стало больше досуга для подобных изысканий.

Лицо Адели с минуту ничего не выражало – она не сразу постигла «вполне понятные причины». Затем ее вдруг осенило, и она воскликнула:

– О, как прекрасны, как великодушны эти ваши усилия! С какой обязательностью вы идете навстречу потомкам, которые, несомненно, пожелают собрать точные сведения о происхождении и фамильной предыстории избранницы судьбы, столь много значащей для летописи человеческого сердца.

– Таково и мое мнение, – с достоинством отвечала Шарлотта. – Или вернее, мне известно, что наука уже нынче интересуется моим происхождением, и я считаю своим долгом по мере сил споспешествовать ей. Мне удалось проследить все разветвления нашего рода со времен Тридцатилетней войны. С тысяча пятьсот восьмидесятого до тысяча шестьсот пятидесятого года в Буцбахе проживал станционный смотритель Симон-Генрих Буфф. Сын его был пекарем. Но уже один из сыновей последнего, Генрих, сделался капелланом, а с течением времени и первым викарием в Мюнценберге. С тех



пор Буффы преимущественно принадлежали к духовенству или служили в окружных консисториях – в Кренфельде, Штейнбахе, Виндгаузене, Рейхельсгейме, Гладербахе и Нидервельштедте.

– Это важные, бесценные, в высшей степени интересные сведения! – одним духом выпалила Адель.

– Я полагала, – заметила Шарлотта, – что они заинтересуют вас, невзирая на вашу слабость к менее значительным *nouveautés*[25 - Новинки (фр.)] литературной жизни. Попутно мне удалось исправить одну ошибку, касающуюся меня и грозившую неисправленной перейти к потомству: днем моего рождения всегда считалось одиннадцатое января. Гете придерживался, да, верно, и поныне придерживается той же даты. На самом деле я родилась тринадцатого и на следующий же день получила святое крещение, надежность вецларской церковной книги – вне подозрений.

– Необходимо сделать все возможное, – объявила Адель, – и я приложу к тому максимальные усилия, чтобы огласить правду касательно этого пункта. Прежде всего надо уведомить об этом самого тайного советника, лучшим поводом для чего послужил бы ваш визит. Ну, а милые создания ваших девических рук – вышивки, сделанные при нем в ту бессмертную пору, незаконченный храм любви и прочее, – скажите, ради бога, что случилось с этими реликвиями? Мы, к сожалению, уклонились от разговора.

– Они существуют, – отвечала Шарлотта. – Я позаботилась о сохранности этих самих по себе пустячных предметов и возложила попеченье о них на моего брата Георга, занявшего должность амтмана еще при жизни нашего отца и сделавшегося его преемником в Немецком орденском доме. По моей просьбе он сберег эти сувениры: незаконченный храм, два-три вышитых изречения в венке из цветов, несколько шитых бисером мешочков, рисовальный альбом и прочие мелочи. Приходится считаться с тем, что в будущем они возымеют музейную ценность, как, впрочем, весь дом, двор и столовая внизу, где мы так часто сживали с ним вдвоем, а также угловая с окнами на улицу и языческими богами на обоях, которая называлась у нас «парадной комнатой». В ней стояли старинные куранты с ландшафтом на циферблате, к тиканию и бою которых он любил прислушиваться. Эта угловая, по-моему, даже лучше подходит для музея, чем наша столовая, и в ней, если мое мнение пожелают принять во внимание, будут под стеклом храниться эти реликвии.

– Все грядущие поколения, – изрекла Адель, – все отечественные и чужеземные паломники возблагодарят вас за эти заботы.

– Надеюсь, – отвечала Шарлотта.

Разговор не клеился. Просвещенная находчивость гостьи, видимо, иссякла. Адель вперила глаза в пол, по которому взад и вперед водила концом зонтика. Шарлотта ждала, что она подыметесь и уйдет, с меньшим нетерпением, чем можно было предположить по ситуации. Она была даже довольна, когда молодая девушка заговорила так же бойко, как прежде.

– Дражайшая госпожа советница, или, может быть, я уже смею сказать – достоуважаемая подруга? Мое сердце жестоко упрекает меня, и горчайший из этих упреков – то, что я с такой беспечностью принимаю в дар ваше время. Но не менее горестно, что я плохо пользуюсь этим даром, – преступно упускаю редчайший случай... При этом мне невольно вспоминается мотив одной народной сказки, – мы, немецкая молодежь, чувствительны к ее поэтическим чарам, – как кому-то было даровано исполнение трех заветных желаний, и он все три раза пожелал что-то пустячное,

вздорное, так и не вспомнив о заветном и важном. Вот и я с видимой беззаботностью болтаю о том о сем, забывая за этой болтовней то заветное, что у меня на сердце и что, позвольте мне в этом признаться, повлекло меня к вам, ибо я уповаю и полагаюсь на ваш совет, на вашу помощь. Вы вправе удивляться и гневаться на меня за то, что я дерзаю занимать вас ребяческими затеями нашего содружества муз. И, право же, я не отважилась бы на подобную дерзость, если бы не страх и забота, в которых мне бы страстно хотелось вам открыться.

– Что ж это такое, дитя мое? И кто или что вас так заботит?

– Дорогая мне человеческая душа, госпожа советница, – возлюбленная подруга, моя единственная, мое сокровище, прелестнейшее, благороднейшее, воистину заслуживающее счастье создание, опутанное сетями несправедливого и все же, по видимому, неотвратимого рока. Одним словом – Тиллемуза.

– Тиллемуза?

– Простите, это прозвание моей любимицы, я уже упоминала о ней – Оттилии фон Погвиш.

– И какой же рок тяготеет над мадемуазель фон Погвиш?

– Она накануне обручения.

– Но... позвольте, с кем же, в таком случае?

– С господином камеральным советником фон Гете.

– Что вы говорите! С Августом?

– Да, с сыном гения и мамзели. Кончина тайной советницы сделала возможным этот союз, которому при ее жизни, несомненно, было бы суждено разбиться о сопротивление семьи Оттилии, о сопротивление всего общества.

– И в чем же вам видится опасность такого союза?

– Дозвольте мне вам поведать, – попросила Адель. – Дозвольте мне в рассказе облегчить наболевшее сердце и походатайствовать перед вами за милое, запутавшееся создание. Оттилия, наверно, очень рассердилась бы за такое непрошеное заступничество, хотя она в равной мере нуждается в нем и его заслуживает.

И вот, быстро и часто возводя глаза к небу, чтобы скрыть их очевидную косость, демауазель Шопенгауэр своим большим, временами увлажнявшимся ртом начала рассказывать следующее.

## Глава пятая

### Рассказ Адели

С отцовской стороны моя Оттилия происходит из прусско-голландской офицерской семьи. Брак ее матери, рожденной Генкель фон Доннерсмарк, с господином фон Погвиш

был союзом сердец, в котором, к сожалению, недостаточно участвовал разум. По крайней мере так это расценивала бабка Оттилии, графиня Генкель, истая аристократка прошлого века, женщина с умом трезвым, решительным и язвительно-грубоватым, с характером смелым и прямым. Она всегда была против того благородного и безрассудного шага, на который чувство толкнуло ее дочь. Господин фон Погвиш был беден, Генкели этой ветви тоже. Последнее, вероятно, и заставило графиню за два года до Иенской битвы поступить на веймарскую службу в качестве обергофмейстерины восточной принцессы, супруги нашего наследного принца. Подобной же должности она добивалась для своей дочери и почти уже преуспела в своих хлопотах. Одновременно она всячески домогалась расторжения ненавистного ей брака – тем более что счастье молодоженов готово было сломиться под гнетом час от часу возрастающих материальных невзгод. Скучное жалование прусского офицера не позволяло юным супругам вести жизнь, подобающую их рангу; старания хотя бы с грехом пополам держаться на должном уровне влекли за собой еще большие денежные затруднения. Короче, участвовавшие размолвки способствовали торжеству материнских замыслов: по обоюдному соглашению решено было расстаться.

В сердце мужа и отца, оставившего двух прелестных малюток, Оттилию и ее младшую сестренку Ульрику, на руках своей подруги по несчастью, никому заглянуть не довелось. Но, вероятно, к этому печальному решению его принудила боязнь лишиться любимого, единственно мыслимого и наследственного призвания – военной службы. Сердце жены обливалось кровью, и можно без преувеличения сказать, что с момента капитуляции перед необходимостью и материнскими настояниями ей не выпало ни единого счастливого часа. Что касается девочек, то образ отца, красивый и рыцарственный, навеки запечатлелся в их душах, особенно в более глубокой и романтической душе старшей, Оттилии: весь мир ее чувств, все отношения к событиям и идеям времени, как вы увидите из моего рассказа, были навсегда определены ее воспоминаниями об исчезнувшем отце.

Госпожа фон Погвиш, разъехавшись с мужем, тихо и уединенно прожила несколько лет в Дессау. Там она перенесла дни отчаяния и позора – поражение армии Фридриха Великого, распад отечества, подчинение южных и западных немецких княжеств власти ужасного корсиканца. В тысяча восемьсот девятом году, когда старой графине удалось, наконец, выхлопотать ей придворное звание, она переехала к нам, в Веймар, в качестве гофдамы герцогини Луизы.

Оттилии в ту пору минуло тринадцать лет. Очаровательно одаренное и самобытное дитя, она развивалась в беспокойной и неустойчивой обстановке. Придворная служба не способствует порядку в доме. При постоянной занятости матери девочки большею частью были предоставлены самим себе. Оттилия ютилась в мезонине герцогского дворца, затем у бабки Генкель фон Доннерсмарк, а дни проводила попеременно у матери, у старой графини, в школе или у подруг. В числе последних вскоре оказалась и я, несколько старшая по возрасту. Оттилия часто обедала у оберкамергерши Эглоффштейн, с дочерьми которой я дружила. Там мы заключили союз сердец. Давность этого союза, как мы полагаем, исчисляется не годами – ибо это были годы серьезных жизненных сдвигов, заставившие нас из неоперившихся птенчиков превратиться в людей, умудренных опытом. В известном отношении – нежная дружба облегчает мне такое признание

– Оттилия благодаря яркому своеобразию характера и рано сложившимся убеждениям сделалась душой и законодательницей нашего союза.

В первую очередь это касается политики. Правда, теперь, когда, после тяжелых испытаний и потрясений, в которые мы были ввергнуты гениальным чудовищем, миру возвращен

относительный покой, охраняемый Священным союзом, политика уже не господствует над сознанием, общественным и индивидуальным, и оставляет известный простор для чисто человеческих чувств, но в то время она мощно подчиняла себе всю арену духовного. Оттилия страстно увлекалась политикой, к тому же – в смысле и духе, радикально разобщавшем ее со всем здешним обществом. Она никогда не осмеливалась с кем-либо заговаривать о своей тайной оппозиции, даже со мной, лучшей подругой, которой позднее сумела внушить свои чувства и образ мыслей; в конце концов она втянула меня в мир своих верований и надежд, и мы стали совместно наслаждаться мечтательным очарованием тайны.

Какой тайны? Внутри государства, вошедшего в Рейнский союз, государства, чей герцог был прощен победоносным демоном и правил страной как верный его вассал, – государства, где все и вся единодушно, если не с энтузиазмом, то со смирением, преклонялось перед великим завоевателем, верило в его миссию вершителя мировых судеб и полновластного хозяина континента, – моя Оттилия была восторженной сторонницей Пруссии. Не обескураженная поражением прусского оружия, она прониклась сознанием превосходства северонемецкой породы людей над саксонско-тюрингской, среди которой, как она выражалась, «осуждена была жить» и к которой питала вынужденно молчаливое, мне одной ведомое презрение. В героически настроенной душе этого милого ребенка царил один идеал: прусский офицер. Излишне говорить, что этот кумир был наделен чертами утраченного отца, просветленными в ее воспоминаниях. И все же здесь, видимо, соучаствовали и более общие, я бы сказала кровные, симпатические ощущения и восприятия, заставлявшие Оттилию предощущать события, о которых мы, остальные, еще не подозревали; она же заранее вступила с ними во внутренний контакт и мысленно уже принимала в них участие на свой, как мне думалось, пророческий лад. Да так оно и вышло.

Вы легко догадаетесь, какие события я имею в виду. Я говорю о нравственном пробуждении и обновлении, наступившем в ее отечестве после катастрофы; о суровом презрении, о решительном и действенном отметании пусть пленительных и утонченных, но все же расслабляющих тенденций, которые способствовали этой катастрофе, а может быть и вызвали ее. Тело народа, героически очищенное от всей мишуры убеждений и обычаев, закалялось во имя дня грядущей славы, который должен был привести с собой ниспровержение чужеземного господства и сиянье свободы. Это было суровое приятие того, что неминуемо надвигалось – бедности; и уж поскольку нужда возводилась в обет, то к ней присовокупились и две другие монашеские добродетели: аскетизм и послушание, а тем самым отречение, готовность жертвовать собой, суровое подвижничество, жизнь для отечества.

Об этом в тиши протекающем моральном процессе, скрытом от врага и угнетателя, равно как и об идущем с ним в ногу восстановлении армии, не проникали вести в наш маленький мирок, примкнувший к победоносной государственной системе без особого огорчения, даже охотно – хотя и не без вздохов по поводу повинностей и пошлин, наложенных покорителем. В нашем кругу, в нашем обществе, этот процесс с молчаливым торжеством почуяла одна Оттилия. Но вскоре обнаружилось, что как вблизи от нас, так и вдали есть наставники юношества, ученые, которые, сами принадлежа к молодому поколению, являются носителями идей обновления. И с одним из них у моей подруги вскоре завязался оживленный обмен чувств и мыслей.

В Иене проживал профессор истории, некий Генрих Луден, человек благороднейших патриотических убеждений. В тот день позора и разрухи бедняга лишился всего своего имущества, всех научных материалов и вынужден был с молодой женой вернуться в совершенно пустое, холодное и омерзительно загаженное жилище. Но он не позволил этим несчастьям сломить себя и во всеуслышание заявил: что, будь сражение под Иеной

выиграно, он с радостью перенес бы все потери и, нагой и нищий, ликовал бы во след убегающему врагу, – словом, его вера в отечестве не была поколеблена, и он сумел пламенным красноречием приобщить к ней своих студентов. Далее, здесь в Веймаре учительствовал уроженец Мекленбурга, некий Пассов, двадцати одного года от роду, даровитый и страстный оратор, человек высокого развития и смелого полета мысли, к тому же истинный патриот и свободолюбец. Он privatim[26 - В частном порядке (лат.).] преподавал греческий, а также эстетику, философию языка и моему брату Артуру, в то время у него проживавшему. Свое преподавание он оживил новой и своеобразной идеей, состоящей в том, чтобы перекинуть мост от науки к жизни, от культа античности к немецко-патриотическим и бюргерски-свободолюбивым убеждениям, – другими словами: он дал живое толкование эллинскому духу, стремясь извлечь из него практическую пользу для нашей политической жизни.

С такими-то людьми Оттилия поддерживала тайную, я бы сказала, конспиративную связь, в то же время ведя жизнь элегантной представительницы нашего франкофильского, преданного императору высшего света. Мне всегда казалось, что она сибаритски упивается этим двойным – в ее глазах романтически очаровательным – существованием, которому, в качестве подруги и поверенной, была приобщена и я. То было очарование противоречивости, и оно-то, как я думаю, роковым образом вовлекало ее в сети сердечного приключения, в которых вот уже четыре года бьется моя птичка. Чтобы вызволить ее из них, я готова отдать все, что имею.

В начале години, ознаменовавшейся нашествием на Россию, Август фон Гете стал домогаться любви Оттилии. За год до того он вернулся из Гейдельберга и тотчас же поступил на придворную и государственную службу: его сделали камер-юнкером и действительным асессором герцогской камер-коллегии. Но «действительность» обязанностей, предусматриваемых этими должностями, по распоряжению герцога была заранее ограничена: они не должны были служить помехой деятельности Августа подле великого отца, которого ему надлежало освободить от всякого рода житейских забот и хозяйственных докук, представлять на общественных церемониях, и даже при инспекционных поездках в Иену, а также быть ему полезным в качестве хранителя коллекций и секретаря, тем более что доктор Ример тогда уже оставил их дом, чтобы вступить в брак с компаньонкой тайной советницы, демуазель Ульрих.

Юный Август исполнял эти повинности с аккуратностью, а поскольку они касались отца и дома, с мелочным педантизмом, соответствовавшим черствости, – я бы не хотела сейчас сказать больше, и все-таки вынуждена дополнить: преднамеренной, подчеркнутой черствости его характера. Откровенно говоря, я не считаю нужным спешить с проникновением в тайну этой натуры и откладываю это в силу какой-то боязни, странным образом составляющейся из сострадания и антипатии. Не мне первой и не мне единственной внушает этот молодой человек подобные чувства. Ример, например, – он сам мне в этом признался, – уже тогда испытывал перед ним настоящий ужас, и его намерение обзавестись собственным домом было в значительной мере ускорено возвращением под родительский кров его бывшего ученика.

Оттилия в ту пору начала бывать при дворе и, возможно, что именно там Август впервые увидел ее. Впрочем, это знакомство могло состояться и на Фрауенплане во время воскресных домашних концертов, которые несколько лет подряд устраивал у себя тайный советник, или же на репетициях этих концертов. Ибо к очарованию и врожденным прелестям моей подруги принадлежит также и прелестный чистый голосок, который я охарактеризовала бы как физическое выражение или инструмент ее музыкальной души. Этому дару она была обязана приглашением в маленький хор, раз в неделю устраивавший спевки в доме Гете и затем по воскресным дням выступавший перед его гостями.

Приятность этих музыкальных занятий дополнялась еще и личным общением с великим поэтом, который, я могу это засвидетельствовать, с самого начала к ней приглядывался, охотно болтал и шутил с нею, ничуть не скрывая своей отеческой благосклонности к милой «амазончке», как он почему-то называл ее.

Но я, кажется, до сих пор не попыталась обрисовать вам всю прелесть ее наружности – да и как это сделать, слов тут недостаточно! Однако своеобразие ее девического очарования играет слишком большую роль в моем рассказе. Живые синие глаза, пышные белокурые волосы, фигурка, скорее сублинная, легкая и грациозная, ничего от Юноны, – короче внешность, всегда нравившаяся тому, чья благосклонность сулит наивысшие почести в мире чувств и поэзии. Больше я ничего не скажу. Напомню только, что с очаровательной светской представительницей того же типа дело однажды дошло до знаменитой помолвки, которая хоть и не увенчалась браком, но, несомненно, досадила блюстителям общественных дистанций.

И вот теперь, когда сын некогда сбежавшего жениха, внебрачный отпрыск весьма молодого дворянского рода начал домогаться прелестной Оттилии, девицы фон Погвиш-Генкель-Доннерсмарк, аристократическая ограниченность поверглась в неменьший гнев, чем тогда, во Франкфурте, но теперь его уже никто не смел выражать вслух, ввиду исключительного случая и совсем особых прав, на которых с полным основанием настаивал сей величественный, хотя и новопожалованный дворянский род. Этими-то правами, сознательно и со спокойной уверенностью, пожелал воспользоваться отец для своего сына. Такова моя личная оценка положения вещей, но она базируется на болезненно-пристальном наблюдении за ходом событий, и я едва ли ошибаюсь. Начнем с того, что отец первый заинтересовался Оттилией, и лишь благосклонность, им высказанная, привлекла к ней внимание сына, быстро переросшее в страсть, являющуюся наглядным доказательством тождества его вкуса со вкусом отца. Это тождество он не раз подчеркивал и в других областях, делая вид, что их вкусы совпадают. В действительности же здесь все сводится к зависимости и подражанию – между нами говоря, ему вообще отказано во вкусе, о чем всего яснее свидетельствуют его взаимоотношения с женщинами. Но об этом позднее и чем позднее, тем лучше! А сейчас я предпочитаю говорить об Оттилии.

Для характеристики состояния, в котором пребывала прелестная девушка ко времени своей первой встречи с господином фон Гете, лучше всего подошло бы слово «ожидание». С самого юного возраста она привыкла к ухаживанию, к поклонению, на которые полушутя откликалась, но по-настоящему она еще не любила и ждала своей первой любви. Ее сердце было как бы украшено для приема всепокоряющего божества, и в чувстве, внушенном ей этим необычным, своеобразно высокородным искателем, она усмотрела всемогущество Эроса. Оттилия, разумеется, глубоко почитала великого поэта, благосклонность, которую он выказывал, безмерно ей льстила, – могла ли она отвергнуть сватовство сына, заведомо одобренное отцом и совершившееся как бы от его имени? Ведь через молодость сына к ней сватался сам отец, возродившийся в нем. «Молодой Гете» любил ее, – она тотчас же приняла его за суженого и, не колеблясь, ответила на его любовь.

Думается, она тем более убеждала себя в этом, чем менее правдоподобной казалась ей возможность полюбить тот образ, в который для нее облекся рок. О любви она знала только, что это самовластная, капризная и неучитливая сила, частенько подсмеивающаяся над благоразумием и утверждающая свои права независимо от велений разума. Избранник рисовался ей совсем другим: больше по ее подобию, с душой менее сумрачной, веселее, легче, жизнерадостнее, чем Август. То, что он так мало походил на мерещившийся ей образ, служило Оттилии романтическим доказательством

подлинности ее чувства.

Август был не очень привлекательным ребенком, не слишком многообещающим отроком. Ему не прочили долгой жизни, что же касается его духовных задатков, то среди друзей дома утвердилось мнение, что чересчур больших надежд возлагать на него не приходится. В ту пору он из болезненного мальчика развился в широкоплечего, осанистого юношу тяжеловатой и мрачной наружности, я бы даже сказала, несколько бесцветной, имея в виду прежде всего его глаза, красивые или, вернее, могущие быть красивыми, если бы они обладали большей выразительностью и собственным «взором». Я говорю об Августе в прошедшем времени, чтобы судить беспристрастно. Но все сказанное относится и к двадцатисемилетнему молодому человеку, которым он был ко времени своего первого знакомства с Оттилией. Приятным, любезным собеседником я бы его не назвала. Его дух казался стесненным угрюмостью, какой-то боязнью прорваться наружу, меланхолией, которую было бы правильнее определить как безнадежность, опустошающую все вокруг него. Мне было очевидно, что этот невеселый нрав, эта тупая самоотреченность порождались боязнью убийственного сравнения с отцом.

Сын титана – высокое счастье, бесценное отличие, но и тяжкое бремя, постоянное самоунижение и развенчанье собственного «я». Отец некогда подарил мальчику альбом, который впоследствии, здесь в Веймаре и в местах, куда он ездил вместе с сыном, – в Галле, в Иене, в Гельмштадте, Пирмонте и Карлсбаде – заполнился автографами всех знаменитостей Германии и даже чужеземцев. Среди этих посвящений вряд ли хоть одно не отмечало достоинство молодого человека, наименее личное, но для всех ставшее настоящей *idée fixe* [27 - Навязчивая идея (фр.)] – то, что он сын своего отца. Как должно было возвысить, но и запугать юную душу, когда философ, профессор Фихте, начертал: «Нация много ждет от вас, единственного сына, единственного, которым гордится эпоха». Но каково же должно было быть воздействие краткой сентенции, вписанной в этот альбом одним французским дипломатом: «Сыновья великих редко значат что-либо для грядущих времен». Следовало ли понимать эти слова как призыв составить исключение? Допустим! Но естественнее было все же прочитать их в духе Дантовой надписи на вратах ада.

Не допустить до убийственного сравнения – вот чего с угрюмым упорством добивался Август. Он рьяно, даже грубо отталкивал от себя поэтическое честолюбие, чуть ли не гневно отрекался от всех связей с миром высокого духа, стремясь слиться чисто практическим человеком, заурядным чиновником и придворным. Вы согласитесь, что есть подкупающая, достойная уважения гордость в таком решительном и безусловном отказе от посягательств на высшее, ростки которого, даже если они и были в нем, ему приходилось постоянно в себе подавлять и скрывать, чтобы избежать рокового сравнения. Но его неуверенность в себе, его угрюмая мизантропия, его недоверчивость и раздражительность отнюдь не подкупали и едва ли позволяли назвать его гордым. Скажем прямо: гордым он не был, он страдал от сломленной гордости. Своего общественного положения он достиг с помощью всех привилегий, которые ему давало его имя, – не только давало, но и навязывало. Он воспользовался ими, хотя ничуть им не радовался, и ощущал всю их оскорбительность для своего мужского достоинства. Науками ему не слишком докучали, и образование он получил довольно поверхностное. Должности, им занимаемые, ему доставались прежде, чем он мог бы проявить свои знания и способности. Он отлично сознавал, что получает их не в силу своей даровитости, но в силу своего положения фаворита. Другой бы испытывал самодовольную радость от легкости такого взлета, он же был создан, чтобы страдать от него. Это достойно уважения, но от преимуществ, дарованных ему судьбой, он ведь все же не отказывался.

Надо, однако, вспомнить и о другом, а именно, что Август был сыном не только своего

отца, но и своей матери, сыном мамзели, и это не могло не внести своего рода разлад как в его отношение к миру, так и в его чувство собственного достоинства, разлад, обусловленный двоякой незаурядностью происхождения – его высотой и фривольной гибридной. То, что герцог по просьбе его отца, своего друга, оказал милость одиннадцатилетнему мальчику и особым указом признал законность его рождения, а тем самым его права на дворянство, не меняло дела, так же как и то, что шестью годами позже состоялось венчание его родителей. «Дитя любви» – это засело во все головы так же прочно, как «сын титана». Все еще помнят, как скандализировано было наше общество, когда он, прелестный отрок, наряженный амуrom, поднес на маскараде цветы и оду герцогине, по случаю дня ее рождения. Поднялся громкий ропот: не годится, чтобы дитя любви, да еще в образе амура, появлялось среди добропорядочных людей.

Дошли ли до него эти разговоры? Не знаю. Но с подобной неприязнью ему неоднократно приходилось сталкиваться в жизни. Его общественное положение, защищенное славой отца и милостью герцога к своему другу, все же оставалось двусмысленным. Друзья, или те, кого зовут этим именем, у него имелись – по гимназии, по службе. Но друга не было. Для дружбы он был слишком недоверчив, слишком замкнут и проникнут сознанием своего особого положения, в высоком и в сомнительном значении этих слов. Общество, его окружавшее, всегда было смешанным: то, в котором вращалась мать, отдавало богемой – много актерской братии, много любителей выпить. И сам он неправдоподобно рано возымел склонность к Бахусовым дарам. Наша милая баронесса фон Штейн рассказывала мне, что одиннадцатилетним мальчиком в разудалой компании матери он выпивал по семнадцати бокалов шампанского и что ей стоило немало труда, в своем доме, удерживать его от вина. Как ни странно это звучит по отношению к ребенку, добавила она, он, казалось, стремился запить свое горе. Горе, вполне обоснованное, ибо однажды он испытал жестокий удар, увидав, что отец плачет, глядя на него. Это было во время тяжелой болезни учителя в тысяча восьмисотом году, грудной жабы, чуть было не приведшей его на край могилы. Трудно выздоравливая, он часто плакал от слабости, но чаще всего при виде мальчика; с той поры ребенок и стал выпивать по семнадцати бокалов. Отца это не особенно удивляло, сам он искони с благосклонным веселием вкушал сей божий дар и отнюдь не отвращал от него сына. Мы, посторонние, не можем не приписать многие неприятные черты в характере Августа – его вспыльчивость, угрюмость, дикие и грубые выходки – ранней и, к сожалению, все растущей приверженности к вину.

Итак, прелестная Оттилия решила, что в этом молодом человеке, несшем к ее стопам свое не слишком располагающее, не слишком привлекательное поклонение, воплощена ее судьба. Ей казалось, несмотря на всю неправдоподобность, – или, вернее, как я уже говорила, в силу этой неправдоподобности, – что она отвечает на его любовь. Ее благородство, ее поэтическое понимание трагического неблагополучия его жизни помогли ей утвердиться в этой вере. Она вообразила себя победительницей демона, сидевшего в нем, добрым ангелом. Я уже говорила, что она умела извлечь прелесть из своего двойственного существования – веймарской светской барышни и тайной прусской патриотки. Любовь к Августу дала ей познать эту прелесть в новой, усугубленной форме, противоречие между ее убеждениями и убеждениями дома, к которому принадлежал ее обожатель, предельно обостряло парадоксальность ее страсти и тем более заставляло ее считать это чувство подлинной любовью.

Надо договорить, что великий поэт, гордость Германии, столь чудесно приумноживший славу своего народа, нимало не разделял ни скорби благородных патриотов по униженной родине, ни энтузиазма, до краев переполнившего наши сердца; когда пробил час освобождения и борьбы, он холодно устранился и, можно сказать, покинул нас перед лицом врага. Все было именно так. Об этом лучше забыть, это надо переболеть, растворить в преклонении перед его гением, в любви, которую питаешь к великому



человеку. Поражение при Иене нанесло тяжелый урон и ему. Правда, в этом поначалу были повинны не победоносные французы, а пруссаки, еще до битвы стоявшие у нас в Веймаре; они ворвались в его садовый домик и сожгли в печах все двери и мебель. Но и от того, что впоследствии позднее, он получил свою часть. Говорят, бесчинства победителей обошлись ему, худо-бедно, в две тысячи талеров, одного вина было выпито больше двенадцати ведер. Мародеры вторглись даже к нему в спальню. Его имущество, однако, не было разграблено, так как дом Гете охранялся особым караулом; у него квартировали маршалы Ней, Ожеро, Ланн, а позднее и мосье Денон, знакомый ему еще по Венеции, главный инспектор императорских музеев и советник Наполеона по вопросам искусства, вернее по вывозу произведений искусства из побежденных стран.

Иметь этого человека своим постоянцем учителю было очень приятно, хотя впоследствии он настойчиво старался изобразить все так, словно его ничто не затрагивало. Профессор Луден, столь жестоко пострадавший, рассказывал мне, что встретился с ним у Кнебеля через месяц после страшных событий. Там говорили о великом бедствии, и господин фон Кнебель несколько раз подряд воскликнул: «Это ужасно! Это неслыханно!» Гете же только пробурчал что-то нечленораздельное и на вопрос Лудена, как его превосходительство перенес дни позора и несчастья – ответил: «Мне лично жаловаться не приходится, – я чувствовал себя как человек, с высокого утеса наблюдающий за разбушевавшимся морем, он хоть и не может подать помощь терпящим кораблекрушение, но зато и недосыпаем для валов, а это чувство, по словам какого-то древнего... не лишено известной приятности», – тут он запнулся, вспоминая имя. Луден, знавший, кого он цитирует, воздержался от подсказки, тогда как Кнебель, несмотря на свои недавние сетования, все же вставил: «По словам Лукреция». «Совершенно верно, – подтвердил Гете и закончил: – Так вот и я спокойно взирал, как проносилась мимо меня вся эта сумятица». Луден уверял, что ледяной холод пробежал по его жилам при этих словах, и вправду сказанных не без известного самодовольства. Но трепет не раз еще охватывал его при этой беседе; ибо, когда он снова горячо заговорил о позоре и несчастьи родины и о своей священной вере в ее возрождение, Кнебель часто восклицал: «Браво! Правильно!» Гете же и бровью не повел, не проронил ни слова, так что майор после всех своих восклицаний предпочел перевести речь на какой-то литературный предмет, а Луден поспешно ретировался.

Вот то, что мне рассказал наш достойный профессор. Но какую головомойку задал Гете доктору Пассову за его убеждения, это я слышала своими ушами, ибо разговор происходил в салоне моей матери, где находилась и я, тогда еще совсем юное создание. Пассов, человек очень красноречивый, проникновенно говорил, что он всей душой привержен мысли – путем раскрытия эллинского мира и внедрения греческого духа в сознание хотя бы избранных восстановить то, что утратил немецкий народ в целом: воодушевление идеей свободы и родины. (Надо сказать, что подобные люди всегда простодушно и непосредственно открывали свои сердца перед титаном потому, что им и на ум не приходило, потому, что даже отдаленно они не могли себе представить, что у кого-нибудь найдутся возражения против идей, казавшихся им столь здоровыми и полезными. Прошло немало времени, прежде чем они уяснили себе, что великий человек отнюдь не расположен их поддерживать и что при нем не следует затрагивать эту тему.) «Выслушайте, что я вам скажу, – произнес он наконец. – Я льщу себя надеждой кое-что смыслить в древних, но свободолюбие и патриотизм, которые вы думаете почерпнуть из них, каждую минуту грозят превратиться в карикатуру». Я никогда не забуду, с какой холодной горечью произнес он слово «карикатура», в его устах всегда звучавшее суровым порицанием. «Наш бюргерский уклад, – продолжал он, – весьма и весьма отличен от уклада древних, иное и наше отношение к государству. Немцам надо бы не замыкаться в себе, но вбирать в себя весь мир, чтобы затем на этот мир воздействовать. Не враждебная отчужденность от других наций должна стать нашей целью, но дружественное общение со всем миром, воспитание в себе общественных добродетелей

– даже за счет врожденных чувств, более того – прав». Последнее он проговорил повелительно громким голосом, барабая пальцем по столу, за которым сидел, и добавил: «Восставать против начальства, строптиветь победителю только потому, что мы начитались латинян и греков, а он мало или ничего в них не смыслит, – вздор и ребячество. Это профессорское чванство не только смехотворно, но и вредно». Он сделал паузу и затем, обернувшись к молодому Пассову, который сидел, окончательно обескураженный, заключил несколько более теплым, но сдавленным голосом: «Меньше всего мне хотелось бы огорчить вас, господин доктор. Я знаю, у вас добрые намерения. Но мало иметь убеждения чистые и добрые; надо предвидеть последствия своих деяний. Ваши же деяния наполняют меня ужасом, ибо покуда они еще благородное, еще невинное предвосхищение того ужасного, что однажды приведет немцев к омерзительнейшим бесчинствам, от которых вы сами, если бы они могли дойти до вашего слуха, перевернулись бы в гробу».

Представьте же себе всеобщее оцепенение, тихий ангел пролетел по комнате. Маме стоило немалых усилий восстановить спокойную беседу. Но таков он был тогда и так он себя вел, больно раня – словом и молчанием – святая святых наших чувств. Правда, все это можно отнести за счет его преклонения перед императором Наполеоном, столь лестно отличившим его в восьмом году в Эрфурте и даровавшим ему орден Почетного легиона, который с тех пор стал любимым орденом нашего поэта. Ничего не поделаешь, он видел в императоре Зевса, устроителя мирового порядка, а в его немецкой государственной системе, объединении южных и искони немецких областей в Рейнский союз, – нечто новое, свежее и обнадеживающее, от чего он ждал немалой пользы для возвышения и просветления немецкого духа, вступившего в плодотворное содружество с французской культурой, которой сам он, по его заверениям, был столь многим обязан.

Вспомните, что Наполеон настойчиво предлагал, даже требовал, чтобы он избрал своим местожительством Париж, и что Гете долгое время всерьез взвешивал все за и против и усиленно наводил справки о тамошних житейских условиях. Со времени Эрфурта между ним и цезарем установились личные отношения. Бонапарт обошелся с ним как с равным, и в учителе, видимо, появилась уверенность, что миру его мысли, его немецкому духу не грозит никакой опасности, что гений Наполеона не враждебен его гению – сколько бы весь остальной мир не трепетал перед ним.

Эту веру и дружбу можно назвать эгоистическими, но, во-первых, следует заметить, что эгоизм такого человека – не личный эгоизм, он санкционирован чем-то высшим и всеобщим, а во-вторых, был ли Гете одинок в этих своих убеждениях и взглядах? Отнюдь нет, несмотря на непосильные тяготы, возложенные грозным протектором на нашу маленькую страну. Наш кабинет-министр Фойт, например, всегда считал, что Наполеон вскоре разделается с последним противником и тогда объединенная Европа вкусит мир под его скипетром. Мне не раз приходилось слышать это мнение из его собственных уст, и я отлично помню, как в тринадцатом году он резко и неодобрительно отзывался о манифестациях в Пруссии, которую partout[28 - Во что бы то ни стало (фр.)] желают превратить в Испанию, invito rege[29 - Вопреки воле короля (лат.)]. «Бедняга король! – восклицал он. – Как он достоин сожаления и как он за это поплатится, хотя и без вины виноватый! Нам, остальным, понадобится весь наш ум и осторожность, чтобы сохранить спокойствие, беспристрастность и верность императору Наполеону и тем избежать гибели».

Вот мнение умного, добросовестного государственного мужа, который и поныне правит нами. А его светлость герцог? Уже после Москвы, когда император с такой быстротой выставил новые армии и наш государь сопровождал его часть пути до Эльбы, куда он мчался разбить пруссаков и русских, вопреки всем нашим ожиданиям объединившимся против него, тогда как мы полагали, что прусский король и на этот раз выступит с

Наполеоном в поход против варваров,

– еще из этой поездки Карл Август возвратился в восторженном состоянии духа, покоренный «поистине необычным» человеком, как он выразился, казавшимся ему боговдохновенным Магометом.

Но за Лютценом последовал Лейпциг, и разговоры о боговдохновенности кончились; восхищение героем уступило место иному чувству: воодушевлению свободой, родиной; и странно было видеть, как быстро и легко человек позволяет внешним событиям и несчастьям того, в кого он верил, себя переучить, перестроить. Но еще удивительнее, еще непостижимее, что ход событий доказывает неправоту большого, выдающегося человека перед малыми, обладавшими, как оказалось, большим пророческим даром. Гете по этому поводу говорил: «Простаки, громыхайте своими цепями; этот человек слишком велик для вас». И вот цепи упали, герцог облачился в русский мундир, мы прогнали Наполеона за Рейн, а те, кого учитель снисходительно называл «простаками», эти Лудены и Пассовы, они стояли перед ним победителями, превзошедшими его своей правотой. Ведь тринадцатый год стал триумфом Лудена над Гете, иначе не скажешь. И он, пристыженный и раскаявшийся, признал это и сочинил для Берлина свой апофеоз «Эпименид», в котором имелись следующие строки:

Но я стыжусь часов покоя  
В годину крови и огня!  
И выше вы перед судьбою  
Невзгод бежавшего меня.

И далее:

И то, что, бездну покидая,  
Дерзнуло в наш железный век  
Мелькнуть, как смерч, миры стяжая.  
Назад низринуто навек.

Как видите, он низринул в бездну своего императора, своего мироустроителя, своего пэра, – по крайней мере в апофеозе, ибо про себя, думается мне, он и теперь твердит «простаки»!

Август, его сын, возлюбленный Оттилии, в своих политических убеждениях повторял отца, вернее просто вторил ему. Он высказывал себя ярким сторонником Рейнского союза, объединявшего, по его мнению, всю причастную культуре Германию, и откровенно презирал варваров севера и востока, что было ему куда менее к лицу, чем Гете-старшему, ибо в нем самом было нечто варварское, вернее угловатое, даже грубое, наряду с меланхолией – отзывавшей, впрочем, не столько благородством, сколько душевным мраком. В одиннадцатом году император назначил к нам в Веймар посла, барона Сент-Эньона, шармантного, высокообразованного аристократа, – нельзя не отдать ему справедливости, большого почитателя Гете, которого поэт вскоре удостоил дружеским общением. Август, со своей стороны, немедленно свел дружбу с секретарем барона, господином фон Вольбоком; я упоминаю об этом, во-первых, чтобы показать вам, из какого круга он вербовал своих друзей, а во-вторых, потому, что этот господин фон Вольбок в декабре двенадцатого года, когда Наполеон после бегства из Москвы проезжал Эрфурт, передал Гете привет от императора. Это тоже немало значило для Августа: ведь он воздавал Наполеону прямо-таки божеские почести, которые, на мой взгляд, тому не слишком подобали, ибо чем он их заслужил? Этот культ был лишен всякого нравственного основания. Но Август и по сей день хранит целую коллекцию наполеоновских портретов и реликвий, которую отец пополнил своим крестом Почетного

легиона; носить его он все же счел неудобным.

Да, узам любви редко приходилось скреплять два сердца, бьющихся в столь различном ритме: Август молился на Оттилию, как молился на Наполеона, – не могу не прибегнуть к этому сравнению, сколь ни странно оно звучит; а моя бедняжка – я с трепетом и страхом смотрела на это – ласково принимала его тяжеловесное ухаживание, убежденная в абсолютном всемогуществе бога любви, который со смехом попирает все взгляды и убеждения. Ей при этом приходилось труднее, нежели ему, ибо он мог открыто исповедовать свои убеждения, она же была принуждена таиться. Но того, что она называла своей любовью, ее сентиментально-противоречивого приключения с сыном великого поэта, ей не надо было скрывать в нашем мирке, где чувство заботливо культивируется и вызывает всеобщее участие. Во мне она нашла лишь робкую исповедницу, преданно перебиравшую с ней все стадии и эпизоды ее любовной интриги. Она могла также открыться своей матери, тем легче и свободней, что последняя пребывала в схожем душевном состоянии и за исповеди дочери дружески платила ей той же монетой. Ее внимание было приковано к красавцу графу Эдлингу, уроженцу юга, гофмаршалу и министру, к тому же опекуну ее дочерей, другу дома, а вскоре, быть может, и более близкому члену семьи; она не без оснований надеялась на его руку, ожидая только решительного слова, с которым он пока что медлил. Так амур поставлял матери и дочери материал для взаимных сердечных излияний о ежедневных радостях и горестях, восторгах и разочарованиях, на которые он никогда не скупится.

Август и Оттилия виделись при дворе, в Комедии, в доме его отца и на светских собраниях. Но влюбленные встречались и вне общества, в тиши: два старинных сада на берегу Ильма с уютными садовыми домиками, принадлежавшими Гете и бабке Оттилии, служили им укромным приютом. Я всегда сопутствовала моей пташке, и мне оставалось только дивиться, с какими блаженными вздохами она покидала сад, какими смущенными объятиями благодарила меня за мою ассистенцию; я же была твердо убеждена, что ощущать их встречи столь бесплодными, их разговоры столь пустыми и принужденными меня заставляла не только моя роль дуэньи. Вялые, с запинками, эти разговоры вертелись вокруг какого-нибудь котильона, придворной сплетни, бывшего или предстоящего пикника и приобретали известную живость, лишь когда речь заходила об обязанностях молодого человека при его отце. Но Оттилия даже себе не признавалась в этой неловкости и скуке. Она воображала, что при этих вымученных беседах их души сливаются, и все пересказывала матери, которая в ответ поверяла ей, что скоро граф вымолвит, наконец, решительное слово, ибо все уже клонится к тому.

Так обстояли дела, когда в жизнь милого ребенка вторглось некое событие, о котором я не могу говорить без сердечного трепета и сочувственной взволнованности, ибо в нем для нас обоих сосредоточились и персонифицировались все величие и красота нашего времени.

Взошла заря тринадцатого года. О том прекрасном, что творилось в Пруссии – торжестве патриотов, победе, одержанной ими над нерешительным королем, формировании добровольческого корпуса, в который устремилась благороднейшая молодежь страны, в своем энтузиазме готовая пренебречь образованием и благоденствием и положить жизнь за отечество, – обо всем этом, как я уже сказала, до нас доходили лишь смутные, неясные слухи. Но, впрочем, об этом я тоже говорила вам – то есть о чувствительной связи души моей подруги со сферой ее покинутого отца, постоянно поддерживавшейся новостями, доходившими к ней от прусских родичей, так вот, моя Оттилия трепетала и горела при соприкосновении с подготавливающимся, с уже происходящим, со всем, что она, живя в нашем идиллическом мирке, давно чужая и подозревала. Героический народ, дочь которого она была по крови и по духу, поднялся, чтобы стряхнуть с себя позор французской тирании. Душа ее исполнилась восторга, и как ее народ, своим примером

увлекший Германию на борьбу за честь и свободу, так и она увлекла меня за собой и заставила полностью разделить с ней и ненависть и пылкие надежды. Впрочем, она была теперь уже не так одинока, как прежде. Заря освобождения забрезжила и у нас, под небом наполеоновского Рейнского союза, и молодые дворяне (назову хотя бы камергера фон Шпигеля и советника фон Фойта из Иены) вступили в опасные сношения с пруссаками, чтобы держать их в курсе веймарских дел.

Вскоре они и Оттилия нашли друг друга, и моя любимица с затаенной страстью предалась тому же делу. Она ставила на карту свою жизнь, и я, отчасти чтобы удержать ее, отчасти же по собственному влечению, стала поверенной этих политических тайн, как была поверенной тайн ее девичьего сердца при свиданиях с Августом фон Гете; теперь я уже затрудняюсь сказать, какие из них больше страшили и удручали меня.

Всем известно, сколь мало обнадеживающими были поначалу военные события. Правда, Оттилии выпало счастье видеть на улицах Веймара прусские мундиры, ибо в середине апреля, шестнадцатого числа, я помню это как сейчас, конный отряд гусар и егерей совершил набег на наш город, взял в плен немногих квартировавших здесь французских солдат и увел их за собою. Императорская кавалерия, примчавшаяся из Эрфурта, не обнаружив у нас пруссаков, ни с чем возвратилась обратно и, как оказалось, преждевременно; ибо на следующее утро – вообразите себе восторг Оттилии! – приветствуемые ликующим населением в город торжественно вступили эскадроны младшего Блюхера, гусары и зеленые егеря. Тут пошли пляски и бражничанье. Беспечная удаль воинов, помнится, многим внушила горькие опасения и вскоре была жестоко наказана. Французы! – раздался вопль, и наши освободители, оставив пир, бросились к оружию. В город ворвались войска Суона, численностью значительно превосходившие пруссаков. Схватка длилась недолго – французы снова завладели городом. Плача о проливающих свою кровь героях, которым мы только что подносили вино и яства, мы забились в комнаты, наблюдая сквозь гардины за суматохой на улицах, наполненных пронзительным воем рогов и грохотом орудий; впрочем, бой скоро оттянулся к парку и окраинам города. Победа осталась за врагом. Она была ему слишком привычна и, увы, воспринималась как победа порядка над мятежом, к тому же мальчишеским и сумасбродным, что доказало его быстрое подавление.

Спокойствие и порядок благодетельны, кем бы они ни устанавливались. Нам пришлось заботиться о расквартировании французов, которое тотчас же и на долгие времена тяжким бременем легло на наш город. Но мир был восстановлен, уличное движение открыто от зари до зари, и бюргеры, под относительной защитой врага, получили возможность вернуться к повседневным делам.

Не знаю, какое тайное влечение, какое смутное предчувствие заставило Оттилию на следующий день позвать меня на прогулку. Дождливую ночь сменил манящий и ласковый апрельский денек; прогретый воздух дышал весенними надеждами. Была какая-то странная привлекательность в том, чтобы свободно бродить по улицам, еще вчера охваченным ужасом битвы, с содроганием рассматривать ее следы – дома, изрешеченные пулями, там и здесь брызги крови; к этому примешивалось робкое женское восхищение, более того – преклонение перед суровой и дикой отвагой сильного пола.

Чтобы от дворца и Рыночной площади выйти в зеленеющие просторы, нам надо было миновать земляной вал; обойдя его, мы направились к Ильму и вдоль берега по лужайкам и перелескам побрели мимо Лубяного домика к Римской вилле. Вытоптанная трава, валявшиеся под ногами части оружия и обмундирование простирались до этих мест. Мы говорили о пережитом и, вероятно, вновь предстоящем, о занятии саксонских городов русскими частями, о тяжелом положении Веймара, зажатого между

императорской твердыней, Эрфуртом, и наступающими пруссаками и русскими, о ложной ситуации его светлости герцога, об отъезде великого князя Константина в нейтральную Богемию и французского посла в Готу. Помнится, мы также говорили об Августе и о его отце, которому тоже пришлось, уступив настояниям близких, покинуть угрожаемый город; вчера, поутру, незадолго до вступления Блюхеровых войск, он отбыл в Карлсбад и, верно, повстречался с ними при выезде из города.

Идти дальше по пустынным местам нам было жутко, и мы уже решили повернуть вспять, когда нашего слуха внезапно коснулся какой-то звук, сковавший нам ноги, – не то призыв, не то стон. Мы стояли, прислушиваясь, и вновь вздрогнули: из придорожного кустарника послышалась та же жалоба, тот же зов. Испугавшись, Оттилия схватила мою руку, – теперь она выпустила ее, – и с бьющимся сердцем, повторяя «кто там?», «кто там?», мы обе стали пробираться сквозь цветущие заросли. Как описать наше удивление, жалость и растерянность? В кустах, на мокрой траве, лежал прекраснейший юноша, раненый воин, участник геройского набега со спутанными и слипшимися золотистыми кудрями, с чуть пробивающейся бородкой на тонком и благородном лице; лихорадочный румянец его щек страшно контрастировал с восковой бледностью лба; намоченный и выпачканный землею мундир, топорщившийся на полупросохших местах, внизу был запятнан запекшейся кровью. Ужасное, но возвышенное и бесконечно трогательное зрелище! Вы легко себе представите всполошенные, полные страха и участия вопросы о самочувствии, о ране, которыми мы его засыпали. «Само небо привело вас сюда, – произнес он с жестким северонемецким выговором, но дрожащими губами, которые после каждого движения, искажавшего болью его прекрасное лицо, жадно втягивали воздух. – Во время вчерашней переделки пуля угодила мне в бедро, я охнуть не успел, как у меня отнялась нога, и на время мне пришлось распротиться с привычным вертикальным положением. Я ползком добрался сюда. Здесь довольно уютно, но все же сыровато, когда накрапывает дождик, как сегодня ночью, я лежу тут со вчерашнего утра, хотя, надо думать, мне было бы полезнее лежать в постели, – меня как будто немного лихорадит».

Так со студенческой бравадой говорил наш герой о своем несчастье. Да он и был студентом. «Гейнке, Фердинанд, – произнес он картаво, – юрист из Бреславля и доброволец егерского полка. Как же дамы думают распорядиться относительно меня?» В самом деле, надо было что-то предпринять, и притом немедленно. Но оторопь, напавшая на нас при этом приключении – встрече с нашим идолом, прусским героем, внезапно представшим перед нами в столь близкой и телесной реальности, под мещанским именем Гейнке, – лишила нас присутствия духа и должной находчивости. Что делать? Вы поймете робость двух молодых девушек, которым предстояло прикоснуться к реальному, раненному в бедро юноше, к тому же столь прекрасному! С чего следовало начинать? Поднять и нести его? Но куда? Не в город же, кишачий французами. Добраться до любого другого пристанища, пусть более близкого, как, например, Лубяной домик, нам было так же не под силу, как и ему. Правда, рана, по его словам, перестала кровоточить, но нога сильно болела, и о ходьбе, даже при нашей помощи, ему нечего было думать. Мы могли разве что оставить героя – он и сам был того же мнения – на месте, под какой ни на есть защитой кустарника, и, поскорей вернувшись в город, сообщить нашим друзьям о случившемся. Вдвоем выработать план укрытия прекрасного юноши мы были не в состоянии. То, что он не может оставаться вторую ночь под открытым небом и должен быть водворен под надежный кров и препоручен заботливому уходу, – было единственным твердым пунктом в наших смятенных мыслях, и вместе с этим вырастала и твердая решимость – не доверять ухода за ним чужим рукам. Посвятить в тайну наших матерей было бы самое простое; но если мы и были уверены в их участии, – что они могли нам посоветовать, чем пособить? Обойтись без мужской помощи было невозможно; и нам пришло на ум прибегнуть к господину фон Шпигелю, камергеру и человеку одних с нами убеждений; к тому же он был инициатором рокового прусского

набега и, конечно, не мог отказать в помощи одной из жертв кровавой схватки. В те дни он был еще на свободе: арест его и его друга фон Фойта воспоследовал несколько позднее по доносу одного своекорыстного соседа, и оба друга заплатили бы жизнью за свой отчаянный патриотизм, если бы Наполеон, по прибытии в Веймар, не помиловал их из любезности к герцогине Луизе. Но это между прочим. В дальнейшем я не буду углубляться в детали: достаточно сказать, что фон Шпигель оправдал наши надежды и тотчас же, осторожно и энергично, принял необходимые меры. В парк были тайно доставлены разобранные на части носилки, у несчастного в кратчайший срок оказалось сухое платье и подкрепляющие средства, хирург подал ему первую помощь, и в сгустившихся сумерках юноша, переодетый в штатское платье, был принесен ко дворцу, в старой части которого, так называемой Бастилии, камергер, договорившись с управителем, уже приготовил ему приют и убежище в маленькой чердачной комнатке.

Скрытый от всего мира, наш храбрый друг несколько недель пролежал на одре болезни, так как из-за ночи, проведенной на сырой земле, к гнойной ране прибавился еще и грудной катар, с мучительным кашлем, усиливший лихорадку и боли. Все это могло бы внушить врачу самые серьезные опасения, если бы молодость, здоровая конституция и всегда ровное веселое настроение пациента, омрачаемое разве что нетерпеливым желанием вновь приобщиться к сонму героев, не являлись наилучшим ручательством за счастливый исход. Оттилия и я, деля труды по уходу за больным с навещавшими его доктором и старым управителем, каждый день взбирались по ветхой лесенке в его потаенное убежище, приносили ему вино, засахаренные фрукты и другие лакомства, а также легкое, развлекательное чтение, болтали с ним, когда его самочувствие это позволяло, или писали для него письма. Он называл нас своими ангелами-хранителями, так как за его скептически небрежными манерами таилось мягкое сердце. И если он и не разделял наших эстетических интересов, смеялся над ними и ничего не имел в мыслях, кроме своей юриспруденции, отечества и скорейшего выздоровления, то мы тем охотнее признавали, что можно осмеивать поэзию и не обязательно в ней разбираться, коль скоро она воплощена в тебе самом, – а для нас этот прекрасный, добрый, благородный человек и вправду был воплощенной поэзией, осуществлением наших грез. И вот однажды, после одного из этих посещений, Оттилия, спускаясь вниз, заключила меня в свои объятия, а я, в ответ на это признание, горячо ее поцеловала – объяснение, при средневековом устройстве лестницы, едва не стоившее нам жизни.

То были дни, полные растроганности и высоких порывов. Они насыщали прекрасным содержанием нашу девичью жизнь, – ибо радостно было видеть, как молодой герой, сохранение которого для родины стало нашей заслугой, после нескольких дней тревоги, от раза к разу быстрее продвигался навстречу выздоровлению. И мы, точно сестры, поверяли друг другу эту радость, как, впрочем, и другие чувства, посвященные нашему прекрасному питомцу. Ваша чуткость подскажет вам, что к милосердию и патриотизму в сердцах обеих девушек примешивалось нечто более нежное, невыговариваемое. Но мои чувства и здесь только сопровождали чувства обольстительной Оттилии, так сказать, уступая им дорогу. Иначе и быть не могло. Мне, дурнушке, доставалась лишь скромная доля Фердинандовой благодарности. При его духовной обделенности, впрочем, только красившей его, и вытекающем отсюда полном безразличии к качествам, которые я могла бы выставить взамен внешнего блеска, я мудро поступила, с самого начала распроставшись с надеждами и благоразумно избрав в этом романе роль поверенной. Моя природа тому не противилась, а от ревности меня спасала не только любовь к подруге и нежная гордость ее прелестями, не только то, что Фердинанд всегда равно обходился с нами, и я с прощательным человеческому сердцу удовлетворением видела, что он никогда не изменял дружелюбно-вольному тону и в отношении моей любимицы, – нет, меня ободряло и нечто третье, а именно надежда, что это новое, нечаянное приключение отвлечет Оттилию от близости с Августом фон Гете, от этого мрачного, чреватого несчастьями союза. Поэтому я не скрыла своей радости, когда она призналась

у меня на груди, что в ее чувствах к Фердинанду есть нечто совершенно иное, дотоле неведомое ее сердцу, и что жизнь научила ее различать между участливой дружбой и истинной любовью. Моя радость умерялась лишь тем, что Гейнке был не дворянином, а всего-навсего сыном силезского меховщика, а следовательно, малоподходящей партией для Оттилии фон Погвиш. Впрочем, только ли это сознание вынуждало его не изменять своему дружелюбному тону в общении с ней, это уже другой вопрос...

Ко времени выздоровления Фердинанда светский сезон пришел к концу, и хотя Комедия еще не закрыла своих дверей, но приемы во дворце кончились, рауты и балы, героями которых в последнее время были французские офицеры, стали устраиваться лишь от случая к случаю. Встречи с Августом, прогулки и свидания в парке, правда, не вовсе прекратились, но стали редки, так как с отъездом отца круг его обязанностей значительно расширился. Тайна Фердинанда заботливо охранялась, и никто, кроме нескольких посвященных, не подозревал о существовании нашего найденыша в его голубятне. Однако Оттилия все же ощутила потребность рассказать об этом камер-асессору – прежде всего по долгу дружбы и взаимного доверия, но отчасти из любопытства – так мне по крайней мере казалось, – из желания посмотреть, как он воспримет весть о нашем приключении и что отразится на его лице. Он отнесся к ее сообщению равнодушно, даже насмешливо, особенно после того, как, стороной заведя разговор о семействе Гейнке, узнал о его мещанском происхождении. Это доказывало его весьма малую любознательность, вернее, желание остаться в стороне от всей истории, а потому речь о ней заходила лишь редко и случайно, и Август пребывал в добровольном неведении или полусведомленности относительно выздоровления нашего героя и его дальнейшего краткого пребывания в Веймаре и скорого исчезновения.

Этим рассказом я предвосхитила ход событий. Фердинанд скорее, чем мы думали, поднялся с постели и начал на костылях прохаживаться по своей каморке, разминая больную ногу; приветливое весеннее солнце, заглядывавшее в его спасительную темницу лишь через слуховое окно, сделало свое дело, ободрило и оживило его. Чтобы дать ему возможность в большей мере насладиться весной, была задумана перемена квартиры; кузен управителя, державший сапожную мастерскую на Кегельплатце, позади придворной конюшни, выказал готовность сдать комнату нашему пациенту. И вот в один из первых июньских дней он перебрался из своего романтического убежища туда, где мог, сидя на скамейке у самой реки, греться на солнце и любоваться зелеными просторами, рощицей вокруг Охотничьего домика и Тифуртской аллеей.

В те дни нам выпал на долю перерыв в нагромождении исторических событий, продлившийся, правда, лишь до ранней осени; я не говорю – к сожалению, ибо то, что за ним последовало, привело, пусть через страшные бедствия и бесконечные страдания, к свободе и славе. Между тем жизнь в нашем городе, несмотря на непрекращающиеся тяготы постоя, с которыми мы кое-как справлялись, текла довольно плавно. Светские удовольствия, хотя и в умеренном масштабе, по весне возобновились, и наш воин, в штатском платье, с округлившимися и зарумянившимися щеками, соблюдая предписанную осторожность, начал принимать в них участие. У моей матери, у матери Оттилии, у Эглоффштейнов, в салоне госпожи фон Вольцоген и в некоторых других домах мы провели немало веселых и в то же время содержательных часов в обществе молодого героя, благодаря своей юношеской красоте и рыцарственной непринужденности везде встречавшего радушный и почтительный прием. Доктор Пассов, например, был готов идти за него в огонь и в воду, так как видел в нем олицетворенный идеал своего учения – эллинскую красоту в сочетании с германским воинствующим свободолобием. Правда, на мой взгляд, он заходил слишком далеко в обожании нашего юнца, и мне невольно, не в первый и не в последний раз, напрашивалась мысль, что героический национальный дух связан с чрезмерным, нам,



женщинам, не слишком приятным, энтузиазмом мужчины к представителю своего пола – что подтверждается и отталкивающим, суровым обычаем спартанцев.

Что касается Фердинанда, то он со всеми держался того же ровного веселого тона, и его поведение с нами, то есть с Оттилией, не могло бы вызвать ревности господина фон Гете, даже если бы эти молодые люди, как день и ночь отличавшиеся друг от друга, однажды и встретились – чему, впрочем, Оттилия умела воспрепятствовать. Она, конечно, мнила себя виноватой перед своим сумрачным поклонником из-за чувства, внушенного ей нашим героем, на которое она смотрела, как на нарушение дружеского долга, и встреча обоих сулила бы ей тяжкие угрызения совести. Как ни восхищала меня ее нравственная культура, определившая подобный взгляд на вещи, я все же с беспокойством заключила из этого, что моим надеждам не суждено осуществиться и что история с Гейнке не порвет опасных уз, связавших ее с сыном титана. «Да, Адель, – сказала она мне однажды утром, и ее голубые глаза омрачились, – я познала счастье, свет и гармонию, они открывались мне в образе Фердинанда. Но как ни благотворно их воздействие, мрак и страдание громче взывают к нашему великодушию, и в тайниках души я уже чую мою судьбу». – «Господь да сохранит тебя, любимая!» – вот все, что я могла ей ответить, и мое сердце пронзило холодом, как при встрече с недвижным взглядом рока.

Гейнке исчез. Нам суждено было вновь свидеться с ним. Но теперь, после семинедельного пребывания в нашем городе, он уехал – сначала на родину, в Силезию, посетить милых родных, семью мехоторговца, и дожидаться там полного заживления раны, чтобы затем без проволочек ринуться в армию. Мы с Оттилией проливали горькие слезы об этой утрате и нашли успокоение, лишь поклявшись друг другу отныне посвятить нашу дружбу культу его памяти. В нем воплотился для нас наш идеал, пламенный юноша-патриот, воспетый певцом «Лиры и меча», но так как плоть всегда несколько противоречит идеалу и ее отрезвляющее воздействие, по-видимому, неизбежно, то, откровенно говоря, есть известное благо и в разлуке: она дает идеалу восстановиться во всей его чистоте. Последнее время мы видели Фердинанда в прозаической штатской одежде, теперь же он являлся нашим внутренним взорам в почетном убранстве воина, в котором он впервые предстал перед нами, – большое преимущество, если подумать, как мундир возвышает мужское достоинство. Короче, образ его день ото дня яснел в нашем воображении, в то время как фигура другого, Августа, – сейчас вы увидите почему, – все больше и больше заволакивалась свинцовыми тучами.

Десятого августа кончилось перемирие, за время которого Пруссия, Россия, Австрия, а также Англия объединились против императора французов. К нам, в Веймар, доходили лишь смутные слухи о мозеках прусских полководцев, Блюхера и Бюлова, Клейста, Йорка, Марвица и Тауенцина. Мы были уверены, что наш Фердинанд разделяет эти победы, и дыхание у нас занималось от гордости, хотя нас и бросало в дрожь при одной мысли, что его юношеская кровь, пролитая за родину, может быть, уже обагрила зеленую равнину. Мы почти ничего не знали. Северные и восточные варвары приближаются – вот и все наши сведения. Но чем ближе они подходили, тем реже именовались у нас «варварами». К ним обращались теперь симпатии и надежды населения и общества, все решительнее отворачивавшегося от французов; отчасти потому, что в восточных войнах видели победителей и надеялись заранее смягчить их покорностью, в основном же потому, что человек – подневольное создание, руководимое потребностью жить во внутреннем согласии с обстоятельствами и событиями, с превосходящей силой, а теперь, казалось, сама судьба толкала людей к измене прежним убеждениям. Так, в течение нескольких дней варвары, ополчившиеся на цивилизацию, превратились в освободителей. Их победа и успешное наступление дали прорваться наружу всеобщему воодушевлению родиной и свободой и ненависти к иноземному поработителю.

В середине октября мы не без страха, но и не без восхищения впервые увидели на улицах

Веймара казаков. Французский посол бежал, и если ему позволили скрыться, не подвергнув тяжким оскорблениям, то лишь потому, что было еще не совсем ясно, что замыслила судьба и как следует себя держать, чтобы не прийти к разногласию с силой и успехом. Но в ночь на двадцать первое к нам ворвалось полтысячи диких всадников, и их полковник, некий фон Гейсмар, в заломленной набекрень шапке, той же ночью стоял во дворце перед постелью герцога и докладывал ему о великой победе союзников под Лейпцигом. Он объявил, что прислан императором Александром на защиту герцогской семьи. Тут и его светлости стало ясно, чей час ныне пробил и как надо вести себя умному государю, дабы не порвать со счастьем и могуществом.

Дорогая, что это были за дни: полные шума битв, бушевавших вокруг города и, страшно сказать, даже у нас на глазах. Французы, рейнцы, казаки, мадьяры, пруссаки, кроаты, словенцы: смене дикарских лиц, казалось, не будет конца. И едва только французы, отступая к Эрфурту, очистили резиденцию, в нее немедленно влились полчища союзников. На нас хлынула река постоев, обременивших каждый дом, большой и малый, непомерными, часто непосильными требованиями. Город, до отказа набитый людьми, видел немало блеска и величия, ибо здесь держали двор два императора, русский и австрийский, да еще прусский крон-принц. Вскоре прибыл и канцлер Меттерних, все кишело сановниками и генералами. Но только беднейшие, с которых нечего было взять, могли тешиться этим зрелищем, – мы, стесненные до пределов, только и знали, что подносить и потчевать; и так как все были заняты по горло, – мы едва успевали дух перевести, выполняя бесчисленные требования постояльцев, – то ни у кого уже не хватало сил подумать о соседе, и мы обычно лишь с большим опозданием узнавали, что приключилось с тем или иным из наших сограждан.

Хотя бремя невзгод на всех ложилось одинаково, но среди этих бед и притеснений между людьми все же существовало глубокое внутреннее различие; легче и веселей невзгоды переносились теми, кто радовался победе общего патриотического дела. Пусть она достигалась с помощью иногда довольно диких и распущенных друзей-казаков, башкиров и гусар с востока, – победа сторицей окупала все муки и давала силы переносить их.

Нашим матерям, матерям Оттилии и моей, тоже пришлось держать у себя на квартире и обхаживать генералов с их адъютантами и денщиками, причем мы, дочери, буквально обратились в служанок этих зазнавшихся господ. Но моя любимица, не принуждаемая более скрывать свои прусские симпатии, несмотря на все беды, сияла счастьем, заставляя и меня, легко впадающую в уныние, делить с ней восхищение великим, прекрасным веком, которому мы обе сообщали любимые светлые черты: черты юноши-героя, спасенного нами и ныне где-то (где, мы не знали) завершавшего кровавое дело свободы.

Вот то, что можно сказать о наших чувствах, нашем состоянии, несмотря на его несколько индивидуальную окраску, немногим отличавшемся от всеобщего настроения, от мыслей и чувств короля. Но насколько же по-другому все выглядело в знаменитом доме, с которым мою Оттилию связывали столь странные, столь пугающие меня узы! Великий поэт Германии был в ту пору несчастнейшим человеком в городе, в герцогстве, во всем обуянном высокими чувствами отечестве. В шестом году он и вполнину не был так несчастен. Наша милая баронесса Штейн полагала, что он впал в меланхолию. Она советовала не вступать с ним в политические беседы, поскольку он, мягко говоря, не разделял всеобщего энтузиазма. Год нашего возрождения, который по праву будет считаться знаменательным и воссияет над нашей историей, Гете называл не иначе, как «печальным», «ужасным». А ведь неоспоримые ужасы этого года коснулись его меньше, чем кого бы то ни было. В апреле, когда театр войны грозил придвинуться к нам, когда пруссаки и русские завладели окрестными высотами и Веймару предстояло сделаться

ареной битв, грабежей и пожаров, Август и тайная советница не допустили, чтобы шестидесятитрехлетний человек, правда еще крепкий, но частенько прихварывающий и уже давно привыкший к определенной рутине жизни, подвергал себя тревогам, которые могли оказаться еще более страшными, нежели в шестом году. Они настояли на его немедленном отъезде в излюбленную Богемию, в Теплиц, где он в безопасности заканчивал третий том своих воспоминаний, в то время как дома мать и сын готовились к наихудшему. Все это лишь в порядке вещей, не буду спорить. Я – не буду... Но, не скрою, нашлись люди, которые порицали его за отъезд, видя в этом поступке лишь холодный эгоизм вельможи. Однако войска Блюхера, повстречавшие его экипаж под самым Веймаром и тотчас признавшие творца «Фауста», иначе отнеслись к его отъезду, а может быть решили, что он просто отправляется на прогулку. Они окружили его и, в своем неведении, от чистого сердца просили поэта благословить их оружие, что он и сделал после недолгого сопротивления. Хорошая сцена, не правда ли? Немножко только двусмысленная и грустная из-за недоразумения, легшего в ее основу.

До конца лета наш учитель оставался в Богемии. Затем, так как и там стало уже небезопасно, воротился домой, но всего на несколько дней; выяснилось, что с юго-востока к Веймару приближаются австрийцы, и Август подвигнул его на новый отъезд. Гете отправился в Ильменау и оставался там до начала сентября. С тех пор он жил среди нас, и каждый, кому дорог великий поэт, скажет, что и ему немало, очень немало пришлось претерпеть от невзгод, обрушившихся на наш город. Это было время самых тяжелых постоев, и его красивый дом, которому все желали мира и покоя, тоже превратился в постоялый двор: с неделю за столом у Гете сидело двадцать четыре человека. У него стоял австрийский фельдцейхмейстер граф Коллоредо. Вы, верно, слышали, – в свое время об этом немало говорилось, – что в странном неведении или преднамеренно, а быть может, это была вера в то, что большие бары, как этот граф и он, живут в особой сфере, чуждой страстям толпы, Гете вышел ему навстречу с крестом Почетного легиона в петлице. «Фу ты черт! – закричал Коллоредо. – Как можно носить такую штуку!» Это ему-то! Фельдцейхмейстеру он смолчал, но другим впоследствии говорил: «Как? Оттого что император проиграл битву, я не должен носить его креста?» Стариннейшие друзья стали ему непонятны, как и он им. После австрийца его посетил министр, господин фон Гумбольдт, духовно близкий ему в продолжение двадцати лет, космополит старой складки, в большей даже степени, чем наш поэт, – жизнь за рубежом он всегда предпочитал жизни в отечестве. С шестого года Гумбольдт стал пруссаком, «хорошим пруссаком», как говорится, «пруссаком с головы до пят». Наполеону удалось таки перекроить немцев – надо отдать ему справедливость. Молоко благонамеренных убеждений он превратил в жгучую драконову кровь, а мягкотелого гуманиста фон Гумбольдта – в яростного патриота и поборника освободительной войны. Считать ли за вину Цезаря или вменить ему в заслугу, что он преобразил наши чувства и возвратил нас самим себе? – Не знаю.

Многие подробности бесед прусского министра с великим поэтом просочились в общество и передавались из уст в уста. Гумбольдт, надышавшийся берлинским воздухом, с самой весны ожидал, что сыновья Шиллера и сын Гете, подобно молодому Кернеру, возьмутся за мечи и выступят на защиту общенемецкого дела. Теперь он стал разузнавать о настроениях старинного друга и помыслах Августа, но лишь затем, чтобы наткнуться на мрачное равнодушие последнего и досадливо раздраженное неверие первого в дело, всем казавшееся столь великим и прекрасным. «Освобождение? – с горькой усмешкой спросил он Гумбольдта. – Это освобождение для гибели. Лекарство здесь хуже болезни. Наполеон повержен? О нет, до этого еще далеко. Правда, сейчас он похож на затравленного оленя, но его это только забавляет, и не исключено, что он еще сбросит с себя всю свору. Но допустим, он побежден, – что тогда? Разве хоть один человек на свете знает, что произойдет после падения могучего? Мировое господство русских, а не французов? Казаки в Веймаре – это не совсем то, что представляется

желательным. Или, может быть, их поведение корректнее поведения французов? Друзья притесняют нас не меньше, чем враги. Они перехватывают даже обозы, с таким трудом добирающиеся до наших солдат, и наши раненые на поле битвы подвергаются грабежу союзников. Эту правду стараются прикрасить сентиментальными фразами. Народ, включая и его поэтов, руинированный политикой, пребывает в состоянии отвратительного и совершенно непристойного возбуждения».

И правда, дорогая госпожа советница, это был истинный ужас. В том-то и беда, в том-то и посрамление энтузиазма, что повседневные события, вся эмпирия играли в руку великому поэту.

Спора нет: отступление французов и их преследование повлекли за собой ужаснейшую разруху, всеобщее обнищание. Наш город, в котором хозяйничали теперь прусский полковник, настоящий солдафон, а также русский и австрийский военачальники, изнемогал от бремени проходящих и квартирующих войск всевозможных национальностей. Из осажденного Эрфурта в наши лазареты хлынули раненые, калеки, больные горячкой и дизентерией. Вскоре эпидемии начали свирепствовать и среди веймарцев. В ноябре у нас было пятьсот тифозных, – и это при населении в шесть тысяч человек! Не хватало врачей – все наши доктора слегли. Писатель Иоганнес Фальк за один месяц лишился всех своих детей и стал седым как лунь. Ужас, страх заразы пригибали нас к земле. Дважды в день город окуривался галеополитом, но телеги, наполненные мертвыми телами, не переставали громыхать по улицам. Участились самоубийства, вызванные голодом.

Таково было внешнее положение вещей, действительность, если хотите, и горе тому, кто не умел, возвысившись над нею, проникнуться идеалами свободы и отчизны. Многим это все же удавалось: профессорам Лудену и Пассову прежде всего, Оттилии также. Что наш король поэтов не мог или не хотел этого сделать, среди всех наших горестей было, пожалуй, тягчайшей. Какова его позиция, мы знали, увы, слишком точно по его сыну – ведь он всегда был подголоском отца. В этом детски слепом повторении отцовских мыслей было, правда, нечто трогательное, но в то же время и противоестественное, заставлявшее нас содрогаться, не говоря уже о той боли, которую нам наносили его слова. С поникшей головкой, лишь изредка подымая к нему взор, затуманенный слезами, выслушивала Оттилия, как он резко и словно бы от себя повторял все говоренное его родителем Гумбольдту и другим об этой эпохе горя и заблуждений, об ее абсурдности и смехотворности.

И правда, при желании можно было усмотреть много абсурдного и смехотворного в поведении взбудораженных, ошалевших, взвинченных общей страстью и духовно опустившихся людей. В Берлине Фихте, Шлейермахер и Иффланд разгуливали, вооруженные до зубов, грохоча саблями по мостовой. Господин фон Коцебу, наш знаменитый комедиограф, намеревался учредить отряд амазонок, и я не сомневаюсь, что Оттилия, осуществи он свою затею, примкнула бы к ним и, возможно, увлекла бы за собой и меня, хотя теперь, на свежую голову, эта идея и кажется мне до крайности эксцентричной. Хороший вкус не был сильной стороной того времени, отнюдь нет, и кто только о нем заботился, да еще о культуре, осмотрительности, критическом отношении к себе, тому приходилось круто. Такой человек не мог, к примеру, увлечься стихами, которые породило то время и которые нынче кажутся отвратительными, хотя тогда они и вызывали у нас слезы дешевой растроганности. Весь народ стихотворствовал, плыл, утопал в апокалипсисах, пророчествах, в кровавых бреднях ненависти и отмщения. Какой-то пастор издал сатиру на гибель великой армии в России, прямо-таки непристойную и в целом, и в отдельных деталях. Дорогая, воодушевление прекрасно, но если ему слишком уж недостает цивилизации и экзальтированные мещане купаются в горячей вражеской крови только потому, что исторический миг развязал их низкие

инстинкты, это, конечно, мало утешительно. Спорить тут не приходится. Когда страну наводняли рифмованные потоки, задававшие целью высмеять, унижить, надругаться над человеком, при одном виде которого наши бунтовщики еще так недавно умирали от страха и благоговения, – это уже выходило за пределы и шуток и серьезности, главное же – благоразумия и благопристойности, тем более, что обычно эти памфлеты направлялись не столько против тирана, сколько против выходца из народа, сына революции, творца нового времени. Даже мою Оттилию эти, в равной мере неуклюжие и бесстыдные, пасквили «на проходимца Наполеошку» повергали в молчаливое смущение. Я это заметила. Как же было владыке немецкой культуры и просвещения, певцу Ифигении, не огорчаться таким состоянием умов? «Что же не похоже на «Погоню храброго Лютцова», – сетовал он устами своего сына, – до того людям теперь и дела нет». Мы от этого страдали. Быть может, следовало относиться терпимее к тому, что он заодно с этими кровожадными бумагомарателями отвергал и талантливых певцов свободы, Клейста и Арндта, называя их творения дурным примером, – ведь в гибели своего героя он видел лишь наступление хаоса и варварства.

Видите, я стараюсь, как ни мало это мне к лицу, защитить великого человека, объяснить холодность и безучастие, которые он тогда выказывал, – и делаю это тем охотнее, что неразделенность его убеждений, вероятно, причиняла и ему самому немало горя, несмотря на то, что как писатель он давно привык к отчужденности от народа, к классической дистанции. Но я не могу ему простить и никогда не прощу того, что он сделал тогда со своим сыном и что возымело для и без того мрачного характера Августа – а вместе с тем и для любви Оттилии – столь тяжкие, столь мучительные последствия.

Итак, в конце ноября того великого и страшного года герцог, на манер пруссаков, обратился с воззванием к народу, понужденный к этому боевым пылом иенских профессоров и студентов; сжигаемые желанием взять в руки мушкеты, они нашли пламенную заступницу в лице возлюбленной его светлости, прекрасной госпожи фон Гейгендорф, собственно Ягеманн, – кстати сказать, другие советчики герцога этому противились. Министр фон Фойт почитал разумным притушить этот юношеский пыл. Не нужно, не желательно, говорил он, чтобы образованные люди занимались маршировкой, это умеют делать и крестьянские парни и к тому же – лучше. А в добровольцы набиваются как раз наиболее одаренные и многообещающие молодые люди. Надо сдержать их порыв.

Того же мнения был и наш поэт. Он крайне неодобрительно отзывался о добровольчестве и, говоря о фаворитке, пускал в ход выражения, которые я не решаюсь повторить. Он уверял, что исполнен уважения к кадровым военным, но добровольческое движение, малая война на свой страх и риск, вне стройных армейских рядов – это самонадеянность и бесчинство. Весною он побывал в Дрездене у Кернеров, младший сын которых вступил в число лютцовских конников, не испросив на то дозволения курфюрста, всей душой преданного императору. Это же бунтарство! Самочинная возня солдат-любителей ни к чему, кроме неудобств и затруднений, не приводит.

Таков был наш титан. И если его противопоставление регулярной и добровольной службы и было немного искусственно – в глубине души он вообще не принимал «нового патриотизма», – то одно все же надо признать: в пункте, касающемся добровольцев – с точки зрения дела, а не идеи, – он был совершенно прав.

Обучение они прошли самое поверхностное, пользы от них, откровенно говоря, не было никакой, и практически они оказались лишними. Дезертирство было частым явлением среди добровольцев: офицеры из них вышли плохие; знамя добровольческих полков обычно находилось au depot [30 - В арсенале (фр.)], и после победы во Франции герцог отослал этих юнцов восвояси – правда, с благодарственным рескриптом, так как нельзя

же было ему идти наперекор популярно-поэтическим представлениям об их воинской доблести. В прошлом году, перед Ватерлоо, они вовсе не были призваны. Но это все между прочим. И если наш поэт, не склонный к энтузиазму, сумел раньше других трезво и отчетливо разобраться в этом деле, если он с самого начала враждебно отнесся к добровольческому движению, браня похотливую Гейгендорфшу и ее воинственное помешательство – я уж не помню точно его весьма нелестных отзывов о ней, – то главным образом потому, что в глубине души он был вообще против освободительной войны и брожения, которое она несла с собою. Как ни горько, а в этом приходится сознаться.

Но высочайшее воззвание было опубликовано, началась запись добровольцев, и у нас набралось пятьдесят семь конных егерей, пехотинцев же еще больше – девяносто семь. Все наши юноши, все молодое дворянство числилось в списках: камер-юнкер фон Гросс, обергофмейстер фон Зебах, господа фон Гельдорф, фон Гесслер, ландграф фон Эглоффштейн, камергер фон Позек, а также вице-президент фон Герсдорф, – одним словом – все. Это считалось хорошим тоном, *de rigueur*[31 - Поощренным высшим начальством, обязательным (фр.)], и то, что это так случилось, то, что патриотический долг принял светски шикарные формы, как раз и было прекрасно и величественно. Августу фон Гете ничего не оставалось, как присоединиться к ним, – тут дело шло уже не о частных убеждениях, не о шике, но о чести, и он записался, правда, довольно поздно, пятидесятым егерем, даже не поставив в известность отца. Тотчас же после этого шага между ними произошло бурное объяснение. Говорят, он назвал поведение сына безмозглым и безответственным и в гневе несколько дней не говорил с несчастным, которому его поступок был продиктован чем угодно, только не избытком энтузиазма.

Конечно, без сына ему пришлось бы нелегко, а он не любил мириться с личными неудобствами. С тех пор как доктор Риммер оставил его дом, женившись на этой Ульрих (отчасти из-за Августа, который вел себя заносчиво и грубо с этим деликатным человеком), секретарские обязанности при поэте выполняет некий Джон, – он у него не в фаворе, и сын требует отцу для диктовки и бесчисленного количества всяких мелких дел. Но правда и то, что мысль лишиться сына привела его в волнение несоразмерное и что эта несоразмерность стояла в прямой связи с его враждебным отношением к идее добровольчества, с неприязнью ко всему, что привело к этому движению, для него олицетворяющему новые веяния. Ни под каким видом не хотел он, чтобы Август отправился на войну, и с первой же минуты пустил в ход все свое влияние, чтобы этому воспрепятствовать. Он обратился к министру фон Фойту, даже к его светлости герцогу. Письма, в которых он взывал к ним, – мы узнали их содержание от Августа, – нельзя назвать иначе, как «тассоподобными», – они были проникнуты отчаянной неуравновешенностью этого его второго «я». «Утрата сына, – писал он, – необходимость ввести чужого человека в тайники моего творчества, моей корреспонденции, всех обстоятельств моей жизни сделает мое положение невыносимым, самое мое существование невозможным». Это было несоразмерно! Но он сознательно бросил на чашу весов свое существование, свое могучее существование. Чаша, на которую оно упало, стремительно опустилась книзу, министр и герцог поспешили пойти навстречу его желаниям. Имя Августа не было вычеркнуто из списков – это затронуло бы его честь. Но Фойт предложил – и это было одобрено его светлостью, не без иронической улыбки по поводу покладистости Августа, – чтобы молодой человек вместе с камеральным советником Рюльманом сперва отправился во Франкфурт, в штаб-квартиру союзников, для переговоров о субсидировании веймарских добровольцев, а вернувшись, занял у наследного принца Карла-Фридриха, номинального шефа добровольцев, столь же номинальную должность адъютанта и таким образом остался бы в распоряжении своего отца.

Увы, так все и сделалось! После Нового года Август отправился во Франкфурт, лишь бы

не быть в Веймаре в день, когда его собратья – это было в конце января четырнадцатого года – принимали присягу в Веймарской церкви, но через неделю после их отправки во Фландрию возвратился и приступил к обязанностям адъютанта при наследнике престола. Как и последний, он облачился в егерский мундир, который его отец называл «бегом на звук рожка». «Мой сын побежал на звук рожка», – говорил он, делая вид, что все в полном порядке. Ах, к сожалению, это было не так. Все до одного посмеивались над двадцатичетырехлетним юношей, оставшимся дома, и порицали отца, который не только сам не разделял нового патриотического порыва немецкого народа, но навязал свою точку зрения и сыну. Сколь ложным станет положение Августа перед товарищами, перед всеми добровольцами, мужественно переносящими опасности, было ясно заранее. Ведь по возвращении они будут возвращаться в том же обществе, что и он. Смогут ли между ними наладиться приятельские отношения? Будут ли они уважать его, подарят ли своей дружбой? Трус – это слово носилось в воздухе. Здесь я не могу удержаться от горестного замечания по поводу несправедливости судьбы. То, что одному сходит легко и безнаказанно, для другого становится роком, карой, – конечно, это обусловлено различностью людей и тем, что наши нравственные и эстетические суждения зависят от глубоко личных причин, заставляющих нас винить одного в том, что другому мы вменили бы в заслугу; иными словами, одно и то же отталкивает и коробит нас в одном, в другом же кажется подобающим и вполне понятным. У меня есть брат, уважаемая госпожа советница, по имени Артур, – молодой ученый, философ; правда, с малолетства его готовили для коммерческой карьеры, а потому ему многое пришлось наверстывать, – я уже упомянула вскользь, что он брал уроки греческого у доктора Пассова. Светлый ум, без сомнения, хотя немного озлобленный в своих оценках мира и человечества. Я знаю людей, которые ему прочат большую будущность, – впрочем, наибольшую прочит себе он сам. Так вот: мой брат по возрасту тоже принадлежит к поколению, которое забросило науки, чтобы ринуться в бой за родину, – но ни одна душа от него этого не ждала, по той простой причине, что не было человека, меньше помышлявшего о военных подвигах, вернее, никогда о них не думавшего, чем Артур Шопенгауэр. Он дал денег на добровольцев, присоединиться к ним – да ему просто не приходила в голову такая мысль, он с полным хладнокровием предоставлял это делать людям, которых называл «фабричным товаром природы». И никто этому не удивлялся. К его поведению все отнеслись с полнейшим равнодушием, вполне могущим сойти за молчаливое одобрение, и мне стало ясно, как никогда, что мы одобряем только то, что нас нравственно и эстетически успокаивает, – то есть гармонию, согласие с самим собой.

Но по поводу такого же образа действий Августа конца не было пересудам. Я как сейчас слышу слова нашей милой фон Штейн: «Гете не позволил своему сыну идти в армию... Что вы на это скажете? Единственный юноша нашего круга, оставшийся дома». Или вдовы Шиллера: «Никогда, ни за что на свете я не воспрепятствовала бы моему Карлу пуститься в поход. Вся его жизнь, все его существование было бы подорвано, он бы впал в меланхолию». А наш бедный друг, разве он не стал меланхоликом? Правда, он был им всегда. Но с этого злополучного дня мрачность его бедной души начала усугубляться и принимать формы, в которых проявлялись разрушительные склонности, заложенные в его природе: невоздержанность в питье, общение (я боюсь оскорбить ваш слух) с непотребными женщинами; он был всегда неистов в желаниях, и в чистую душу невольно закрадывался вопрос, как уживалась с этим его постоянная сумрачность и зревшая в ее тени любовь к Оттилии? Раз уж вы меня спросили, – без вашего вопроса я остереглась бы высказывать свое суждение, – в подобных бесчинствах не последнюю роль играло желание подчеркнуть свою мужскую доблесть, которую общество брало под сомнение, доказать ее хотя бы на этом, не слишком благородном поприще.

Во мне его поступки вызывали, если здесь уместно говорить о себе, чувства самые смешанные. Сострадание и отвращение боролись за место в моем сердце при мысли об Августе. С почитанием его великого отца вступала в конфликт обида за столь чуждый

духу времени запрет, наложенный им на не в меру послушного сына. Но ко всему этому в тиши примешивалась еще надежда, что постыдная роль Августа, его удрученный вид и всему городу известные дебоши отвратят от него чувства моей любимицы. Я уповала, что отказ Оттилии от этого неподобающего, чреватого опасностями союза, открытый разрыв с юношей, чье поведение шло вразрез со священными для нее чувствами и близость с которым являлась сомнительной честью, снимут этот камень с моего сердца. Дорогая, моей надежде не суждено было осуществиться. Оттилия, патриотка, почитательница Фердинанда Гейнке, льнула к Августу; она крепко держалась за дружбу с ним, все прощала ему, более того, в обществе по любому поводу брала его под защиту. Когда ей нашептывали про него дурное, она либо отказывалась верить, либо великодушно истолковывала это, как некую романтическую печаль, демонизм, от которого она призвана освободить его. «Адель, – говорила она, – верь мне, дурным я его не считаю, сколько бы люди его не поносили! Я презираю людей и хотела бы только, чтобы Август научился разделять со мной это презрение, – тогда он давал бы меньше пищи их злословию. В борьбе между холодными, насмешливыми людьми и одинокой душой твоя Оттилия всегда будет на стороне последней. Разве можно усомниться в душевном благородстве сына такого отца! К тому же он меня любит, а я, Адель, я в долгу перед ним. Я насладилась великим счастьем – нашим великим счастьем с Фердинандом, – и теперь, когда я еще продолжаю упиваться им в воспоминаниях, оно представляется мне моей виной перед Августом, долгом, к уплате которого меня призывает его сумрачный взор. Да, я в долгу перед ним! Ведь если правда то, что о нем говорят, то разве же не отчаяние, в котором повинна я, толкает его на этот путь! Адель, вспомни: покуда он верил в меня, он был иным».

С подобными речами она не раз обращалась ко мне, а меня и здесь обуревали смешанные, противоречивые чувства. Я ужасалась, видя, что она не в силах отделаться от этого несчастного и что мысль навеки принадлежать ему, как того хочет его великий отец, словно рыболовный крючок засела в ее душе. Но в то же время эти слова в меня вливали и сладостную отраду, нравственное успокоение; не скрою, если ее приверженность Пруссии, ее воинственно-патриотический дух и заставляли меня иногда со страхом думать, что в этом эфирном теле живет грубая, варварская душа, то ее отношение к Августу, голос совести, так громко укорявший ее за нежную склонность к прекрасному, простому и героическому образу нашего Гейнке, убеждали меня в утонченном благородстве, нежной консистенции ее души; за это я еще сильнее полюбила Оттилию, что, конечно, только удвоило мой страх и мои мрачные предчувствия.

В мае четырнадцатого года злополучия Августа достигли апогея. Поход закончился; Париж был взят, и двадцать первого веймарские добровольцы, не слишком отягченные заслугами перед отечеством, но все же увенчанные славой и всеми восторженно приветствуемые, возвратились домой. Я давно боялась этого момента, и мои опасения подтвердились. Наши воители, не стесняясь, откровенно и жестоко высказывали презрение к сверстнику, оставшемуся дома. При этом я лишней раз убедилась, что была права, не веря в подлинность чувств, которыми люди мотивируют свои поступки. Не сами по себе они действуют, а по мерке обстоятельств, дающих им в руки условный масштаб поведения. Если жестокость разрешена обстоятельствами – тем лучше. Не задумываясь, до конца злоупотребляют они этим разрешением, так щедро пользуются им, что можно с уверенностью сказать: большинство людей только и ждет, чтобы обстоятельства развязали их грубые и жестокие инстинкты, позволили бы им вволю поглумиться над собратьями. У Августа достало наивности – или упорства? – встретить товарищей в мундире добровольца егерского полка, на что он, как адъютант августейшего почетного шефа, имел безусловное право. Этим он вызвал – и это тоже понятно – со стороны наших воителей целый град насмешек и обидных намеков. Теодор Кернер не напрасно сочинил:



Презренье мальчишке на теплой лежанке, В лакейской вельможи, в объятьях служанки; Поистине, он недостойный вахлак.

Стишки, отлично подходившие к случаю, цитировались без зазрения совести. Больше других усердствовал здесь ротмистр фон Вертерн-Визе, старавшийся извлечь выгоду из этой поощряющей всяческую грубость ситуации. Он позволил себе намек на сомнительное происхождение Августа, которым, как он выразился, исчерпывающе объяснялось его трусливое и нерыцарственное поведение. Господин фон Гете бросился на него, обнажив свою саблю, дотоле не бывшую в деле, но их разняли. Следствием этого столкновения был вызов на дуэль.

Тайный советник находился в это время на купаниях в Берке, неподалеку от Веймара, и работал над «Эпименидом». Предложение, полученное от берлинского интенданта Иффланда, написать апофеоз на возвращение прусского короля показалось ему столь почетным и заманчивым, что он временно оставил все другие поэтические замыслы, дабы сочинить свою причудливо многозначительную, не похожую ни на один апофеоз на свете, глубоко личную философическую аллегорию. «Но я стыжусь часов покоя», – писал он, и далее: «Он все же в пропасть упадет». За этой работой застало его письмо одной почитательницы и придворной дамы, госпожи фон Ведель, оповещавшее о положении Августа, о его стычке с ротмистром и о том, что должно было воспоследовать. Великий поэт тотчас же принял решительные меры. Пустить в ход свои связи, воспользоваться своим влиянием, чтобы избавить сына от дуэли, как ранее от войны – мне кажется, это само по себе, вне зависимости от тревоги за жизнь Августа, доставляло ему удовлетворение, ибо он всегда любил аристократические привилегии, утонченную несправедливость. Он обратился к заботливой корреспондентке с просьбой о посредничестве, написал первому министру. Высокий чиновник, тайный советник фон Миллер, явился в Берку, за переговоры взялись наследный принц и даже сам герцог, ротмистру пришлось принести извинения, ссора была потушена. Под сенью высочайшего покровительства Август стал неуязвим. Критические голоса затихли, но не унялись: несостоявшаяся дуэль, пожалуй, еще больше усилила неуважение к его мужскому достоинству. В обществе пожимали плечами, Августа обходили. О непринужденном, сердечном общении со сверстниками ему отныне нечего было и думать. И хотя господин фон Вертерн за свой опрометчивый намек получил хороший щелчок по носу и даже посидел под арестом, но мысль о сомнительном происхождении Августа, о том, что он, если можно так выразиться, полукровка, снова всплыла в сознании людей и стала служить объяснением его поступков: «Видно птицу по полету» или «Да что с него спрашивать». Здесь надо, конечно, добавить, что тайная советница в своем образе жизни мало учитывала серьезность времени, и ее погоня за развлечениями постоянно давала обильный материал для пересудов, незлобивых, но насмешливых и обидных для ее достоинства.

В конце концов то, что сумрачный поклонник Оттилии принял так близко к сердцу всю эту историю, говорило, скорее, о его щепетильности в вопросах чести. Правда, он давал нам это понять довольно странным и окольным путем, а именно своим все возрастающим, страстным, нелепым преклонением перед сверженным героем, узником острова Эльбы. Свою гордость и упорство он утолял фанатической преданностью Наполеону, презрением к «отступникам», посмевающим забыть, что день его рождения еще недавно почитался ими торжественнейшим днем года. Да оно и понятно, ведь Август страдал вместе с ним и за него! Покорно выносил издевательства и насмешки за то, что отказался выступить в поход против него. Перед отцом, стоявшим над настроениями и модами дня, ему, конечно, было легко придавать своей оскорбленной чести вид преданного восхищения императором, но он козырял этим и перед нами, бестактно и упорно, забывая, что своими речами втоптывает в грязь убеждения Оттилии. И хотя она покорно, со слезами в прекрасных глазах сносила его эгоистические выходки (себя он

облегчал ими, а до боли, которую он причинял другим, ему не было дела, от нее он только пуще входил в азарт), но для моих тайных желаний, казалось, забрезжила надежда. Трудно было предположить, что чистая и совестливая душа Оттилии сможет долго выносить подобные испытания; я сомневалась в этом тем более, что под неистовым культом Наполеона у него таилось – или, вернее, уже не таилось, но лишь временами прикрывалось этой личиной, чтобы снова проступить во всей своей наготы, – нечто другое, а именно ревность к юному Гейнке, который вновь обретался среди нас и которого Август в нашем присутствии называл не иначе как архитипом тевтонца, погрязшего в варварстве и тупо противоборствующего спасительной континентальной системе нового цезаря.

Да, наш найденыш опять был в Веймаре, – точнее, был уже во второй раз. После Лейпцигской битвы он с месяц нес службу в нашем городе в качестве адъютанта прусского командующего и бывал в обществе, повсюду встречая радушный прием. Теперь, после падения Парижа, он возвратился из Франции, украшенный железным крестом; вы поймете, что вид этого священного знака на его груди заставил наши девические сердца, и прежде всего сердце Оттилии, вновь возгореться огнем горделивой гордости за великолепного юношу. Нашу пылкость умеряла только его приветливая, благодарно-дружелюбная, но немного сдержанная манера держать себя при частых встречах, манера, носившая даже несколько подчеркнутый характер и – мы не могли не сознавать этого – не вполне соответствовавшая чувствам, которые мы ему выказывали. Вскоре этому сыскалось простое и – не буду утаивать – в известной мере отрезвившее нас объяснение. Фердинанд открыл нам то, о чем доселе – не будем вникать, из каких соображений, – умалчивал и что ныне счел долгом нам поведать: на родине, в прусской Силезии, его ждала возлюбленная невеста, которую ему вскоре предстояло повести к алтарю.

Легкое замешательство, вызванное в наших сердцах этим открытием, вероятно, не удивит вас. Я говорю не о боли разочарования – подобных чувств мы испытывать не могли, так как в наших отношениях к нему преобладали идеальный восторг и восхищение, правда, смешанные с сознанием известных прав на него, принадлежащих нам, как его спасительницам. Для нас он был скорее олицетворением, чем личностью, хотя эти понятия и не всегда отделимы друг от друга, ибо в конце концов лишь определенные положительные качества личности позволяют ей стать олицетворением. Как бы там ни было, наши чувства к юному герою – или, вернее, чувства Оттилии, так как я здесь, по справедливости, отступила в тень, – никогда не связывались с конкретными надеждами или пожеланиями: ведь при низком происхождении Фердинанда, – я уже говорила, что он был сыном мехоторговца, – таковые, собственно, и не могли возникнуть. Правда, мне временами думалось, что с сословной точки зрения я скорее могла носиться с подобными мыслями; в минуты слабости я даже мечтала, что прелесть моей подруги, для него недостижимой, дополнит мою некрасивость и толкнет юношу на брак со мной, – но тут же сознавала страшные опасности, которыми был бы чреват такой союз, и с содроганием прогоняла эту мысль, хотя она порой и казалась мне не лишенной известного беллетристического интереса, ибо, говорила я себе, мои мечты вполне достойны того, чтобы сам Гете сделал из них тончайшую эпопею чувств и нравов.

Словом, разочарования тут не могло быть, как не могло быть речи о том, чтобы мы чувствовали или могли почувствовать себя обманутыми дорогим нам человеком. С большой сердечностью и пожеланием счастья встретили мы его признание, впрочем, немного сконфуженные тем, что он так долго щадил нас, и тем, что мы охотно еще продлили бы пору неведения. Ведь известное замешательство и недоумение, полуосознанное страдание все же было связано с открытием, что Фердинанд наречен и несвободен. Исчезла какая-то неопределенность, смутные грезы и надежды, придававшие сладость нашему дружественному общению с ним. Но мы, не уславливаясь

и все же как по тайному сговору, старались избавиться от этой легкой досады и без колебания включили его невесту в свои благоговейные грезы, отныне превратившиеся в двойной культ – юного героя и его нареченной, этой немецкой девушки, в достоинствах которой мы не позволяли себе усомниться и чей облик сливался для нас не то с образом Туснельды, не то Гетевой Доротеи – только, разумеется, голубоглазой, а не черноокой.

Чем объяснить, что мы таили от Августа помолвку Гейнке, как наш герой некогда таил ее от нас? Таково было желание Оттилии, а причин его мы не обсуждали. Откровенно говоря, меня это несколько удивляло, ведь она чувствовала себя виноватой перед меланхолическим поклонником за свои патриотические симпатии к юному воину; но что эти симпатии независимо от сословных препятствий ничем ему не угрожали, что их по праву можно было назвать бесцельными и беспоследственными, – в это она его не посвящала, хотя такая новость, несомненно, восстановила бы его душевное равновесие и, кто знает, может быть, настроила бы его на более дружественный лад по отношению к Фердинанду. Я с готовностью подчинилась ее воле. Камер-ассессор в своем недоброжелательстве, в своих озлобленных нападках на Фердинанда, по-моему, заслуживал утешения, но не полного торжества. И далее, рассуждала я, ведь не исключено, что озлобленность заведет его слишком далеко, и постоянно оскорбляемая Оттилия решится, наконец, на разрыв, о котором я во имя ее душевного покоя всегда мечтала.

Уважаемая госпожа советница, так оно и случилось. Первое время, пусть краткое, все шло согласно моим тайным желаниям. Наши встречи и свидания с господином фон Гете принимали все более натянутый и неприятный характер. Сцена следовала за сценой. Август, мрачный и страдающий от своей дурной славы, от безутешной ревности, не уставал жаловаться и упрекать нас за то, что мы променяли его на рослого болвана, на немецкого тупицу. Оттилия, все еще не сообщая о силезском романе Гейнке, оскорбленная в своей верности, исходила слезами в моих объятиях, и, наконец, произошел взрыв, в котором, как это обычно бывает, политическое смешалось с личным. Однажды вечером в саду графини Генкель Август снова начал, захлебываясь, прославлять Наполеона, причем выражения, которыми он бичевал своих противников, явно метили в Фердинанда. Оттилия возражала ему и, не скрывая отвращения к людоеду Наполеону, в свою очередь придала восставшему против него юношеству ясно выраженные черты нашего героя; я вторила ей; Август, бледный от гнева, сдавленным голосом заявил, что между нами все кончено, что мы для него отныне не более как пустое место, и в ярости убежал из сада.

Я, хоть и потрясенная разразившейся сценой, чувствовала себя у заветной цели. Не считая нужным скрывать этого от Оттилии, я призвала на помощь все свое красноречие, чтобы утешить ее в разрыве с господином фон Гете, заверяя, что отношения с ним никогда и ни при каких обстоятельствах ни к чему хорошему привести не могут. Но мне хорошо было говорить! Она же, моя бедняжка, находилась в ужасном состоянии, и я изнемогала от жалости. Подумайте только! Юноша, юноша, которого она так восторженно любила, принадлежал другой, а тот, кому она в прекрасном жертвенном порыве готова была отдать свою жизнь, от нее отвернулся. Но этого мало! Когда всеми покинутая девушка бросилась на грудь своей матери – она воззвала к сердцу, в свой черед раненному жестоким разочарованием и не имевшему сил оказать ей поддержку. После унижительной сцены с Августом, Оттилия, по моему совету, поехала на время к родным в Дессау, но, вытребованная посланным ей вдогонку нарочным, принуждена была сломя голову мчаться домой. Случилось нечто ужасное. Граф Эдлинг, нежный друг дома, опекун и вице-папенька, на чье сердце и руку госпожа фон Погвиш так твердо рассчитывала, имея на то все основания, нежданно-негаданно, ни слова не проронив в объяснение своей измены, женился на заезжей молдавской княжне Стурдза!

Какая страшная осень и зима, дорогая госпожа советница! Я говорю это не потому, что в феврале Наполеон бежал с Эльбы для вторичной гибели, но вспоминая о жестоких требованиях, предъявленных судьбою обеим – матери и дочери, об испытаниях, весьма сходных испытаниях, которым она подвергла их чувство чести и душевную силу. Госпожа фон Погвиш не могла избежать почти ежедневных встреч во дворце с графом, нередко и с его молодой женой, и была принуждена, с отчаянием в сердце, не только любезно ему улыбаться, но и чувствовать на себе при этом торжествующие взгляды света, знавшего о крушении ее надежд. Оттилии, призванной помогать ей в испытании, едва ли не превосходящем человеческие силы, самой приходилось переносить злорадное любопытство общества, так как все вскоре заметили ее размолвку с господином фон Гете, который ею манкировал, предавался аффектированной мрачности и временами даже грубо обрывал ее. Мне приходилось всячески изворачиваться среди этих жизненных неурядиц, – в свою очередь с опустошенным сердцем, ибо перед самым рождением Фердинанд покинул нас и отправился в Силезию, чтобы повести к алтарю свою Туснельду или Доротее – на самом деле ее звали Фанни, – и как ни обделила меня природа правом надеяться на него, как ни скупое ограничила меня ролью поверенной, полноту страданий она даровала и мне – даже если в моем случае к ним и примешивалось известное чувство облегчения, нечто похожее на тихую удовлетворенность. Дурнушке легче вместе с красавицей предаваться мечтам и воспоминаниям об исчезнувшем герое, – а к этому мы снова вернулись, – нежели делить с нею неравное счастье вблизи него.

Итак, если отъезд нашего юноши, его союз с третьей даровал мне желанный покой, то я с радостью убедилась, что и Оттилии ее размолвка с Августом принесла известное умиротворение. Да, невзирая на светскую молву, Оттилия все же призналась мне, что она этот разрыв считает счастьем и освобождением и что теперь ее сердце сможет, наконец, отдохнуть в мирном безразличии от мучительных раздоров, всегда сопутствовавших этой дружбе. Теперь она может без помехи предаться благоговейному культу памяти Фердинанда и посвятить себя утешению несчастной матери. Слушать это было отрадно, и все же сомнения и страх меня не покидали. Август – сын Гете, вот его основное качество. В лице Августа мы имели дело с великим отцом, который, безусловно, не одобрял разрыва с «амазоночкой», совершившегося без его согласия, и, несомненно, собирался сделать все возможное, чтобы восстановить мир между ними. Я знала, что он всячески поощрял союз, мысль о котором приводила меня в содрогание; сумрачная страсть сына к Оттилии была лишь следствием его желания и воли. Сын любил в ней тип, излюбленный отцом. Его любовь была подражанием, наследием, подчиненностью, отречение же от нее – проявлением мнимой самостоятельности, мятежом, силу сопротивления которого я, к сожалению, расценивала не очень высоко. А Оттилия? Верно ли, что она совсем отошла от сына великого отца? Можно ли было считать ее спасенной? Я сомневалась – и сомневалась не даром.

Сокрушенный вид, с которым она выслушивала известия и все множившиеся слухи об образе жизни Августа, только подтверждал справедливость моего неверия. Все сошлось, чтобы подорвать нравственные устои юноши, послать его на поиски забвения, бросить в объятия пороков, к которым всегда была склонна его подверженная сомнительным порывам и опасно-чувственная натура. Пятно, оставшееся на нем от этой злосчастной добровольческой истории, размолвка с Оттилией, приведшая не только к внутреннему, но, вероятно, также и к внешнему конфликту с отцом, а следовательно, и с самим собой – я перечисляю все это не для того, чтобы оправдать беспутную жизнь, о которой шушукались все наши обыватели, но чтобы хоть как-то объяснить ее. Мы слышали о беспутстве Августа со всех сторон; между прочим, также от Шиллеровой дочери Каролины и ее брата Эрнста, которые жаловались на ставший уже непереносимо придиристым характер молодого Гете и его дикие выходки. Рассказывали, что он потерял всякую меру в питье и однажды ночью в пьяном виде замешался в какую-то

постыдную драку, кончившуюся арестом; отпустили его только из уважения к имени отца и по той же причине замяли все дело. Его связи с женщинами, с простыми бабами, стали достоянием всего города. Павильон в саду, у земляного вала, предоставленный ему тайным советником для его коллекций минералов и ископаемых (ведь Август подражал и на свой лад предавался коллекционерской страсти отца), по слухам, нередко служил приютом для предосудительных встреч. Мы знали об интрижке с солдатской женой, муж которой смотрел сквозь пальцы на эту связь из-за щедрых даров, приносимых ею в дом. Это была особа долговязая и угловатая, хотя и отнюдь не безобразная. Все общество покатывалось со смеху над словами, которые он будто бы сказал ей: «Ты свет моей жизни», – она сама разболтала их, надо думать из тщеславия. Потешались также и над скандальной, хотя и забавной историей: будто однажды вечером старый поэт неожиданно столкнулся в саду с этой парочкой и со словами: «Не стесняйтесь, детки», – счел за благо быстро удалиться. За достоверность я, конечно, не ручаюсь, но мне это кажется правдоподобным, так как здесь речь идет, мягко говоря, об известной моральной снисходительности великого человека, которую многие ставят ему в упрек, но о которой я судить не дерзаю.

Дозвольте мне попытаться словами выразить то, над чем я так часто ломала голову – с не совсем чистой совестью, вернее, мучимая сомнениями, – подобает ли мне, или вообще кому бы то ни было, предаваться такого рода размышлениям? Мне казалось, что некоторые черты, неудачно и разрушительно проявившиеся в сыне, повторяют черты великого отца, хотя установить их тождество очень нелегко, не говоря уже о том, что благоговение и пиетет отпугивают нас от этой попытки. Но у отца это черты, так сказать, высокого полета, просветленные, плодотворные, они восхищают нас и несут нам радость, в качестве же сыновнего наследства оборачиваются грубостью, мраком, опустошенностью, проступают открыто и бесстыдно во всей своей нравственной неприглядности. Возьмите, к примеру, роман столь прекрасный, столь чарующий, как «Избирательное сродство». Эту гениальную и утонченную поэму прелюбодеяния филистеры нередко упрекали в безнравственности, но, разумеется, всякий, кто способен классически мыслить и чувствовать, должен отвергнуть такой упрек как несуразное ханжество или только презрительно пожать плечами. Но, с другой стороны, такой ответ вряд ли можно назвать ответом по существу. Кто станет по совести отрицать, что в этом великом произведении и вправду есть элемент чего-то нравственно-сомнительного, фривольного, более того – простите мне это слово! – лицемерного, какое-то нечистое заигрывание со святостью брака, недосказанная и фаталистическая уступка таинству естества. Даже смерть – смерть, понимаемая нами как способ, которым нравственная природа охраняет свою свободу, разве она не представлена там потатчицей, не изображена последним сладостным прибежищем любовного вожделения? Ах, я понимаю, каким нелепым, каким кощунственным это должно казаться: в необузданности Августа, в его распутной жизни усматривать отлитые в неудачную форму те же самые задатки, что подарило человечеству «Избирательное сродство». Но я ведь уже говорила об угрызениях совести, временами сопровождающих критическое искательство правды, а ведь отсюда возникает дилемма – стоит ли доискиваться истины, является ли она достойной целью наших познавательных способностей, или существуют на свете истины запретные?

Так вот, Оттилия с таким волнением, с такой болезненной тревогой относилась к вестям о похождениях господина фон Гете, что трудно было поверить, будто она и впрямь не заинтересована в нем. Ее ненависть к солдатке была очевидна, – но этой ненависти можно было бы подыскать и другое название. Конечно, отношение чистой женской души к особам, которых ее избранник дарит чувственным благоволением, тем самым давая им известные, пусть недостойные, но все же реальные преимущества, – это дело темное. Презрение и брезгливость не позволяют покинутой утратить чувство собственного достоинства. Но тот особый вид зависти, который зовется ревностью, заставляет нас,

вопреки нашей воле, подымать до себя этих презренных, видеть в них равноправный объект ненависти – равноправный благодаря общности пола. А может быть, и безнравственность мужчины, несмотря на отвращение, которое она в нас возбуждает, все же имеет такую глубокую и страшную привлекательность для чистой души, что может сызнова разжечь угасшее было чувство, заставить нас проникнуться духом жертвенности, стремлением ценой собственных страданий вернуть мужчину к его второму, лучшему «я».

Короче говоря: меньше всего я верила в то, что моя любимица не откликнется на попытку сближения со стороны Августа, и в то, что он, рано или поздно, не сделает этой попытки, повинувшись руководящей им высшей воле, против которой он своим разрывом с Оттилией однажды вздумал безуспешно взбунтоваться. Мои ожидания и опасения сбылись. В июне прошедшего года – этот вечер я никогда не забуду – мы стояли вчетвером в зеркальной галерее дворца – Оттилия, я, наша приятельница Каролина фон Гаршталъ и господин фон Гросс, – когда Август, давно сновавший вокруг нас, вдруг приблизился и вступил в разговор. Вначале он ни к кому в отдельности не обращался, но затем – то был момент чрезвычайно напряженный и потребовавший от всех присутствующих значительной доли самообладания – задал Оттилии какой-то вопрос. Разговор продолжался в обычном светском тоне, вращаясь вокруг мира и войны, списков убитых, мемуаров Августова отца, прусского бала с его знаменитым котильоном; но в глазах молодого Гете светилось при этом обожание, ничуть не соответствовавшее безразличию наших и его слов. А при прощании, когда мы сделали ему реверанс (мы давно уже намеревались уйти), пламя страсти в его глазах разгорелось еще ярче.

«Ты заметила, как он смотрел на тебя?» – спросила я Оттилию уже на лестнице. «Да, – отвечала она, – и это меня огорчило. Верь мне, Адель, я не хочу, чтобы он вернулся к прежней любви, ибо тогда мой покой уступит место прежним мукам». Таковы были ее слова. Но запрет был снят, распря окончилась. В театре и в собраниях господин фон Гете продолжал искать сближения; и если Оттилия и избегала оставаться с ним наедине, к чему он упорно стремился, то она все же призналась мне, что его взгляд, напоминающий ей былые времена, как-то странно ее трогает, а бесконечно несчастное выражение на лице Августа обновляет в ее сердце старое чувство виновности. Если мне случалось заговорить о своих страхах, о грядущей беде, как неминуемом следствии ее близости с этим грубым, опустошенным человеком, дружбу с которым я считала немислимой, ибо он всегда будет требовать больше, нежели – если, конечно, верить ее словам – она пожелает ему предложить, то Оттилия отвечала: «Не тревожься, душенька, я свободна и свободной останусь навеки. Вот, посмотри, он дал прочитать мне книгу «Фантастическое путешествие Пинто», а я еще и не раскрывала ее. Будь она от Фердинанда – разве я бы уже не знала ее наизусть?» Это сущая правда. Что она его не любит, я верила. Но могло ли это служить утешением, гарантией? Ведь я видела, что она была заморожена мыслью принадлежать Августу, как птичка взглядом змеи.

У меня голова шла кругом, когда я представляла себе ее женою Августа; а ведь это, видимо, было неизбежно. С ней творилось нечто, разрывавшее мне сердце, нечто непостижимое. Моя уверенность, что этот несчастный ее погубит, подтверждалась раньше времени, ибо прошедшей осенью бедняжка серьезно заболела. Болезнь явно была следствием внутреннего разлада. Три недели пролежала она в желтухе с бочонком дегтя около кровати, так как говорят, что смотреться в деготь – лучшее средство против этой напасти. Когда же, выздоровев, она снова встретилась с ним во дворце, казалось, он ее даже не хватился, даже не заметил ее отсутствия. Ни словом, ни звуком он не засвидетельствовал обратного.

Оттилия была вне себя; приступ болезни повторился, и ей пришлось еще целые восемь дней глядеться в деготь. «Для него я готова была отказаться от вечного блаженства, –

рыдала она на моей груди, – а он обманул меня!» Но что бы вы думали? Что произошло? Двумя неделями позднее бедняжка приходит ко мне, бледная как смерть, и, глядя в пространство каким-то оцепенелым взглядом, сообщает, что Август говорил с ней о их будущем браке с полным спокойствием, как о решенном деле. Не правда ли, мороз пробирает по коже? Что можно вообразить себе более страшного? Он не объяснялся с нею, не просил ее любви, даже нельзя было сказать, что он говорил с нею о супружестве; он мимоходом помянул о нем. «А ты? – вскричала я. – Заклинаю тебя, Тиллемуза, дитя мое, что ты ему ответила?» Уважаемая, она мне призналась, что у нее отнялся язык.

Вы, конечно, не удивитесь, что я всем сердцем восстала против зловещего хладнокровия рока? Последний барьер еще стоял на ее пути в лице женщины, чье существование явилось бы серьезной помехой, когда господин фон Гете – а в конце концов он не мог этого избежать – стал бы просить руки Оттилии у ее матери и бабки, – в лице тайной советницы, Христианы, мамзели.

Дорогая, в конце июня она скончалась. Рухнула и эта препона, более того

– ее смерть угрожающе обострила ситуацию, ибо теперь Августу вменялось в обязанность ввести в отчий дом новую хозяйку. Траур и наступившее летнее затишье на время сделали их встречи редкими. Но тут совершилось событие, о котором я не имею возможности подробно поведать вам, ибо оно окружено дымкой какой-то веселой и захватывающей таинственности, но в роковом его значении сомневаться не приходится. В начале августа возле земляного вала у Оттилии состоялась встреча с тайным советником, великим поэтом Германии.

Повторяю, я не могу сообщить вам подробностей этой встречи. Я их не знаю. С шутливостью, меня отнюдь не веселящей, Оттилия умалчивает о них, ей нравится окружать это событие каким-то подобием дразнящей и торжественной тайны. «Ведь и он, – с улыбкой отвечает она на мои домогательства, – не любит распространяться о своей беседе с императором Наполеоном, пряча память о ней от мира и даже от близких, как ревниво охраняемый клад. Прости мне, Адель, если я в этом случае последую его примеру, и удовольствуйся заверением, что он обошелся со мной премило».

Он обошелся с нею премило, – передаю вам это дословно, дражайшая госпожа советница. И на этой странице обрываю свою новеллу, относящуюся к жанру так называемой галантной новеллы, неизменно заканчивающейся помолвкой или предчувствием неминуемой близости таковой. Если не случится чуда, если небо не обрушится на землю, то двору и городу следует ждать этого события к рождеству или уж никак не позднее Нового года.

## Глава шестая

Рассказу демуазель Шопенгауэр здесь придана ничем не потревоженная слитность. На деле же слегка окрашенный саксонским акцентом речевой поток ее большого говорливого рта был прерван дважды – посередине и ближе к концу, – оба раза Магером, коридорным Гостиницы Слона, который, явно страдая от своей обязанности и настойчиво оправдываясь, входил в гостиную с докладом о новых посетителях.

В первый раз он уведомил о приходе горничной госпожи камеральной советницы Ридель. Посланная дожидается в сенях, сообщил Магер, и во что бы то ни стало желает узнать о самочувствии и причинах задержки госпожи советницы, так как на Эспланде все очень обеспокоены и обед давно перестоялся. Он, Магер, тщетно пытался втолковать ей,

что приход знаменитой постоялицы к сестре задерживается весьма важными аудиенциями, нарушать которые ему не подобает... Мамзель, после некоторого ожидания, все же принудила его сообщить госпоже советнице об ее приходе, так как она имеет прямое указание завладеть госпожой советницей и препроводить ее к сестре, где беспокойство и голод дошли уже до предела.

Шарлотта покраснела и быстро встала с лицом, говорившим: «Да, я поступила бессовестно! Который теперь час? Мне надо идти! Приходится волей-неволей прервать эту беседу». Но как ни странно, она тут же села и высказала как раз обратное.

– Хорошо, – произнесла она, – я знаю, что Магеру неприятно опять врываться сюда. Надо сказать мамзели, чтобы она набралась терпения или же ушла, – пускай лучше идет и передаст госпоже камеральной советнице, чтобы меня не ждали с обедом, я приду, как только мне позволят дела, беспокоиться же обо мне нет причины. Конечно, Ридели волнуются, но что поделаешь, я тоже взволнована, я потеряла всякое представление о времени, да и вообще все идет не так, как я думала! Но что бы там ни было, а я не частное лицо и с высокими запросами должна считаться больше, нежели с ожидающим меня обедом. Скажите это мамзели, и пусть она передаст, что сначала мне пришлось сидеть для портрета, затем совещаться с доктором Римером по весьма важным делам, сейчас же я слушаю рассказ этой дамы и не могу так вдруг подняться и уйти. Не забудьте сказать ей о высоких запросах и вполне понятном волнении, затронувшем и меня; волей-неволей, а я должна соотноситься со своими обязанностями и о том же прошу моих родных.

– Слушаюсь, все будет передано в точности, – удовлетворенно и с чувством глубокого понимания отвечал Магер, после чего он удалился, а демуазель Шопенгауэр, немного отдышавшись, продолжала свой рассказ, приблизительно с того места, где молодые девушки, после своей находки в парке, на крыльях восторга мчались в город.

Вторично Магер постучал, когда рассказ уже вертелся вокруг солдатки и «Избирательного сродства». На сей раз стук был более решителен, и вошел Магер с видом, ясно доказывавшим, что теперь он считает свое вторжение вполне законным и никаких сомнений или укоров совести не испытывает. Уверенным голосом он провозгласил: «Господин камеральный советник фон Гете!»

При этом имени Адель вскочила с канапе. Шарлотта же осталась сидеть, но это свидетельствовало не столько о спокойствии, сколько, напротив, о внезапном и полном упадке сил.

– *Lupus in fabula*[32 - Волк в басне (лат.) – латинская поговорка, соответствующая русской «легок на помине».], – вскричала девица Шопенгауэр. – Всесильные боги, что делать? Магер, мне нельзя встретиться с камеральным советником! Вы должны это устроить, мой друг. Вы должны как-нибудь незаметно вывести меня. Я полагаюсь на вашу расторопность!

– И не напрасно, мадемуазель, – заверил ее Магер, – не напрасно. Я уже все предусмотрел, ибо мне известна деликатность светского обхождения и я знаю, что здесь надо предвидеть разнообразные случайности. Я доложил господину камеральному советнику, что госпожа надворная советница в настоящую минуту занята, и препроводил его в питейную комнату. Он спросил стаканчик мадеры, а я, кроме стаканчика, подал на стол еще и непочатую бутылку. Сейчас я предоставлю дамам закончить собеседование и затем буду иметь честь незаметно вывести барышню по лестнице, прежде чем доложить господину фон Гете, что госпожа советница готова его принять.



Дамы похвалили Магера за такую предусмотрительность, и он удалился. Адель тут же заговорила:

– Дражайшая госпожа советница, я сознаю величие момента. Сын здесь – это значит весть от отца. Следовательно, и тому, кого это больше всех касается, уже известно о вашем прибытии. Да и как же иначе! Сенсация велика, а веймарская Фама – быстроногая богиня. Он посылает за вами, он представляется вам в лице своего отпрыска. Я глубоко растрогана и, уже без того потрясенная всеми событиями дня, с трудом удерживаю слезы. Предстоящая беседа настолько важнее и неотложнее беседы со мной, что я, разумеется, не дерзаю просить вас, даже учитывая, что камеральный советник обеспечен мадерой, – дослушать мой рассказ. Я не помышляю об этом, уважаемая, и своим исчезновением докажу...

– Оставайтесь, дитя мое, – с твердостью произнесла Шарлотта, – и займите сызнова свое место. – Нежная алость заливала щеки старой дамы, ее добрые голубые глаза лихорадочно блестели, но она продолжала владеть собой и сидела на кушетке прямо и собранно. – Молодой человек, – рассудила она, – может немного повременить. Ведь я, собственно, занимаюсь им, слушаю вас, и, кроме того, я привыкла в своих делах придерживаться порядка и постепенности. Прошу вас, продолжайте! Вы говорили о сыновнем наследстве, о великих задатках...

– Совершенно верно, – быстро опускаясь на канапе, вспомнила демуазель Шопенгауэр. – Возьмите, к примеру, роман столь прекрасный... – И в ускоренном темпе, с плавнейшими каденциями и невероятной беглостью речи Адельмуза подвела к концу свой рассказ, позволив себе лишь на последнем слове перевести дыхание, и то не более как на секунду. Вернее, она продолжала без всякой остановки, лишь в несколько другой тональности:

– Вот те события, о которых мне неудержимо хотелось поведать вам, дражайшая госпожа советница, лишь только весть о вашем прибытии дошла до меня. Это желание, мгновенно слившееся с желанием увидеть вас и принести вам мои заверения в бесконечной преданности, заставили меня взять грех на душу перед Линой Эглоффштейн, – скрыть задуманное предприятие и лишить ее радости узреть вас. Дорогая, уважаемая госпожа советница! Чудо, о котором я говорила, – я жду его от вас. Если небо, как я уже сказала, не обрушится в последнюю минуту, чтобы предотвратить союз, фальшь и опасность которого камнем давят мне душу, то, пронеслось у меня в уме, может быть, в эту спасительную минуту оно избрет вас своим орудием, и, может быть, ваше прибытие в Веймар и есть уже перст божий. Через несколько минут вы увидите сына и несколькими часами позднее – великого отца. Вы можете повлиять, предостеречь, у вас есть на то право! Вы могли бы быть матерью Августу – вы не мать его, ибо ваша прославленная жизнь пошла по иному руслу, вами самой избранному и облюбванному. Чистый разум, неколебимое знание истинного и подобающего, которые помогли вам в этом выборе – призовите их и здесь! Спасите Оттилию! Она могла бы быть вашей дочерью и даже похожа на вас, поэтому и ей грозит теперь опасность, которой вы некогда противопоставили высокое благоразумие. Будьте матерью для той, что повторила ваш юный образ, – ибо так оно есть и потому-то она и любима отцом через сына. Помогите «амазоночке», как ее называет Гете, – помогите ей, опираясь на то, чем вы некогда были для отца, не допустите ее стать жертвой фасцинации, этой страшной фасцинации. Мужа, который был избран вашим светлым разумом, нет на свете; женщины, ставшей матерью Августа, более не существует. Вы одна с отцом, с тем, кто мог быть вашим сыном, и с прелестной девушкой, повторившей ваш юный образ. Ваше слово равно слову матери, противопоставьте его фальши, погибели! Я прошу, я заклинаю вас...

– Милое дитя, – прервала ее Шарлотта. – Чего вы от меня требуете? Во что предлагаете

мне вмешаться? Когда я с разноречивыми чувствами, но, разумеется, и с живейшим участием слушала вашу повесть, я не предполагала такого доверия, чтобы не сказать, требования. Вы приводите меня в замешательство не только своей просьбой, но и тем, как вы ее обосновали. Вы вмешиваете меня в отношения... хотите обязать меня, показывая мне, старухе, повторение меня самой. Вы, кажется, думаете, что кончина тайной советницы изменила мои отношения к великому человеку, которого я не видала целую жизнь, да еще в том смысле, что я обретаю какие-то материнские права на его сына... Простите, но ваше предположение абсурдно и просто пугает меня: ведь может показаться, что я совершила эту поездку для того... Но, вероятно, я вас не поняла. Простите! Я утомлена впечатлениями и тревогами этого дня, а ведь мне, как вы знаете, еще предстоит и то и другое. Будьте здоровы, дитя мое, и позвольте поблагодарить вас за вашу милую общительность! Не считайте, что это прощание равносильно отказу! Внимание, с которым я слушала вас, служит порукой, что вы зывали не к безучастному сердцу. Может быть, мне удастся посоветовать, помочь. Вы поймете, что до получения вести, которой я жду, я даже не знаю, представится ли мне вообще случай быть вам полезной.

Она осталась сидеть и, благодушно улыбаясь, протянула руку Адели, уже вскочившей с канапе, чтобы проделать свой придворный реверанс. Ее голова дрожала, когда молодая девушка, не менее разгоряченная, почтительно поцеловала ее руку. Затем Адель ушла. Шарлотта со склоненной головой несколько минут просидела одна, на том же канапе, в комнате своих аудиенций, покуда Магер не появился снова и не повторил:

– Господин камеральный советник фон Гете.

Август вошел; его карие, близко посаженные глаза блестели любопытством, но на губах блуждала смущенная улыбка. Он вперил взгляд в Шарлотту. Она тоже пристально смотрела на него, стараясь смягчить улыбкой свой взор. Сердце готово было выпрыгнуть у нее из груди; и в сочетании с пылающими, пусть от переутомления, щеками это было, конечно, смешно, но, будем надеяться, в то же время и очаровательно для не слишком придирчивого наблюдателя. Навряд ли бы где сыскалась еще такая шестидесятитрехлетняя школьница! Ему было двадцать семь, – итак, на четыре года старше! Ей почему-то казалось, что от того лета ее отделяют только четыре года, на которые этот молодой человек старше тогдашнего Гете. Опять же смешно! – их прошло сорок четыре. Страшная гора времени, целая жизнь, долгая, монотонная, и все же такая подвижная, такая богатая жизнь. Богатая? Да, богатая – детьми, одиннадцатью трудными беременностями, одиннадцатью родами, одиннадцатью годами кормления грудью, дважды осиротевшей и ненужной, ибо ее хилых питомцев пришлось вернуть земле; а затем еще – доживание; подумать только, что и оно длится уже шестнадцать лет, пора вдовства и почтенной старости, достойное отцветание в одиночестве, без супруга и отца, который опередил ее в смерти и оставил пустовать место возле нее; пора жизненного досуга, не заполненная трудами, родами, настоящим, более сильным, чем прошлое, действительностью, подавлявшей мысль о возможном так, что для воспоминаний, для всех несбывшихся жизненных «а что, если бы», для сознания другого достоинства – не бюргерского, не земного достоинства, не материнского и житейского, но того, что стало символом и легендой и от года к году представлялось все более значительным людскому воображению, – пора жизненного досуга, когда фантазия разыгрывается сильнее, нежели в пору материнства...

Время, время, – и мы, его дети! Мы увядали вместе с ним, спускались под гору, но жизнь и молодежь всегда были наверху, жизнь всегда была молода, молодежь всегда жила с нами и подле нас – отживших: мы еще пребывали с ней вместе в одном времени, еще нашем и уже их времени, могли любоваться ею, целовать неморщинистый лоб нашей повторенной юности, нами рожденной. Этот, здесь, не был рожден ею, но мог бы быть, –

и это особенно легко было себе представить с тех пор, как не стало той, что могла это опровергнуть, с тех пор, как пустовало место не только возле нее, Шарлотты, но и возле отца, возле юноши той поры. Она испытующе смотрела на порождение другой, критически, сурово мерила взглядом его фигуру. Может быть, она бы удачнее создала его? Нет, мамзель неплохо справилась с задачей, он был статен, пожалуй, даже красив. Похож ли он на Христину? Она никогда ее не видала. Наклонность к полноте, вероятно, шла от нее, – он был слишком тяжел для своих лет, хотя рост и скрадывал этот недостаток: отец был стройнее в ушедшее время, совсем по-другому чеканившее и обряжавшее своих детей, – пусть подтянутее, чопорнее, но и непринужденнее. Юноши той давней поры носили завитые напудренные волосы и косичку на затылке, – у этого каштановые вьющиеся волосы спускались на лоб в послереволюционной непринужденности и с висков кудрявыми бакенбардами сбегали в стоячий воротник, в который, с почти смешной важностью, упирался высокий мягкий подбородок, а открытая шея поэтически выступала из кружевного ворота рубашки. Что и говорить, солиднее и сдержаннее, или, лучше сказать, официальнее выглядел стоящий здесь юноша в своем высоком, заполняющем вырез воротника галстуке. Коричневый, по-модному расстегнутый фрак с приподнятыми у плеч рукавами и траурной перевязью на одном из них плотно и ладно облегал его несколько дородную фигуру. Он стоял в элегантной позе, прижав локоть к туловищу, и держал цилиндр тульей книзу в слегка вытянутой руке. Но странно, было в нем нечто, заставлявшее забывать об этой несомненной, чуждой всему романтическому безупречности, нечто не вполне подобающее, с бюргерской точки зрения, не совсем допустимое, – то были его глаза, ласковые и меланхоличные, с каким-то непозволительно влажным блеском. Глаза амура, ко всеобщему возмущению некогда дерзнувшего передать герцогине поздравительные стихи, глаза незаконнорожденного...

В точности повторившийся карий цвет этих чуть различных глаз, их близкая посадка, внезапно, за какие-нибудь несколько секунд – покуда молодой человек вошел, поклонился и приблизился к ней, – потрясли ее сходством с отцом. Это было всеми признанное сходство, столь же трудно доказуемое, сколь и неоспоримое, несмотря на суженный лоб, не такой выразительный нос, на меньший и более женственный рот, – сходство, робко несомое, в сознании его ущербности, печальное и как бы просящее прощения, но подтвержденное еще и осанкой и распрямленными, несколько откинутыми назад плечами, даже если то и было подражанием, а не просто унаследованной особенностью. Эта робкая, несостоятельная попытка жизни – повториться, снова всплыть на поверхность времени, снова стать настоящим, будившая столь сладостные воспоминания и равная прошлому только тем, что она обладала былою молодостью и непреложной действительностью, потрясла старую женщину так сильно, что когда сын Христины склонился над ее рукой – при этом от него пахло вином и одеколоном, – ее дыхание перешло в короткий, подавленный всхлип.

И тут же она вспомнила, что юность, принявшая этот образ, облечена дворянским достоинством.

– Господин фон Гете, – заговорила она, – вы – желанный гость! Я ценю ваше внимание и от души радуюсь возможности так скоро после приезда в Веймар свести знакомство с сыном моего друга юности.

– Благодарю за милостивый прием, – отвечал он с учтивой улыбкой, причем на мгновение блеснули его слишком мелкие, белые, крепкие зубы. – Меня прислал отец. Ему вручена ваша любезная записка, и вместо того, чтобы ответить вам письменно, он предпочел моими устами, госпожа советница, приветствовать вас в нашем городе и выразил уверенность, что ваш приезд внесет живительную струю в наше общество.

Она засмеялась от растроганности и смущения.

– О, это значит ждать слишком многого от усталой, старой женщины! Но как здоровье нашего дорогого тайного советника? – добавила она и указала на один из стульев, на которых они сидели с Римером. Август обстоятельно переставил его и подсел к ней.

– Благодарю за внимание, – проговорил он. – Неплохо. Жаловаться нет причины, он, в общем, здоров и бодр. Правда, поводов к беспокойству, вернее, к заботам всегда остается достаточно. Известная неустойчивость здоровья все еще дает себя знать. Но позвольте мне, со своей стороны, спросить, как прошло путешествие госпожи советницы? Без особых приключений? Гостиница вас удовлетворила? Такое известие будет отцу очень приятно. Я слышал, что поездка предпринята для свидания с сестрой, достопочтенной камеральной советницей Ридель. Ваш приезд возбудит прочувствованную радость в доме, ценимом высшими и всеми единодушно почитаемом. Смею думать, что между мною и господином камеральным советником существует полное взаимное понимание как в личных, так и в служебных вопросах.

Шарлотта находила его манеру выражаться не по возрасту чопорной. Уже «живительная струя» звучала необычно: «прочувствованная радость» и «полное взаимное понимание» тоже рассмешили ее. К подобным оборотам мог прибегать Ример, но в устах цветущего молодого человека они казались не только странными, но в своей педантичности почти эксцентрическими. Шарлотта чувствовала, что это уже отстоявшаяся манера, – говорящий явно не замечал ее аффектированности так же как не замечал смешливого подергивания в лице Шарлотты, ибо не мог догадаться о его причине. Шарлотту же невольно тянуло сопоставить велеречивую размеренность его слов с тем, что она знала о его похождениях, с тем, что ей поведал о нем большой влажный рот Адели. Она думала о его приверженности к вину, о солдатке, о том, что он однажды был взят на гауптвахту, что Ример сбежал от его грубости; и тут же вспомнила о его ложном, искусственно восстановленном общественном положении после той злосчастной истории, о приглушенном упреке в трусости и нерыцарственности, бремя которого он нес. И над всем этим всплыла мысль о его темном влечении к юной Оттилии, «амазоночке», «прелестной блондинке». Эта любовь, собственно, уже не противоречила его своеобразной манере выражаться и, как ей казалось, каким-то окольным путем, но все же непосредственно связывалась с ней и с ней согласовалась. И ведь в то же время эта любовь касалась и ее, старой Шарлотты, или, лучше сказать, ее второго, более распространенного, более всеобщего «я», касалась трогательным и осложняющим образом, ибо здесь характеры сына и возлюбленного сливались, хотя сын и оставался только сыном, а это значит – вел себя, как отец. «Боже мой, – думала Шарлотта, вглядываясь в его довольно красивое и столь похожее лицо. – Боже мой!» В этот молящий возглас она вкладывала всю растроганность и милосердную нежность, пробужденную в ней этим юношей, но он же относился и к комизму его манеры изъясняться.

Кроме того, она помнила и задачу, на нее возложенную, просьбу, дошедшую до ее сердца, вмешаться в известные обстоятельства, задержать определенный ход вещей и отговорить то ли любовника от «амазоночки», то ли «амазончку» от любовника. Но, по правде говоря, она к тому не ощущала ни охоты, ни склонности и считала, что от нее требуют чрезмерного – интриговать против «амазоночки» для ее же спасения, тогда как очевидным призыванием этой «амазоночки» было оттеснить солдатскую жену и ей подобных, а в этом стремлении она, старая Шарлотта, полностью солидаризовалась с нареченной.

– Меня радует, господин камеральный советник, – проговорила она, – что два столь достойных человека, как вы и мой зять, цените друг друга. Впрочем, я это слышу не впервые. В письменной форме (она невольно вторила – и так, словно хотела над ним

подшутить, – комичной напыщенности его речи) сестра поведала мне об этом. Позвольте, раз уже мы заговорили о таких вещах, поздравить вас с недавним продвижением по службе и при дворе.

– Премного благодарен.

– Это, конечно, заслуженные милости, – продолжала она. – Мне довелось слышать много лестного о вашей солидности и исполнительности на службе государю и государству. Для ваших лет, насколько я смею судить, вы очень занятой человек. Говорят, что помимо всех своих обязанностей, вы еще с похвальным рвением занимаетесь делами отца.

– Я могу только радоваться этой возможности, – отвечал он. – После его тяжких заболеваний в первом и пятом году мы привыкли смотреть на его пребывание среди нас, как на чудо. Я был еще очень юн в обоих случаях, но не забыл этого ужасного времени. В первый раз приступ грудной жабы едва не привел его на край могилы. Болезнь осложнилась судорожным кашлем, который не позволял ему оставаться в постели, так как лежа он задыхался. Отец старался победить его стоя. Нервная слабость держалась еще очень долго. Одиннадцать лет назад у него была грудная лихорадка, сопровождавшаяся судорогами и поныне заставляющая нас дрожать за его жизнь. Отца пользовал доктор Штарк из Иены. Целые месяцы длилось выздоровление после перенесенного кризиса, и доктор Штарк рекомендовал поездку в Италию. Но отец заявил, что в его годы такое предприятие уже неосуществимо. Ему было тогда пятьдесят шесть лет.

– По-моему, это значит слишком рано старить себя.

– И вы того же мнения? Похоже, что он поставил крест и на своей «прирейнской Италии», где в прошлом и позапрошлом году чувствовал себя так хорошо. Вы, верно, слышали о его дорожном злоключении?

– Нет. Что же с ним такое стряслось?

– О, все кончилось благополучно. Этим летом, вскоре после кончины матери...

– Дорогой господин фон Гете, – испуганно перебила она, – до вашего упоминания... я упустила... сама не понимаю, как, выразить вам свое искреннее соболезнование в столь тяжелой незаменимой утрате. Но вы ведь, не правда ли, верите в сердечное участие старого друга...

Он быстро и встревоженно посмотрел на нее своими темными ласковыми глазами и снова опустил их.

– Покорнейше благодарю, – пробормотал он.

Несколько траурных секунд прошло в молчании.

– Судя по вашим словам, – первая заговорила она, – можно надеяться, что этот тяжкий удар не нанес серьезного урона здоровью нашего милого тайного советника.

– Отцу самому недужилось в последние дни ее болезни, – отвечал Август.

– Он спешно оставил Иену, где он работал, когда вести стали угрожающими, но в день кончины лихорадочное состояние принудило его остаться в постели. Может быть, вы

слышали, мать умерла от судорог – мучительная смерть. Меня к ней не пустили, из подруг возле нее тоже никто не находился. Римерша, Энгельс, Вульпиус – все попрятались. Вероятно, вид ее был нестерпим. Были приглашены две сиделки, на чьих руках она и отошла. Это была... мне трудно об этом говорить, какая-то тяжелая женская болезнь, выкидыш или преждевременные роды. Так мне казалось. Может быть, судороги заставили меня увидеть ее болезнь в этом свете, а то, что меня все время деликатно устранили, еще больше утвердило во мне такое подозрение. Но насколько бы тщательнее пришлось охранять отца с его чувствительной нервной конституцией, которая вынуждает его избегать всех мрачных впечатлений, если бы он случайно не оказался прикованным к постели. Когда умирал Шиллер, отец тоже не покидал своей спальни. Сама природа понуждает его избегать соприкосновения со смертью и могилой, – в этом я усматриваю взаимодействие судьбы и собственной воли. Вы, наверно, знаете, что четверо из его сестер и братьев умерли в грудном возрасте. Он жив и, можно сказать, в полном обладании сил, но не однажды, начиная с самых юных лет, бывал близок к могиле, – мгновениями, а иногда и длительное время, под «длительным временем» я подразумеваю эпоху Вертера. – Он спохватился, сконфузился и добавил: – Я имею в виду физические кризисы, кровохарканье юноши, тяжелые недуги его пятидесятилетнего возраста, не говоря уже о разлитиях желчи и почечных коликах, еще в ранние годы сделавших его завсегдатаем богемских курортов, и о периодах, когда без всякого видимого повода его жизнь висела на волоске и Веймар, можно сказать, ежедневно трепетал в ожидании утраты. На него были устремлены все взоры одиннадцать лет назад, когда умер Шиллер. Моя мать, рядом с ним, немощным, казалась олицетворением цветущей жизни, но она умерла, а он продолжает жить. Он крепко держится за жизнь, несмотря на все наши страхи, и временами мне думается, что он всех нас переживет. Он слышать не хочет о смерти, он ее игнорирует, молча смотрит поверх нее. Умри я на его глазах, – а как просто это могло бы случиться, хотя я молод, а он стар, но что моя молодость рядом с его старостью, я только случайный, незначительный придаток к его жизни, – умри я, и он будет об этом молчать, ничем не проявит своих чувств, никогда не заговорит о моей смерти. Так он поступит, я его знаю. Он водит с жизнью опасливую дружбу и потому, наверно, так заботливо отстраняет от себя зловещие картины, агонию, положение во гроб. Он никогда не мог заставить себя присутствовать на похоронах и не пожелал увидеть в гробу ни Гердера, ни Виланда, ни нашу бедную герцогиню Амалию, к которой был так привержен. На Виландовом погребении в Османштадте, три года назад, я имел честь представлять его.

– Гм, – сказала Шарлотта с недовольством в сердце, переходившим почти что во гнев. – В мою книжечку, – она слегка прищурилась, – я внесла одно изречение, наряду с другими, излюбленными мною. Оно гласит: «Давно ли смерть, с переменчивыми образами которой ты спокойно жил на привычной земле, как с любыми другими видениями, стала поражать тебя ужасом?» Это из Эгмонта.

– Да, Эгмонт, – повторил он. Затем потупился, но тотчас же поднял взор, пристально и пытливо поглядел на Шарлотту и снова опустил его. Задним числом ей показалось, что он преднамеренно возбуждал в ней чувства, с которыми она боролась, и что этот беглый взгляд должен был уверить его в успехе задуманного. Но он поспешил переменить разговор и, видимо, желая смягчить и загладить свои слова, сказал:

– Разумеется, отец видел мать в гробу, душераздирающе прощался с нею. У нас есть стихотворение, написанное им на ее смерть; через несколько часов после кончины он продиктовал его – к сожалению, не мне, а своему камердинеру, так как я был занят другими делами. Собственно, только четыре строки, но весьма выразительных:

Ты напрасно сквозь темные тучи  
Проглянуло, дневное светило!

Всей жизни исход неминуемый:  
Мне плакать над этой могилой.

– Гм, – снова произнесла она и кивнула головой, не уверенная в своем впечатлении. В глубине души ей казалось, что это стихотворение и малозначительно и не чуждо преувеличения. При этом она снова заподозрила, – и во взгляде, которым он на нее смотрел, прочла тому подтверждение, – что Август хотел вынудить у нее именно этот отзыв, разумеется, не произнесенный вслух, но мелькнувший в мыслях так, чтобы они могли прочитать его друг у друга в глазах. Поэтому она опустила веки и пробормотала невнятную похвалу.

– Не правда ли, хорошо? – спросил он, словно не понимая. – Чрезвычайно важно, – продолжал Август, – что это стихотворение существует, я на него не нарадуюсь и лансировал его в обществе во множестве списков. Из него они с досадой, но, может быть, к своему посрамлению и назиданию, увидят, наконец, как искренне отец был предан матери – при всей свободе и обособленности, которыми он, разумеется, не мог поступиться, – и с какой нежностью он чтит ее память, память женщины, которую они без усталости преследовали своей ненавистью, злобой и клеветой. А за что? – спросил он, разгорячась. – За то, что она, покуда была здорова, любила немного поразвлечься, охотно танцевала и в веселой компании не прочь была осушить стаканчик. Достойный повод! Отца это только забавляло, и он, нередко, в моем присутствии подшучивал над несколько грубоватой жизнерадостностью матери и как-то раз даже сложил стишок о том, что она-де всегда обведена магическим кругом веселья, – но в этом сквозило добродушие и, пожалуй, даже поощрение. В конце концов он шел своей дорогой и чаще бывал в отъезде, в Иене, на курортах, нежели с нами, дома. Случалось, что он и на рождество, а оно совпадает с днем моего рождения, оставался в иенском дворце, за своими трудами, и ограничивался присылкой подарков. А как мать заботилась о его телесном здравии, вдалеке ли он был или с нами, как стойко несла она бремя домоводства, ограждая его от всех беспокойств, способных помешать его деликатному труду, на понимание которого она не претендовала – да и многие ли его понимают? – но который вполне умела уважать; отец отлично знал это и питал к ней живую благодарность. Наше общество тоже должно было бы с благодарностью относиться к ней, если б оно действительно чтило его труд, но на это не стало их жалких душонок, и они предпочли высмеивать мать, судачить о ней за то, что она мало походила на эфирное создание, на сильфиду, а была, слава тебе господи, толстой, краснощеккой и не знала по-французски. Все это, разумеется, только зависть – черная, зеленая зависть и ничего больше, ибо ей неслыханно посчастливилось: она стала душой его дома, супругой великого поэта и важного сановника. Зависть, голая зависть! Потому я так и радуюсь, что у нас есть это стихотворение на смерть матери. О, наше общество почернеет от злости, увидав, как оно значительно и прекрасно! – воскликнул он, в ярости сжав кулаки. Его глаза затуманились, жилы на лбу вздулись.

Шарлотта убедилась, что перед нею запальчивый и склонный к эксцессам человек.

– Мой милый господин камеральный советник, – с этими словами она наклонилась к нему, дотронулась до его дрожащего кулака и ласково развела сжатые пальцы, – я всем сердцем сочувствую вам, тем паче, что вы так привержены памяти вашей милой матери и не довольствуетесь чувством понятной гордости столь великим отцом. Ведь это, так сказать, не фокус быть хорошим сыном такому отцу, какого вам ниспослала судьба. Но то, что вы рыцарски и наперекор мнению света столь высоко чтите память матери, больше подходящей под нашу общую мерку, – это мне всего приятнее в вас, ибо я сама мать и по возрасту могла бы быть матерью и вам. А зависть? Видит бог, я разделяю ваше мнение. Я всегда ее презирала и по мере сил отгоняла от себя – правду сказать, мне это давалось без труда. Завидовать участи другого – какая малость! Слово не всем нам

дано испытать чашу людского горя! Какое это заблуждение, какая несуразность – завидовать чужой судьбе! Поистине жалкое и недостойное чувство. Умелыми кузнецами собственной участи должны мы быть, а не донимать себя праздною тоскою по чужому жребью.

Август, со сконфуженной улыбкой, слегка поклонился в благодарность за материнскую услугу, которую она ему оказала, и приложил к груди разжатую руку.

– Вы правы, госпожа советница, – сказал он. – Мать много выстрадала. Мир праху ее. Но я озлоблен не только из-за матери. Из-за отца не меньше. Теперь все прошло, как проходит жизнь, и наступил покой. Камень преткновения ушел в землю. Но как он досаждал когда-то, непрестанно досаждал фарисеям и моралистам, как они поносили отца и заочно распинали его за то, что он поступил им наперекор, погрешив против их нравственного кодекса, приблизил к себе простую девушку из народа, и, не скрываясь, стал жить с ней. Они давали и мне это почувствовать, как только могли. Косились на меня, смеялись и пожимали плечами с укоризненным сожалением, ибо этой вольности я был обязан своим существованием! Словно такой человек, как отец, не вправе жить по собственным законам, руководствуясь лишь классическим принципом нравственной автономии. Но они стояли на своем, эти христианнейшие патриоты и добродетельные просветители, и вопили о противоречии между гением и моралью, хотя закон свободной и автономной красоты выдвигается самой жизнью, а не только искусством, но они этого уразуметь не могли и болтали о дискрепации и дурном примере. Бабы сплетни! Но, может быть, не признавая прав человека, они признавали право гения и поэта? Боже избави! «Майстера» они обзывали гнездом блудниц, «Римские элегии» – болотом расслабленной морали, а «Бога и баядеру» и «Коринфскую невесту» – приапическими сальностями. Да и чему тут удивляться, когда еще «Вертеру» инкриминировалась зловерная безнравственность.

– Для меня это ново, господин камеральный советник, неужто у кого-нибудь хватило дерзости...

– Хватило, госпожа советница. То же повторилось и с «Избирательным сродством» – и этот роман заклеили как безнравственное произведение. Право же, вы мало знаете людей, если думаете, что у них может не хватить на что-либо дерзости. И если бы это были только рядовые люди, нерассуждающая чернь. Нет, все и вся, что восставало против классицизма и эстетической автономии – покойный Клопшток, покойный Гердер, Бюргер, Штольберг, Николаи и как их там всех зовут, – все они только и делали, что морально распинали отца и косились на мать за их незаконный союз. И не только Гердер, его друг, президент консистории, который, впрочем, не отказался меня подтвердить, даже покойный Шиллер, вместе с отцом выпустивший «Ксении», – он тоже, я это знаю достоверно, брезгливо отворачивался от матери и втихомолку хулил отца за то, что тот не взял, подобно ему, барышню из дворянок, а выбрал девушку ниже своего ранга. Ниже своего ранга! Словно такой человек, как мой отец, принадлежит к людям того или иного ранга, ведь он же единствен! Духовно он всегда вынужден спускаться ниже своего ранга, – зачем же в быту соблюдать иерархию? А ведь Шиллер был горазд утверждать превосходство аристократии духа над родовой аристократией, в этом он усердствовал больше, чем мой отец. Почему же он сторонился моей матери, которая попечением об отце честно заработала свои права?

– Мой милый господин фон Гете, – промолвила Шарлотта, – я вполне разделяю ваши чувства, хотя и не знаю, что такое эстетическая автономия, а потому опасуюсь, как бы мое необдуманное поддакивание в этом, мне не вполне ясном, вопросе не привело меня к разногласиям с мужами, столь достойными, как Клопшток, Гердер и Бюргер, а тем паче с нравственностью и патриотизмом. Этого бы мне не хотелось. Но я думаю, что и такая



предосторожность не помешает мне всецело встать на вашу сторону, против тех, кто осмеливается морально распинать нашего дорогого тайного советника и пятнать славу великого поэта Германии.

Он не слушал. Его темные глаза, утратившие свою ласковость и красоту под новым натиском гнева, дико блуждали.

– И разве все не было улажено наилучшим и достойнейшим образом? – хрипло продолжал он. – Разве отец не повел мать к алтарю, не сделал ее своей законной женою, а я, еще до этого, не был легитимирован высочайшим рескриптом и объявлен законным сыном моего отца со всеми вытекающими отсюда привилегиями? Но ведь в том-то и дело, что родовая знать лопается от злости на нам подобных, и любой молокосос из кавалеристов, придравшись к пустяковому поводу, позволяет себе оскорблять меня и честь моей матери только за то, что я согласно своим убеждениям и при полном одобрении отца не пошел воевать против величайшего монарха Европы. За наглый выпад этого выроodka, этого дворянчика против аристократии духа – арест слишком мягкая кара. Здесь нужен палач, профос, здесь нужно каленое железо.

Багровый, вне себя, он молотил кулаком по своим коленям.

– Любезный господин фон Гете, – умиротворяюще, как прежде, начала Шарлотта и снова наклонилась к нему, но тут же слегка отодвинулась, почувствовав запах вина и одеколона, казалось, усилившийся от его ярости. Она подождала, покуда трясущийся кулак не разжался, и ласково положила на него свою руку в прозрачной митенке. – Стоит ли так горячиться? Я не совсем вас понимаю, но мне кажется, что мы теряемся в догадках и фантазиях. Мы уклонились от темы. Вернее, вы от нее уклонились. Я-то все время думаю о беде, приключившейся с нашим дорогим тайным советником, о которой вы упомянули, о том, как он от нее избавился. Ведь я правильно поняла вас? В противном случае я бы давно уже настояла на разъяснении этого пункта. Что же именно с ним приключилось?

Он еще несколько раз прерывисто вздохнул и улыбнулся ее доброте.

– Что случилось? – спросил он. – О, могу вас успокоить: ничего особенного. Дорожный инцидент... Дело было так. Отец в это лето долго не мог решить, куда ему отправиться. Богемские курорты ему наскучили; в печальнейшем тысяча восемьсот тринадцатом году он был там в последний раз и с тех пор не заглядывал в Теплиц, о чем нельзя не пожалеть, ибо домашний курс водолечения, конечно, неполноценная замена, так же как Берка и Теннштедт. Вероятно, Карлсбад был полезней для его ревматизма, нежели Теннштедтские серные ванны, которыми он недавно пользовался. Но он разочаровался в карлсбадских источниках, потому что в двенадцатом году там, на месте, у него сделался приступ почечных колик, тягчайших из когда-либо им перенесенных. Тут он вспомнил о Висбадене и летом четырнадцатого года впервые посетил долины Рейна, Майна и Неккара: эта поездка оживила и ободрила его сверх всяких ожиданий. После долгих лет он снова очутился в родном городе.

– Я знаю, – кивнула Шарлотта. – Как грустно, что он уже не застал в живых свою незабвенную матушку, нашу добрую имперскую советницу. Мне также известно, что «Франкфуртский почтовый вестник» поместил пространную статью в честь великого сына своего города.

– Да, да! Это было на обратном пути из Висбадена, где он приятно провел время в обществе Пельтцера и горного советника Крамера. Оттуда он ездил в часовню святого Рох, для которой позднее набросал прелестный эскиз алтарного образа: святой Рох,

юным пилигримом покидающий замок отцов и раздающий детям свое добро и золото. Сюжет простой и трогательный. Профессор Майер и наша приятельница, Луиза Зейдлер из Иены, его выполнили.

– Художница по профессии?

– Так точно. Близкая дому книготорговца Фромана и подруга Минны Герцлиб.

– Очаровательное имя. Но вы оставляете его без комментариев. Кто она, эта Герцлиб?

– Простите! Это приемная дочь Фромана, дом которого отец постоянно навещал во время своей работы над «Избирательным сродством».

– Да, правда! – сказала Шарлотта. – Теперь мне кажется, что я уже слышала это имя. «Избирательное сродство»! Творение, отмеченное тончайшей наблюдательностью. Можно только пожалеть, что оно не нашло столь повсеместного и горячего отклика, как «Страдания юного Вертера». Но я невольно перебила вас. Итак, что же было дальше с этим путешествием?

– Оно продолжалось очень весело, очень оживленно и вдохнуло новую жизнь в отца; он словно предчувствовал это, когда на него решился. Веселые дни провел он у Brentano в его прирейнском уголке, у Франца Brentano.

– Я знаю. Пасынок Макси. Один из пяти детей, доставшихся ей от первого брака доброго старого Петера Brentano. Мне все известно. Говорят, у нее были необыкновенно красивые черные глаза, но она часто сидела одна, бедняжка, в старинном патрицианском доме своего мужа. Мне приятно слышать, что ее сын Франц состоит в более дружественных отношениях с Гете, нежели, в свое время, ее супруг.

– В таких же дружественных, как и его франкфуртская сестра Беттина, так много посодествовавшая отцу в его мемуарах. Она ежедневно выспрашивала покойную бабушку об отдельных подробностях его детства и все это для него записывала. Самое утешительное, что лучшие люди нового поколения унаследовали любовь и уважение к нему, несмотря на удивительные перемены, которые претерпели их убеждения.

Она не могла не улыбнуться старческой отчужденности, с какой он говорил о своем поколении, но Август ничего не заметил.

– Во время вторичного пребывания во Франкфурте, – продолжал он, – отец квартировал у Шлоссеров – у ассессорши Шлоссер, вы, вероятно, слышали о ней, свояченице Георга, который был женат на моей бедной тете Корнелии, и у ее сыновей Фрица и Христиана Шлоссеров, славных, простодушных юношей, прекрасно подтверждающих мои слова: завзятые романтики, они, отдавая дань нелепостям времени, охотнее всего воскресили бы средневековые, зачеркнув всю эпоху Возрождения; Христиан даже возвратился в лоно католической церкви и в недалеком будущем, надо думать, воспоследует обращение и Фрица с супругой. Но что верно, то верно, наследственная любовь к моему отцу и преклонение перед ним несколько не умалились этими модными слабостями. Потому, вероятно, отец так снисходителен к ним и чувствует себя весьма уютно среди этого благочестивого народца.

– Дух, подобный ему, – произнесла Шарлотта, – способен на понимание любого образа мыслей, лишь бы он не перечил достойному и человеческому.

– Вы правы, – отвечал Август с поклоном. – Но все же, – поспешил он прибавить, – отец

был рад переехать в Гербермюле под Франкфуртом, у Обермайна, в поместье Виллемеров.

– Ах да! Там посетили его мои сыновья, и он наконец-то познакомился с ними и при этом выказал им немало благоволения.

– Да, я знаю. Четырнадцатого сентября он приехал туда впервые и затем навестил Виллемеров уже в следующем месяце, по пути из Гейдельберга. В этот промежуток времени совершилось некое событие – женитьба тайного советника Виллемера на Марианне Юнг, его приемной дочери.

– Это похоже на роман.

– Весьма. Тайный советник, вдовый, отец двух еще малолетних дочерей, превосходный человек, помещик, педагог и политик, филантроп, к тому же еще поэт и рачительный друг драматической музыки, лет за десять или больше до упомянутого события взял в свой дом маленькую Марианну из Линца, дитя театра, дабы уберечь ее от опасностей сцены. Это был филантропический акт. Русокудрый ребенок рос вместе с младшими дочерьми дома и превратился в прелестную девушку. Она восхитительно поет, умеет мило и энергично занять общество, и вот, как нередко бывает, филантроп и педагог становится любовником.

– Да, да! Впрочем, одно не исключает другого.

– Я и не говорю. Но домашние обстоятельства складывались недостаточно благоприятно, и кто знает, сколько бы это еще тянулось, если бы не вмешательство отца и его упорядочивающее влияние: дня за два до его возвращения из Гейдельберга, в начале октября, приемный отец скоропалительно женился на приемной дочке.

Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, как и он на нее. На ее разгоряченном и усталом лице было какое-то недоумевающее огорченное выражение, когда она сказала:

– Вы, видимо, хотите дать мне понять, что эта перемена в семейном положении явилась чем-то вроде разочарования для вашего отца?

– Отнюдь нет, – с удивлением отвечал он. – Напротив, на фоне этих упорядоченных, очищенных и проясненных отношений его жизнь в этом прелестном уголке земли стала еще приятней и привольней. Там была великолепная терраса, тенистый парк, лес неподалеку, веселящий душу вид на реку и предгорья, там процветало веселье, широкое хлебосольство. Отец редко чувствовал себя столь счастливым. Месяцы спустя он все еще мечтал о мягких, сладостных вечерах, когда широкие воды Майна атели в лучах заката и юная хозяйка пела его «Миньону», его «Лунную песнь», его «Баядеру». Нетрудно представить себе удовольствие, испытываемое супругом при виде дружбы, которой удостоилась маленькая женщина, им открытая и подаренная обществу. Он смотрел на них, судя по всему, что я слышал, с горделивой радостью, которая была бы неполной без предварительного легитимирования и упрочения отношений. С особенным удовольствием отец вспоминает вечер восемнадцатого октября, когда он вместе с Виллемерами с башни их дома любовался фейерверком в честь годовщины Лейпцигской битвы.

– Это опровергает, мой дорогой господин камеральный советник, многое из того, что мне случайно довелось слышать о недостаточно теплых чувствах вашего отца к родине. В ту торжественную годовщину никто не чаял, что несколькими месяцами позднее Наполеон покинет Эльбу и ввергнет мир в новые беды.

– Из-за которых, – подхватил Август, – планам отца на следующий год грозила опасность разлететься в прах. Всю эту зиму он только и думал, только и говорил о возможности повторить поездку в те благодатные края. Да и все в один голос твердили, что Висбаден ему полезнее Карлсбада. Давно он уже не переносил с такой бодростью веймарскую зиму. За вычетом одного месяца, когда он страдал от обострения катара, отец чувствовал себя свежо и молодо, отчасти также и потому, что уже довольно давно, начиная с злополучного тринадцатого года, ему открылось новое поприще для исследования и поэтических упражнений, а именно восточная, точнее, персидская поэзия, в которую он все больше и больше углублялся с обычной своей продуктивностью. Так что вскоре его портфель наполнился целой грудой изречений и песен самой причудливой стати, каких он никогда еще не писал, и среди них многие, будто бы обращенные к красавице Зулейке восточным поэтом Хатемом.

– Чудесная новость, господин камеральный советник! Любитель изящной словесности должен с радостью приветствовать ее, дивясь устойчивости и известному обновлению творческих сил, этого прекраснейшего дара небес. У женщины-матери есть все основания с завистью или, вернее, с восхищением смотреть на столь превосходную несокрушимость мужского начала, на прочность духовной плодовитости, выгодно отличающейся от женской способности созидания. Ведь подумать только – прошел уже двадцать один год с тех пор, как я подарила жизнь моему меньшому. Я говорю о Фрице, восьмом из моих сыновей.

– Отец поведал мне, – сказал Август, – что имя винолюбивого поэта, под чьей личиной он пишет эти песни, – Хатем, значит «многодарящий и приемлющий». Многодарящей, если мне позволено будет это заметить, были и вы, госпожа советница.

– Ах, – возразила она, – это было страшно давно! Но продолжайте, прошу вас! Итак, бог войны вознамерился спутать все расчеты Хатема?

– Но его смирили, – отвечал Август. – Он был побежден другим богом, так что после некоторых опасений все пошло желательным путем. В конце мая прошлого года отец отправился в Висбаден, и, покуда он там проходил курс лечения, военная гроза отбушевала, – все равно как, но отбушевала, – и он смог насладиться концом лета на Рейне уже при ясном политическом горизонте.

– На Майне?

– На Рейне и Майне. В замке Нассау он был гостем министра фон Штейна, ездил с ним в Кельн изучать собор, в достройке которого он принимает живое участие, и, судя по его описаниям, остался весьма доволен обратной дорогой через Бонн и Кобленц, город господина Герреса и его «Рейнского Меркурия», пропагандирующего Штейнову политическую систему.

То, что отец согласился с нею, удивляет меня даже больше, нежели его участие в завершении собора, на которое его сумели подвигнуть. Отличное настроение, не покидавшее его в продолжение всего этого времени, я отношу скорее за счет прекрасной погоды и радующего глаз ландшафта. Он снова побывал в Висбадене, посетил Майнц и, наконец, в августе – Франкфурт; уютный сельский уголок с уже давно и счастливо установившимися отношениями снова приветил его; совсем как в его мечтах, возобновилось благоденствие прошлого года, поощряемое широким гостеприимством. Август – месяц его рождения, и не исключено, что симпатические узы приковывают человека к времени года, его создавшему, которое, возвращаясь, всякий раз повышает его жизненные импульсы. Я, однако, не могу не вспомнить, что на август приходится и

день рождения императора Наполеона, еще недавно столь пышно справлявшийся в Германии, так же, как не могу не дивиться – вернее, не радоваться – чудесному превосходству героев духа над героями дела. Кровавая трагедия Ватерлоо расчистила моему отцу путь в гостеприимную Гербермюле; и в то время как тот, кто беседовал с ним в Эрфурте, сидел прикованный к утесу в открытом море, мой отец благодаря милости судьбы полностью наслаждался благосклонным мгновением.

– В этом есть высшая справедливость, – произнесла Шарлотта, – наш дорогой Гете не сделал людям ничего, кроме благого и радостного, тогда как тот, покоритель мира, наказывал их скорпионами.

– И все же, – возразил Август, закинув голову, – я остаюсь при своем мнении и смотрю на отца, как на властителя и самодержца.

– Никто не оспаривает ни вас, ни его могущества, – отвечала она. – Только это, как в римской истории – в ней мы учили о добрых и злых цезарях, и вот ваш отец, друг мой, такой добрый и мягкий цезарь, а тот – кровожадное исчадие ада. Это и нашло отражение в различии судеб, которое вы столь тонко подметили. Итак, значит, пять недель провел Гете в обители молодоженов?

– Да, вплоть до октября, когда он, по поручению его светлости, отправился в Карлсруэ для ознакомления со знаменитой коллекцией минералов. Он рассчитывал встретиться там с госпожой фон Тюркгейм, иначе Лили Шенеман из Франкфурта, время от времени наезжавшей из Эльзаса к родным в Карлсруэ.

– Как, после стольких лет состоялась встреча его и бывшей невесты?

– Нет, баронесса не приехала. Может быть, ее удержало нездоровье. Между нами говоря, у нее сухотка.

– Бедняжка Лили, – произнесла Шарлотта. – Из их романа мало что вышло. Несколько песен, но не в веках прославленное творение.

– Это та же болезнь, – дополнил господин фон Гете свое предыдущее замечание, – от которой скончалась и Брион, бедная Фредерика из Зезенгейма; вот уже три года лежит она в могиле, от которой отец, во время своего пребывания в Бадене, был так близко. Она закончила свою печальную жизнь в доме зятя, пастора Маркса, где нашла тихую пристань. Я часто задавал себе вопрос, думал ли отец об этой близкой могиле и не было ли у него искушения посетить ее, но не хотел его спрашивать. Впрочем, едва ли, так как в своей исповеди он говорит, что о днях, предшествовавших последнему прости, у него, из-за их острой болезненности, не сохранилось никаких воспоминаний.

– Я жалею эту женщину, – сказала Шарлотта, – у которой не достало решимости и сил для достойного, жизненного счастья и для того, чтобы в деятельном, энергичном человеке полюбить отца своих детей. Жить воспоминаниями – удел стариков, это хорошо в предпраздничный вечер, когда дневные труды окончены. Начинать с этого в юности – смерть.

– Вы можете быть уверены, – отвечал Август, – что ваши слова о решимости вполне в духе моего отца, ведь как раз в этой связи он говорит о том, что раны и боль, а к ним он причисляет также сознание вины и тяжелые воспоминания, в юности быстро заживают, изглаживаются. Он считает физические упражнения, верховую езду, фехтование, коньки отличным средством для восстановления бодрости духа. Но лучший способ справиться с тем, что тяготит тебя, освободиться от сознания виновности, все же дает поэтический

талант, поэтическая исповедь, когда воспоминание одухотворяется, расширяется до общечеловеческого и становится вечно радующим творением.

Молодой человек сблизил кончики всех десяти пальцев и, продолжая говорить, машинально двигал сложенные таким образом руки к груди и обратно. Принужденная улыбка на его губах странно контрастировала со складкой между бровями и лбом, пошедшим красными пятнами.

– Странная штука воспоминание, – продолжал Август, – я нередко размышлял об этом; ведь близость такого существа, как мой отец, наводит на многие подобающие и неподобающие размышления. Воспоминание играет, очевидно, важную роль в творчестве и жизни поэта, – которые, впрочем, настолько слиты воедино, что здесь можно говорить о творчестве, как о жизни, и о жизни, как о творчестве. Не только творчество определено воспоминанием и несет на себе печать и не только в «Фаусте», в Мариях «Геца» и «Клавиго» и отрицательных образах их возлюбленных воспоминание перерастает в *idée fixe*, в навязчивую идею, например, в смирение, мучительный отказ или в то, что исповедывающийся поэт сам бичует как неверность, более того, – предательство; все это исконное, решающее, путеводное, все это становится, если можно так выразиться, лейтмотивом, пробой жизни, и все последующие отречения, прощания и жертвы только следствие этого исконного, только его повторение. О, я часто об этом размышлял, и душа моя ширилась от ужаса – есть ужасы, которые ширят душу, – когда я уразумел, что великий поэт есть властитель, чья судьба, чьи решения, творческие и жизненные, выходят за пределы личного и определяют становление, характер, будущее нации. Величественно-странное чувство охватывает мою душу при мысли о картине, которая уже никогда не изгладится из нашей памяти, хотя мы ее и не видели, – всадник, наклонившись с седла, в последний раз протягивает руку девушке, любящей его дочери народа, покинуть которую ему велит его грозный демон, и слезы стоят в ее глазах. Эти слезы, мадам, – даже когда моя душа расширена величием и страхом, я не могу проникнуться всем смыслом этих слез.

– Я, со своей стороны, – сказала Шарлотта, – не без нетерпимости, быть может, говорю себе, что это милое создание, дочь народа, только тогда была бы достойна своего возлюбленного, если бы возымела должную решимость построить себе, когда он уехал, настоящую жизнь, вместо того чтобы предаться страшнейшему из всего, что есть на земле, – безрадостному угасанию. Друг мой, ничего нет страшнее. Сумевший избежать этого да возблагодарит господу, однако если и не всякое осуждение есть грех, то нельзя не осудить того, кто этому поддался. Вы говорите об отречении, но эта девушка там, под могильным холмом, не умела отречься, отречение для нее было – безысходное горе, и ничего больше.

– То и другое, – сказал молодой Гете, – тесно переплетается и вряд ли может быть разделено как в жизни, так и в творчестве. Я и об этом неоднократно думал, особенно когда смысл ее слез до ужаса расширил мне душу; мысли мои обращались, – не знаю, удастся ли мне изложить вам это, – к действительному, к тому, что мы знаем, к тому, что случилось, и к возможному, нам неведомому, к тому, что мы можем лишь смутно чаять – временами с печалью, которую мы из уважения к действительности таим от себя и других, прячем в самую глубину сердца. Да и что такое возможное по сравнению с действительным, и кто осмелится замолвить слово за него, не опасаясь тем самым умалить благоговение перед другим! И все же мне иногда кажется, что здесь имеет место несправедливость, подтверждаемая тем фактом, – о да, здесь можно говорить о фактах! – что действительное все заполняет собою, обращает на себя все восхищение, тогда как возможное, будучи несостоявшимся, остается лишь схемой, предположением «а что, если бы». И как же не бояться этими «а что, если бы» умалить благоговение перед действительным, которое главным образом зиждется на представлении, что и

творчество и жизнь – продукты отречения. Но то, что возможное существует, хотя бы как факт наших чаяний и страстных желаний, как «а что, если бы», и невнятная совокупность того, что все же могло бы быть, доказывается тем, что люди чахнут в тоске по несбывшемуся.

– Я была и остаюсь, – отвечала Шарлотта, в знак несогласия покачав головой, – сторонницей решительности и того, чтобы цепко держаться за действительное, предав забвению возможное.

– Поскольку я имею честь беседовать с вами в этих стенах, – отвечал камеральный советник, – мне трудно поверить, что вам неведомо желание оглянуться на возможное. И оно вполне понятно, это желание, ибо как раз величие действительного и сбывшегося сильней всего соблазняет нас мысленно обращаться к несбывшимся возможностям. Действительность предлагает нам мало значительного, да и как могло быть иначе при таких потенциях, – другого и ждать нельзя. Все получилось и так и притом великолепно; видно, можно было сделать хорошее, и пойдя на отречение и неверность. Но вот человек, как я сейчас, спрашивает перед лицом творчества и жизни, отчеканенных царственным чеканом, что могло бы из этого выйти и насколько счастливее, быть может, были бы мы все, не восторжествуй идея отречения, не явись нашему взору далекая картина разлуки, – рука, протянутая всадником, и неизгладимые слезы расставания? Впрочем, все это, весь этот разговор возник потому, что я спрашивал себя, вспомнил ли отец в Карлсруэ о близкой и еще довольно свежей могиле.

– По-моему, следует ценить великодушие, – сказала Шарлотта, – отстаивающее возможное перед действительным, хотя, или именно потому, что последнее несравненно выигрышнее. Правда, нерешенным останется вопрос, на чьей стороне нравственное преимущество, на стороне решимости или великодушия. Ведь и здесь легко впасть в несправедливость, ибо великодушие очень привлекательно, однако решимость, пожалуй, более высокая ступень нравственности. Но что я говорю? Сегодня я болтаю, что на ум взбредет. В конце концов удел женщины – дивиться, о чем только не думает мужчина. Но вы по годам могли бы быть моим сыном, а добрая мать не оставляет без помощи рачительного сына. Отсюда и моя болтливость, погрешающая даже против женской скромности. Но давайте оставим возможное с миром покоиться над могильным холмом и возвратимся к действительному, то есть к счастливому путешествию вашего отца по Рейну и Майну. Я с удовольствием послушала бы еще о Гербермюле; ведь это место, где Гете познакомился с моими сыновьями...

– К сожалению, я не знаю подробностей этой встречи, – отвечал Август. – Зато мне известно, что пребывание там, как это нередко случается в жизни, принесло абсолютное повторение, даже приумножение благоденствия, которым в первый свой визит наслаждался там отец на фоне слаженных упорядоченных отношений, благодаря светским талантам прелестной хозяйки и радушию хозяина. Майнские воды снова атели в предзакатных лучах пряного вечера, и у клавирина прелестная Марианна снова пела песни отца. Но в эти вечера он уже не только срывал радости, но и расточал их, ибо он позволил упротить себя, или сам того пожелал, прочитать из своего все умножающегосяклада Зулейкиных песен то, как Хатем взывал к этой розе востока, и супруги сумели достойно оценить его общительность. Юная хозяйка, видимо, отнюдь не принадлежала к женщинам, которые диву даются, чего только не думает мужчина, и не ограничилась одним только приятием, но в своей отзывчивости зашла так далеко, что начала, от имени Зулейки, с немалым совершенством отвечать на страстные признания, и супруг с приветливой благосклонностью внимал этому дуэту.

– Он, видно, славный человек, – произнесла Шарлотта, – со здоровым пониманием выгод и прав действительного. А все вместе, уже знакомое мне по вашему рассказу,

кажется хорошей иллюстрацией к тому, что вы говорили о воспоминаниях, настойчиво стремящихся к повторению. Ну и что же дальше? Этим пяти неделям, разумеется, пришел конец, и великий гость покинул дом?

– Да, после прощального вечера, напоенного лунным светом и изобиловавшего песнями, под конец которого юная хозяйка стала почти уже негостеприимно торопить прощание. Но повторение еще раз возымело свои права: в Гейдельберге, куда подался отец, произошла повторная встреча, ибо супружеская чета неожиданно явилась туда, и там, в полнолуние, состоялся уже последний, прощальный вечер, когда маленькая женщина, к радостному изумлению мужа и друга, прочитала ответные стихи такой красоты, что они могли бы выйти из-под пера моего отца. Право же, следует семь раз отмерить, прежде чем приписать действительному преимуществу, превышающему права поэзии. Песни, которые отец сложил тогда в Гейдельберге и позднее для своего персидского Дивана, – разве они не вершина действительного, не воплощенная сверхдействительность? Сударыня, они неслыханно, несказанно обворожительны. Ничего похожего мир не знал. Они насквозь проникнуты духом отца, но обернувшись новой, совершенно неожиданной стороной. Если я назову их таинственными, мне придется тут же поправиться и назвать их детски ясными. Это – я не знаю, как сказать – это эзотерика природы. Абсолютно личное, наделенное качествами небосвода, так что вселенная в них обретает лик человека, а людское «я» смотрит звездными очами. Кто может это передать? Два стиха оттуда неотступно преследуют меня, – слушайте!

Он процитировал робким и словно испуганным голосом:

Как заря в багряном взлете  
Устыжает сумрак скал!

– Что вы об этом скажете? – спросил он голосом, все еще приглушенным. – Не говорите ничего, пока я не добавлю, что с «взлете» срифмовано его собственное благословенное имя, правда, там стоит Хатем, – «и опять почуял Хатем...», но сквозь маску нерифмованного окончания лукаво и задушевно проглядывает его тайно зарифмованное имя. Как вы это находите? Что вы скажете об этом торжественно сознающем себя величии, подаренном лобзанием юности, пристыженном ею? – Он повторил стихи. – Какая нега, бог мой, и какая величавость! – вскричал Август и, подавшись вперед, нервно взъерошил свою шевелюру.

– Нет сомнения, – отвечала Шарлотта сдержанно, так как этот его страстный порыв покорила ее еще больше, чем прежняя запальчивость, – нет сомнения, что весь мир разделит ваш восторг, когда сборник стихов увидит свет. Правда, эти лукаво-значительные стихи никогда не всколыхнут человечество так, как роман, к тому же окрыленный юностью. Но тут ничего не поделаешь. Ну, а новая встреча? Вы испортили себе прическу. Разрешите предложить вам мою гребеночку. Впрочем, кажется, пальцы, ее растрепавшие, могут и поправить дело. Итак, встреча уже не воспоследовала?

– Всеу бывает конец, – отвечал Август. – Этим летом, после смерти матери, отец долго колебался, где ему проходить курс лечения. В Висбадене? В Теплице? В Карлсбаде? Его, конечно, сильно тянуло на запад, к Рейну, и, казалось, он выжидает только знака милостивого божества, которое в прошлый раз парализовало демона войны для того, чтобы он мог последовать своему влечению. Так и случилось. Его друг Цельтер, всегда для него занимательный, собрался в Висбаден и предложил к нему присоединиться. Но отец не хотел принять это за достаточно внятный знак. «Если б то был Рейн, – сказал он, – и не Висбаден, а Баден-Баден, куда путь пролегает не через Вюрцбург, а через Франкфурт». Но, видно, пути не обязательно было пролегать через Франкфурт, чтобы привести его туда. Одним словом, двадцатого июля отец уехал. В спутники себе он



избрал Майера – историка искусств, немало тем похвалявшегося. И что же происходит? Обиделось ли обычно столь благосклонное божество и обернулось злым кобольдом? Как бы там ни было, они не проехали и двух часов, как экипаж опрокинулся...

– Боже милостивый!

– ...и оба седока кувырком полетели на дорогу, выбранную со столь великим тщанием. Майер до крови расшиб себе нос. О чем, впрочем, я не сожалею, – он поплатился за свое тщеславие. Но сколь горестно и конфузно, хотя, с другой стороны, и смешно представить себе, как воплощенное величие, издавна усвоившее обдуманную размеренность движений, в запачканном платье и с развязавшимся галстуком барахтается в придорожной канаве.

Шарлотта повторила:

– Бог ты мой!

– Ничего страшного, – сказал Август, – происшествие, или шутка судьбы, как я бы его назвал, кончилось благополучно. Отец, целый и невредимый, ссудил Майера своим платком, в добавление к его собственному, привез его обратно в Веймар и поставил крест на поездке – и не только на это лето. Думается мне, что такое знамение заставило его раз и навсегда отказаться от рейнских грез, я заключаю это из его собственных слов.

– А собрание песен?

– Оно больше не нуждается в живительном воздействии приюта на Рейне! Оно растет и зреет на удивление миру без него. Может быть, даже лучше, чем с ним. И может быть, это провидело дружественное божество, сыгравшее с отцом такую штуку. Вероятно, оно хотело подтвердить тезу, что известные вещи дозволены и оправданы лишь как средство к цели.

– Как средство к цели? – переспросила Шарлотта. – Я не могу слышать эту сентенцию без сердечного стеснения. Почетное в ней смешивается с унижительным, да так, что не знаешь, с каким лицом ее выслушивать.

– И все же, – возразил Август, – на жизненном пути цезаря, будь он добр или зол, встречается много такого, что неизбежно должно быть отнесено к этой двусмысленной категории.

– Пожалуй, – согласилась она. – Но ведь все на свете можно повернуть и так и этак в зависимости от точки зрения. А энергичное средство нередко становится целью. Но как вам не позавидовать, господин камеральный советник, – добавила она, – ведь вам этот поэтический клад открылся прежде всех других. Дух захватывает от такой привилегии. Ваш отец многое вам поверяет?

– Не буду отрицать, – отвечал он с быстрой усмешкой, открывшей мелкие белые зубы. – Майер и Риммер бог весть что забрали себе в голову и на все лады хвалятся его доверительностью, однако с сыном дело все же обстоит иначе, чем с этими случайными поверенными, – сын самой природой призван в помощники и представители. На его долю, лишь только он вошел в лета, выпадает немало забот и хлопот; от них необходимо ограждать человека, в котором гений воссоединился с преклонным возрастом. Немало текущих хозяйственных дел, возни с поставщиками, приемы гостей вместо хозяина дома и отдача визитов и еще уйма прочих случайных обязанностей, – ну, хотя бы хождение на похороны. Тут и хранение час от часу растущих коллекций наших минерального и

нумизматического кабинетов, всех этих прекрасных резных камней и гравюр; а не то вдруг изволь скакать через всю страну, потому что на какой-то каменоломне обнаружился интересный кварц или окаменелость. О нет, тут не соскучишься! Не знаю, осведомлены ли вы, госпожа советница, о целях нашего театрального интендантства? Мне предстоит кооптация в него.

– Кооптация? – переспросила она почти с ужасом.

– Вот именно. Дело в том, что отец, хотя и числится первым министром, но уже много лет, собственно со времени своего возвращения из Италии, не занимается подведомственными ему делами. Более или менее регулярно он отдает время разве что Иенскому университету, хотя титул и обязанности куратора счел для себя уже слишком обременительными. Впрочем, двумя отраслями государственного управления он руководил до самого последнего времени: дирекцией придворного театра и верховным надзором над научными и художественными институциями, то есть библиотеками, школами живописи, ботаническим садом, обсерваторией и естественно историческими кабинетами. Надо вам знать, что все эти учреждения основаны нашим государем и им же финансируются, а потому отец до сих пор продолжает решительно различать между ними и общегосударственной собственностью; он даже теоретически отрицает необходимость давать о них отчет кому-либо, кроме его высочества; ни от кого другого он зависеть не желает. Словом, как видите, его верховный надзор осуществляется в несколько устарелом духе, этим он демонстрирует против нового конституционного государства, о котором – я признаюсь в этом без большой охоты – ничего и слышать не желает. Он, понимаете ли, просто его игнорирует.

– Вполне понимаю. Гете привержен старым понятиям, и в нем укоренилась привычка под герцогской службой понимать служение человека человеку.

– Совершенно верно. Я даже считаю, что это очень ему к лицу. Но вот, – вы, верно, удивитесь, что я позволяю себе так откровенно говорить с вами, – временами меня беспокоит свет, который падает во всех этих делах на меня, его прирожденного поверенного. Ведь я за него проделываю не один путь и выполняю всевозможные его поручения: скачу в Иену, когда там возводится новое здание, разужнаю пожелание профессоров, и чего только не делаю. Я не слишком молод для этого, мне двадцать семь лет, возраст достаточно зрелый; но я молод для духа, в котором вершатся эти дела. Понимаете ли вы меня? Я часто боюсь попасть в ложное положение, участвуя в этом старомодном верховном надзоре, не передающемся по наследству, ибо наследник, участвуя в нем, невольно становится в оппозицию с новейшим государственным духом...

– Вы слишком щепетильны, господин камеральный советник. Кому же придет в голову осудить вас за столь естественные и от всего сердца оказываемые услуги. Ну, а теперь вы будете еще привлечены к руководству придворным театром?

– Так точно. И в этом деле мое посредничество, пожалуй, действительно необходимо. Вы не можете себе представить, сколько неприятностей проистекало для отца из этой на первый взгляд веселой и живой должности. Здесь приходится сообразоваться с глупыми и вздорными требованиями актеров, авторов, – о публике я уж и не говорю. Учитывать настроения и пожелания высокопоставленных лиц и, что самое худшее, тех, кто одновременно принадлежит и ко двору и к театру; откровенно говоря, я имею в виду красотку Ягеманн, госпожу фон Гейгендорф, влияние которой на государя всегда грозило превысить влияние отца. Короче говоря, это сложное дело, отец же – нельзя не сознаться – никогда не отличался достаточным постоянством, ни в одной области и в этой тоже. Каждый год, во время сезона, он целые недели бывал в отсутствии, путешествовал или лечился, нисколько не заботясь о театре.

По отношению к театру в нем всегда чередовались рвение и безразличие, страсть и пренебрежение, – он не человек театра, верьте мне. Всякий его знающий понимает, что он не умеет обходиться с актерской братией, – ведь здесь, как бы высоко ты ни стоял над этими людишками, надо быть хоть немного из их породы, чтобы ужиться и справиться с ними, чего при всем желании нельзя требовать от отца. Но хватит! Я говорю об этом так же неохотно, как и думаю. Вот мать, дело другое, она умела взять подходящий тон, у ней были приятели и приятельницы среди актеров, и я с детства привык к этой среде. Мать и я, мы всегда служили мостом между ним и труппой, посредничали, докладывали. Но он этим не удовольствовался и взял себе в подмогу заместителя – чиновника из дворцового конюшенного ведомства, камерального советника Кирмса; затем они оба, чтобы надежнее окопаться, притянули еще и других лиц и, наконец, ввели коллегиальное управление, которое теперь, при великом герцогстве, стало именоваться интендантством придворного театра; наряду с отцом в него входят Кирмс, советник Крузе и граф Эдлинг.

– Граф Эдлинг? Уж не тот ли, что женат на молдавской княжне?

– О, я вижу, вы очень осведомлены. Но беда в том, что отец часто становится тем троим поперек дороги. Смешно сказать – их подавляет его авторитет, но с этим бы они еще кое-как примирились, если б не чувствовали, что этот авторитет, в сущности, слишком сознает свою значительность, чтобы себя проявлять. Сам отец заверяет, что он стар для подобного дела. Он охотно бы с ним развязался, – свободолюбие, тяга к приватному существованию в конце концов всегда в нем преобладали, и не теперь же ему от них отказываться. Таким образом возникла мысль приобщить меня. Она исходила от самого герцога. «Введи туда Августа, – посоветовал он, – ты и покой сохранишь, старина, и будешь в курсе дел».

– Великий герцог зовет его «старина»?

– Да.

– А как Гете обращается к нему?

– Он говорит «всемиловейший государь» и «припадаю к стопам вашего высочества». Это лишнее, герцог нередко над ним из-за этого посмеивается. У меня возникла ассоциация, несколько неподходящая, я это знаю, но, может быть, вам будет интересно: ведь мать всегда говорила отцу «вы», а он ей «ты».

Шарлотта помолчала.

– Позвольте мне, – сказала она затем, – оставив в стороне эту курьезную деталь, ибо она курьезна, хотя и трогательна, а главное, вполне понятна, – поздравить вас с новым званием и с вашей кооптацией.

– Благодарю. Мое положение, – задумчиво проговорил он, – будет несколько щекотливым. Разница в возрасте между мной и другими господами из интендантства весьма значительна. А мне ведь придется представлять среди них авторитет, слишком сознающий свое значение.

– Я уверена, что такт и светская обходительность помогут вам преодолеть неловкость.

– Вы очень добры. Но я, вероятно, наскучил вам перечислением своих обязанностей.

– Ничего не может быть мне приятней.

– Мне же приходится вести и корреспонденцию, до которой он не снисходит, к примеру, всю переписку по поводу этих подлых перепечаток, конкурирующих с нашим двадцатитомным собранием сочинений. Кроме того, отец считает теперь делом чести освободиться от пошрины, которую ему пришлось бы заплатить при ликвидации франкфуртского недвижимого имущества, оставшегося еще от бабки, на тот случай, если он захочет, отказавшись от франкфуртского гражданства, перевести капитал в Веймар. Ведь, черт возьми, они наложили бы на него не менее трех тысяч гульденов, и вот теперь отец хлопочет, чтобы город подарил ему пошрину, тем более что он в своем недавно увидевшем свет жизнеописании так лестно отозвался о нем. Правда, он хочет отказаться от гражданства, но разве же он на прощание не почтил, не увековечил свой родной город? Разумеется, ему не подобает это подчеркивать, и он все предоставляет делать мне; я веду переписку с Франкфуртом терпеливо и настойчиво, что, признаться, доставляет мне весьма мало удовольствия. Ибо что они отвечают мне, вернее тому, от чьего имени я пишу? Город уведомляет, что, скостив нам пошрину, он тем самым обокрал бы прочих франкфуртских граждан. Что вы скажете? Разве это не карикатурная справедливость? Мне остается только радоваться, что я не веду переговоры устно; едва ли бы мне удалось сохранить учтивость и спокойствие при подобном ответе. Однако дело подвигается, крест на нем отнюдь не поставлен. Я удвою настойчивость и терпение, и в конце концов мы добьемся как исключительного права публикации, так и освобождения от пошрин; раньше я не успокоюсь. Доход отца не соответствует его гениальности. Временами он не так уж мал, разумеется, нет. Котта платит шестнадцать тысяч талеров за полное собрание, это по крайней мере справедливо. Но положение, слава отца должны были бы иметь совсем иную материальную основу: человечество, столь щедро им одаренное, должно было бы щедрее раскошелиться и позаботиться, чтобы крупнейший из людей был и богатейшим из них. В Англии...

– В качестве практичной женщины и матери семейства я могу только похвалить ваше усердие, дорогой господин фон Гете. Но следует помнить, что если бы соотношение между дарами гения и экономическим воздаянием было повсеместно справедливым, – чего на самом деле нет, – то и ваши прекрасные слова о щедро им одаренном человечестве оказались бы не совсем уместными.

– Я охотно признаю несоизмеримость этих областей. Да и вообще людям не по нраву, когда великие мужи ведут себя, как любой из них: они требуют, чтобы гений с великодушным безразличием взирал на жизненные блага. Нелепейшее и эгоистическое раболепие. Я, можно сказать, с пеленок жил среди великих мужей и нахожу, что такое равнодушие отнюдь не свойственно гениям, напротив, высоко парящий дух обычно сочетается со смелыми деловыми замыслами; у Шиллера голова была постоянно полна всевозможных финансовых комбинаций, об отце я бы этого не сказал: может быть, потому, что его дух не воспарил столь высоко, а может быть, и потому, что он меньше в этом нуждался. И все же, когда «Герман и Доротея» получили столь широкое признание в стране, отец посоветовал Шиллеру написать пьесу в этом патриархальном духе; совершив триумфальное шествие по всем театрам, она принесла бы кругленькую сумму денег, без того, чтобы автор слишком всерьез занимался ею.

– Не слишком всерьез?

– Не слишком. Шиллер, не долго думая, начал набрасывать такую пьесу, а отец живо ему ассистировал. Но из нее ничего не вышло.

– Очевидно, потому, что к ней подошли без настоящей серьезности.

– Возможно. Там вот недавно я переписал письмо к Котте, в котором рекомендовалось

использовать благоприятную конъюнктуру, связанную с нынешним патриотическим подъемом, и шире распространить в продаже «Германа и Доротею»

– стихотворение столь превосходно с ним гармонирующее.

– Письмо Гете? – Шарлотта помолчала. – Лишнее доказательство, – выразительно произнесла она затем, – как неправы те, кто приписывает ему отчуждение от духа времени.

– Ох, уж этот дух времени, – презрительно молвил Август. – Отец не чуждается его, так же как не становится его поборником и рабом. Он стоит над ним и сверху вниз на него взирает, а потому при случае умеет смотреть на него и с меркантильной точки зрения. Он уже давно возвысился над временным, личным и национальным до вечного и общечеловеческого, – не удивительно, что Гердер, Клопшток, Бюргер за ним не поспевали. Но не поспеть – это еще с полбеды, хуже – внушить себе, что ты всех обогнал и воспарил над безвременно вечным. А вот наши романтики, неохристиане и патриотические мечтатели убеждены, что они пошли дальше отца и репрезентуют новейшее в мире духа, ему уже не доступное; в обществе же находится немало ослов, которые этому верят. Есть ли на свете что-либо более жалкое, чем этот дух времени, будто бы превзошедший вечное и классическое? Но отец им еще задаст, уж поверьте, при первом же удобном случае; хотя он и делает вид, что эти обиды его не трогают. Разумеется, он слишком мудр и благороден, чтобы ввязываться в литературные свары. Он никогда не любил втраплять в раздоры и вводить в соблазн «благомыслящее большинство», как он милостиво выражается. Но и никогда в глубине души не был тем великим церемониймейстером, которым его знает общество; он не учтив и не уступчив, а невероятно вольнолюбив и смел. Вам я это должен сказать: люди видят в нем министра, придворного; а он – сама смелость, да и может ли быть иначе? Разве он отважился бы создать Вертера, Тассо, Мейстера, все то новое и неслыханное, не будь в нем этой тяги и любви ко всему, что чревато опасностями? Мне не раз приходилось слышать, как он говорил, что это и есть то, что мы называем талантом. В его потайном архиве искони хранились причудливейшие творения: когда-то в нем вместе с первыми сценами «Фауста» лежали «Свадьба Гансвурста» и «Вечный жид», но и сегодня там много разных диковинок, кое в чем отчаянно дерзких, как, например, некий «Дневник», который я сберегаю, написанный по итальянскому образцу и изящный и смелый в своем смешении эротической морали и, с позволения сказать, непристойности. Я бережно храню любую мелочь, потомство может быть уверено, что я слежу за всем, и только на меня оно должно полагаться, ибо на отца положиться нельзя. Его легкомыслие по отношению к своим рукописям прямо-таки преступно; похоже, что ему совершенно все равно, если они и пропадут; он оставляет их на волю случая и отправляет в Штутгарт, если я не успеваю этому помешать, единственный экземпляр. Тут только и знаешь, что следить и классифицировать неопубликованное, не должное быть опубликованным, скользкие секреты, правдивые изречения о его милых немцах, полемику, диатрибы с литературными врагами против всего вздорного в политике, религии и в искусствах.

– Вы добрый, хороший сын, – сказала Шарлотта. – Я радовалась знакомству с вами, милый Август, и, оказывается, у меня к тому было даже больше оснований, чем я думала. Меня, мать семейства, старую женщину, до глубины души трогает такая заботливая преданность молодого человека отцу, такое нерушимое единение с ним перед лицом непочтительного потомства – ваших сверстников. Тут нельзя не ощутить уважения и благодарности...

– Я их не заслуживаю, – отвечал камеральный советник. – Чем же еще могу быть для моего отца я, заурядный человек, не лишенный практической сметки, но недостаточно острый и образованный, чтобы быть его собеседником? Да фактически мы мало и

бываем вместе. От всей души предаваться ему и блюсти его интересы – вот то единственное и малое, что мне остается, и за это мне совестно принимать благодарность. Наша дорогая госпожа фон Шиллер также незаслуженно мила и добра ко мне за то, что я в литературе держусь одних с нею взглядов, словно в этом есть какая-то заслуга, словно для меня не дело чести оставаться верным Шиллеру и Гете, в то время как другие молодые люди увлекаются новыми веяниями...

– Я едва ли много знаю об этих новых веяниях, – прервала его Шарлотта,

– и думаю, что мой возраст все равно не позволит мне разобраться в них. Я слышала, что есть какие-то благочестивые художники и фантазмагорические писатели, – бог с ними, я их не знаю и не слишком огорчаюсь своим неведением, ибо мне ясно, что плоды их усилий не могут сравняться с творениями, возникшими и покорившими мир в мое время.

Пусть сколько угодно говорят, что им нет нужды сравниться со старым; чтобы в известном смысле превзойти его, – надеюсь вы меня понимаете, я не мастерица говорить парадоксами, и под «превзойти» понимаю только, что само время за них, что они его отражают, а потому непосредственно доходят до сердца детей нашего времени, молодежи, и счастливят ее. А ведь в конце концов все дело в том, чтобы быть счастливым.

– Но и в том, – подхватил Август, – в чем находить это счастье. Иные ищут его и находят лишь в гордости, в чести и в долге.

– Хорошо, отлично. И все же я знаю по опыту, что жизнь, отданная долгу и служению другим, порождает в человеке известную черствость и не способствует общительности. С госпожой фон Шиллер вас, как я вижу, связывает чувство дружбы и взаимного доверия?

– Не буду похвалиться благосклонностью, которую я заслужил не личными достоинствами, а убеждениями.

– О, одно тесно связано с другим. Я чувствую даже нечто вроде ревности, видя, что материнские права, на которые я немножко претендую, уже присвоены другою. Не сердитесь же на меня, если я все-таки позволю себе проявить материнское участие и спрошу: есть ли у вас друзья и доверенные среди лиц, подходящих вам по возрасту больше, нежели вдова Шиллера.

При этих словах она наклонилась к нему. Август посмотрел на нее взглядом, в котором благодарность мешалась с застенчивой робостью. Это был мягкий и печальный взгляд!

– Нет, по этой части мне не везет. Мы уже говорили о том, что большинство моих сверстников предано убеждениям и помыслам, которые исключают взаимное понимание и привели бы только к постоянным недоразумениям, если б я не считал нужным сдерживать себя. Эпиграфом к нашему времени я бы взял латинскую поговорку: «Победители любезны богам, а побежденные сердцу Катона». Не буду отрицать, что к этому изречению я уже давно отношусь с прочувствованной симпатией за спокойную твердость, с которой разум в нем блюдет свое достоинство, вопреки решениям слепого рока. Как редко это бывает в жизни! Обычно мы видим бесстыдную измену *causa victa* [33 - После поражения (лат.)], капитуляцию перед успехом. Ничто на свете так не возмущает меня. О, эти люди! Время научило нас презирать их лакейские души! В тринадцатом году, летом, когда мы принудили отца уехать в Теплиц, я был в Дрездене, оккупированном французами. И посему тамошние жители в честь тезоименитства Наполеона жгли потешные огни и фейерверки. А уже в апреле они встречали государей Пруссии и России иллюминацией, и девушки в белых платьях подносили им цветы. Флюгеру стоило только

повернуться... Это слишком жалкое зрелище! Как может молодой человек сохранить веру в человечество, если ему суждено было пережить предательство немецких князей, вероломство прославленных французских маршалов, в беде покинувших своего императора...

– Стоит ли убиваться, мой друг, из-за того, чему все равно нельзя помочь, и терять веру в человечество лишь потому, что люди поступают по-людски, да еще с вырождением рода человеческого? Верность хороша и раболепствовать перед успехом недостойно; но человек, подобный Бонапарту, возникает и кончается вместе с успехом. Вы очень молоды, но я бы хотела, как мать, посоветовать вам следовать примеру вашего великого отца, который тогда, на Рейне или Майне, весело наблюдал за огнями, зажженными в память Лейпцигской битвы, считая вполне естественным, что возникший из бездны в бездну же и воротится.

– И все же он не позволил мне воевать против человека из бездны. И, разрешите мне это добавить, тем самым выказал ко мне уважение, ибо порода юнцов, рвавшихся в бой... о, я знаю их и презираю до глубины души этих оболтусов из прусского тугендбунда, этих энтузиастических ослов и пустобрехов с их дешевой мужественностью и ухарским жаргоном, заставляющим меня содрогаться от ненависти...

– Друг мой, я не вмешиваюсь в политические споры наших дней, но позвольте мне заметить, что ваши слова некоторым образом печалят меня. Может быть, мне следовало бы радоваться, как это делает милая госпожа фон Шиллер, что вы привержены нам, старым людям, и все же мне до боли, до страха огорчительно, что эта несносная политика изолирует вас от сверстников, от вашего поколения.

– О нет, – отвечал Август. – Политика не есть нечто изолированное, она тысячами нитей связана с теми, чьи убеждения, верования, воля составляют с ней одно неразрывное целое. Она во всем и повсюду, в нравственном, в эстетическом, даже в том, что имеет видимость чисто духовного и философического; счастливо время, когда оно, не осознав себя, пребывает в девственном состоянии, когда никто и ничто, за исключением ближайших адаптов, не говорит на его языке. В такие мнимо аполитические периоды – я бы назвал их периодами подпочвенной политики – становится возможным любить прекрасное, свободно и независимо от политики, с которой оно находится в тайной, но нерушимой связи. Увы, нам не достался этот жребий – жить в столь мягкие, терпимые времена. Наше время освещено неумолимо ярким светом, и в любом предмете, в любой человеческой слабости, в любой красоте оно дает прорваться наружу сокрытой в них политике. Я лично не стану отрицать, что отсюда проистекает много боли и утрат, много горьких разлук.

– Из этого я заключаю, что вам пришлось испытать горести такого порядка?

– Без сомнения, – отвечал молодой Гете после небольшой паузы, во время которой он пристально рассматривал носки своих башмаков.

– А могли бы вы поведать мне о них, как сын матери?

– Ваше доброе отношение, – отвечал он, – уже исторгло у меня признание в общей форме, так почему же мне не коснуться и частности? Я знал одного юношу, немного старше меня, которого мне хотелось бы видеть своим другом: Арним звали его, Ахим фон Арним, из прусских дворян, красавец собою; его рыцарственный и светлый образ рано запечатлелся в моей душе и уже не покидал ее, хотя я его видел лишь спорадически, через долгие промежутки времени. Я был еще ребенком, когда он впервые появился в поле моего зрения. Это произошло в Геттингене, куда мне довелось однажды

сопровождать отца и где мы заметили бравого студента, который в вечер нашего приезда приветствовал отца на улице криком «vivat». Его вид не мог не произвести на нас живого и приятнейшего впечатления, и двенадцатилетний мальчик впредь уже не забывал его ни во сне, ни наяву.

Четырьмя годами позднее он приехал в Веймар, уже не незнакомец в царстве поэзии. Сочетав преданность романтическому старонемецкому направлению с возвышенной мечтательностью и шутивным добродушием, он за это время вместе с Клеменсом Brentano составил и выпустил в свет в Гейдельберге тот сборник народных песен под названием «Чудесный рог мальчика», который современники приняли с растроганной благодарностью, ибо в нем, по существу, были собраны сокровеннейшие их чувства. Автор нанес визит моему отцу, от души поблагодарившему его и Brentano за этот очаровательный вклад в немецкую поэзию, и мы, юноши, близко сошлись. То было счастливое время. Никогда я не радовался тому, что я сын своего отца, так, как в те дни, ибо это обстоятельство сглаживало неравенство лет, образования, заслуг, привлекало ко мне его внимание, заставляло дарить меня уважением и дружбой. Время было зимнее. Искусный во всех физических упражнениях, а потому и на этом поприще далеко превосходивший меня, младшего, он, к величайшему моему восторгу, в одной области стал моим учеником. Арним не бегал на коньках, мне было дозволено учить его, и эти часы легких, быстрых движений, когда я показывал ему свое искусство, наставлял его, были счастливейшими часами из всех, что подарила мне жизнь, – лучших я, откровенно говоря, и не жду от нее.

И вот снова прошло три года, прежде чем я встретился с Арнимом, на этот раз в Гейдельберге, куда я в восьмом году приехал изучать право, имея при себе рекомендательные письма к видным и просвещенным людям и в первую очередь к знаменитому Иоганну Генриху Фоссу, гомериду, – отец был дружен с ним еще по Иене, и его сын в свое время замещал у нас доктора Римера в обязанностях домашнего учителя. Должен сознаться, что я недолго любил Фосса-младшего; чуть ли не божеские почести, которые он воздавал моему отцу, не трогали меня и казались мне довольно скучными. Да и вообще его можно назвать натурой энтузиастической и скучной (такое сочетание встречается), а хроническое воспаление губ, вынудившее его еще в ту пору, как я приехал в Гейдельберг, прекратить чтение лекций, навряд ли могло сделать его более привлекательным. В его отце, ректоре университета, певце «Луизы», идиллические вкусы сочетались с полемическим задором. Уютно-домовитая натура, живущая в неге и холе под крылышком деятельнейшей супруги и хозяйки дома, он на общественном, научном и литературном поприще был истым боевым петухом. Старый Фосс обожал всякие литературные тяжбы, дискуссии, полемические статьи и с бодрим, молодым гневом неизменно ополчался на убеждения, противные просвещенному протестантизму и, как ему думалось, античной ясности. Итак, дом Фосса, дружественный нашему, в Гейдельберге стал мне как бы вторым отчим домом, а я ему вторым сыном.

Поэтому-то я почувствовал не только радостный испуг, но замешательство и смущение, когда, вскоре после приезда, столкнулся на улице с идеалом моего отрочества, товарищем зимних утех. Мне следовало быть готовым к этой встрече, и в глубине души я ежечасно думал о ней, так как знал, что Арним проживает здесь и издает свой остроумный и мечтательный «Листок для отшельников», ретроградный орган, являющийся рупором нового романтического поколения. Покопавшись в себе, я должен был сознаться, что именно об Арниме была моя первая мысль, когда я узнал, что мои студенческие годы будут протекать в Гейдельберге. Теперь, когда друг стоял передо мной, счастье и смущение сдавили мне сердце, я краснел и бледнел попеременно. Все распри, вся партийная борьба времени и двух поколений современников тяжелым грузом легли на мою совесть. Я хорошо знал, что думали у Фоссов по поводу благочестивого приукрашающего культа старины, немецкой и христианской, ярым поборником которого



являлся Арним. Я чувствовал, что беззаботные времена детства, когда мне можно было непринужденно вращаться в обоих лагерях, ушли безвозвратно; а потому сердечность, с которой ко мне бросился этот человек, еще более прекрасный и рыцарственный, чем прежде, в одно и то же время осчастливила и смутила меня. Он взял меня под руку и потащил за собой к книготорговцу Циммеру, где он столовался; и хотя поначалу мы оживленно говорили о Беттине Brentano, с которой я недавно чуть ли не каждый день встречался у бабушки во Франкфурте, но затем разговор стал лишь с запинками подвигаться дальше. Я мучительно страдал от мысли, что кажусь ему не по-юношески тупым, и вскоре, к своему отчаянию, прочел подтверждение этого в его взоре, в произвольном покачивании головой.

В прощальное рукопожатие я стремился вложить всю свою тоску и отчаяние, стремился выговорить себе право на сохранение нежности к нему, взлелеянной в отроческом сердце. Однако в тот же вечер у Фоссов мне пришлось рассказать об этой встрече, и я понял, что дело обстоит хуже, чем мне думалось. Старик как раз намеревался идти войной на «этого малого», на этого, как он выразился, «развратителя юношества, обскуранта и реставратора средневековья» и выпустить памфлет, который, как он надеялся, отобьет у него охоту жить и развивать свою деятельность в Гейдельберге. Его ненависть к фривольной игре, к лживым соблазнам романтических литераторов находила разрядку в громовых словоизвержениях. Он называл их мошенниками, лишенными исторического чутья и философской совести, благочестивыми ханжами, фальсифицирующими старинные тексты под предлогом их приближения к современности. Я тщетно лепетал, что отец, в свое время, весьма благосклонно отнесся к «Чудесному рогу мальчика». Фосс возражал: «Не говоря уже о его терпеливой доброте, твой отец любит и ценит фольклор в ином смысле и духе, чем эти германофильствующие стихоплеты». В остальном же он, его старинный друг и доброжелатель, так же относится к этим ханжам и неокатоликам, которые приукрашивают прошлое только для того, чтобы очернить настоящее, и чье почитание великого человека вызвано нечистым намерением эксплуатировать его имя ради собственных целей. Короче говоря, если я хоть немного ценю его, ректора, отеческую дружбу, любовь и заботу, то я должен раз и навсегда отказаться от общения и дальнейших встреч с Арнимом.

Что к этому прибавить? Мне предстояло выбрать между сим достойным человеком, старым другом нашего дома, приютившим меня на чужбине, и романтическим счастьем запретной дружбы. Я покорился. Написал Арниму, что место, которое я по праву рождения и личным взглядам занял среди современного раздора, не позволяет мне с ним встречаться. Ребяческая слеза смочила этот листок, и я понял, что привязанность, вырванная мною из сердца, относилась к жизненной эпохе, которую я перерос. Я стал искать и нашел вознаграждение в братском союзе с Генрихом, молодым Фоссом, а сознание, что его любовь к моему отцу лишена какой бы то ни было корысти, помогло мне примириться с его нудностью и воспаленными губами.

Шарлотта сочла своим долгом поблагодарить рассказчика за эту маленькую исповедь и заверить его в своем участливом отношении к испытанию, которое он несомненно выдержал, как подобает мужчине.

– Как подобает мужчине, – повторила она. – Вы рассказали мне истинно мужскую историю из того вашего мира, из мира принципов и неумолимости, на которую мы, женщины, смотрим одновременно и с уважением и с слегка укоризненной улыбкой. По сравнению с вами, суровыми поборниками убеждений, мы дети природы и толерантности, и боюсь, что иногда мы представляемся вам какими-то эльфическими созданиями. Но разве добрую половину привлекательности слабого пола не составляет для вас отдохновение от принципов? Если в остальном мы вам нравимся, то ваша принципиальная строгость оказывается несостоятельной и не прочь на многое взглянуть

сквозь пальцы, а летопись чувств учит нас, что фамильные распри, наследственная вражда убеждений отнюдь не служат препятствием для нерушимых и страстных союзов сердец между детьми столь различного воспитания. Более того, что такие препятствия пуще подзадоривают сердца идти своим собственным путем, хитроумно минуя все препоны.

– В том-то, вероятно, и состоит различие между любовью и дружбой, – вставил Август.

– Разумеется. А теперь позвольте мне спросить... Это материнское любопытство. Вы рассказали мне о запретной дружбе. Любили ли вы когда-нибудь?

Камеральный советник опустил глаза и затем снова поднял взор на Шарлотту.

– Я люблю, – тихо произнес он.

Шарлотта молчала, растроганная.

– Ваше доверие, – сказала она затем, – трогает меня еще больше, нежели это известие. Откровенность за откровенность. Я скажу вам, что заставило меня решиться на подобный вопрос. Август, вы рассказали мне о вашей жизни, вашей столь похвальной, столь ответственной, столь самоотверженной сыновней жизни – какой вы верный помощник своему великому отцу, как преданно вы следуете за ним, храните его писания, служите барьером между ним и деловыми заботами. Не думайте, что я, понимающая, что значит жертва, отказ, не умею ценить жизнь, исполненную любвеобильных забот и самоотречения. И все же, не могу не сознаться, я слушала вас с несколько смешанными чувствами. К моему уваженью присоединилась какая-то забота, боязнь и недовольство, какое-то душевное сопротивление, которое в нас вызывает все не вполне естественное, не вполне угодное господу. Мне кажется, что господь создал нас, даровал нам жизнь не для того, чтобы мы от нее отказывались, полностью растворяли ее в другом, пусть бесконечно любимом и великом. Надо жить собственной жизнью – не себялюбивой и всех других рассматривающей как средство, но также и не самоотреченной, а самостоятельной, разумно распределяющей обязательства между другими и самим собой. Разве я не права? Жизнь только для других не на пользу нашей душе, ни даже нашей доброте и кротости. Короче говоря, мне было бы приятнее, если бы в ваших словах я прочла хоть намек на предстоящую эмансипацию, которая пристала вашим летам, на выход из-под сени отчего дома. Вам пора устроить собственный домашний очаг, пора жениться, Август.

– Я имею намерение вступить в брак, – с легким поклоном отвечал камеральный советник.

– Отлично! – воскликнула она. – Итак, значит, я беседую с женихом?

– Это, пожалуй, слишком решительно сказано. Оглашение еще не состоялось.

– Я очень рада, хотя мне следовало бы попенять вам за то, что вы так долго от меня таились. Могу ли я узнать, кто ваша избранница?

– Некая мадемуазель фон Погвиш.

– По имени?

– Оттилия.

– Прелестное имя. Оно звучит как в романе. А я буду ей тетушкой Шарлоттой.

– Не говорите так, она могла бы быть вашей дочерью, – отвечал Август и взгляд, которым он при этом посмотрел на нее, был уже не только пристален, но неподвижен.

Она испугалась и покраснела.

– Моей дочерью... Что вы такое говорите, – невнятно пробормотала она, охваченная каким-то мистическим страхом оттого, что снова всплыли эти слова, и от взгляда, их сопровождавшего, который ясно говорил о том, что они помимо воли и сознания возникли из недр его души.

– Да, да, – подтвердил он и вдруг оживился. – Я не шучу или почти не шучу. Речь идет даже, собственно, не о сходстве, оно было бы непостижимо, но о сродстве, встречающемся сплошь да рядом. Ведь, по правде говоря, вы, госпожа советница, принадлежите к людям, чью сущность не затрагивает время, не меняют годы или, я скажу проще – сквозь ваш зрелый облик ясно проглядывает лик юности. Я не собираюсь уверять вас, что вы выглядите как молодая девушка, но не нужно второй пары глаз, чтобы сквозь достоинство матроны прозреть юное создание, почти школьницу, которой вы некогда были; и я говорю только, что это юное создание могло бы быть сестрой Оттилии, а отсюда с математической последовательностью вытекает, что она могла бы быть вашей дочерью. Что, собственно, значит сходство? Не общность черт, но родственность облика, идентичность типа, чья прелесть так чужда прелести Юноны, изящество, нежное очарование – вот что я называю родственным, дочерним.

Что это было – подражание или род заразы? Шарлотта смотрела на молодого Гете тем же недвижным, остекленевшим взором, которым он только что вперился в нее.

– Фон Погвиш, фон Погвиш, – машинально повторяла она. И тут же догадалась, что можно обернуть дело так, будто она размышляет о характере и происхождении этого имени.

– Это прусское дворянство, дворянство шпаги, не правда ли? – спросила она. – Следовательно, ваш союз будет чем-то вроде союза лиры и меча. Я, безусловно, уважаю дух прусского офицерства. Говоря – дух, я имею в виду убеждения, воспитание, чувство чести и любовь к родине. Этим их качествам мы обязаны своим освобождением от чужеземного ига. Итак, ваша нареченная, если я вправе так называть ее, воспиталась в этом духе, в этой атмосфере. Но тогда в ней вряд ли можно предположить сторонницу Рейнского союза, почитательницу Бонапарта?

– Эти вопросы, – уклончиво отвечал Август, – устранены самим ходом истории.

– И слава богу! – воскликнула она. – И ваш брак, надо полагать, будет осчастливлен покровительством и отеческим согласием Гете?

– Вполне. Он возлагает на него большие надежды.

– Но ведь он потеряет вас, если не совсем, то в значительной степени. Я только что пожелала вам основать собственный домашний очаг! Но теперь я мысленно переносюсь на место моего старинного друга, нашего любезного тайного советника, – ведь он лишится преданного помощника и дельного посредника, когда вы оставите дом.

– Об этом никто и не помышляет, – возразил Август, – и, могу вас заверить, отцу не будет нанесено ни малейшего ущерба. Приобретая дочь, он не утратит сына. Уже решено, что

мы займем помещение для приезжих на втором этаже, – премилые комнатки с видом на Фрауенплан. Но царство Оттилии, разумеется, не будет ограничено ими; она будет господствовать и в наших приемных комнатах как полновластная хозяйка дома. То, что дом будет снова возглавлен женщиной, что он, наконец, обретет хозяйку, тоже не последнее соображение, делающее мою женитьбу столь желательной.

– Я понимаю и только дивлюсь, почему мои чувства все еще колеблются. Минуту назад я сокрушалась об отце, а теперь уже опять беспокоюсь о сыне. Мои пожелания сбываются и в то же время, в этом нельзя не признаться, разочаровывают меня, – именно потому, что они исключают тревогу об отце. Я не уверена, правильно ли я поняла вас, вы уже заручились словом вашей избранницы?

– В данном случае, – отвечал Август, – в словах, собственно, нет особой нужды.

– Нет особой нужды в словах? В словах? Вы, мой друг, обесцениваете весьма торжественное понятие, прибегая к множественному числу. Слово, любезный мой, не совсем то, что слова, оно должно быть произнесенным, и к тому же, по зрелом размышлении, после долгих колебаний. «Обдумай, прежде чем связаться узами, прочными навек». Вы любите, вы признались в этом мне, старой женщине, которая могла бы быть вам матерью, и своим признанием растрогали мое сердце. Что вам отвечают взаимностью – в этом я не сомневаюсь. Поручкой тому ваши прирожденные достоинства. Но вот о чем я хотела бы спросить уже с чисто материнской ревностью: любимы ли вы за ваши собственные достоинства, за то, что вы – вы? В дни моей юности я часто со страхом ставила себя на место богатых девушек, выгодных невест, которым, правда, дано было преимущество свободно выбирать среди юношей, но которые точно не знали, относится ли ухаживание к ним или к их деньгам. Представьте себе у такой девушки какой-нибудь физический изъян – косоглазие, хромоту или хотя бы небольшую сутулость, и подумайте о трагедии, разыгрывающейся в душе этой несчастной счастливицы, трагедии колебания между острым желанием верить и сверлящим сомнением. Жутко подумать, что такие создания должны в конце концов прийти к циническому выводу – считать богатство своим личным качеством и говорить себе: «Ну что же, если он даже и любит мои деньги, то они ведь мои, от меня не отделимые, они искупают мою хромоту, а следовательно, он любит меня, несмотря на этот недостаток...» Ах, простите, это надуманная дилемма, старинная *idée fixe*, неотступно преследовавшая меня в дни юности, так что я и нынче еще начинаю безудержно болтать, вспомнив о ней, но вспомнила я об этом потому, что вы, милый Август, кажетесь мне таким богатым юношей, который, правда, волен выбрать любую девушку, но зато должен дознаться, почему он сам попал в избранники. За свои личные качества или за привходящие. Эта амазоночка... не обижайтесь на меня за бесцеремонное определение, ваше собственное красноречивое описание малютки подсказало мне его, а то, что вы поставили ее образ в какую-то не то дочернюю, не то сестринскую связь с моей особой, настроило меня на фамильярный лад, и я говорю о ней, как говорила бы о себе... Простите, я, кажется, уж не вполне отдаю себе отчет в своих словах. Нынешний день принес мне много умственного и душевного напряжения – подобного дня я не припомню за всю свою жизнь. Но раз уж я начала, то надо договорить до конца. Словом, эта амазоночка, Оттилия – любит она вас таким, как вы есть, или за привходящие качества, то есть за вашу принадлежность к прославленному дому, а следовательно, не столько вас, сколько вашего отца? Как тщательно надо проверить все это, прежде чем навек связывать себя! Я, которая могла бы быть вашей матерью, почитаю своим долгом и обязанностью, для вашего же блага, заронить в вас эти сомнения. Ведь и матерью Оттилии я могла бы быть, судя по вашему описанию, и если Гете возлагает на этот союз большие надежды, как вы выразились или как выразился он, то это, быть может, связано с тем, что и я, юным созданием, была приятна его взору; а потому прежде всего надо проверить, вы ли сами любите ее, или же и в этом случае остаетесь только представителем и посредником отца. То, что вы любили

Арнима и хотели стать его другом, это ваше дело, дело вашего поколения, но то, о чем теперь зашла речь, так мне по крайней мере кажется, – наше стариковское дело. Отсюда моя тревога. Не думайте, что я не понимаю прелести союза, который даст молодежи восполнить, осуществить то, в чем отказали себе, от чего отреклись старики. И все же я должна еще раз предостеречь вас, что здесь речь идет, так сказать, о повторении.

Рукою в вязаной митенке она прикрыла глаза.

– Нет, произнесла она, – простите мне, дитя мое, но я вторично признаюсь, что уже не вполне владею своими словами и мыслями. Вы не должны сердиться на меня, старую женщину, – я могу только повторить, что дня, подобного этому, со столькими требованиями, ко мне предъявленными, вообще не упомяну. Мне, кажется, в самом деле становится дурно...

Август фон Гете, в продолжении последних минут сидевший прямо и неподвижно, вскочил со стула.

– Бог мой! – воскликнул он. – Я утомил вас, это непростительно! Но мы говорили об отце – вот мое единственное оправдание, – ведь эта тема, хотя исчерпать ее безнадежно, нелегко отпускает человека... Я позволю себе удалиться – и уже (он хлопнул себя ладонью по лбу) чуть было не сделал этого, забыв о поручении, которое было единственным поводом моего столь обременительного визита. – Он овладел собою и тихо, с легким поклоном, проговорил: – Я имею честь передать госпоже надворной советнице привет от моего отца, вместе с сожалением, что он не мог тотчас же повидаться с нею. Ревматизм в левой руке удерживает его дома. Но он почтет за честь, если госпожа советница, совместно с господином Риделем и его уважаемым семейством, в ближайшую пятницу, а следовательно, через три дня, в половине третьего, согласится отобедать у нас в интимном кругу.

Шарлотта, чуть пошатываясь, в свою очередь поднялась с канапе.

– Весьма охотно, – отвечала она, – если, конечно, мои родственники не заняты в этот день.

– Разрешите откланяться, – заключил он.

Она приблизилась не очень твердым шагом, взяла обеими руками его юную кудрявую голову и нежно поцеловала его в лоб, что было нетрудно сделать, принимая во внимание его склоненную позу.

– Господь с тобою, Гете, – произнесла она. – Прости, если я наговорила вздора, я старая женщина, а день выдался трудный. Здесь уже побывали Роза Гэзл, и доктор Риммер, и девица Шопенгауэр, а к тому же еще этот Магер и веймарская публика, всего этого было слишком много для меня, непривычной к светской жизни. Иди, дитя мое, через три дня я приду обедать – почему бы и нет? Ведь и он не раз ел простоквашу у нас, в Немецком орденом доме. Если вы любите друг друга, вы, молодые, ну что же, женитесь, уважьте старого отца и будьте счастливы в своем мезонине! Не мне вас отговаривать. Господь с тобою, Гете, господь с тобою, дитя мое!..

Глава седьмая

Ах нет, не удержишь! Светлое виденье блекнет, растекается быстро, как по мановению

капризного демона, тебя одарившего и тут же отнявшего свой дар, и из сонной глубины всплываю я! Было так чудесно! А что теперь? Где ты очнулся? В Иене, в Берке, в Теннштедте? Нет, это веймарское одеяло, шелковое, знакомые обои, сонетка. Как? В полной юношеской силе? Молодец, старина!.. «Так не страшись тщеты, о старец смелый!..» Да и не мудрено! Такие дивные формы! Как эластично вжалась грудь богини в плечо красавца охотника, ее подбородок льнет к его шее и к покрасневшимся от сна ланитам, амброзические пальчики стискивают запястье его могучей руки, которой он вот-вот смело обнимет ее, носик и рот ловят дыхание его во сне приоткрытых губ, а там, в стороне, амурчик, сердясь и торжествуя, с кликами: «Ого! Остерегись!» уже вскинул свой лук, справа же умными глазами смотрят быстроногие охотничьи собаки. Ну и натешилось мое сердце этой роскошной композицией! Но откуда она? Где я ее видел? А, разумеется, это Турки-Орбетто из Дрезденской галереи: «Венера и Адонис». Осторожней, голубчики! Беда, если вы перегнете палку или подпустите пачкунов к этим картинам. А сколько пачкотни на белом свете, черт побери!.. Потому что они знать не знают труда и вдохновенья, а за все берутся. Никакой строгости к себе! Что тут может выйти хорошего? Не рассказать ли им о венецианской академии реставрации, о том, как директор и двенадцать профессоров заперлись в монастырь для кропотливейшего труда?.. «Венера и Адонис»!.. «Амур и Психея» – вот что надо написать, давно пора! Об этом мне нет-нет да и напомнят, как я распорядился. Но, скажите, откуда взять время? Надо пойти в желтый зал, еще раз попристальнее взглядеться в эстампы Психеи Дориньи, освежить замысел, а там опять отложить. Ждать и откладывать – хорошо, замысел все расширяется, а твое сокровенное, собственное, все равно никто не отнимет, никто не опередит тебя, даже если сделает то же самое.

Да и что такое сюжет? Сюжеты валяются на улице. Подбирайте, дети, мне нет нужды вам дарить их, как я подарил Шиллеру Телля, чтобы он, во славу божию, ввел его в свой благородный, мятежный театр. Но я сохранил Телля и для себя, для эпического, неторопливо-житейского Геркулеса-простолюдина, которому нет дела до власти имущих, и рядом с ним беззаботного тирана, охотника до милостивых поселянок... Дай срок, я еще напишу его, и гекзаметр будет лучше, согласнее с языком, чем в «Рейнеке» и «Германе». Расти, расти! Покуда дуб растет и раскидывает крону, он молод! Да, на нынешней ступени, при столь прекрасном расширении нашего существа, следовало бы взяться за «Амура и Психею»: из бодрой старости, из мудрого достоинства, осененного лобзанием юности, должно возникнуть легчайшее, прелестнейшее. Никто и не знает, как оно будет обворожительно. Может быть, в стансах?.. Но нет, в этой хлопотливой суতোлке всего не сделаешь, и многому суждено умереть! Бьюсь об заклад, что и кантата в честь Дня реформации у тебя зачахнет. Гром над горой Синаем, в предрассветном воздухе веет бескрайним одиночеством, это я знаю. Для воинственных пастушеских хоров надо просмотреть «Пандору». Суламифь, возлюбленнейшая, вдали... «По твоим перстам отныне счет бессмертью поведем». Уж одно это будет занято. Но главное все же он, Христос, его высокое учение, его духовность, извечно непонятная черни, одиночество, душевные страдания, величайшая мука – и, при всем этом, он оплот и утешитель. Пусть убедятся, что я, старый еретик, больше смысла в христианстве, нежели все они вместе взятые. Но кто напишет музыку? Кто поощрит меня, поймет, похвалит мою кантату, еще не созданную? Берегитесь! Такое равнодушие отшибет у меня охоту, а тогда посмотрим, найдется ли у вас чем хоть относительно достойно отметить знаменательную дату. Будь он еще здесь, столько лет назад, – да, уже целых десять! – ушедший от нас! Будь он еще здесь, чтобы подгонять, требовать, поощрять! Вспомните, разве я не забросил «Димитрия» из-за дурацких помех, которые вы мне чинили с постановкой? А я ведь мог и хотел справить великолепнейшую тризну по нем на всех немецких подмостках. Вы, с вашей тупой будничной рутинной, виновны в том, что я впал в ярость и в уныние, и он умер во второй раз, уже навек, потому что я отказался, на основе точнейших знаний, продлить его жизнь. Как я был несчастен! Несчастнее, чем можно быть по вине других. Или тебя оставило вдохновение, и собственное сердце тайком воспротивилось честнейшему

намерению? Воспользовался внешними препятствиями как предлогом и разыграл Аянта-биченосца? Он, он был бы в состоянии, умри я раньше него, завершить «Фауста». Боже упаси! Надо бы сделать завещательное распоряжение! Но боль и горечь не утихли и поныне, жалкая несостоятельность, тягчайшее поражение. Как было стыдно пережившему его другу отказаться от мысли закончить его творение!

Который час? Еще ночь? Нет, сквозь ставни уже пробивается солнечный луч. Верно, уже семь или около того. Все идет по заведенному порядку, и не демон вспугнул прекрасное виденье, а моя собственная утренняя воля, зовущая к делам и дневным заботам, бодрствовала там, в глубине сна, как чуткий охотничий пес, что такими смысленными большими глазами смотрел на влюбленную Венеру. Стоп! Так ведь смотрел и готтардов пес, ворующий хлеб со стола своего хозяина для занедужившего святого Роха. В «Праздник святого Роха» сегодня надо вписать крестьянские поверья. Где моя записная книжка? В левом ящике бюро. «Сухая весна мужичку не нужна». «Если травник запел раньше цветения лоз» – стихотворение!.. А щучья печень! Ведь это же стародавнее гаданье по внутренностям. Ах, народ, народ! Все та же языческая первобытность, плодоносные глубины подсознательного, источник омоложения. Быть с народом, среди народа: на охоте, на сельском празднике или, как тогда, в Бингене, за длинным столом под навесом, в чаду шипящего сала, свежего хлеба, колбас, коптящихся в раскаленной золе! Как немилосердно они придушили к вящей славе Христовой удравшего было барсука, всего искровавленного! В сознательном человек долго пребывать не может. Время от времени он должен спускаться в подсознательное, ибо там – его корни. Максима. Об этом покойный ничего не знал и знать не хотел – больной гордец, аристократ духа и адепт разума, великий, трогательный шут свободы, за что они – какая нелепость! – почитали его человеком народа (а меня знатным холопом), тогда как он ровно ничего не понимал в народе, да и в немецкой сути. Но за это я и любил его. С немцами не ужиться, все равно – победители они или побежденные. Он противопоставлял им болезненную чистоту помыслов, не способный принизиться, смиренно готовый признавать ничтожное равным себе лишь для того, чтобы руками спасителя вознести его до себя, до высот духа. Да, в нем много было от того, кого я хочу прославить в своей кантате. А ведь он в ребячливой своей амбициозности воображал себя ловким дельцом! Ребачество? Ну что ж, он был в высшей степени мужчина, даже чересчур, до уродства, ибо чисто мужское – дух, свобода, воля – уродство. Перед женским началом он пасовал: его женщины смешны, и только. И притом чувственность, ее жестокий азарт. Ужасно! Ужасно и непереносимо! Но талант, высшая смелость, вера в добро, не споткнувшаяся о бесчинство черни! Единственно равный и родственник мне, – ему подобного я уже не встречу. Вкус в безвкусице, уверенность в прекрасном, гордое наличие всех способностей, легкость и беглость речи, непостижимо независимая от самочувствия – и всегда во славу свободы. С полуслова все понимая и с таким умом на все откликаясь, он возвращал тебя к самому себе, уяснял тебе твою же сущность, всегда сравнивал ее с собой, критически себя утверждая, кстати сказать, довольно навязчиво: «спекулятивный, интуитивный ум»! Знаю, знаю: «Если оба гениальны, то на полпути...» Знаю, к тому все и клонилось, что внеприродный человек, чисто мужское начало, может быть гением, что он и есть гений и стоит подле меня, – к почетному месту все клонилось, и к равенству, и еще к тому, чтобы выйти из нужды и позволить себе по году работать над каждой драмой. Неприятный, лукавый искатель. Любил ли я его? Никогда. Не терпел его журавлиной походки, рыжих волос, веснушек, ввалившихся щек и сутулой спины, воспаленного крючковатого носа. Но его глаз мне не забыть, покуда я живу, – темно-синих, мягких и бесстрашных глаз спасителя... Христос и метафизик! Я был исполнен недоверия, заметил: он хочет меня эксплуатировать. Написал мне хитрейшее письмо, чтобы заполучить «Мейстера» для «Ор», как главную приманку, а я, словно учуяв ловушку, уже договорился с Унгером. Затем он настаивал на «Фаусте» для «Ор» и для Котты, досаждая мне, ибо он один из всех понял, что значит «объективный стиль», «послеитальянский», знал, что я уже другой, что глина просохла. Несносный, несносный

человек! По пятам преследовал меня и понукал, ибо у него не было времени. Но ведь плоды приносит только время.

Время надо иметь! Время – дар, неприметный и добрый, если его чтить и прилежно заполняешь; оно созидает в тиши, оно будит демонов... Я выжидаю, выжидаю во времени. Но все бы делалось быстрее, будь он со мною. С кем же мне говорить о Фаусте, с тех пор как этот человек вне времени? Он знал все сомнения, всю нашу несостоятельность, но и все пути, все средства, – бесконечно умно и терпимо, полный смелого понимания грандиозной шутки и эмансипации от непоэтического серьеза; ведь после явления Елены он утешал меня, утверждая, что через восхождение от чертовщины и гротеска к эллинско-прекрасному, к трагедии, из смешения чистого и причудливо-путаного, может выйти не вовсе недостойный поэтический трагеллаф. Он еще видел, еще слышал Елену, ее первые триметры; они произвели на него большое, прекрасное впечатление. Это меня ободряет. Он знал ее, как Хирон неусыпный, которого я хочу спросить о ней. Слушая, он улыбался тому, что мне удалось каждое слово пропитать античным духом...

Головы ваши хоть и кудрявы,  
Много вы горя видели в жизни:  
Ужасы боя, мрак беспредельный  
В ночь, когда пал Илион.  
В облаке пыли, поднятой боем,  
Боги взывали голосом страшным.  
Рознь громыхала медью, и с поля Гул  
приближался к крепости валу.

Тут он усмехнулся и кивнул: «Превосходно!» Это место санкционировано, за него я спокоен, больше до него не дотронусь. Он нашел его превосходным и улыбнулся, так что и мне пришлось улыбнуться, и мое чтение стало улыбкой. Да, он и в этом не был немцем, он улыбался прекрасному, чего ни один немец не делает. Они сидят мрачные, насупленные, ибо не знают, что культура – это пародия – любовь и пародия... Он также закивал головой и улыбнулся, когда хор назвал Феба «знатоком».

Как же ты, пугало,  
Смелость имеешь  
Рядом с прекрасною  
Вещему взору Феба являться?

Стой себе, впрочем,  
Он к безобразью  
Не восприимчив,  
Как солнце не видит  
Отброшенной тени.

Это ему понравилось, здесь он узнал себя и решил, что это о нем. И тут же стал пенять мне, нельзя-де говорить, «что красота не совместима с совестью и что у них в жизни разные дороги»: красота-де стыдлива. Я спросил, на что ей стыд и совесть? Он ответил: от сознания, что она, в отличие от духовного, которое ею олицетворяется, будит вожделение. Я говорю: разве вожделение совестливо? Оно не стыдится, вероятно, от сознания, что олицетворяет порыв к духовному. Мы оба расхохотались. Теперь мне не с кем смеяться. Оставил меня здесь, убежденный, что я уже не собьюсь с пути, найду связующий обруч для разнородной материи, без которой не завершить замысла. Этот все знал наперед. Знал и то, что Фауст придет к деятельной жизни, – легче сказать, чем сделать! Но если вы полагали, мой милый, что для меня сия мысль в новинку... Разве



тогда, когда все было еще по-детски смутно, я не заставил Фауста перевести библейское «слово» («смысл», «сила») через «деяние».

Итак! Что сегодня на очереди?.. «Пока я есмь, я должен делать что-то, и руки чешутся начать работу». Это «малый Фауст» – волшебная флейта, когда Гомункул и Сын – еще одно в светящемся ларчике... Итак, что предстоит сегодня? Ах, черт, надо написать заключение для его высочества по поводу этой скандальной истории с «Изидой». Препротивная канитель! Как все теряется в глубях сна! Но вот дневная кутерьма возобновилась. Да, еще набросок поздравительной оды для его превосходительства фон Фойта. Боже мой, надо ее закончить и велеть переписать! День рождения – двадцать седьмого, а у меня не слишком много сделано, по правде сказать, всего несколько строк, из них одна стоящая: «Или природа все же уяснима?» Это хорошо, звучит недурно и, пожалуй, вывезет всю остальную чепуху, а благопристойной чепухой это останется, как ни верти... Дань, которую общество взимает с «поэтического таланта», надо платить. Ах, поэтический талант, к черту его! Люди уверены, что все дело в нем. Разве можно жить и расти еще сорок четыре года, после того как ты в двадцать четыре написал «Вертера», и не перерасти поэзию? словно не прошло время, когда я довольствовался стихотворством! Башмачник, держись своего ремесла! Да, если ты башмачник. Вот теперь болтают, что я-де изменил поэзии, впал в дилетантизм. Кто сказал вам, что поэзия не дилетантство и что истину не надо искать в другом, а именно в целом? Глупая пискотня! Глупейшая! Верно, не знаете, бестолковые вы головы, что великий поэт прежде всего велик, и лишь затем поэт и что совершенно безразлично, слагает он стихи или побеждает в боях, как тот, в Эрфурте, с улыбкой на устах и с мрачным взором. Он сказал мне вслед, нарочито громко, чтобы я услышал: «Это человек!», а не «Это поэт!» Но дурачье думает, что можно быть великим, сочиняя «Диван», и не быть им, создавая «Учение о цвете».

Черт возьми, что это? Что там всплывает в памяти? А, эта вчерашняя книжица, профессорский опус против «Учения о цвете». Пфаффом зовется голубчик. Любезно препровождает мне свои глупейшие возражения, еще хватает наглости посылать их на дом. Бестактная немецкая назойливость! Будь моя воля, я бы таких людей изгонял из общества. А впрочем, почему бы им не оплевать мое исследование, когда они плевали на мою поэзию, сколько слюны хватало? «Ифигению» до тех пор сравнивали с Еврипидовой, куда она не превратилась в хлам, изгадили мне «Тассо», испоганили Евгению своим «холодна как мрамор». И Шиллер туда же, и Гердер, и трещотка Сталь, – не говоря уже о мелкой гнуси. «Дик» прозывается этот гнусный писака. Унизительно, что помнишь его имя и еще думаешь о нем. Ни одна душа не будет знать его через пятнадцать лет. Будет так же мертв, как мертв уже сейчас. А я вот должен помнить его, потому что мы современники... Подумать только! Они осмеливаются судить! Кому не лень, все судят! Следовало бы запретить. Здесь требуется вмешательство полиции, как и в дело Океновой «Изиды». Прислушайтесь к их болтовне, а потом требуйте, чтобы я стоял за парламент, тайное голосование и свободу печати, и за Лудену «Немизиду», и за листки «германских буршей», за «Друга народа» Виланда-filius[34 - Сын (лат.)]. Ужас! Ужас! Драться должен народ, тогда он достоин уважения, рассуждать ему не к лицу. Записать и спрятать. Вообще все прятать. Зачем я так много выпустил в свет, отдал им на растерзание? Любить можно только то, что еще при тебе, для тебя; но замызганное, захватанное – как за него вновь приняться? Я бы дал вам удивительнейшее продолжение Евгении, да вот не захотели себе добра, несмотря на мою готовность. Я бы потешил вас, если бы умели тешиться! Брюзгливая, скучная публика и ничего не смыслящая в жизни. Не знает, что все разлетается в прах без индульгенции, без известной *bonhomie*[35 - Благодушие (фр.)], без того, чтобы смотреть сквозь пальцы на иные недостатки и дважды два иногда признавать за пять. Да и что все сотворенное человеком, его дела и его искусство, без любви, спешащей ему на помощь, без пристрастного энтузиазма, все возводящего в высшую степень? Просто дрянь. А они ведут себя так, будто хотят

отыскать абсолютное и будто у них в кармане мой просроченный вексель. Только и знают, что путаться под ногами! Чем глупее, тем кислее рожа! А ты опять и опять доверчиво выкладываешь перед ними свой товар: «Не придется ли по вкусу?»»

Вот и разлетелось от досадливых мыслей приятное утреннее настроение. Ну, а как здоровье? Что с рукой? Болит, голубушка, стоит только ее опустить. Думал, за ночь пройдет, но у сна нет уже былой целебной силы. Ничего, видно, не поделаешь. А экзема на ляжке? Ну конечно, тут как тут, мое почтение! И кожа и суставы никуда не годятся. Ах, я рвусь обратно в Теннштедт, в серный источник. Прежде я рвался в Италию, теперь в горячую жижу, чтобы размягчить деревенеющие члены... Так старость видоизменяет желания и ведет нас под гору. Человек должен превратиться в развалину. Но странная штука с этим разрушением и со старостью: благой промысел заботится о том, чтобы человек сживался со своей немощью, как она сживается с ним. Становишься стар и взираешь – благосклонно, но и презрительно – на молодежь, на это воробьиное племя. Хотел бы ты снова быть молодым и желторотым, как тогда? Птенец написал «Вертера» с комичной бойкостью, и это, разумеется, было нечто для его возраста. Но жить и стареть после того, – вот в чем фокус... Героизм – в терпении, в воле к тому, чтобы жить, а не умирать, да, да, а величие только в старости. Юнец может быть гением, но не великим. Величие только в мощи, в полновесности, в духе старости. Мощь и дух – это старость и это величие, и любовь тоже, конечно! Что значит юношеская любовь в сравнении с духовной мощной любовью старца? Что за птичий переполох эта юношеская любовь против упоительной польщенности, которую испытывает прелестная юность, когда старческое величие любовно избирает и возвышает ее могучим духовным чувством? Что она против лучезарной зари, в которой рдеет величая старость, когда юность дарит ее любовью? Слава тебе, вечная благодать! Все час от часу становится прекрасней, значительней, мощнее и торжественней. И так будет и впредь!

Это я называю: восстанавливать себя. Не под силу сну, так как под силу мысли. Ну-с, позвоним Карлу, чтобы он принес кофе. Покуда не согреешься, не подбодрить себя, трудно разобраться в предстоящем дне, понять, на что ты способен и что осилишь. Сначала я было решил остаться в постели и на все махнуть рукой. Это по милости Пфаффа и потому, что они не захотят терпеть мое имя в истории физики. Но все же сумел подтянуться, молодчина, а живительный напиток довершит остальное... Каждое утро, дергая сонетку, я думаю, что ее золоченый гриф совсем не подходит сюда. Чудной осколочек великолепия, он был бы уместнее в парадной половине, чем здесь среди монастырской простоты, в убежище сна, в кротовой норке забот. Хорошо, что я устроил здесь эти комнатки – тихое, скромное, серьезное царство. Хорошо и по отношению к малютке, потому что она видела: задние комнаты служат укрытием не только для нее и ее присных, но и для меня, хотя и по другим соображениям. Это было, – ну-ка вспомни, летом девяносто четвертого, через два года после возвращения в подаренный дом и его перестройки. Эпоха вкладов в оптику – о, mille excuses, господа с учеными званиями, – разумеется, только в хроматику, ибо как смеет подступиться к оптике тот, кто не сведущ в искусстве измерения? Как может он дерзнуть оспаривать Ньютона, этого лживого, лукавого клеветника на свет небесный, который пожелал не больше и не меньше, чтобы чистейшее было слагаемым сплошных туманностей, светлейшее – слагаемым элементов более темных, чем оно само. Злой дурак, меднолобый пророк и затемнитель божьего света. Надо без устали преследовать его. Когда я постиг роль затемнения, постиг, что даже наипрозрачайшее есть первая ступень тьмы, и открыл, что цвет является убавленным светом, учение о свете дальше пошло уже как по струнке, краеугольный камень был заложен и даже спектр мне больше не досаждал. Как будто призма не средство затемнения! Помнишь, как ты проверял эту штуку в побеленной комнате и стена подтвердила твоё учение, осталась бела как встарь, и даже светло-серое небо за окном не имело ни малейших признаков окраски, и только там, где свет натолкнулся на тьму, возник цвет, так что оконная рама показалась пестро раскрашенной. Мошенник был

разоблачен, и я впервые позволил себе произнести: «Его учение лживо!» И мое сердце содрогнулось от восторга, как тогда, когда ясно и неоспоримо – в чем я, впрочем, в силу своего доброго согласия с природой никогда и не сомневался – передо мной обнаружилась межжелюстная кость. Они не хотели этому верить, как теперь не хотят верить в мое учение о цвете. Счастливое, мучительно горькое время! Ты становился назойлив, разыгрывал из себя упорствующего маньяка. Разве кость и метаморфоза растений не доказала, что природа уже позволила тебе разок-другой заглянуть в ее мастерскую? Но они не верили в это мое призвание, брезгливо морщились, дулись, пожимали плечами. Ты стал возмутителем покоя. И останешься им. Все они шлют тебе поклоны и ненавидят тебя смертной ненавистью. Только государи, те вели себя по-другому. Я никогда не забуду, как они уважали, поощряли мою новую страсть. Его светлость, отзывчивый, как всегда, тотчас же предоставил мне помещение и необходимый досуг для исследований. А готские герцоги, Эрнст и Август? Первый позволил мне производить опыты в его физической лаборатории, другой выписал для меня из Англии замечательные сложные ахроматические призмы. Ученые педанты оттолкнули меня как невежду и шарлатана, а эрфуртский наместник с благосклонным вниманием следил за ходом моих экспериментов, и статью, которую я ему тогда послал, испещрил собственноручными замечаниями. Все потому, что они знают толк в дилетантизме, наши властители. Любительство – благородно, кто знатен – любитель. И напротив, низки цех, ремесло, звание. Дилетантство! Эх вы, филистеры! Вам и невдомек, что дилетантизм сродни демоническому, сродни гению, ибо он чужд предвзятости и видит вещи свежим глазом, воспринимает объект во всей его чистоте, каков он есть, а не каким видит его эта шайка, получающая из третьих рук представление о вещах, физических и моральных. Как? Потому что я пришел от поэзии к изящным искусствам, а от них к науке, и зодчество, скульптура, живопись были для меня тем же, чем стали позднее минералогия, ботаника, зоология, – я дилетант? Пусть их! Юношей я высмотрел, что башня на Страсбургском соборе должна была быть увенчана пятиконечной короной, и старые чертежи тут же подтвердили мою правоту. Так почему же мне не разглядеть замыслов природы? Как будто это не одно и то же, как будто природа не открывается тому, кто целостен, кто живет с нею в согласии...

Государи и Шиллер. Ибо и он был аристократ с головы до ног, хотя и ратовал за свободу, и обладал природным умом, хотя относился к природе с непростительным высокомерием. Да, этот принимал участие, и верил, и поощрял меня своей рефлексивной силой, и, когда я послал ему еще только первый набросок к истории «Учения о цвете», он, с великой своей прозорливостью, усмотрел в нем символ истории наук, роман человеческого мышления, которым мое «учение» стало через восемнадцать лет. Ах, ах, этот умел замечать и понимать! Ибо обладал величием, зоркостью, полетом мысли. Он бы подвигнул меня написать «Космос», всеобъемлющую историю природы, которую я должен создать, к которой меня издавна толкали мои геологические изыскания. Кто же с этим справится, если не я? Я так говорю обо всем, но не могу же сделать все – среди суеты и хлопот, которые поддерживают мое существование, но и похищают его. Время, время! Даруй мне время, природа, и я все совершу. В дни юности один человек сказал мне: ты ведешь себя так, словно мы проживем по сто двадцать лет. Дай мне, дай мне его, дай мне малую толику времени, которым ты располагаешь, всевластная, и я приму на себя весь труд других, нужный тебе и мне одному посильный...

Двадцать два года у меня эти комнаты, и ничто не переменялось в них, разве что канapé вынесли из кабинета, когда мне понадобились шкафы для все умножающихся рукописей, да прибавилось кресло у кровати, подарок обер-камергерши Эглоффштейн. Вот и все перемены и превращения. Но что только не прошло через статично неизменное, какие только беды, труды, замыслы не клокотали здесь. Сколько же тягот господь возложил на человека! «Пусть рука в трудах грубеет. Об удаче бог радуется». Но времени-то, времени утекло! В жар бросает, когда подумаешь! Двадцать два года – немало произошло за этот

срок, кое-что время иной раз тебе и приносило, но ведь это же – почти целая жизнь. Держи время! Стереги его любой час, любую минуту. Без надзора оно ускользнет, словно ящерица, юркое и неверное: русалочка. Освящай каждый миг честным, достойным свершением! Дай ему вес, значение, свет. Веди счет каждому дню, учитывай каждую потраченную минуту! Le temps est le seul dont l'avarice soit louable[36 - Время – единственное, где скарденность похвальна (фр.).]. Вот музыка. В ней угроза для ясности духа, но она же – волшебное средство удержать время, его растянуть, вложить в него диковиннейшее значение. Малютка поет «Бога и баядеру» – не следовало бы, это почти ее собственная история. Поет: «Ты знаешь край?» – слезы выступили у меня на глазах и у нее тоже, у любимой, у любви достойной, которую я украсил тюрбаном и шалью. Она и я, мы стояли в сверкании слез среди друзей. И вдруг она говорит, моя маленькая разумница, тем же голосом, которым пела: «До чего же медленно течет время в музыке; так много событий и чувств заключает она в краткий миг, что начинает казаться, будто прошли долгие, долгие сроки! Что есть краткое и долгое?» Похвалил ее за аперси[37 - Характеристика, точка зрения (фр.).] и в душе с нею согласился. Сказал: любовь и музыка, они обе – миг и вечность... и тому подобный вздор. Прочитал ей «Семь спящих», «Танец мертвых», а затем «Госпожа, о чем лепечешь» и еще «О, сколько чувств! Как мы подвластны им!». Стало поздно, и вошла полная луна. Новый Альберт, Виллемер, уснул, сложив руки на животе, славный малый, мы над ним подтрунивали. Пробил час расставания. Был так бодр, что не мог не показать Буассере на веранде, при свечке, опыт с цветными тенями. Отлично заметил, что она слушала нас со своего балкона. «В полнолуние быть друг с другом...» Теперь он как раз мог бы повременить со своим появлением.

– Avanti![38 - Здесь в смысле – «войди» (ит.).]

– Доброе утро, ваше превосходительство.

– Гм, гм. Доброе утро. Садись. И я тебе желаю доброго утра, Карл.

– Премного благодарен, ваше превосходительство. В моем случае это не так уж важно. Как изволили почивать?

– Сносно, вполне сносно. Странная штука, по долголетней привычке опять принял тебя за Штадельмана Карла, от которого ты унаследовал имя. Чудно, чудно откликаться на Карла, когда тебя, – да, да, я это и хотел сказать, когда тебя зовут Фердинандом.

– Я и не замечаю. Наш брат к этому привык. Однажды меня уже звали Фрицем. А раз так даже Баттистой...

– Превратности судьбы! Вот это разнообразная жизнь! Баттиста – писец? Второе наименование не давай отнять у себя, Карл. Делаешь ему честь, почерк красивый и разборчивый.

– Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Не угодно ли в постели продиктовать что-нибудь?

– Еще не знаю. Дай сначала напиток кофе. Прежде всего открой ставни, поглядим, каков нынче денек? Новый день! Надеюсь, я не проспал.

– Ничуть, ваше превосходительство. Семь только что пробило.

– Все-таки уже пробило? Это потому, что я еще немного полежал, потешился своими мыслями. Карл!

- Что прикажете?
- Достаточный у нас еще запас оффенбаховских коржиков?
- Смотря что ваше превосходительство подразумевает под «достаточный». Достаточный – на какой срок? На несколько дней еще хватит.
- Ты прав, я не совсем удачно выразился. Но ударение я сделал на «запасе». На несколько дней? Это не запас.
- Конечно, нет, ваше превосходительство. Или, вернее, запас почти исчерпанный.
- А-а, видишь. Другими словами: запас уже недостаточный.
- Так точно.
- Но запас, который подходит к концу, в котором видно дно, тут есть что-то страшное, до этого нельзя допускать. Надо стараться черпать из полного запаса. Всегда и во всем.
- Справедливо замечено, ваше превосходительство.
- Рад, что наши мнения сошлись. Итак, следует написать фрау Шлоссер во Франкфурт, чтобы она его пополнила. Пусть пришлет целый ящик, я ведь пользуюсь почтовыми льготами. Не забудь напомнить о письме. Очень я люблю эти оффенбаховские коржики. Собственно, они единственное, что мне по вкусу в утренний час. Свежее печенье, видишь ли, мой друг, льстит старым людям, оно хрусткое, а хрусткое – значит твердое, но притом рассыпчатое, и создает иллюзию, что ты кусаешь легко, как юноша.
- Но ваше превосходительство не нуждается в подобных иллюзиях. Кто же, осмелюсь сказать, и черпает из полного запаса, если не вы?
- Ну, это так – разговоры. Ах, вот это ты хорошо сделал! Какой чудный воздух по утрам, сладостный и девственный, до чего же приятно, ласково он тебя обвевает. Ничего нет лучше этого обновления мира после ночи, стар и млад радуются ему. Говорят вот, что юность подобает только юности, но юность непринужденно присосеживается к старости: если ты способен мне радоваться, я твоя, больше твоя, чем в юности. Ведь юность мало что смыслит в юности, это дано только старости. Ужасно, если к старости присосеживалась бы только старость. Пусть живет в одиночку, держится в стороне. Ну, каков день? Скорей пасмурный?
- Скорей немного пасмурный, ваше превосходительство. Солнце в облаках, и только местами кусочки ясного...
- Постой. Взгляни сначала на барометр и на градусник за окном. Но смотри хорошенько.
- Сию минуту, ваше превосходительство. Барометр стоит на семьсот двадцать втором миллиметре, на улице тринадцать градусов по Реомюру.
- Хорошо. Теперь я могу нарисовать себе картину тропосферы. Ветерок, по-видимому, довольно влажный, чувствуется по его прикосновению, вест-зюйд-вест, вероятно, и больная рука это подтверждает. Плотность облаков пять или шесть, сероватая облачность. Утро, верно, предвещало обильные осадки, но сейчас ветер усилился, это видно и по облакам, довольно быстро движущимся с северо-востока, как и вчера

вечером. Он разорвет их и живо разгонит. Это продолговатые *cumuli*, кучевые облака, в нижних слоях воздуха, а выше легкие *cirri*, барашки, и перистые облака, кое-где голубые просветы. Соответствует приблизительно?

– Вполне, ваше превосходительство. Вот они перистые облачка – и, правда, точь-в-точь перья!

– Думается мне, что верхний ветер дует с востока, и если нижний и останется западным, то *cumuli*, судя по тому, как они движутся, мало-помалу разойдутся, и появятся прелестные барашки. В обед, может быть, небо прояснится, но потом его, скорей всего, опять заволочет. День будет переменчивый, неопределенный, одержимый противоречивыми тенденциями... Н-да. Мне надо еще поучиться по стоянию барометра определять различные виды облаков. Прежде верхними течениями не интересовались вовсе, а теперь один ученый муж писал о них целую книгу и составил недурную номенклатуру, – да и я малость дополнил ее: *ragies*, облачная стена, это я ее так окрестил, и теперь мы имеем возможность обращаться к переменчивым феноменам, ошеломлять их сообщением, к какому классу и виду они принадлежат. Ибо прерогатива человека на земле – называть вещи по имени и систематизировать их. И вещи, так сказать, опускают глаза перед ним, когда он их кличет по имени. Имя – это власть.

– Не записать ли, ваше превосходительство, или доктор Риммер уже взял это на заметку?

– Ах, брось, вы уж слишком приметливы.

– Ничто не должно пропасть, ваше превосходительство, даже в большом хозяйстве. А книгу об облаках, я ее видел, вот здесь. О чем только вы не думаете, прямо диву даешься. Круг интересов вашего превосходительства я бы назвал поистине универсальным.

– Дуралей! Где ты нахватался таких выражений?

– Но ведь я прав, ваше превосходительство. Не взглянуть ли мне, что подельывает гусеница, этот чудный экземпляр молочайницы, ест ли она еще?

– Да нет уж, будет с нее, поела и на воле, и покуда я наблюдал за ней. Теперь она начала впрягаться в куколку, если хочешь посмотреть, изволь, сейчас уже ясно видно, как она выделяет сок из железы, скоро она станет куколкой, и вот, интересно, удастся ли нам увидеть, как произойдет превращение и выскользнет психея, бабочка, чтобы прожить краткую, легкую жизнь, ради которой она столько пожрала в бытность свою гусеницей.

– Да, ваше превосходительство, таковы чудеса природы! Но как же насчет диктовки?

– Ладно. Давай приступим. Мне надо написать заключение для его королевского высочества великого герцога по поводу злополучного временника. Убери это отсюда, будь добр, и подай мне записи и карандаши, которые я приготовил с вечера.

– Пожалуйте, ваше превосходительство, но все-таки я должен сказать правду: господин писец Джон уже здесь и велел спросить, есть ли для него какое-нибудь дело. Но я был бы так рад, если бы мне можно было остаться и написать заключение. Для господина секретаря ведь найдется немало работы, когда ваше превосходительство встанет.

– Хорошо, оставайся и живо все приготовь. По мне, Джон всегда приходит слишком рано, хотя он, как правило, опаздывает. Приступит к работе попозже.

– Благодарствуйте, ваше превосходительство!

Весьма милый человек, приятной наружности, к тому же ловко прислуживает и хорошо выполняет мелкие поручения. И льстив не из расчета – или только отчасти, – а из честной преданности и потребности в любви. Нежная душа, добродушный и чувственный, вечно возится с женщинами. Подозреваю, что он лечится ртутью, так как подцепил что-нибудь в Теннштедте. Если это так, то оставлять его нельзя. Придется поговорить с ним – или поручить это Августу? Нет, не ему, а лейб-медику Ребейну. В бордели юноша встречает девушку, некогда любимую, которая на все лады его мучила и угнетала, и тут же платится за радость встречи. Хорошая наметка для рассказа. Из этого можно сделать нечто беспощадно яркое и проникновенное – в самой изящной форме. Ах, сколько можно придумать захватывающего и примечательного, живя в свободном, разумном обществе! Как связано искусство, как сковано в своей природной отваге постоянной оглядкой! А быть может, так лучше, оно остается таинственно могучим, внушает больше страха и любви, появляясь не нагим, но благопристойно укрытым и только иногда, на мгновение, страшно и восхитительно обнаруживая свое врожденное бесстрашие. Жестокость – главный ингредиент любви, довольно равномерно распределенный между полами. Жестокость сладострастия, жестокость неблагодарности, бесчувственности, беспощадного порабощения. Услада, которую находят в страданиях, в претерпевании жестокости – из той же категории чувств. И еще пять-шесть других извращений, – если это извращения, может быть, и это только предрассудок? – которые, химически объединяясь, без прибавления каких-либо других элементов, составляют любовь. Значит, пресловутая любовь состоит из сплошных извращений, наисветлейшее из самых темных страстей? Nil luce obscurius[39 - Нет ничего темнее цвета (лат.)]. Или Ньютон все-таки прав? Как бы там ни было, а из этого возник европейский роман.

Правда, солнечный свет не породил столько заблуждений, беспорядка, путаницы, не поставил достойное почитания под столь злостные удары, как это повсеместно и ежедневно делает любовь. Двойная семья Карла-Августа, его побочные дети! Этот Окен обрушился на герцога за государственные дела! Так что же удержит его, если его рассердят, от вмешательства в дела семейные? Надо без обиняков разъяснить это государю, убедить его, что единственно разумное и целительное – закрытие временника, хирургический нож, а не выговор, не угрозы, ни даже возбуждение судебного дела против этого наглеца Катилины, чтобы смирить его на почве права, как того желает наш почтеннейший канцлер. Хотят тягаться с разумом, простак. Лучше бы оставили его в покое. Понятия ни о чем не имеют! А тот говорит так же ловко и бесстыдно, как пишет, повсюду разглашает, что получил повестку в суд, подает им реплики, куда более острые, чем они могут парировать, и в конце концов поставит их перед выбором: отправить его на гауптвахту или позволить с торжеством уехать. Да и неприлично, недопустимо писателя осаживать, как мальчишку. Государству это не поможет, а культуре повредит. Он человек с головой, не без заслуг, и если он ведет подкоп под государство, то надо отнять у него инструмент, и дело с концом, а не страшить его, надеясь, что в будущем он станет скромнее. Попробуйте-ка под страхом наказания заставить мавра отмыться добела! Да и откуда взяться сдержанности и скромности там, где все поощряет дерзость и строптивость? Если Окен и не станет продолжать в том же духе, – то прибегнет к иронии, а перед ней вы полностью безоружны. Не зная уловок ума, вы полумерами принудите его к утонченной маскировке, которая пойдет на пользу ему, но никак не вам. Пристало ли государственному учреждению выслеживать его увертки, когда он начнет рассыпаться в шарадах и логарифмах, разыгрывать Эдипа перед сфинксом. При одной мысли об этом я сгораю со стыда.

А этот иск! Хотят поставить Окена перед синедрионом, – на каком основании? Государственная измена, говорят они. Где, скажите на милость, здесь государственная измена? Можно ли называть изменой то, что человек делает, не таясь, перед лицом всех граждан? Наведите порядок у себя в головах, прежде чем, во имя порядка, обвинять

остроумного подрывателя основ. Он напечатает ваше обвинение со своими комментариями и заявит, что готов до малости доказать все, что им написано, а за правду карать не полагается. И где тот суд, которому можно довериться в наше раздвоенное время. Разве в университетах и судебных коллегиях не сидят люди, одержимые тем же революционным духом, что и подсудимый? Или вы хотите увидеть, как он, оправданный и возвеличенный, покинет зал суда? Не хватало еще, чтобы суверенный государь ставил глубоко внутренние вопросы на рассмотрение расшатанного временем суда! Нет, все это не для судебного разбирательства, и его не будет. Надо действовать втихомолку, с помощью полиции, и не вводить общество в соблазн. Самое лучшее, через голову издателя, адресоваться к типографщику и под страхом ареста запретить ему печатание временника. Тихое искоренение зла, а не месть. Они и вправду толкуют о мести, не сознавая, как страшны подобные признания. Хотите ложно понятым служением порядку умножить ужасы наших дней и упиться торжеством грубой силы? Кто поручится вам, что раздраженная глупость не угостит плетью человека, способного сыграть блистательную роль в науке? Да сохранит нас от этого господь и мое горячее воззвание к государю! – Это ты, Карл?

– Я, ваше превосходительство.

– «Выполнить высочайшее предписание, со всей быстротой и точностью, по мере отпущенных мне сил, я почитаю своей первой обязанностью...»

– Немножко помедленнее, если смею просить, ваше превосходительство.

– Сокращай, сколько можешь, не то я позову Джона!

.....

– И так далее. «Остаюсь вашего королевского высочества верноподданнейшим слугой». Ну, наконец-то! Все ли я высказал из отмеченного? Теперь перепиши, хотя и не окончательно. Это еще не готово – слишком экспрессивно и недостаточно прокомпоновано. Мне придется еще пройтись по всему тексту, кое-что смягчить и упорядочить. Перепиши так, чтобы можно было прочесть; хорошо бы до обеда. Сейчас я встану. Потрачено много времени, а у меня на утро еще куча дел. Une mer a boire[40 - Целое море, которое нужно выпить (фр.)], а за день успеваешь сделать лишь несколько глотков. В полдень мне понадобится экипаж, понятно? Скажи об этом на конюшне. Дождя сегодня не будет. Я хочу с господином архитектором Кудрэй осмотреть новые постройки в парке. Возможно, что он придет обедать, вероятно, и господин фон Цигезар. Что у нас сегодня?

– Жареный гусь и пудинг, ваше превосходительство.

– Хорошенько начините гуся каштанами, будет сытнее.

– Передам, ваше превосходительство.

– Может быть, придет и кто-нибудь из профессоров Школы живописи. Частично она ведь переезжает с Эспланады в Охотничий дом. Надо присмотреть за переездом. Положи халат вот сюда, на стул. Я позволю, когда ты мне понадобишься. Ступай, Карл! Распорядись, чтобы мне подали завтрак еще до десяти, во всяком случае ни минутой позже! Холодную куропатку и стакан мадеры; покуда не выпьешь чего-нибудь подкрепляющего, не чувствуешь себя человеком. Кофе поутру – это скорее для головы, для сердца нужна мадера.



– Так точно, ваше превосходительство, а поэзия требует того и другого.

– Ступай с глаз долой!

...Святая вода, холодная, чистая, столь же священная в своей трезвости, как и солнечно-огненное благодатное вино! Слава воде! Слава огню! Слава сильному, верному сердцу, нет, лучше скажем: чистосердечию, дающему нам каждодневно, как невиданную диковину, ощущать изначальное, чистое и первозданное, исконную сущность высшей утонченности, обычно столь метко и скучно расточаемой. «Вечно струись, вода! Вечно земля крепка! Свет, ты текучей дня! Брошу я день во тьму!» Торжество стихии – уже в «Пандоре», поэтому я и назвал ее апофеозом. Во второй Вальпургиевой ночи все станет еще торжественнее, поднимется еще выше, за это я ручаюсь, – жизнь это подъем, прожитое всегда слабосильно, укрепившись духом, надо вторично пережить его. «Всем у этой переправы четверем стихиям – слава!» Это уже отстоялось, и так я закончу мифологически-биологический балет, сатирическую мистерию природы! Легкость, легкость!.. Высшее и последнее воздействие искусства – обаяние. Только не хмурая возвышенность; даже у Шиллера, переливчатая и блистательная, она трагически исчерпанный продукт морали! Глубокомыслие должно улыбаться, чуть вкрапленное, открывающееся лишь посвященному, – таково требование эзотерики искусства. Пестрые картины – народу, а вслед за ними – тайна для сопричастного. Вы были демократом, милейший, и считали, что должны без обиняков преподнести массе наивысшее благородно и плоско. Но масса и культура – понятия мало согласные. Культура – собрание избранных, по первой улыбке понимающих друг друга. Эта авгурова улыбка относится к пародийному лукавству искусства; наидерзновенное оно преподносит в чопорнейшей форме, труднейшее – растворенным в легкой шутке...

– Вот губка, которой я моюсь. Она уже давно у меня. Экземпляр недвижимого животного глубин, в его фалесовой влажности существовавший еще в дочеловеческие времена. На какой почве ты образовался и возомнил себя великим, о, удивительный росток жизни, у которого отняли его мягкую душу? В Эгейском море, наверно? Может, и ты был среди раковин бледно-жемчужного трона Киприды? Глазам, застанным влагой, которую я выжимаю из твоих пор, видятся Нептунов трезубец, суета подводного царства, водяные драконы и кони, морские грации – nereиды и трубящие в рог тритоны, что тянут Галатееву пестро брызжащую колесницу по царству вод. Это полезная привычка, выжимать губку на затылке, покуда по тебе бежит ледяной пугающе-приятный поток, тело закаляется, а дыхание остается ровным. Если б не эта невралгия в руке, искупаться бы в речке, как в былые времена, когда молодой повеса с длинными, мокрыми волосами, внезапно возникая в ночи, пугал запоздалых прохожих. «Все даруют боги бесконечное тем, кто мил им, сполна...» Далека лунная ночь, когда ты, выходя из реки, весь охваченный студеным жаром, во вдохновенном самопоении выкрикивал эти стихи в серебристую пустоту. Холодные обливания помогли мне разглядеть лицо Галатеи. Нечаянная мысль, осенение, как дар физической стимуляции, здорового возбуждения, счастливой взволнованности крови, Антеева соприкосновения со стихией и природой. Дух – порождение жизни, которая в свою очередь в нем только подлинно и живет. Они предназначены друг для друга и живут друг другом. Не беда, если мысль – от избытка жизни – слишком много мнит о себе. Все дело в радости, а самопоение превращает радость в стихи. Забота, конечно, должна оставаться и в счастье, забота о правильном. Ведь и мысль – кручина жизни. А значит, правильнее, – дитя кручины и счастья. «От матушки веселый нрав!» Вся серьезность исходит от смерти... от благоговения перед ней. Но страх смерти – это упадок мысли, ибо жизнь в ней иссякла. Все мы гибнем в отчаянии. А потому: чти отчаяние! Оно будет твоей последней мыслью. Навеки последней? Вера в то, что на черное уныние оставленного жизнью духа падет светлый луч высшей жизни, – это и есть благочестие.

Вместе с прахом дух не развеется... Я бы уж примирился с благочестием, кабы не эти благочестивцы. Неплохая штука – доверчивое почитание тайны, тихие надежды, если б мракобесное дурачье, молодецкато козыряя неблагочестием, неорелигией, неохристианством, не сделало из этого тенденцию заносчивого «направления» и, потакая мировоззрению мрачных молокососов, не припутало сюда, для вящей убедительности, лицемерия и патриотического пустословия, своих затхлых мозгов... Что говорить! Мы с Гердером тоже заносчиво обходились со «старым», там в Страсбурге, когда ты воспевал Эрвина и его собор, не желая поступаться суровым и характерным; ради мягкого учения новейшей красоты. Нынешним готическим ханжам пришлось бы это по вкусу. Так почему же ты это утаил и выбросил из полного собрания сочинений, теперь, когда Сульпиций, мой добрый и благодетельный умник Буассере, меня усовестил и снова поставил в плодотворное взаимоотношение к старо-новому, к моей собственной юности? Будь благодарен провидению, извечно благоволящей судьбе за то, что и угрюмо опасное явилось к тебе в изящнейшем, благолепном обличий, в виде милого юноши из Кельна, приверженного ко всему торжественно-церковному и народному, – юноше, открывшему тебе глаза на старонемецкое зодчество и живопись, на многое, от чего ты отворачивался, на Ван-Дейка, на тех, между ним и Дюрером, и на византийско-нижнерейнское искусство тоже. Ты заботливо отгородился от юности, которая приходит тебя ниспровергать, заперся от нее во имя самого своего существования, постарался укрыться от всех впечатлений, новых и смущающих, чтобы охранить себя, и вот, внезапно, в Гейдельберге, у Буассере, в музее тебе открылся новый мир красок и образов, выбивший тебя из колеи твоих воззрений и чувств, – юность в старом, старое в юности; и ты постиг, какая это хорошая вещь капитуляция, если она завоевание и покорение, если она несет с собой свободу, ибо свободой определена. Сказал это ему, Сульпицию. Благодарил за то, что он пришел во всеоружии решительной, скромной дружбы завоевать меня, впрячь в свое дело – правда, все они за этим приходят – в свой план достройки Кельнского собора. Он приложил все усилия, чтобы заставить меня признать отечественное изобретение, – старонемецкое зодчество, и то, что готика была значительнее плодов упадочной римской и греческой архитектуры.

Хочет здесь карикатура, Темной ночи отпрыск хмурый, Слыть вершиною творенья.

И так умно и ловко повел свое дело этот мальчик, так энергично и мило и, при всей дипломатии, так искренне, что я полюбил его и вместе с ним его дело. Хорошо, когда у человека есть любимое дело! Оно красит его, – и само себя, даже если это чушь. Не могу без смеха вспомнить, как в одиннадцатом году, при первом его посещении, мы здесь, вдвоем, хлопотали над нижнерейнскими тиснениями, страсбургскими и кельнскими чертежами, Корнелиевыми иллюстрациями к «Фаусту», и Майер застиг нас за столь сомнительным занятием. Входит, бросает взгляд на стол, а я кричу: «Смотрите-ка, Майер, старые времена живьем встают из гроба!» Тот глазам своим не верит. Ворчит, ругает то ложное, что Корнелиус благоговейно перенял из немецкой старины, и тарашит глаза, видя, что я спокойно перебираю рисунки, хвалю Блоксберг, Ауэрбаховский погребок и движение Фаустовой руки, когда он предлагает ее Гретхен, называю удачною мыслью. Майер оторопел и тяжело дышит. Подумать, до чего он дожил! Я не сбрасываю со стола христианское, варварское зодчество, а, напротив, нахожу чертежи башен поразительными и восхищаюсь величию колоннады. Майер вертит их в руках, что-то бормочет, качает головой, смотрит на чертежи, на меня, соглашается, разыгрывает Полония – *It is back'd like a sammel*[41 - Точь-в-точь верблюды («Гамлет»)] – бедняга, предательски брошенный на произвол судьбы единомышленником. Что может быть веселее, чем предавать своих единомышленников? Есть ли удовольствие более каверзное, чем ускользать от них, не даваться им в руки, оставлять их в дураках? И есть ли что-нибудь смешнее, чем видеть их разинутые рты, когда ты одерживаешь верх над собой и завоевываешь свободу? Тут, конечно, могут возникнуть недоразумения; кажется, будто ты свернул не туда, куда надо, и ханжи уже воображают, что ты заодно с ними,

тогда как нас радует даже абсурдное, если мы разбираемся в его сути. Дурачества занимательны, и нечего их держать под запретом. «Как, собственно, обстоят дела с этими принявшими католичество протестантами?» – спросил я Сульпиция; мне хотелось поближе узнать, каким путем они к этому пришли. Он в ответ: «Многому способствовал Гердер и его философия истории человечества, но также и современность, ее всемирно-историческое направление». Ну, это я знаю, это я разделяю с ними; многое разделяешь и с дураками, только оборачивается оно по-иному и иное знаменует. Всемирно-историческое направление – «троны, царства в разрушение», в этом кое-что смыслю и я. И в мою жизнь, если не ошибаюсь, ему случалось вторгаться, – только одного оно одаряет духом тысячелетий, приближает к величию, а других делает католиками. Разумеется, и с традицией связан дух тысячелетий для тех, кто правильно ее понимает. Хотят традицию поддержать ученостью и историческими знаниями. Дурачье, – это-то и противоречит традиции! Ее принимаешь и тут же что-то привносишь в нее или начисто отвергаешь, как доподлинный критический филистер. Но протестанты (так я сказал Сульпицию) чувствуют пустоту и хотят заполнить ее мистикой, ибо если что-то должно, но не может возникнуть, – это мистика. Глупый народ, не понимают даже, как появились обряды, и думают, что обряды можно учреждать. Кто над этим смеется, благочестивее их. Но они будут думать, что ты ханжествуешь вместе с ними, признают своей твою старогерманскую книжечку «Путешествие по Рейну и Майну» – о произрастании искусства в темные времена, быстро перемелют твою жатву, чтобы затем с пучками соломы щеголять на патриотическом празднике урожая. Пусть их! Они ничего не знают о свободе. Отказаться от существования, чтобы существовать, это фокус не простой. Характера тут недостаточно, нужен дух и дар обновлять жизнь силою духа. Животное существует недолго; человеку ведомы повторения жизненных состояний: молодость в преклонном возрасте, старость в юном, ему дано вторично, укрепившись духом, переживать прожитое, высокое обновление отпущено ему, которое есть победа над юношеской робостью, бессилием и беззлобностью – магический круг, не доступный смерти...

Все это принес мне мой добрый Сульпиций, со своей милой обходительностью и молодой восторженностью, стремившийся завербовать меня, не больше. Он не знал, что он несет с собой и чего никак не мог бы донести, если бы светильник не ждал огня, если бы я не был готов к наплыву новых чувств, с которого столь многое началось, который вызвал к жизни куда больше, чем книжка о немецких древностях. В одиннадцатом году он побывал у меня, здесь. А ровно год спустя пришел Гаммеров перевод с предисловием, рассказавшим о том, из Шираза, и вслед за ним – дар внезапного вдохновения, нежданное опознание, мистически радостный мираж метампсихозы под пеленою духа тысячелетий – духа, пробужденного моим сумрачно могучим другом, Тимуром Средиземноморья. В юность мира пришла седая старина: «Мысль тесна, просторна вера» – плодоносный спуск во времена патриархов, и затем другое странствие – в родные края, предпринятое в покорном предчувствии: «...полюбишь ты, хоть кудри белы». И вот пришла Марианна. Не к чему ему знать, как все одно с другим связано. Умолчу, что все началось с его приезда, пять лет назад. Да и было бы неправильно, вскружило бы ему голову. Он был только орудием, хотел пристегнуть меня к своему делу и сам оказался в пристяжке. Однажды даже захотел учиться у меня писать, с целью лучше пропагандировать свои идеи, и решил прожить зиму в Веймаре, чтобы наблюдать за мною и со мной советоваться по поводу своих писаний. Не стоит, дружок, сказал я ему, я обучен своими язычниками, потому что и сам язычник, даже сверх меры! Вам это ничего не даст, вы станете просто вторить мне, а этого мало. К тому же я не могу всегда быть с вами. Позолотил пиллюлю. И предложил еще. Похвалил его маленькие очерки, сказав: они хороши, правильны, ибо в них взят верный тон, а это главное. Мне бы и вполнину так не удалось написать, потому что во мне нет благочестия. И затем прочитал ему из итальянского путешествия место, где я восхищаюсь Палладием и клянусь все немецкое: климат и архитектуру. Слезы выступили на глазах бедняги, и я тут же пообещал ему

вычеркнуть это свирепое место, чтобы доказать, какой я сговорчивый малый. Ведь и из «Дивана», ему в угоду, я убрал выпад против креста, – янтарный крест, северо-западный вздор. Слишком горькими и жестокими счел он эти слова и просил зачеркнуть. Отдам-ка эти стишки сыну, как и многое другое из того, что мозолит глаза людям. Этот все хранит с благоговением, так пускай потешится; к тому же это средство: не сжигать, а глаза не мозолить... Но Сульпиций любит меня – как он ликовал по поводу моего участия в его благочестивых затеях, не только из-за «пользы дела», нет, – из-за меня! Превосходный собеседник! С каким расположением он слушал о кратчайшей ночи и любовных вздыханиях Авроры по Гесперу, когда я читал их ему в дороге, в нетопленной станционной комнате! Отличный малый! Насказал мне премилых, инстинктивно угаданных вещей и был во всех отношениях хорошим спутником и поверенным, с которым в экипаже и на станциях приятно потолковать о разных житейских делах. Помнишь поездку из Франкфурта в Гейдельберг, когда ты, при вечерних звездах, рассказывал ему об Оттилии, как ты ее любил, страдал из-за нее и даже начал заговариваться от холода, возбуждения и бессонницы? Сдается мне, ему было страшно... Красивейшая дорога из Некарельца, высоко в известковых горах, где мы нашли окаменелости и аммониты. Обершафленц-Бухен; мы полдничали в саду при гостинице в Гартгейме. Там была юная служанка, которая смотрела на меня влюбленными глазами. На ней я продемонстрировал ему, как юность и Эрос переходят в красоту, ибо она была некрасива, но чудо как соблазнительна, и стала еще милей от стыдливо насмешливой польщенности, когда заметила, что важный гость говорит о ней. Ей и следовало это заметить, и он тоже, конечно, заметил, что я говорю лишь затем, чтобы она поняла – речь идет о ней. Но он образцово держал себя в подобной ситуации, не сконфуженно, но и не неделикатно – католическая культура! – а потом весело и доброжелательно рассмеялся, когда я поцеловал ее в губы.

Малина под лучами солнца! Разогретый запах ягод, несомненно. Что, они варят варенье? Но ведь сейчас не сезон. А я все же чую этот запах. Весьма приятный аромат, и ягода очаровательная, набухшая соком под бархатистой сухостью покрова, согретая живым теплом, как женские губы. Если любовь – лучшее в жизни, то в любви наилучшее поцелуй, – поэзия любви, печать самозабвения, середина таинства между духовным началом и плоским концом, сладостный поступок, свершенный в высшей сфере и более чистыми органами – дыхания и речи, поступок духовный, ибо еще индивидуальный и высоко различающий: в твоих ладонях единственно милая тебе голова, назад откинута! Из-под ресниц улыбочато-серьезный взгляд, растворяющийся в твоём взгляде! И этот твой поцелуй говорит: «Тебя люблю и ищу, одну тебя, неповторимое божье создание! Среди всего божьего мира ищу тебя». Зачатие же анонимно-бестиально, по существу безвыборно – его покрывает ночь. Поцелуй – упоение, зачатие – сладострастие, его господь дал и червю. Что ж, и ты усердно «почервил» в свое время, и все же твоя сфера – упоение и поцелуй, мыслящее самозабвение, мимолетно соприкоснувшееся с брэнной красотой. В том же самом различии жизни и искусства, ибо изобилие жизни, человеческой жизни – деторождение – не сфера поэзии, духовного лобзания малиновых уст мира. Сцена Лотты с канарейкой, когда крохотное создание так нежно прижимается к сладостным устам и клювик в деловитом прикосновении свершает свой путь от ее рта к другому, изящно похотлива и потрясающа в своей невинности. Хорошо написано! Талантливый мальчишка, об искусстве знающий не меньше, чем о любви. Ведь ты, занимаясь последней, втихомолку подразумевал первое – желторотый птенец, но уже вполне готовый вероломно предать искусству жизнь и человечество. «Мои милые, мои рассерженные, к лейпцигской ярмарке она вышла, простите меня, если можете. Я останусь должником вашим и ваших детей за горькие часы, которые вам доставило мое... называйте его как хотите. Любите меня и не мучьте!» В такое же время года писались эти строки, в смутные дни едва оперившейся юности. Вспомнил дословно это письмо, когда весной мне попало в руки первое издание, и сумасшедший труд снова прошел передо мной после стольких лет. Не случайно – должно было попасться. Эта книжка, как

последнее звено, замыкает все остальное, все, что началось с посещения Сульпиция. Она входит в возвратную фазу, в жизнеобновление, в закалку духа для веселого и торжественного праздника повторения... в общем, отлично сбита эта штука. Молодец мальчик, превосходная психологическая ткань, богатая мотивировка душевных движений. Хороша и осенняя картина там, где сумасшедший собирает цветы. Мило, когда девушка, с мыслью о друге, перебирает всех товаров и в каждой находит какой-нибудь недостаток, ни одной не может уступить его. Могло бы быть уже из «Избирательного сродства». Столь тщательная обработка при такой растерянности чувств, при таких бурных приступах негодования на цепи, сковавшие человеческую личность, на тюремные стены бытия. Понимаю, что молния попала в цель, а это не пустяк. Легко ли это, знает тот, кто это придумал и осуществил. Легким, счастливым, как само искусство, «Вертер» стал благодаря эпистолярной форме, на месте запечатлевающей, непрестанно нанизывающей новое, – в нем целая космическая система лирических миров. Талант – это умение усложнять, но и облегчать себе задачу. С «Диваном» то же самое, – чудно, что все всегда то же самое. «Диван» и «Фауст» – куда ни шло, но «Диван» и «Вертер» еще родственнее, – верней, одно и то же, только на разных ступенях – усиленное, очищенное повторение. Да будет так и ныне и присно. «И восторг и покаяние до безбрежности расширить». О поцелуе много говорится и в ранней и в поздней песне. Лотта у клавирина и ее губки, никогда столь прелестными не виденные, ибо казалось, что они жадно открываются и пьют сладостные звуки, – разве то уже не была в точности Марианна или, верней: разве Марианна не была новой Лоттой, когда пела Миньону, и Альберт сидел поодаль, сонный и терпеливый? Теперь это было уже как праздничный обряд, церемониал, подражание стародавним обычаям, торжественное служение и вневременная реприза, – меньше жизни, чем впервоначале, но и больше тоже, одухотвореннее... Ну, ладно, высокое время отошло, – и это воплощение я больше не увижу. Хотел, но было предуказано, что не должен; значит, на долгие сроки отказ от повторного обновления. Останемся дома! Возлюбленная вернется за поцелуем, вечно юная (страшновато, правда, думать, что она, в своем брэнном обличье, старухой еще живет где-то в стране – не так это хорошо и утешительно, как то, что рядом с «Диваном» продолжает жить «Вертер»).

Но «Диван» лучше дозрел до величия, свободный от всякой патологии, и чета удалась на славу, горные сферы ей по плечу. В жар бросает, когда подумаешь, каких только сумасбродных мотивировок не наворотил птенец в «Вертере». Бунт против общества, ненависть к аристократии, бюргерская уязвленность – на что тебе это сдалось? Дуралей, политическая возня все снижает. Наполеон был прав, говоря: «Почему вы это сделали?» Счастье еще, что на это не обратили внимания, отнесли за счет страстного тона всей книги в уверенности, что непосредственное воздействие здесь в расчет не принималось. Глупый, неоперившийся птенец, и сверх того – невероятно субъективный. Ведь мои отношения с высшим обществом сложились весьма благоприятно. В четвертой части «Поэзии и правды» непременно продиктую, что благодаря Гецу и вопреки его прегрешению против правил всей предыдущей литературы я был отлично принят в высших слоях общества. Где мой шлафрок?

Позвонить Карлу, чтобы шел причесывать. The readiness is all![42 - Быть готовым – это все! (англ.)] – могут нагрянуть гости. До чего приятна эта мягкая фланель, и как удобно в нем закладывать руки за спину. Ходил так по утрам по сводчатой галерее над Рейном у Брентано и по террасе у Виллемеров. Никто не осмеливался со мной заговаривать, робея перед моими размышлениями, хотя я иногда решительно ни о чем не думал. Да, в какие только края не сопровождало меня это ласковое одеяние, – домашняя привычка, которую берешь с собой в путешествие, чтобы защитить прочность своего «я», отстоять его перед лицом чужого. Вот также и с серебряным кубком, и его я всюду вожу за собой, да еще несколько бутылок доброго вина, чтобы мне не испытывать в нем недостатка и чтобы поучительные и радующие чужие края не оказались сильнее меня и моих привычек. Ты считайся с собой, – а если кто и бормочет об окаменелости, то бормочет

вздор, ибо не существует противоречия между самоутверждением, исканием единства жизни, обереганием своего «я» и обновлением, возрожденной молодостью; совсем напротив, последняя существует лишь в единстве, в замкнувшемся круге – знаке, отпугивающем смерть... – Иди прибирать меня, Фигаро, Баттиста, или как там тебя зовут? Причеси мне волосы, щетину я устранил сам, – ты ведь берешь человека за нос, когда надо побрить над губой, мужицкая привычка, терпеть ее не могу. Знаешь историю про студента-шутника, который похвалялся перед приятелями, что возьмет за нос почтенного вельможу. Он втерся к нему под видом цирюльника и при честном народе, ухватив старца за нос, стал вертеть его лицо во все стороны. Проделка была разоблачена, старика с досады хватил удар, студент же, после дуэли с его сыном, на всю жизнь остался калекой.

– Не слыхивал, ваше превосходительство. Но все ведь зависит от смысла и цели, с которой берешь кого-либо за нос, а ваше превосходительство не усомнится, что...

– Ладно, ладно, я люблю бриться собственноручно. Да и с одного дня на другой много не вырастает. Принимайся-ка за мои волосы, я хочу, чтоб ты их напудрил, вот здесь, а здесь надо немножко подвить, когда волосы убраны со лба и висков и прическа не треплется, становишься другим человеком. Тогда фрегат готов к бою, ибо между волосами и мозгом существует тайная связь. Непричесанный мозг – дорого ли он стоит? А знаешь, всего опрятнее это выглядело в былые времена, с косичкой и волосяным кошельком; впрочем, тебе это ничего не говорит, ты возник уже в эпоху стрижки, я же пришел издалека. Пробился через великое множество времен, носил длинную, короткую косичку, тугие и распущенные букли. Право, кажешься себе вечным жидом, который странствует во времени, неизменный, и только – он этого и не замечает – обычаи и костюмы вокруг него изменяются.

– К вашему превосходительству, верно, чудо как шли тогдашние расшитые камзолы, косички и букли.

– Скажу по правде: это было изящное, пристойно сдержанное время, и сумасбродство на таком фоне имело большую цену, чем сейчас. Да и что такое свобода, если она не освобождение? Впрочем, не следует думать, что тогда не существовало прав человека. Господа и слуги. Верно. Но то были богом учрежденные сословия, достойные, каждое на свой лад, и господин умел почитать тех, к кому он не принадлежал, – богоданное сословие слуг. Ибо тогда еще шире было распространено мнение, что всяк, большой или малый, должен до дна испить чашу человеческого.

– Не знаю уж, ваше превосходительство, в конце концов нам, малым сим, все же приходилось горше. Нам нельзя слишком полагаться на уважение богоданного сословия знати.

– Пожалуй, ты прав, Карл. Как мне с тобой спорить? Ты держишь меня, твоего господина, под гребенкой и раскаленными щипцами и можешь рвануть мне волосы или прижечь меня, лишь только я начну возражать. Поэтому разумнее попридержать язык.

– Какие тонкие волосы у вашего превосходительства.

– Верно, хочешь сказать – жидкие.

– Что вы, жидкими они еще только становятся и разве что надо лбом. Я хочу сказать, что тонок каждый волос в отдельности: мягок, как шелк, а это редко встречается у мужчин.

– Ну что же, из какого дерева господь меня выстругал, таков я и есть.

Достаточно ли равнодушно-мрачно сказано? Без заинтересованности в своих природных качествах? Parrucchieri[43 - Парикмахеры (ит.).] не могут не льстить, и этот малый усвоил привычки ремесла, которым он занимается. Хочет угодить моему тщеславию. Вряд ли он понимает, что и у тщеславия суть и стать различны, что оно может обернуться углубленностью, серьезным, вдумчивым самонаблюдением, автобиографической манией, настойчивым любопытством к путям и перепутьям твоего физически-нравственного бытия, к далеким запутанным дорогам и темным опытам природы, на диво миру приведшим к возникновению такого существа, как ты. А отсюда следует, что льстивый отзыв о наших телесных свойствах иногда воздействует не как поверхностное, приятное щекотание, но словно голос, манящий к познанию трудных и счастливых тайн. Я из того дерева, из которого меня выстругала природа. Баста. Есмь, каков есмь, и живу, как птица небесная, памятуя, что, живя безотчетно, продвинешься всего дальше. Это так, это верно. Но вот вожусь же я со своей автобиографией? Это согласуется с моим ворчливым ответом. И если ее тема – становление, дидактический показ того, как формируется гений (тоже – тщеславие, хотя и научное), то больше всего ее занимает сама материя этого становления, сокровенные силы жизни, создавшие Гете. Размышляют же мыслители о мышлении, так как же творцу не размышлять о творящих силах, тем более когда он вновь углубился в творчество, в высоко тщеславное эгоцентрическое вживание в феномен творца? Тонкие, мягкие волосы! Вот моя рука лежит на пудермантеле, отнюдь не гармонирующая с мягкими, «тонкими» волосами, – не узкая, одухотворенная барская ручка, а широкая и твердая рука ремесленника, унаследованная от поколений бравых кузнецов и мясников. Как должны были – в возможной невозможности, в случайной удаче – смешиваться в течение веков хрупкость и здоровье, слабость и твердость, утонченность и грубость, безумие и разум, чтобы дать под конец возникнуть таланту, феномену? Под конец! «Создает не сразу Род ни чудовища, ни полубога. Лишь долгий ряд достойных иль дурных Дарует миру ужас иль отраду».

Полубог и чудовище! Но разве я их не слил воедино, когда писал «Ифигению», не принимал одного за другое и не знал, что без некоторого ужаса в радости, без «чудовища в полубоге» ничего получиться не может. Злое и доброе – что знает об этом природа, когда даже о болезни и здоровье ей немного известно и из болезненного она рождает радость и жизнеобновление? Природа! Начнем с того, что ты дана мне через меня самого и через меня же тебе и истинное отмщение. Одно ты мне открыла: если род способен долго продержаться, то обычно, прежде чем он вымрет, возникает индивидуум, который вбирает в себя дотоле разъединенные и лишь слабо намеченные задатки всех предков и в совершенстве выражает их. Хорошо сказано, заботливо и поучительно, людям для самопознания сущего – наука о природе, рассудительно абстрагированная от собственного проблематического бытия. Эгоцентризм? Но как не быть эгоцентричным тому, кто видит в себе цель природы, итог, завершение, апофеоз, конечный и высший результат, прийти к которому ей стоило немалых трудов? И почему все это возвращение и порождение, это скрещивание и подбор кровей на протяжении столетий, где подмастерье из чужого города, по обычаю, высватывает дочку мастера, где дочь графского лакея или портного была взята землемером или судейским – почему все это увенчалось столь исключительной удачей? Мир найдет, что я таков, потому что душевными силами, почерпнутыми извне, сумел преодолеть предрасположения, даже опаснейшие, сумел преобразить их, облагородить, насильственно направить на доброе и великое. Я – баланс жизненных натяжек, точно дозированная счастливая случайность природы, – танец меж ножей, стремление к трудностям и поблажкам, натяжка и допущение пополам с гениальностью – да и может ли быть иначе? Ведь гений всегда натяжка и допущение. Люди, на худой конец, чтут твое творчество, твою жизнь не чтит никто. Я говорю вам: «Попробуй, повтори, не поломав хребта!»

Что значит твой страх перед брачными узами, ощущение того, как бессмысленно и даже запретно продолжать свой род по примеру предков, как бесцельно дальнейшее

комбинирование кровей теперь, когда цель достигнута? Мой сын – плод фривольной необходимости, предосудительных постельных уз – уже по ту сторону цели. Он – эпилог. Разве я этого не знаю? Природа от него отвернулась, а я хочу попытаться еще раз ожить в нем, хочу женить его на этой амазоночке, ибо она из той породы, от которой я неизменно бежал. Что ж, привьем себе прусскую кровь, чтобы не дать так быстро отзвучать аккордам финала, под которые естество, соскучившись и зевая, уходит домой. Я знаю, в чем тут дело. Но знание – это одно, а чувство – другое. Оно утверждает свои права quand teme вопреки холодному знанию. Как будет красиво, благоприлично, когда в доме воцарится Лили и старик станет галантно шутить с нею, а там, глядишь, появятся и внуки, кудрявые внуки, внуки-призраки, с ростком пустоты в сердцах, – ты будешь любить их без веры и надежды, только из потребности в любви...

Она не знала веры, любви и упований, Корнелия, сестра, мое второе «я» в женском образе, не созданная быть женщиной. Разве ее отвращение к супругу не было подобием твоего страха перед браком? Непонятное существо, предельно чужое на земле, непостижимое и себе и другим, суровая аббатиса, подкошенная первыми ненавистными патологическими родами, – такова твоя родная сестра, единственная из четырех, с тобою вместе и себе на горе переросшая младенчество. Где все остальные – чудно красивая девочка, тихий упрямый мальчик, не от мира сего, бывший мне братом? Их нет уже давно. Они исчезли, едва возникнув, скупно оплаканные, насколько мне помнится. Ребяческий сон, почти стершийся, почти позабытый...

Тебе – уйти, мне – жить на долю пало, Покинув мир, ты потерял так мало!

Или так велики мой эгоизм, жадность к жизни, что я хладнокровно вобрал в себя то, чем могли бы жить вы все? Существуют преступления, более глубокие, глубже сокрытые, нежели те, что совершаешь сознательно. Или у них хватило сил породить одну значительную жизнь, в остальном же смерть, потому что отец был вдвое старше матери, когда женился на ней? Благословенная чета, избранная подарить миру гения. Несчастливая чета! Матушка, с ее веселым нравом, лучшие годы пробыла сиделкой немощного тирана. Корнелия ненавидела его – может быть, лишь за то, что он ее породил. Но разве этот ворчливый ипохондрик, этот полоумный брюзга, этот ничего не делавший тяжелодум и назойливый педант, боявшийся, что любая струя свежего воздуха нарушит порядок, установленный им в поте лица, – не заслуживал ненависти? В тебе немало есть от него, – осанка, страсть к собирательству, церемонность и чопорность, – ты только преобразил его педантизм. Чем старше ты становишься, тем сильнее проступает в тебе призрачный старик, и ты узнаешь его, признаешь с сознательной и упорной верностью, следуешь за ним, своим прототипом, отцом, которого сызмальства почитал. Душа, душа, я верю в нее и хочу верить. Жизнь была бы несносна без прикрас душевного обмана. Ведь под ним ледяной холод. Ледяная правда делает тебя великим и ненавистным, мир можно примирить с собой лишь приветливо-милосердным душевным обманом. Отец был тяжелым мужем чести – позднее дитя пожилых родителей – и имел брата, явно сумасшедшего, кончившего жизнь безумцем, как, собственно, кончил и отец. «Мой предок был до баб охоч!» – веселый франт, Текстор. Отец моей матери, гуляка и селадон, не раз постыдно застигнутый разгневанными мужьями, но мечтатель притом, отмеченный даром ясновидения. Причудливая смесь! Верно, мне надо было убить всех моих сестер и братьев, чтобы во мне они приняли более пристойную и приятную форму – обаятельную, хотя толика безумия во мне все же застряла, как подпочва блеска, и, не унаследуй я воли к порядку, к искусству заботливого самосохранения, к целой системе защитных ограждений – что бы со мной случилось? Как я ненавижу безумие, свихнувшуюся гениальность и полугениальность, как я в душе презираю и бегу даже пафоса, эксцентричного жеста, громогласности! Это трудно выразить словами. Отвага – лучшее и единственное, она необходима, но в тиши, абсолютно пристойная, абсолютно ироническая, спеленутая множеством условностей. Таким я хочу быть, и таков я есть.



Здесь был этот самый фон Зонненберг (так, что ли, его зовут), которого они окрестили кимвром, парень дикого и разнузданного поведения – хотя в основе и добродушный. Делом всей его жизни было стихотворение о Страшном суде, безумное предприятие, безумное и неучтливое, апокалиптическое чудище, возмутительно изложенное. Мне стало нехорошо, как при чтении «Бедного Генриха». В результате гений выбросился из окна. Сгинь, сгинь, рассыпья!

Хорошо, что он так убрал меня, элегантно и немного по-старомодному. Если придут гости, я буду, к обоюдному успокоению, ровным голосом говорить различные слова, всего меньше походя на гения и таинственный призрак, к которому милые обыватели приближаются не без робости, но и не без усмешки. С них хватит разговоров о моей маске, об этом лбе, о знаменитых глазах, которые я, судя по портретам, так же как и форму головы, рта и южно-смуглый цвет лица, просто-напросто унаследовал от бабки Линдгеймер, в замужестве Текстор. Что, собственно, значит наша физиогномическая оболочка? Все это существовало уже сто лет назад, знаменуя собой разве что здоровую, разумную, энергичную смуглую женскую сущность. Эта сущность дремала в матери, женщине совсем другой породы, и только во мне стала выражением и оболочкой того, что я есть, – приняла духовную статью, которой прежде отнюдь не обладала, да и не должна была обладать.

В какой степени мое физическое «я» выражает мою духовную суть? Мог ли бы я иметь эти глаза без того, чтобы они были глазами Гете. Впрочем, на Линдгеймеров я полагаюсь. Они, вероятно, лучшее, достойнейшее во мне. Принято думать, что первоначальное их местожительство, по которому они и прозываются, расположено недалеке от римского пограничного вала, в узкой долине, где спокон веков смешивалась античная и варварская кровь. Оттуда ты родом, отсюда у тебя эта смуглая кожа, глаза и чужеродность, приметливость к немецкой низости, тысячью корней питающаяся антипатия к этому чертову народу, благодаря и наперекор которому ты живешь, к чьему совершенствованию ты призван, ради которого ты ведешь эту непосильно кропотливую, тягостную жизнь, изолированную не только благодаря высокому рангу, но и инстинкту, принудившему их против воли признать тебя, чтобы всячески исказить твой смысл. Ужели же мне не знать, что, в сущности, я всем вам в тягость? Как примириться с вами? Временами я всем сердцем готов на примирение, оно должно удалиться, ведь удавалось же, ведь многое есть в тебе от их крови, саксонской, лютеровской, чему ты гордо радуешься, но в силу направленности и самой сути своего ума все же не можешь это растворить в светлой иронии и обаятельности. Но они либо не верят в твою немецкую сущность, либо считают, что ты во зло ею пользуешься, и слава твоя для них, что ненависть и мука. Жалкое существование в противоборстве народности, которая все же подхватывает и несет пловца. Должно быть, так суждено! Жалеть меня нечего! Что они ненавидят правду – худо. Что не понимают ее прелести – досадно. Что им так дороги чад и мишура и всяческое бесчинство – отвратительно. Что они доверчиво преклоняются перед любым кликушествовавшим негодяем, который обращается к самым низким их инстинктам, оправдывает их пороки и учит понимать национальное своеобразие как доморощенную грубость, то, что они мнят себя могучими и великолепными, успев до последней нитки продать свое достоинство, со злобой косятся на тех, в ком чужестранцы видят и чтят Германию, – это пакостно. Нет, не стану примиряться! Они меня не терпят – отлично, я тоже их не терплю. Вот мы и квиты. Мою немецкую сущность я храню про себя, а они со своим злобным филистерством, в котором усматривают свою немецкую сущность, пусть убираются к черту! Мнят, что они – Германия. Но Германия – это я. И если она погибнет, то будет жить во мне. Как бы вы ни хотели уничтожить мое дело, я стою за вас. Беда только, что я рожден скорее для примирения, чем для трагических стычек. Разве вся моя деятельность – не примирение, не сглаживание углов? Разве смысл моего существования – не подтверждение, признание, оплодотворение всего на свете, не уравнивание, не гармония? Лишь все силы, объединившись, создают мир, и

существенна каждая из них, каждой причитается развитие; любая склонность завершает лишь сама себя. Личность и общество, романтику и жизнестойкость, сознательность и наивность – то и другое в одинаковой степени принимать в себя, впитывать, быть всем, устыжать партизан любого принципа доведением принципа до конца, как, впрочем, и его противоположности тоже. Гуманизм, как всемирно-вездесущее, как наивысший, соблазнительнейший прообраз, как пародия на себя самого, мировое господство, как ирония и безоглядное предательство одного для другого – этим подавляешь трагедию. Трагедия царит там, где еще не восторжествовало мастерство, моя немецкая сущность, их репрезентующая и состоящая во всевластии и мастерстве; ибо Германия – это свобода, просвещение, всесторонность и любовь. Что им это неведомо, дела не меняет. Трагедия между мной и этим народом? Ах, подумать, мы ссоримся, но там, вверху, в легкой, проникновенной игре я хочу справить полное примирение, хочу магически рифмующуюся душу пасмурного севера обручить с вечной, триметрической синевою – для зачатия гения. «Как мне усвоить ваш прием красивый? – Он кроется в невольности порыва».

– Вы меня спрашиваете, ваше превосходительство?

– Что? Нет. Я что-нибудь сказал? Во всяком случае, к тебе это не относится. Видно, я разговариваю сам с собой. Ничего не поделаешь, годы! Человек начинает бормотать про себя.

– Это не годы, ваше превосходительство, а живость мысли. Вам, верно, и в молодости случалось говорить с самим собой.

– И опять ты прав. Даже чаще, нежели теперь, в преклонных летах. Ведь болтать с самим собою – это придурь, а юность – придурковатое время, ей это к лицу, но позднее уже не годится. Я носился по полям и лугам, кровь стучала во мне, я начинал болтать вздор, и получались стихи.

– Ваше превосходительство, это ведь и было то, что называют гениальным озарением.

– Возможно. Так называют его те, кто его не ведает. Позднее преднамеренность и характер сменяют этот душевный вздор, и то, что они производят на свет, нам, пожалуй, понятней и дороже. Скоро ли ты меня отпустишь? Пора бы и кончить. Неплохо, конечно, что ты свое дело считаешь главнейшим, но подготовка к жизни не должна быть обратно пропорциональна ей самой.

– Согласен, ваше превосходительство. Но ведь дело должно быть доделано. В конце концов все-таки понимаешь, кто у тебя под руками. Пожалуйста, вот зеркало.

– Ладно, ладно. Попрыскай одеколоном на мой платок! Ах, до чего хорошо! Вот истинно приятное ощущение, помню его еще со времен пудренных париков и всю жизнь любил запах одеколона. Император Наполеон тоже весь пропах им, – будем надеяться, что этого он не лишен и на острове Святой Елены. Маленькие радости и благодеяния жизни, надо тебе знать, становятся весьма важными, когда с самой жизнью и героическими подвигами уже покончено. Такой человек, такой человек! Вот они и заперли его, неукротимого, в неодолимых морских просторах, чтобы дать миру передышку и чтобы мы здесь могли спокойно позаняться каждый своим делом... В общем, вполне правильно. Сейчас не время войн и героических эпопей, «король бежит, и бюргер торжествует», пришла пора полезного века, века денег и коммуникаций, торгового духа и благосостояния. Как же не жалеть и не верить, что сама природа набралась благоразумия и раз и навсегда отреклась от всех безумных, лихорадочных потрясений, дабы навек обеспечить мир и благосостояние. Весьма утешительная мысль, ничего

против нее не имею. Но когда начинаешь думать, что делается в душе такого осколка стихии, чьи силы задушены тишиною водных пустынь, такого узника и скованного титана, этой засыпанной Этны, в чьем кратере все бурлит и бушует, а огненные языки уже не находят выхода, – кстати, имей в виду, что разрушительная лава служит и удобрением, – то сердце изрядно щемит и в душу, искушая тебя, закрадывается сострадание, хотя сострадание вовсе не допустимое чувство в подобном случае. Но чтобы у него все же имелся одеколон, к которому он привык, этого ему следует пожелать. Я иду в кабинет, Карл. Скажи господину Джону, чтобы он, наконец, объявился.

– Елена, святая Елена! – То, что он там заключен, что так называется остров, что я ищу ее, что она – мое единственное желание, «столь вожделенна сколь и хороша», что она делит имя со скалой прометеевых мук, дочь и возлюбленная, принадлежащая только мне одному, а не жизни, не времени, ведь тоска по ней – единственное, что приковывает меня к этому туманному, неборимому творению. Удивительная штука такое сплетение жизней и судеб! Вот он, письменный стол, мое рабочее место. Отдохнувший за ночь, отрезвленный утром, он опять зовет ринуться за новой добычей. Налицо все пособия, источники, все средства и завоевания научных миров во имя творческой цели. Как жгуче интересно становится любое знание, годное для игры, могущее обогатить, скрепить твоё творение! Перед ненужным ум замыкается. Но нужным, конечно, становится все большее, чем старше становишься сам, чем шире разветвляешься; и если так продолжится еще, то скоро и вовсе не будет ненужного. Вот это, касательно вырождения и болезней растений, надо прочитать сегодня – после обеда, если выберу время, или вечером. Неправильные образования и уродства весьма существенны для приемлющего жизнь. Патологическое, пожалуй, ясней всего поучает норме, и временами тебе кажется, что болезнь способствует самому глубокому проникновению в неизвестное. Взгляни, здесь ждет тебя нечто из мира критических радостей; «Корсар» и «Лара» Байрона – прекрасный, гордый талант. Это я не отложу и перевод Гриза из Кальдерона также, да и книга Рюкштюля о немецком языке может многое оживить во мне. *Technologia rhetorica* Эрнести безусловно буду изучать дальше. Такие вещи проясняют ум и разжигают любознательность. Этих Ориенталей давно уже заждались герцогская библиотека... Все сроки возврата прошли. Но я не верну ни одну из них, мне нельзя остаться безоружным, куда я живу в «Диване», и карандашные пометки тоже буду делать, никто не обессудит.

*Carmen panegyricum in laudem Muhammedis*[44 - Магометово славословие, восхваляющее бога (лат.) – намек на фрагмент Гете 1774 года «Магомет».] – черт возьми, опять эта поздравительная ода! Начало:

Дыханьем гор, как волнами эфира,  
Овеянный на высях бездн лесистых, –

несколько насильственное сопоставление – выси бездн, ну, это мне простят, ведь картина получилась смелая и вдохновенная. Бездны поглощают, так пусть они и проглотят метафору! «Устыжает сумрак скал» – тоже нечто в этом роде.

Пособие и сырой материал. А почему, собственно, сырой? Мог быть чем-то и сам по себе, самоцелью. Он вовсе не был предназначен, чтобы кто-то явился и выжал небольшой флакончик розового масла из этой груды, после чего оставшийся хлам годится только на выброс. Откуда берется дерзость возомнить себя богом среди хаоса и неустройства, которым ты пользуешься по своему произволу? Всеотражающим светом, отраженным в природе, который и своих друзей и все, с чем он сталкивается, рассматривает как бумагу для своего письма? Что это, нахальство или великая дерзость? Нет, это богом возложенная на тебя миссия, предначертанная тебе форма существования. Так простите же и наслаждайтесь, все это вам на радость.

«Путешествие в Шираз» Варинга – весьма полезная книга. «Мемуары о Востоке» Аугусти многое дали мне; Клапротов азиатский журнал; раскопки на Востоке, в обработке общества любителей – для настойчивого любительства, это прямо-таки золотые прииски. Надо снова полистать в двустихьях Шейха Джелаледдин-Руми и светозарных плеядах на небе Аравии тоже, а для примечаний весьма пригодится перечень библейской и восточной литературы. Вот и арабская грамматика. Следовало бы опять немного поупражняться в этих затейливых письменах – помогает контакту. Контакт, содержательное слово, много говорящее о нашем душевном обиходе, въедливом самоуглублении в предмет и сферу, без которого ты немощен, об этой одержимости духом исследования, делающей тебя настолько посвященным в тайны любовно воспринятого мира, что ты с легкостью начинаешь говорить на его языке, и изученную подробность никто уж не может отличить от поэтического наития. Прихотливый подвижник! Люди сочли бы удивительным, что для книжечки стихов и речений понадобилась столь обильная пища – все эти путешествия и картины нравов. Едва ли они признают это проявлением гениальности. В дни моей юности, едва только прогремели «Страдания юного Вертера», этот грубиян, Бретшнейдер, взял на себя заботу о моем смирении. Преподнес мне бесцеремонные истины касательно моей персоны или того, что он принял за таковую. «Не заносись, братец, не так уж ты преуспел, как тебе внушает шумиха, поднятая вокруг твоей книжонки! Можно подумать, что ты невеста какой гений! Я-то тебя раскусил. Ты судишь обычно вкривь и вкось и сам знаешь, что ты тяжелодум. Правда, ты достаточно умен и спешишь немедленно согласиться с людьми, которых считаешь проницательными, вместо того чтобы вступать с ними в споры, рискуя обнаружить свою слабость. Вот каков ты. К тому же тебе свойственна душевная неустойчивость, бессистемность, из одной крайности ты бросаешься в другую, из тебя можно с одинаковым успехом сделать гернгутера и вольнодумца, ибо влиянию ты поддаешься на диво. А доза гордости у тебя уже непозволительная. Почти всех людей, кроме себя, ты считаешь немощными созданиями, на деле же ты слабейший из слабых, настолько, что о немногих, тобою признанных, ты совершенно не в состоянии судить сам и придерживаешься ходячего мнения. Я решил наконец тебе это высказать! Зерно талантливости в тебе, конечно, есть, поэтический дар, впрочем проявляющийся лишь, когда ты долго вынашиваешь материал, перерабатываешь его в себе и собираешь все, что тебе нужно для замысла. Тогда все идет как по маслу. Если что-нибудь тебе приглянулось, оно уже застрянет у тебя в душе или в голове, и с того момента ты стараешься все скрепить глиной своей работы. Все твои помыслы и чувства устремляются только на твой объект. Вот и все, чем ты силен, больше ничего в тебе нет. И не забивай себе голову бреднями о популярности!»

Я как сейчас слышу его, этого чудака. Что за нелепый правдолюбец и паладин познания! Отнюдь не злой. Он сам, вероятно, страдал от остроты своих критических идей. Осел, меланхолически прозорливый осел, разве он не был прав? Прав, трижды прав! Ну, дважды в крайнем случае! Во всем, чем он мне тыкал в нос: непостоянство, несамостоятельность, податливость и ум, способный разве что воспринимать и долго вынашивать, выбирать пособия и пользоваться ими! Разве бы оказался у тебя под рукой весь этот ученый инструментарий, если бы время не питало слабости и любопытства ко всему восточному до того, как им занялся ты? Тебе ли принадлежит открытие Гафиза? Нет, это фон Гаммер открыл его для тебя и умело перевел. Читая Гафиза в год русского похода, ты был потрясен и очарован этой модной книгой, а так как ты умеешь читать лишь затем, чтоб чтение настраивало, оплодотворяло, совращало тебя, вводило в искушение самому создать подобное, продуктивно воскресить пережитое, то вот ты и стал писать, как перс, и прилежно, неусыпно накапливать все, потребное для маскарада, для новой оболстительной затеи. Самостоятельность! Хотел бы я знать, что это такое? «Он был оригинален и, знать, по сей причине ни в чем не уступал любому дурачине!» Мне тогда было двадцать, а я уже натянул нос своим почитателям. Потешался над оригинальничанием бурных гениев. И знал почему. Ибо оригинальность – это нечто

отталкивающее, это безумие, бесплодное искусничество, тупое чванство, стародавнее бахвальство духа, стерилизованное шутовство. Я презираю его несказанно, так как хочу плодоносного, женственного и мужественного зараза, оплодотворяющего и приемлющего, своего, широко обусловленного и все же личного. Недаром я похож на ту достойную женщину. Я – это смуглая Линдгеймерша в мужском обличье, лоно и семя – андрогинное искусство, через меня обогатившее воспринятый мир. Да разумеют сие немцы. В этом я их сколок и прообраз. Приемлющие мир и его одаряющие с сердцами, широко раскрытыми для плодотворного восхищения, возвысившиеся благодаря разуму и любви, благодаря посредничеству духа, ибо дух есть посредничество. Такими они должны быть, и в этом их предназначение, а не в том, чтобы коснеть в качестве оригинальной нации в пошлом самосозерцании, самовозвеличении... и в глупости. Более того, через глупость править миром. Злополучный народ! Добром он не кончит, ибо он не может понять самого себя, а всякое непонимание себя возбуждает не только смех, но и ненависть мира и грозит опасностью. Что тут скажешь! Судьба по ним ударит. Ибо они сами себя предали, не пожелав стать тем, чем они должны были бы стать. Судьба рассеет их по лицу земли, как евреев – поделом, ибо лучших среди своих они изгоняли, и лишь в изгнании, в рассеянии, на благо нации, разовьют они то доброе что в них заложено, станут солью земли... Кто-то откашливается и стучит. Это хрипун.

– Смелей, смелей! Войдите.

– С добрым утром, ваше превосходительство.

– Итак, Джон, это вы. Мое почтение. Подойдите ближе. Раненько мы сегодня поднялись.

– Да вы, ваше превосходительство, всегда спозаранку беретесь за дела.

– Не о том речь. Я имел в виду вас: вы раненько поднялись сегодня.

– О, прошу прощения, я не предполагал, что речь идет обо мне.

– Ну, это я бы назвал уже сверхскромностью. Разве коллега моего сына, ученый, латинист, правовед и превосходный каллиграф, не заслуживает, чтобы речь шла о нем?

– Покорнейше благодарю. А если так, то для меня было неожиданностью, что первое слово из столь почитаемых мною уст оказалось упреком. Я могу истолковать замечание вашего превосходительства лишь в том смысле, что я сегодня явился вовремя. Если болезнь груди и длительные приступы кашля по ночам иногда и заставляют меня дольше оставаться в постели, то, думалось мне, я вправе рассчитывать на высокую гуманность господина тайного советника. Кроме того, не могу не заметить, что, несмотря на мой своевременный приход, предпочтение все же было отдано Карлу.

– Ай, ай, что за человек! Охота же понапрасну омрачать себе утренние часы. Приписывает мне беспощадность в словах и тут же обижается на чрезмерную пощаду в поступках. Я немного подиктовал Карлу, лежа в постели, потому что он оказался поблизости. Кое-какие служебные бумаги, вас же ждет нечто куда более приятное. Кроме того, я ничего плохого не думал и отнюдь не хотел вас обидеть. Как мог бы я не уважать ваши страдания и не считаться с ними? Мы христиане. Ведь вы вот какой выросли, мне приходится смотреть на вас снизу вверх. И к тому же постоянное сидение среди книг, в бумажной пыли. Молодую грудь от этого закладывает, да и вообще это болезнь молодости; созревая, ее побеждаешь. Я тоже харкал кровью в двадцать лет, а нынче, как видите, довольно крепко стою на старых ногах. Да еще при этом руки завожу за спину, распрямляю плечи, чтобы грудь вздымалась – смотрите – вот так. Вы же опускаете плечи, грудь вдавливаются, вы слишком мягкотелы – говорю вам это со всем

христианским гуманизмом. Нельзя, Джон, дышать одной пылью, при малейшей возможности выбирайтесь на вольный воздух, в поля и леса. Я поступал так, и вот выкарабкался. Человек подвластен природе. Ноги должны ступать по земле, пусть ее сила и соки впитываются в него, а над ним голосисто проносятся птицы. Цивилизация, духовная жизнь – понятия не плохие, даже великие. Допустим. Однако без Антеевой компенсации, как бы я назвал это, они действуют на человека разрушительно и вызывают болезни: а он еще ими гордится, носится с ними, как с чем-то почетным и даже полезным. Ведь и в болезни есть нечто полезное, она – отпущение, по-христиански за нее многое следует простить. И если такой человек амбициозен, привередлив, охоч до сластей и вина, живет, не считаясь с хозяевами, и редко работает в положенные часы, то, пожалуй, и правда, приходится семь раз отмерить, прежде чем осквернить свои христианские уста нравочением, памятуя, что его большая грудь раздражена еще и куревом, дым от которого из его комнаты нередко проникает в дом, досажая тем, кто его не терпит. Я имею в виду табачный дым, а не вас, так как знаю, что вы все же терпите меня, что я мил вам, и вы огорчаетесь, когда я на вас ворчу.

– Весьма огорчаюсь, господин тайный советник. До боли, смею вас заверить! Я с ужасом слышу, что дым моей трубки, несмотря на все меры предосторожности, проник через щели. Мне хорошо известно предвзятое отношение вашего превосходительства к...

– Предвзятое отношение? Предвзятое отношение есть слабость. Вы сворачиваете на мои слабости, тогда как речь идет о ваших.

– Исключительно о моих, ваше превосходительство. Я не отрицаю ни одной из них и отнюдь не думаю их умять. Прошу только об одном: поверьте, если мне еще не удалось совладать с иными слабостями, то, безусловно, не потому, что я считаю возможным ссылаться на мою болезнь. Говорю это вполне серьезно, хотя вашему превосходительству и угодно смеяться. Мои слабости, я бы даже сказал – пороки, непростительны. Но если я временами и предаюсь им, то отнюдь не физические немощи могут послужить мне оправданием, но душевное смятение. Да не будет сочтено дерзостью, что я позволяю себе воззвать к моему благодетелю и его великому знанию людей, напоминаю, что планомерный труд, служебная исполнительность молодого человека могут понести ущерб в момент, когда он переживает душевный кризис, когда все его мысли и убеждения переворачиваются под влиянием – я едва не сказал: давлением – нового, столь значительного окружения, и он непрестанно терзается вопросом, предстоит ли ему найти себя или потерять.

– Ну-с, дитя мое, до сегодняшнего дня вы, откровенно говоря, не дали мне заметить критических превращений, в вас совершающихся. В чем они состоят и к чему вы клоните, я, кажется, понял. Разрешите мне говорить прямо, друг мой. О политическом Икаровом полете, об извращенных политических страстях ваших юных дней я ничего не знал. Что вы изволили выпустить тот предерзостный и клеветнический пасквиль на крепостников, восхваляющий крайне радикальный строй, – об этом я не был в свое время поставлен в известность; иначе, несмотря на ваш хороший почерк и кое-какие знания, я, поверьте, не принял бы вас в число моих домочадцев. Ведь из-за этого мне нередко приходилось выслушивать от весьма достойных людей из высоких и высших сфер слова удивления и даже порицания. Если я правильно понимаю вас, – мой сын тоже намекал мне на нечто подобное, – вы решили вырваться из тенет ваших заблуждений и, покончив с ниспровергательскими тенденциями, встать на сторону правопорядка и исконных государственных устоев. Я, однако, считаю, что этот процесс созревания и прояснения, которым вы могли бы гордиться, следует приписать вам самому, вашему здравому уму и сердцу, а отнюдь не какому-то влиянию, или – еще того не легче – давлению извне. Считаю также, что он никоим образом не может служить объяснением нравственной смуты и неподобающего поведения, ибо, надо думать, это процесс выздоровления,

оказывающий целительное воздействие на душу и тело. А последние так тесно связаны и переплетены, что одно не может находиться под воздействием, благотно или губительно не затрагивающим другого. Уж не думаете ли вы, что ваши революционные прихоти и эксцессы не имеют ничего общего с отсутствием того, что я назвал Антеевым возмещением цивилизации и духа с неведением простой и здоровой жизни на груди природы и что ваши физические хворь и слабость не то же самое, что и те умственные прихоти? Все это едино. Закаляйтесь и проветривайте тело, не утруждайте его водкой и едким дымом, и в вашем мозгу тоже зароятся благонамеренные, порядочные мысли. Вы избавитесь раз и навсегда от жалкого духа противоречия, противоестественного стремления исправлять мир. Выхаживайте насаждения ваших достоинств, старайтесь хорошо зарекомендовать себя в благодетельно упроченном, и вы увидите, что и ваше тело станет ладным и прочным сосудом жизнерадостности. Вот мой совет, если вам угодно ему последовать.

– О, ваше превосходительство, ужели я не воспользуюсь им! Как мог бы я столь благосклонный совет, столь мудрое руководство не принять с прочувствованной благодарностью! К тому же, я убежден, что утешительные обещания, которые мне довелось выслушать, полностью сбудутся, оправдаются впоследствии. Но сейчас, покуда в высокой атмосфере этого дома трудно и мучительно свершается обращение моих мыслей и убеждений, в это время перехода из мира одних идеалов в другой мое душевное состояние еще крайне запутано, не свободно от тоски отречения, а потому предъявляет права на снисходительность. Что я говорю – права! На какие права я могу претендовать? Но смиренную надежду на снисходительность я все же решаюсь питать. Ведь с обращением связан отказ от многих, куда более существенных, пусть незрелых, мальчишеских, верований и упований, которые хоть и несли с собою много боли и озлобления, хоть и ввергали человека в мучительный разлад с правильно понимаемой жизнью, но в то же время тешили, возвышали его душу, влекли ее к гармонии с высокими истинами. Отказаться от фантастической веры в революционное очищение нации, в человечество, просветленное стремлением к свободе и справедливости, – короче, от веры в земное царство счастья и мира под скипетром разума, проникнуться жестокой в своей трезвости истиной, что натиск вечных сил, слепой и несправедливый, никогда не перестанет колебаться, давая перевес то одной, то другой исторической силе, – это не легко, здесь чувства вступают в опасный и тяжкий внутренний конфликт. И если при столь стесненных обстоятельствах, при всех этих болезнях роста, молодой человек ищет иногда забвения в бутылочке тминной или старается затуманить утомленный мозг благодетельным табачным дымом, – разве же он не смеет рассчитывать на известную долю сострадательного снисхождения у великих мира сего, чей могучий авторитет не вовсе непричастен к переживаемому им душевному кризису?

– Какое красноречие! В вас погиб патетический и льстивый адвокат – впрочем, может быть, еще и не погиб. Вам удалось сделать свои страдания занимательными для других, а следовательно, вы не только оратор, но к тому же еще и поэт, хотя с этим титулом не вяжутся политические восторги; политики и патриоты плохие поэты и свобода – отнюдь не поэтическая тема. Однако, если вы используете прирожденный ораторский дар, сделавший из вас литератора и политического деятеля, для того, чтобы представить меня в столь невыгодном свете и обернуть дело так, словно общение со мной отняло у вас веру в человечество и толкнуло вас в циническую безнадежность, это уж не слишком красиво! Я, кажется, желаю вам только добра, и вряд ли приходится досадовать, что, давая вам советы, я больше пекусь о вашем личном благе, нежели о благе человечества. Что же вы делаете из меня Тимона? Не поймите меня превратно! Я считаю вполне возможным и вероятным, что наш девятнадцатый век не только продолжит прошлый, но предназначен стать началом новой эры, когда мы сможем усладить свой взор видом человечества, поднимающегося к своей чистой сути. Правда, здесь возникает опасение, что восторжествует средняя, чтобы не сказать – серенькая, культура; ведь

одним из ее отличительных признаков и является то, что многие, кому это вовсе не пристало, суются в государственные дела. Снизу – это сумасбродная претензия юнцов влиять на сугубо важные моменты государственной жизни, сверху – склонность уступать им, по слабости или от чрезмерного либерализма. Все это только убеждает в том, какими трудностями и опасностями чревата излишняя либеральность, дающая простор притязаниям всех и каждого, так что в результате уже не знаешь, каким желаниям и угождать. В конце концов всем станет ясно, что излишняя снисходительность, мягкость и деликатность до добра не доведут, поскольку несогласный, а подчас и brutальный мир следует держать в порядке и повиновении. Сурово настаивать на законе необходимо. Разве не стали теперь уже проявлять чрезмерную мягкость и сговорчивость в вопросах о вменяемости преступников, и не слишком ли часто медицинские освидетельствования и экспертиза задаются целью избавить злоумышленника от кары? Надо обладать характером, чтобы устоять против всеобщей расслабленности, а посему я тем больше ценю недавно представленного мне молодого физика, некоего Штригельмана, который в подобных случаях неизменно проявляет характер и еще недавно, когда суд усомнился во вменяемости одной детоубийцы, твердо и решительно высказался в том смысле, что она безусловно вменяема.

– Как я завидую физику Штригельману, заслужившему похвалу вашего превосходительства. Я буду грезить им, это я знаю; примерная твердость его характера возвысит, более того, – опьянит мою душу. Да, да, и опьянит! Ах, я не до конца открылся моему благодетелю, когда говорил о трудностях своего обращения. Я хочу во всем признаться вам как отцу, как исповеднику. С переменой моих убеждений, с моим новым отношением к порядку, статусу и закону, связаны не только тоска и горечь расставания с ребяческими мечтаниями, которым пришлось сказать прости, но – я едва решаюсь это выговорить – и совсем другое: доселе неведомое, волнующее, головокружительное честолюбие, под чьим натиском я тем усерднее стал предаваться вину и курению, отчасти чтобы заглушить это чувство, отчасти же чтобы при содействии дурмана глубже погрузиться в иные мечтания, пробужденные моим новым честолюбием.

– Гм, честолюбие, и какого же сорта?

– Оно коренится в мысли о выгодах, с которыми связана внутренняя солидарность с властью и порядком в отличие от оппозиционного духа. Последний – мученичество; солидаризоваться же с властью – это значит в душе уже служить ей, участвовать в упоении ею. Вот новые волнующие мечты, к которым меня привел свершающийся во мне процесс созревания; поскольку солидарность с властью уже равняется духовному служению ей, ваше превосходительство сочтет понятным, что мою юную душу неодолимо влечет претворить теорию в практику, что и заставляет меня, воспользовавшись благоприятным случаем, которым явился этот нечаянный приватный разговор, обратиться к вашему превосходительству с просьбой.

– С какою же именно?

– Излишне будет говорить, как драгоценны мне мое нынешнее положение и занятия, которыми я обязан знакомству с сыном вашего превосходительства, и как безмерно я ценю столь благотворное для меня двухгодичное пребывание в этом для всего мира бесценном доме. С другой стороны, было бы нелепо воображать себя незаменимым; ведь я только один из многих помощников и секретарей вашего превосходительства – наряду с самим господином камеральным советником, господином доктором Римером, господином библиотечным секретарем Крейтером и даже служителем Карлом. К тому же я отлично сознаю, что в последнее время неоднократно давал повод для недовольства вашего превосходительства именно вследствие моего смятенного состояния, а потому отнюдь не имею оснований полагать, что господин тайный советник будет особенно



настаивать на моем дальнейшем пребывании, причем не последнюю роль, видимо, играют моя долговязая фигура, очки и неприятная рябая физиономия.

– Ну, ну, что касается этого...

– Моя мысль и пламенное желание – перейти со службы вашему превосходительству на службу государству, и притом в сфере, которая даст возможность моим перебродившим убеждениям проявить себя наиболее плодотворно. В Дрездене проживает друг и благодетель моих бедных, хотя и почтенных родителей, господин капитан Ферлорен, имеющий личные связи с некоторыми видными лицами из ведомства прусской цензуры. Если бы мне было дозволено просить ваше превосходительство написать рекомендательное письмо господину капитану Ферлорену с благосклонным упоминанием о моей политической и нравственной метаморфозе, дабы он, если это возможно, на некоторое время принял меня к себе на службу, чтобы затем, со своей стороны, отрекомендовать соответствующим лицам и таким образом способствовать осуществлению моей заветной и пламенной мечты – преуспеть на поприще государственной цензуры, – я, и без того облагодетельствованный господином тайным советником, был бы обязан вашему превосходительству поистине вечной благодарностью.

– Хорошо, Джон, это устроится. Письмо в Дрезден я напишу и буду рад, если мне удастся подвигнуть тех, кто привык стоять на страже закона, принять благоприятствующее вам решение, несмотря на ваши грехи молодости. Что касается честолобивых надежд, связанных с вашим обращением, то они, откровенно говоря, мне не очень по душе. Но я уже привык, что многое в вас мне совсем не по душе, чем вы, впрочем, можете быть только довольны, ибо это немало способствует моей готовности быть вам полезным. Я напишу – посмотрим, как это выйдет, – что меня очень порадует, если способному молодому человеку будет предоставлена возможность понять свои заблуждения, растворить их в усердном труде, и что мне остается только пожелать, чтобы удача этой гуманной попытки и впредь способствовала подобным обращениям. Хорошо так?

– Великолепно, ваше превосходительство! Я подавлен вашей...

– А не думаете ли вы, что теперь пора от ваших дел перейти, наконец, к моим...

– О ваше превосходительство, это непростительно...

– Я стою здесь и перелистываю свой «Диван», который за последнее время пополнился несколькими, весьма приятными вещицами. Кое-что пришлось подчистить и перегруппировать. Стихов накопилось такая гора, что я разбил их на книги, вот видите: Книга притч, Книга Зулейки, Книга кравчего. У меня просят что-нибудь для дамского календаря, не очень-то мне этого хочется. Я не охотник выламывать камни из уже почти сомкнувшегося свода и похвалиться каждым в отдельности. Да и сомневаюсь, сохранят ли они свою ценность в разрозненном виде. Здесь вся суть не в разрозненном, а в целом; ведь это вращающийся свод, планетарий. Я не решаюсь преподнести непосвященной публике что-либо из этих изделий без пояснений, без дидактического комментария, над которым я теперь работаю, чтобы помочь читателю сродниться с духом, обычаями и словоупотреблением Востока и тем самым вооружить его для полного и радостного наслаждения этими стихами. Но, с другой стороны, не хочется разыгрывать недотрогу, да к тому же желание доверчиво предстать перед публикой со своими маленькими новинками и прочувствованными пустячками выступает здесь в союзе с людским любопытством. Как, по-вашему, что мне дать в календарь?

– Может быть, вот это, ваше превосходительство. «Скрыть от всех! Поднимут травлю!»

Только мудрым тайну вверьте...» Оно звучит так таинственно.

– Нет, это не годится, прихотливо и недоступно: икра – кушанье не для народа. Оно сойдет в книге, но не в календаре. Я заодно с Гафизом – он тоже держался мнения, что людям надо угождать привычными и легкими песнями, что даст тебе право время от времени подсовывать им тяжелое, трудное, недоступное. Без дипломатии не обойтись и в искусстве. Ведь это дамский календарь. «Будь с женщиной мягок, о Адам!» Оно бы подошло, но не годится из-за кривого ребра: «Согнешь, а оно пополам. Оставишь в покое – совсем скривится». К тому же оно погрешает против дипломатии и может быть преподнесено только в книге. «Ведь камыш затем возник, чтоб мирам дать сладость». Это уже лучше, отберем еще кое-что веселое, изящное и прочувствованное. «Комком был дядюшка Адам» или, быть может, это? – О робкой капле, наделенной крепостью и стойкостью, дабы жемчужиной красоваться в царском венце. Или вот прошлогоднее: «При свете месяца в раю» – о двух сокровенных господних мыслях. Каково ваше мнение?

– Прекрасно, ваше превосходительство. Может быть, еще изумительное: «Не хочу терять поэта»? Они так красивы, эти стихи: «Ты мои молодые лета страстью мощною укрась».

– Гм, нет! Это женский голос. А мне думается, что дамам любезнее голос мужчины и поэта, потому остановимся на предшествующем: «Если горстью пепла буду, скажешь – для меня сгорел».

– Отлично. Признаюсь, я охотно видел бы принятым мое предложение, но, делать нечего, удовольствуюсь сочувствием вашему отбору. Позволю себе только обратить внимание вашего превосходительства на: «Так солнце, Гелиос Эллады», которое, мне кажется, нуждается в дополнительном просмотре. Там в одном месте с рифмой обстоит не вполне благополучно.

– Ах, медведь рычит, как умеет. Оставим пока как есть, а там посмотрим. Садитесь к столу, я буду диктовать из «Правды и поэзии».

– К услугам вашего превосходительства.

– Любезнейший, привстаньте-ка на минутку, вы уселись на фалду вашего сюртука. Через час она будет выглядеть пребезобразно, измятая, изжеванная, и всему виной окажусь я и моя диктовка. Пусть обе фалды свисают со стула в благотворной непринужденности, прошу вас.

– Покорнейше благодарю за заботу, ваше превосходительство.

– Так начнемте же или, вернее, продолжимте, ибо начинать труднее.

«В то время... мои отношения с сильными мира сего... складывались весьма благоприятно. Хотя в «Вертере» и изображены трения между двумя различными сословиями...»

.....

Хорошо, что он убрался, что завтрак положил конец нашим занятиям. Не терплю этого малого, прости господи! Какой бы образ мыслей он ни усваивал, мне он одинаково нестерпим. С новыми своими убеждениями он еще противнее, чем со старыми. Если бы письмо Гуттена к Пиркгеймеру, честные убеждения нашего дворянства тех времен и франкфуртский жизненный уклад не были вчерне уже набросаны, я бы с ним не сидел. Запьем крылышко куропатки глотком доброго вина, солнечного противоядия гадкому

привкусу, оставшемуся у меня в душе после этого голубчика. Зачем я, собственно, обещал ему рекомендацию в Дрезден? Досадно! Дело в том, что меня соблазнила изящная эпистолярная форма, – наслаждение формой, удачными оборотами таит опасность, частенько заставляет нас забывать о практическом воздействии слова, и невольно начинаешь говорить как бы от имени того, кто мог бы подумать этими словами.

Что мне было делать – одобрить, поощрить его неопрятное честолюбие? Из него и так выйдет фанатик правопорядка, Торквемада законности. Станет донимать юнцов, которые, как некогда он сам, мечтают о свободе. Приходится быть последовательным и хвалить его за обращение, хотя всей этой бестолковщине грош цена. Почему я, собственно, против вожделенной свободы печати? Потому что она порождает посредственность. Ограничивающий закон благодетелен, ибо оппозиция, не знающая узды, становится плоской. Ограничения же понуждают к находчивости, а это большое преимущество. Прямо и грубо может быть лишь тот, кто прав безусловно. Спорящая сторона никогда не права безусловно, на то она и спорящая сторона. Ей пристала косвенная речь, на которую такие мастера французы, у немцев же сердце не на месте, если им не удастся напрямик высказать свое почтенное мнение. Так мастером косвенной речи не станешь. Нужна культура! Принуждение обостряет разум, вот и все. А этот Джон – хриплый дурак. Стоит ли он за или против правительства – один черт. А еще воображает, что обращение его глупой душонки невесть какое событие!

Противный и мучительный разговор – я это понял задним числом. Испортил мне завтрак гарпиевыми нечистотами. Что он обо мне думает? И как, полагает, думаю я? Вообразил, верно, что теперь мы единомышленники? Вот осел! Но почему я так на него досаую? Разве он вызывал во мне эту досаду, скорее похожую на скорбь или хотя бы заботу и самовопрошание? Нет, в ней есть все оттенки тревог и сомнений, и относится она, конечно, не к этому малому, но к моему творению, ибо оно объективизированная совесть. Радость свершения – вот это что! Великое, прекрасное деяние. Фауст должен прийти к деятельной жизни, к государственной жизни, к жизни в служении человечеству. Высокий порыв, несущий ему освобождение, должен отлиться в формы большой политики, – тот, великий хрипун, понял это и сказал мне и притом не сказал ничего нового. Ему, конечно, легко было говорить, от слова «политика» у него не сводило рот, как от кислого плода, у него нет... Для чего мне Мефистофель? И все же этот бурный, разочарованный искатель может и должен от метафизической спекуляции обратиться к идеально-практическому, даже если науку о человечестве ему преподает черт. Кто был он и кто был я, когда, сидя в своей норе, он философски штурмовал небеса? А потом затеял убогие шашни с девчонкой. Из ребяческого вздора, из гениального пустяка поэма и герой переросли в объективное, в действительное мировосприятие, в мужественный дух. От норы ученого до кабинета алхимика при дворе императора... Ненавидящим ограничения, жаждущим невозможного и наивысшего, таким должен остаться этот вечный искатель и здесь. Вопрос только в том, как действенное мировосприятие и мужественную зрелость объединить с прежней необузданностью? Политический идеализм, стремление осчастливить человечество – значит он остался нищим, алчущим недостижимого? Это удачная мысль. Надо записать и вставить, где будет уместно. В ней заключен целый мир аристократического реализма, и может ли быть что-нибудь более немецким, чем немецким же покарать немецкое. Итак, союз с властью во имя деятельного насаждения лучшего, благородного и желательного на земле. Что он терпит крушение, что император и двор изнывают от скуки, слушая его разглагольствования, и черт должен вмешаться, чтобы дерзкой болтовней спасти положение, – это дело решенное. Политический мечтатель оказывается жалким *maotre de plaisir, physicien de la cour*[45 - Устроитель празднеств, придворный алхимик (фр.)] и чудесным фейерверкером. Карнавал меня радует. Можно будет устроить роскошное шествие мифологических фигур, произносящих всевозможный глубокомысленный вздор, какое в действительности, на дворцовом маскараде в день рождения его высочества, например, или при посещении Веймара

членами королевского дома, обошлось бы слишком дорого. К таким затеям все и свелось сатирически горьким образом. Но сначала все должно быть всерьез, сначала он хочет править на благо людям, и надо отыскать звуки веры. Из этой груди будут они почерпнуты. Как это у меня? «Святой глагол к благим делам взывает, об этом знает смертный человек и песням издавна внимает». Недурно. Сам господь, позитивное начало, творческая благодать, мог бы в прологе ответить черту этими словами, и я бы присоединился к ним, ибо я там, где позитивное начало, я не имею несчастья примыкать к оппозиции. Да я и не хочу сказать, что Мефистофель станет верховодить при императорском дворе. Фауст не хочет, чтобы черт преступил порога аудиенц-зала. Запрещает фиглярничанию и шутовству в слове и в деле проявляться перед лицом императора. Магию и дьявольский морок надо наконец устранить с его пути – здесь, как и в Елене. Ибо и ей Персефона позволяет вернуться на землю лишь при условии, что все остальное будет свершаться просто и по-человечески и что жених завоюет ее любовь лишь силою своей страсти. Примечательная подробность! Одного я знаю, кто стал бы настаивать на ней, если б он мог еще настаивать... И все же там есть другое условие, к которому все сводится, от которого только и зависит возможность снова заставить потечь застопорившееся было юностарческое, и это – непринужденность и абсолютная шутка. Спасение только в игре, в фантастической опере.

Только так, я полагаю, мне удастся завершить этот фарс. А что даже вы, почтеннейший, можете иметь против игры, против высшей ветрености, когда у вас на языке вечно вертелись слова «непоэтическая серьезность»? В письмах о воспитании вы, может быть, даже слишком наставительно упивались эстетической игрой. Да, это легкость, но она трудна. А в той сфере, где легкость стоит труда, там легко и трудное. И если эта сфера не в моем творении, значит, ее не существует вовсе. Классическая Вальпургиева ночь (мысленно я отклоняюсь от политической сцены и, хоть замечая, что охотно дам увести себя от нее, все же в глубине души сознаю – мне было бы приятнее, реши я с самого начала опустить ее; я и сейчас это чувствовал в разговоре с хриплым ослом – правда, и злился на это, чувство, но только потому, что жаль было уже написанных стихов)... классическая Вальпургиева ночь – это будет грандиозная шутка, заставляющая думать о радостном, светлом, обнадеживающем. И как же она превзойдет придворный маскарад, – игра, налившаяся мыслью, тайнами жизни и пропитанная шутивно-задумчивым, Овидиевым толкованием воплощения человека – без всякой торжественности, легчайшая и веселая Мениппова сатира, – а есть ли у меня Лукиан? Ах да, вспомнил, где он; надо будет перечитать и это пособие. Сердце екает, как вспомню, на что мне еще пригодился Гомункул, и ведь нечаянно: находка пришла во сне. Кто бы мог подумать, что он и она, прекраснейшая, окажутся связанными нерушимо жизненной мистической связью, что он пригодится для лукаво-научной, нептунически-фалесской мотивировки явления чувственной и наивысшей человеческой красоты! «Высший продукт постоянно совершенствующейся природы – это прекрасный человек». Да, Винкельман смыслил в красоте и чувственном гуманизме. Его бы порадовала такая дерзость – биологическую предысторию красоты вместить в ее явление; мысль, что любовная сила монады возводит к энтелехии и что она, вначале сгусток органической слизи на дне океана, проносясь сквозь безыменные времена, минуя вереницу дивных жизненных метаморфоз, восходит к этому благородному, прельстившему образу. Самое острое и духовное в драме – мотивировка. Вы недолюбливали ее, любезнейший, воспринимали как нечто малоценное, считали смелостью презирать ее. Однако, видите, существует смелость мотивировки, которую уж никак не упрекнешь в мелочности. Было ли когда-нибудь в такой мере подготовлено явление действующего лица? Правда, оно – сама красота, и тут, конечно, нужны и уместны особые приготовления. Об этом должны догадаться позднее, я дам понять это походя, полунамеком. Здесь все должно быть сведено к мифологическому юмору, к травести, и глубокомысленное натурфилософское содержание тут противоречит легкой форме, так же как строгое великолепие изложения в явлении Елены, заимствованное из трагедии, сатирически противоречит интригующему

иллюзорному действию. Пародия... О ней я больше всего люблю размышлять. «Много мыслишь, много гредишь, раз ступив на путь заветный». Из всех раздумий, сопутствующих искусству, это самое нежное и заветное. Благоговейное разрушение, улыбка при прощании. Охранительное подражание, уже ставшее шуткой и поношением. Возлюбленное, священное, древнее, величавый прообраз, повторенный в той стадии и наполненный таким содержанием, которые уже накладывают на него печать пародийности и делают продукт позднейшим, приближают его к насмешливо разгаданным образам послеэврипидовой комедии... Курьезное существование! Одинокое, непонятное, холодное! Без собратьев! На свой страх и риск, среди еще грубого народа, ты должен объединить в себе всю культуру мира – от доверчивого расцвета и до все познавшего упадка.

Винкельман... «Точно говоря, прекрасный человек прекрасен только мгновение». Удивительная сентенция! В метафизическом настаиваем мы мгновение красоты, там, где оно, вызвав не меньше восхищения, чем порицания, выступает в своем меланхолическом совершенстве, – вечность мгновения, которую покойный друг обожествил этим своим словом. Милый, болезненно-прозорливый мечтатель, любящая душа, гениально углубившаяся в чувственность! Знаю ли я твою тайну, тайну вдохновляющего гения всей твоей науки – тот почти позабытый ныне восторг, что связывал тебя с Элладой? Ведь твое слово приложимо лишь к мужественно-отроческому, к удержанному в мраморе мгновению юношеской красоты. Правда, тебе повезло, слово «человек» мужского рода, и потому ты мог вволю тешить свое сердце омужествлением красоты. Мне она являлась в юном женском обличье... Впрочем, не только в женском. Я способен понять твои блуждания. С приятным чувством вспоминаю я молодого белокурого кельнера в гейсбергском шинке, где со мной опять был Буассере во всеоружии своей католической скромности. «Для других готовь ты пенье, а для кравчего молчанье».

В мирах нравственном и чувственном мои помыслы всю жизнь – с любовью и ужасом – устремлялись к искушению. Искушение, которое ты претерпевал, действительно испытывал – это сладостное, страшное прикосновение, ниспосланное свыше по прихоти богов, это грех, в котором мы без вины виноваты, как свершители его и как жертвы тоже, ибо противостоять искушению не значит его уже более не ведать – такого испытания никто не выдерживает; оно слишком сладостно. Ты не можешь выдержать его потому, что ты его испытал. Богам любо ниспосылать нам искушение, нас в него вводить так, словно оно от нас исходит, парадигма всех искушений и виновностей, ибо одно здесь равняется другому. Мне в жизни не доводилось слышать о преступлении, которого я не мог бы совершить. Не совершив проступка, ускользаешь лишь от земного судьи, не высшего, ибо в сердце своем ты все же совершил его. Искушение собственным полом следовало бы рассматривать как феномен мести, насмешливого воздаяния за искушение самим собою – извечное обольщение Нарцисса своим отраженным, ликом. Мечь всегда связана с искушением, с испытанием, которого нельзя избежать тем, что не поддался ему – «воля Браммы так гласит». Отсюда вожделение, ужас при раздумии об этом. Отсюда плодоносное содрогание, которое вызывает во мне тема стихотворения, рано задуманного, всегда откладываемого и еще подлежащего откладыванию, о супруге брамина, богине париив, в котором я прослаблю искушение и таинственно возведу о нем. Что я его храню и все откладываю, что я дарю ему десятилетия становления, созревания во мне – порука удачи. Я не могу забросить этот замысел, даю ему перезреть, доношу через все возрасты жизни. Пусть же, зачатое в юности, оно возникнет однажды преисполненным тайны поздним творением, очищенное, сконденсированное временем, предельно лаконичное, как дамасский клинок, выкованный из стальных нитей, – таким оно мне мерещится.

Точно знаю источник, откуда оно явилось мне много, много лет назад – как и «Бог и

баядера»: переведенное на немецкий. «Путешествие в Ост-Индию и Китай» – продуктивный хлам, верно оно где-нибудь плесневеет среди литературного скарба. Я уж почти не помню, в чем там дело, помню только, как робко во мне вкладывался и насыщался высшею духовностью образ благородной, блаженно чистой женщины, идущей за водой к реке без кувшина и ведер, ибо вода в ее благочестивых руках дивно превращается в хрустальный шар. Я люблю этот прозрачный шар, что чистая жена брамина благоговейно-радостно несет домой, прозрачный, но осязаемый, чувственный образ ясности, неомраченности, полной невинности и того, на что лишь она способна в своей простоте! «Коль чиста рука певца, влага затвердеет». Да. Я сплочу в хрустальный шар песнь об искушении, ибо поэт, многоопытный, многоискушенный искуситель, все еще на это способен, ему еще остался дар, который и есть мета чистоты. Но не этой женщине. Ибо для нее поток отразил чудно прекрасного юношу, она вся ушла в созерцание, и божественный лик смутил ее душу, волна зареклась отлиться в форму, и женщина побрела домой без воды. Супруг все прозрел, месть, месть бушует в нем, он влечет на смертный холм без вины виноватую и отсекает ей голову, узревшую вечную красоту, но сын угрожает мстителю последовать под меч, скосивший мать, как овдовелая жена следует в огонь, сжигающий останки мужа. Нет! Нет! На мече кровь не застывает, она течет, как из свежей раны. Скорее! Приставь голову к туловищу, вознеси молитву, благослови мечом сплочение, и она восстанет. Страшное деяние! Два скрещенных тела – священное тело матери и тело казненной преступницы из касты парий. Сын, о сын, какая поспешность! Голову матери он приставляет к брошенному трупу, осеняет мечом судии, и великанша-богиня встает во весь рост, богиня нечистого.

Создай это! Сплоти в упругий языковый монолит! Нет ничего важнее! Она стала богиней, но и среди богов ее намерения будут чисты, поступки же странны и дики. Перед очами чистый благостный лик юноши витает в его небесной прелести; но, войдя в сердце нечистой, он пробудит в нем вожделение, неистовое, отчаянное. Вечно будет оно возвращаться, смущающее, божественное видение, мимолетно ее коснувшееся. «Век вздыматься, век склоняться, омрачаться, просветляться, – воля Браммы так гласит». Грозная она стоит перед Браммой, вразумляя его, неистово поносит громким голосом, выходящим из набухшей тайнами груди, – всякой страждущей твари на благо.

Я думаю, что Брами боится этой женщины, ибо я ее боюсь, – как совести, ее приветливо-яростного стояния передо мною, ее мудрых желаний и диких поступков. Боюсь и этого стихотворения; десятилетиями откладываю его и все же знаю, что однажды должен буду его создать. Надо бы заняться поздравительной одой, продолжить компоновку итальянского путешествия. Нет, использую свое одиночество в рабочей комнате и бодрящее тепло мадеры для более значительных и тайных целей. «Коль чиста рука певца...»

– Кто там?

– С добрым утром, отец!

– Август, ты? Рад тебя видеть.

– Надеюсь, я не помешал? Ты так быстро собираешь бумаги.

– А что, дитя мое, значит помешать? Помеха – все. Зависит лишь, приятна она человеку или нет.

– На этот-то вопрос я и затрудняюсь ответить, ибо он предложен не мне, а тому, что я с собою принес. Без этого я бы не вторгся к тебе в столь неурочный час.

- Я рад тебя видеть, с чем бы ты ни пришел. Но с чем же все-таки?
- Раз уж я здесь, то, во-первых, позволь спросить: хорошо ли ты спал?
- Спасибо, сон освежил меня.
- И завтрак пришелся по вкусу?
- Отменно. Впрочем, ты задаешь вопросы, как доктор Ребейн.
- Нет, я спрашиваю от лица целого мира. Прости, ты, кажется, занимался чем-то интересным? Верно, историей жизни?
- Не совсем. Впрочем, все на свете история жизни. Но какое известие ты принес? Что, мне силой выманивать у тебя ответ?
- Приехали гости, отец. Да! Гости издалека и из старых времен. Остановились в «Слоне». Я услышал об этом еще до того, как пришла записка. В городе большое волнение. Это старая знакомая.
- Знакомая? Старая? Да что ты тянешь?
- Вот записка.
- «Веймар, двадцать второго... снова взглянуть на лицо... ставшее миру столь драгоценным... рожденная...» Гм, гм... Курьезно! Действительно курьезное происшествие! А ты какого мнения? Но погоди, я тоже кое-что припас для тебя, чему ты удивишься и порадуешься. Смотри! Ну что, каков?
- Ах!
- Я знал, что ты глаза раскроешь. Да и есть на что! Это для света, для зрения. Получил в подарок из Франкфурта, вклад в мою коллекцию. Одновременно прибыло несколько минералов из Вестервальда и с Рейна. Но это – лучшее. Как ты думаешь? Что это такое?
- Кристалл.
- Ну это само собой разумеется. Гиалит, бесцветный опал, но исключительный экземпляр по величине и чистоте. Видал ли ты что-нибудь подобное? Я не могу на него наглядеться и все думаю, ведь это свет, это точность, ясность, а? Это произведение искусства, или, вернее, произведение и проявление природы, космоса, духовного пространства, проецирующего на него свою вечную геометрию и тем самым делающего ее пространственной! Посмотри на эти точные ребра и мерцающие плоскости, – и весь он таков; я мысленно называю это идеальной проструктуренностью. Ибо вся штука имеет единый, целиком ее проникающий, наружно и внутренне обуславливающий, повторяющийся вид и форму, которыми определены оси и кристаллическая решетка; а это-то и роднит его с солнцем, со светом. Если хочешь знать мое мнение, то я считаю, что в колоссально разросшихся геометрических гранях и плоскостях египетских пирамид заложен тот же тайный смысл: соотношение со светом, солнцем, пирамиды – это солнечные пятна, гигантские кристаллы, грандиозное подражание духовно-космическому миру, созданное рукой человека.
- Это чрезвычайно интересно, отец.

– Еще бы! Ведь это связано также с прочностью, с временем. И смертью, с вечностью, на них же мы убеждаемся, что сама по себе прочность не есть победа над временем и смертью, она – мертвое бытие, которое знает начало, но не становление, ибо с рождением здесь совпадает смерть. Так длется во времени кристаллические пирамиды, простаивают тысячелетия, но в этом нет ни жизни, ни смысла, это мертвая вечность, вечность без биографии. К биографии сводится все, но биография, рано завершившаяся, коротка и бедна. Видишь, вот это *solis*, соль, как алхимики называли все кристаллы, включая и снежинки (правда, в нашем случае это не соль, но кремневая кислота), знает лишь один-единственный миг становления и развития, тот миг, когда кристаллическая пластинка выпадает из материнского раствора и дает начало отложению дальнейших частичек. Однако развития тут нет, мельчайшее из этих образований так же совершенно, как и крупнейшее, история его жизни закончилась с рождением кристаллической пластинки, и теперь оно только длется во времени, подобно пирамидам, может быть, миллионы лет, но время вне его, не в нем, вернее, оно не стареет, что было бы неплохо, не остается мертвым постоянством, а отсутствие жизни во времени происходит от того, что рядом с построением здесь нет разрушения, рядом с образованием – растворения. Иными словами, оно не ограничено. Правда, самые малые ростки кристаллов еще не геометричны, не имеют ни граней, ни плоскостей, они округлы и похожи на ростки органические. Но это только схожесть, ибо кристалл весь – структура, с самого начала, а структура светла, прозрачна, легко обозрима; но в том-то и загвоздка, что она смерть или путь к смерти, а у кристалла смерть и рождение совпадают. Бессмертие и вечная юность – вот что было бы, остановись весы между структурой и распадом, между образованием и растворением. Но они не останавливаются, эти весы, а с самого начала в органическом перевешивают структурность, так вот мы кристаллизуемся и длемся только еще во времени, подобно пирамидам. А это опустошенная длительность, прозябание во внешнем времени без внутреннего, без биографии. Так же прозябают и животные, когда они достигли зрелости и структура их уже определилась; лишь питание и размножение механически повторяются, всегда неизменные, как нарастание кристалла, – покуда они живут, они у цели. Зато ведь и умирают животные рано, вероятно от скуки. Долго не выдерживают своей законченности и пребывания у цели. Это слишком скучно! Постыдно и смертельно скучно, друг мой, всякое бытие, остановившееся во времени, вместо того чтобы нести его в себе и самому создавать время, которое не напрямик устремляется к цели, а смыкается, как круг, всегда у цели и все еще у начала. Это было бы бытие, действующее и работающее внутри себя и над собою, так что становление и бытие, воздействие и труд, прошлое и настоящее здесь слилось бы воедино, и тогда обнаружилась бы длительность, равняющаяся неустанному подъему, возвышению и совершенствованию. И так вечно... Прими это как комментарий к сей прозрачной ясности и прости мне мою дидактику. Как дела с сенокосом в большом саду?

– Закончен, отец. Но у меня нелады с этим крестьянином, он опять отказывается платить, говоря, что после косьбы и перевозки ему еще следует с нас. Но ничего у этого шельмеца не выйдет, будь покоен, он прилично заплатит тебе за покос, даже если мне придется притянуть его к суду.

– Молодчина! Право на твоей стороне. И надо уметь себя отстаивать. А *corsaire, corsaire et demi*[46 - Примерно: «Ты хитер, а я хитрее вдвое» (фр.)]. Писал ты уже во Франкфурт относительно сложения с нас пошлин?

– Прости, еще нет, отец. Голова моя полна планов, но я все еще медлю. Подумай, каким должно быть письмо, в котором осмеивается эта нелепая теза об обкрадывании других франкфуртцев! Одуматься их заставит только убийственное соединение достоинства и иронии... Здесь рубить с плеча не приходится...

– Ты прав, я тоже медлил с этим. Следует выждать благоприятную минуту, я все еще



надеюсь на счастливый исход. Если бы я сам мог написать им... Но этого я не могу, мне лучше оставаться в стороне.

– Безусловно, отец! В таких делах ты нуждаешься в прикрытии, в ширме. И я всецело к твоим услугам. О чем же пишет госпожа надворная советница?

– Ну, а что слышно при дворе?

– Ах, там все поглощены маскарадом у принца и кадрилию, которую нам опять придется репетировать сегодня вечером. Все еще ничего не решено относительно костюмов; важно, чтобы они произвели надлежащее впечатление в полонезе, но до сих пор не выяснено, будет ли он пестрым парадом *ad libitum* или воплощением одной определенной идеи. Пока что желания весьма различны, отчасти и из-за имеющихся в наличии аксессуаров. Сам принц настойчиво желает изображать дикаря. Штафф хочет нарядиться турком, Штейн – савояром, госпожа Шуман мечтает о греческом уборе, а супруга актуария Ренча о костюме цветочницы.

– Ну, это уж *du dernier ridicule*[47 - Просто на смех (фр.)], Ренчиха – цветочница? Могла бы помнить о своих годах. Надо ее вразумить. Римская матрона – на большее ее не станет. Если принц хочет быть дикарем, можно заранее сказать, куда он метит. Дошутится со злополучной цветочницей до скандала. Знаешь, Август, я думаю взять это дело в свои руки, по крайней мере полонез. По-моему, его следует привести к одному знаменателю, а не делать пестрым и произвольным, или по крайней мере придать ему легкий, фантастический характер. Как в персидской поэзии, так во всем и везде удовлетворение приносит лишь верховное, руководящее начало, то, что мы, немцы, называем «дух». У меня есть план изящного маскарадного шествия, распорядителем и даже герольдом которого я хотел бы быть сам, так как оно должно сопровождаться легким, крылатым словом и музыкой мандолин, гитар, теорб. Цветочница – ладно, пусть выходят хорошенькие флорентинские цветочницы и в крытых зеленью аллеях раскладывают груды своего товара. Их должны сопровождать загорелые садовники, принесшие на рынок свежие плоды, так чтобы под зелеными украшенными сводами взору представилось все изобилие года: бутоны, листья, цветы, плоды. Но этого мало, хорошо бы рыбакам и птицеловам с сетями, сачками и удочками замешаться в пеструю толпу; тут начнется погоня, веселое кружение, суэта и беготня, которые будут прерваны лишь вторжением простоватых дровосеков, олицетворяющих грубость, неизбежную даже в изящнейшем. Затем герольд возвестит шествие греческих божеств, по пятам за прелестными грациями пойдут сумрачные парки. Антропос, Клото и Лахезис, с прялками, пряжей и ножницами. И едва лишь промелькнут три фурии, впрочем не в виде неистовых, отталкивающих созданий, но молодых женщин, властных, вкрадчивых, немного злых, как уже тяжело двинется суцая гора, живой колосс, увешанный коврами и увенчанный башней, настоящий слон, на затылке которого восседает очаровательная девушка с остроконечным жезлом в руках, наверху же, в шатре, величественная богиня...

– Но помилуй, отец! Откуда же мы возьмем слона, и как же во дворце...

– Оставь, не расхолаживай меня! Это уж как-нибудь устроится: можно соорудить огромный остов, с хоботом и клыками, да еще поставить его на колеса. На нем будет Виктория, крылатая богиня, покровительница всех подвигов. А сбоку, в цепях, медленно пойдут две женщины, красивые и благородные, ибо то Боязнь и Надежда, закованные в цепи умом, который и представит их публике как заклятых врагов человечества.

– И Надежду тоже?

– Непременно! С не меньшим правом, чем Боязнь. Подумай только, какие нелепые и

сладостные иллюзии она внушает людям, нашептывая им, что они будут некогда жить беззаботно, как кому вздумается, что где-то витает счастье. Что же касается великолепной Виктории, то пусть Терсит изберет ее целью для своей омерзительно развенчивающей воркотни, столь нестерпимой герольду, что он рванется смирить жезлом этого грязного пса, карлик скрючится от боли и превратится в комок, комок же на глазах у всех станет яйцом. Оно треснет, и мерзостные близнецы вылупятся из него, гадюка и летучая мышь; одна начнет ползать в пыли, другая черным пятном взойдется к потолку...

– Но, милый отец, как мы все устроим, как, хотя бы иллюзорно, воссоздадим эту сцену с трескающимся яйцом, гадюкой и летучей мышью!

– Ах, немножко охоты и любви к чувственному восприятию – и все устроится без труда. Но это еще не конец неожиданностям, ибо тут въедет квадрига, управляемая прелестным ребенком, позади которого восседает владыка с широким лунным ликом и в тюрбане. Представляя обоим публике опять же возьмется герольд. Лунный лик – это Плутон, богатство. А в прелестном мальчике-вознице с блестящим обручем в черных кудрях, все узнают поэзию, понимаемую как расточительность, которая украшает пиршество царя богатств. Стоит ему только щелкнуть пальцами, этому мошеннику, и от щелчка посыплются жемчужные нити, золотые запястья и гребенки, и корона, и драгоценные перстни, из-за которых станет драться толпа.

– Хорошо тебе говорить, отец! Запястья, алмазы, жемчужные нити! Ты, верно, хочешь сказать: «Чешу загрибок, бью в ладоши».

– Пусть это будут дешевые безделушки и мелкая монета. Мне важно только аллегорически изобразить взаимоотношение щедрой, расточительной поэзии и богатства, так, чтобы это напомнило Венецию, где искусство цело, как тюльпан, вскормленное тучной почвой торговых прибылей. Пусть Плутон в тюрбане скажет прелестному мальчику: «Сын мой, я возлюбил тебя».

– Но, отец, никак нельзя, чтобы он так выражался. Это было бы...

– Было бы весьма желательно устроить так, чтобы маленькие огоньки – дар прекрасного возницы – вспыхивали то на одной, то на другой голове; огоньки духа, остающиеся на одном, на другом меркнувшие, быстро вспыхивающие, лишь редко на ком ровно и долго горящие, в большинстве же случаев печально угасающие. Так мы показали бы отца, сына и святого духа.

– Но, право же, это абсолютно невозможно, отец! Не говоря уже о технической невыполнимости! Двор повергся бы в смущение. Это сочли бы осквернением религии и отъявленным кощунством.

– Как так? Какое ты имеешь право подобные сцены и изящные аллегории называть кощунством? Религия и весь мир ее образов – ингредиент культуры, которым можно пользоваться, как веселой и многозначительной метафорой, чтобы в приятной и любезной глазу картине сделать более ощутимым и наглядным общеизвестный духовный замысел.

– Но ингредиент, все же несколько отличный от других, отец. Таким ингредиентом религия может быть для тебя, но не для рядового участника маскарада и даже не для двора, по крайней мере в наши дни. Правда, город равняется по двору, но ведь отчасти и двор по городу, и как раз теперь, когда религия снова в такой чести у молодежи и в обществе.

– Ну, баста! В таком случае я снова упакую мой маленький театр вместе с его спиртовыми огоньками и скажу вам, как фарисеи Иуде: «Глядите вы!» Засим должно было следовать еще много веселой суматохи, шествие великого пана, дикая орда сухоногих фавнов и сатиров с остроконечными рожками, доброжелательных гномов, нимф и великанов из Гарца, но я все запомню и посмотрю, нельзя ли будет пристроить это куда-нибудь, где меня не достанет ваш модный взор, ибо кто не понимает шуток, тому я не товарищ. Но от какой, собственно, темы мы уклонились?

– Мы уклонились от полученной тобою записки, отец, относительно которой ты еще ничего не решил. Что пишет госпожа советница Кестнер?

– Ах да, записка. Ты ведь принес мне ее *billetdoux*. О чем она пишет? Гм, я тоже кое-что написал, прочти-ка сначала вот это *un momentino*, предназначенный для «Дивана». «Твердят, что глупым создан гусь, но думать так – неверно: оглянется, – остерегусь ускорить шаг чрезмерно».

– О отец, прелестно, весьма пристойно или непристойно, если хочешь, но вряд ли это пригодится для ответа.

– Нет? А я-то думал. Тогда надо придумать что-нибудь другое. Прозаическое – наилучший ответ – обычное для всех почетных веймарских пилигримов приглашение отобедать.

– Это само собой разумеется. Письмецо очень мило написано.

– О, весьма. Как ты думаешь, много бедняжка над ним потрудились?

– Приходится тщательно выбирать слова, когда пишешь тебе.

– Неприятное чувство.

– Это оковы культуры, которые ты налагаешь на людей.

– А когда меня не станет, они скажут «У-уф!» – и опять начнут визжать, как поросята.

– Да, эта опасность грозит им.

– Не говори – «опасность». Оставь их при их натуре. Я не любитель гнета.

– Кто говорит об угнетении? Или, тем паче, о смерти? Ты еще долго, нам на славу и радость, будешь нашим властителем.

– Ты думаешь? Но я не совсем хорошо себя чувствую сегодня. Рука болит. Опять мне докучал этот хрипун, а потом я с досады долго диктовал, что неизменно действует на нервную систему.

– Надо понимать, ты не пойдешь с визитом к корреспондентке и предпочел бы отложить также и ответ на записку.

– Надо понимать, надо понимать. У тебя не слишком приятная манера делать выводы. Ты прямо-таки выковыриваешь их из меня.

– Прости, я блуждаю в потемках касательно твоих чувств и желаний.

– Я тоже. А потемки полны таинственных шепотов. Когда прошлое и настоящее сливаются воедино, к чему издавна тяготела моя жизнь, настоящее облекается в тайну. В стихах это приобретает большую прелесть, в действительности же часто нас тревожит. Ты сказал, что этот приезд вызвал в городе волнение?

– Немалое, отец. Да и как же иначе? Народ толпится у гостиницы, каждый хочет взглянуть на героиню «Вертера». Полиция с трудом поддерживает порядок.

– Дурачье! Но, видно, культура изрядно-таки распространилась в Германии, если это возбуждает столь большое смятение и любопытство. Скверно, сын мой! Прескверная, пренеприятная история! Прошлое вступило с глупостью в заговор против меня, чтобы внести в мою жизнь вздор и беспорядок. Неужели старушка не могла поступиться своей затеей и избавить меня от лишних толков?

– Что мне ответить тебе, отец! Надворная советница, как видишь, не заслужила упреков: она навещает своих родственников, Риделей.

– Ну, разумеется, она навещает их, старая лакомка! Хочет полакомиться славой, понятия не имея, что слава и сплетня всегда досаднейшим образом переплетаются. И вот в результате – скопление народа. А какую экзальтацию, сколько насмешек, перешептываний и переглядываний это вызовет в обществе! Словом, все это надо по мере сил предотвратить или хотя бы сгладить. Придется прибегнуть к самому рассудительному, трезвому и сдерживающему тону. Мы дадим обед, в интимном кругу, пригласив и ее родственников, в остальном же будем держаться в стороне, чтобы не поощрять любителей сенсаций.

– Когда он состоится, отец?

– В ближайшие дни, но не тотчас же. Верные масштабы, верная дистанция. С одной стороны, надо иметь время присмотреться к обстоятельствам и к ним попривыкнуть, с другой же, не след слишком долго откладывать встречу. Лучше отделаться поскорее. В данный момент кухарка и горничная заняты стиркой.

– Послезавтра белье уже будет в комодах.

– Хорошо, так через три дня.

– Кого пригласить?

– Ближайший круг, слегка разбавленный чужими. В подобных случаях желательна чуть-чуть расширенная интимность. Итак: мать и дочь с четюю Риделей, Майер и Ример с дамами, Кудрэй или, пожалуй, Ребейн, советник Кирмс с супругой. Кто еще?

– Дядя Вульпиус?

– Отменяется. Нелепая мысль!

– Тетя Шарлотта?

– Шарлотта? То есть фон Штейн? Да бог с тобой! Две Шарлотты. Это, пожалуй, многовато. Разве я не призывал к осторожности, обдуманности? Если она явится, ситуация будет излишне острой. Отклонит приглашение, начнутся пересуды.

– Ну, так, быть может, господин Стефан Шютце?

- Хорошо! Пригласи этого беллетриста. К тому же в городе сейчас горный советник Вернер из Фрейбурга, геогностик, позовем и его, чтобы было с кем перебраться словом.
- Итак, нас будет шестнадцать.
- Может, кто-нибудь отклонит приглашение!
- Нет, отец, уж они явятся все! Костюм?
- Вечерние туалеты. Мужчины во фраках и при орденах.
- Пусть так. Правда, это все друзья дома, но число приглашенных оправдывает известную торжественность. К тому же это знак внимания к приезжей.
- Так и я считаю.
- Заодно мы будем иметь удовольствие опять видеть тебя при Белом соколе. Я чуть не сказал при Золотом руне.
- Это была бы странная и весьма лестная для нашего молодого ордена обмолвка.
- И все же она чуть не соскочила у меня с языка. Вероятно, потому, что эта встреча мне кажется запоздалой встречей Эгмонта с девушкой из народа. В вецларские дни ты еще не мог блеснуть испанской роскошью перед этой Клерхен.
- Ты в веселом настроении, и оно не слишком улучшает твой вкус.
- Слишком хороший вкус – следствие дурного настроения.
- У нас обоих еще много дел до обеда!
- Твоим ближайшим – верно, будет написать приглашение надворной советнице?
- Нет, ты пойдешь к ней. Это и больше и меньше. Передашь поклон и мое «добро пожаловать». А также, что я почту большой честью видеть ее у себя за столом.
- Вернее, для меня будет большой честью представлять твою особу. По столь торжественному поводу мне не доводилось это делать, если не считать похорон Виланда.
- Мы увидимся за обедом.

## Глава восьмая

Шарлотте Кестнер не стоило больших трудов объяснить свое и вправду беспримерное опоздание, с каким она 22 сентября явилась на Эспланаду к Риделям. Наконец-то, очутившись среди близких, в объятиях младшей сестры, рядом с которой стоял растроганный супруг, она была избавлена от подробного отчета о событиях, занявших у нее все утро и даже часть дня. Лишь на завтра она исподволь, отчасти в ответ на расспросы, отчасти по собственному почину, возвратилась к разговорам, которые ей довелось вести в день приезда. Даже о приглашении, переданном последним из ее

посетителей в «Слоне», она с восклицанием: «Ах, боже мой!» – вспомнила лишь несколько часов спустя и тут же, не без поспешной настойчивости, потребовала от родных одобрения письмецу, посланному ею в прославленный дом тотчас же по прибытии в Веймар.

– Я это сделала отчасти, а может быть, и главным образом ради тебя, – обратилась она к зятю. – Почему бы и не возобновить знакомства, пусть давно отошедшего в прошлое, если это может пойти на пользу родным?

И тайный камеральный советник, метивший на пост директора герцогской камер-коллегии, тем более вожденный, что с ним был связан значительно больший оклад, – а со времени нашествия французов Ридели жили только на жалованье, – благодарно улыбнулся ей в ответ. Это было бы уж не первое благодетельное вмешательство в карьеру камерального советника со стороны друга свояченицы. Гете ценил его. В свое время он помог молодому гамбургцу, домашнему учителю в одной графской семье, получить место воспитателя наследного принца Саксен-Веймарского, которое тот и занимал в течение ряда лет. В салоне мадам Шопенгауэр доктор Ридель неоднократно встречался с поэтом, но в доме на Фрауенплане не бывал, а потому ему было более чем приятно теперь благодаря приезду Шарлотты получить в него доступ.

Впрочем, о предстоящем обеде, еще в тот же вечер подтвержденном письменным приглашением, все эти дни упоминалось лишь бегло и мимоходом, даже с какой-то уклончивой поспешностью, словно семья, занятая собственными делами, вовсе о нем позабыла. То, что званы были только супруги Ридель, без дочерей, а также предписанная форма одежды, говорило об официальном характере приема – этого они мимоходом касались в разговорах, и затем, после паузы, когда каждый, по-видимому, взвешивал, считать ли это обстоятельство благоприятным или нет, разговор быстро принимал другое направление.

После долгой разлуки, в продолжение которой происходил лишь редкий обмен письмами, о столь многом предстояло потолковать, вспомнить, обменяться мнениями. Дела и судьбы детей, братьев, сестер, племянников подлежали обсуждению в первую очередь. О некоторых из тех малышей, чьи образы, запечатленные в момент, когда Лотта оделяла их хлебом, вошли в бессмертное творение и стали достоянием и утехой всего человечества, оставалось лишь благоговейно печалиться. Четыре сестры отошли в вечность, и первой из них, – Фредерика, старшая, надворная советница Лиц, пять осиротевших сыновей которой теперь занимали видные посты в судах и магистратурах. Незамужней осталась только четвертая, София, тоже скончавшаяся уже восемь лет назад в доме их брата Георга, человека весьма преуспевающего, в чью честь Шарлотта назвала своего первенца. Брат Георг, женившийся на богатой девице из Ганновера, стал преемником отца, старого Буффа, и поныне, к своему и общему удовольствию, занимал место амтмана в Вецларе.

Да и вообще, мужская половина той, ныне бессмертной, группы выказала себя более жизнестойкой и выносливой, чем женская, – если не считать двух старых дам, сидевших теперь в комнате Амалии Ридель и за рукоделием обсуждавших дела, минувшие и настоящие. Их старший брат Ганс, тот, что некогда был в особенно коротких отношениях с доктором Гете и с детской безудержностью радовался книжке о Вертере, когда она, наконец, прибыла, развивал полезную и доходную деятельность в качестве главноуправляющего графа фон Сольмс Редельгейм. Второй, Вильгельм, был адвокатом, а младший, Фриц, полковником нидерландской службы. За вязанием, под стук деревянных спиц, нельзя было не вспомнить и о Брандтовых дочках, Анхен и Дортель, юноподобной. Слышно ли что-нибудь о них? Время от времени. Дортель, черноокая, вышла замуж не за того надворного советника Целла, чье тривиальное ухаживание некогда служило источником насмешек для веселого кружка и в первую очередь для

того досужего практиканта прав, тоже не вовсе нечувствительного к прелести черных глаз, но за доктора медицины Гесслера, которого смерть рано разлучила с ней, так что теперь она уже в продолжение многих лет живет в Бамберге домоуправительницей своего брата. Анхен вот уже тридцать пять лет прозывается госпожой советницей Вернер, а Текла, третья, прожила мирную и беспечную жизнь бок о бок с мужем, Вильгельмом Буффом, прокуратором.

Все были вспомнаны, живые и мертвые. Но по-настоящему Шарлотта оживлялась, лишь когда речь заходила о ее сыновьях, почтенных людях, уже по четвертому десятку, занимавших видное положение, как, например, Теодор, профессор медицины, или Август, легационный советник. Тогда нежная краска, так прелестно ее молодившая, заливала щеки старой дамы, и она старалась удержать в равновесии слегка трясущуюся голову. Не раз обсуждалось посещение Гербермюле этими ее двумя сыновьями, да и вообще имя прославленного веймарца, чье существование, несмотря на всю его величавую обособленность, было с юных лет переплетено с жизнью и судьбами этого семейного кружка, хотя и избегаемое, не раз вкрадывалось в разговор обеих дам. Так, например, Шарлотта вспомнила о путешествии из Ганновера в Вецлар, совершенном ею вместе с Кестнером без малого тридцать лет назад, когда они, проездом через Франкфурт, посетили мать юного беглеца. Молодая чета и имперская советница пришли так по душе друг другу, что последняя изъявила согласие стать восприемницей их младшей дочурки. Тот, кто, по собственным его словам, хотел бы крестить всех их детей без исключения, был тогда в Риме, и мать, только что неожиданно получившая краткую весть о его пребывании в Вечном городе, изливалась в гордых рассказах о своем необыкновенном дитяти, которые Лотта хорошо запомнила и теперь повторяла сестре. Как бесконечно плодотворна будет эта поездка, восклицала мать, какие горизонты откроет она человеку его орлиного взгляда, зоркого ко всему доброму и великому, – благословенной станет она не только для него, но и для всех, кому суждено счастье жить рядом с ним. Да, такой жребий выпал этой матери, что она решительно и безоговорочно называла счастливыми тех, кому дано было войти в жизненный круг ее сына. Она вспомнила слова своей подруги, покойной фон Клеттенберг: «Ваш Вольфганг выносит из поездки в Майнц больше, чем другие из посещений Парижа и Лондона». Он обещал, объявила счастливица, на обратном пути завернуть к ней. О, тогда ему придется рассказать все, до последней мелочи, а она созовет друзей и знакомых и на славу попотчует их; торжественно станет свершаться пир, и дичи, жаркого, птицы будет что песчинок на дне морском. Из этого, кажется, ничего не вышло, заметила Амалия Ридель, и ее сестра снова перевела разговор на своих сыновей, чья почтительная приверженность и регулярные посещения давали и ей повод к известному материнскому бахвальству.

Что она немного докучала этим сестре, от нее не укрылось. И так как, разумеется, нельзя было не обсудить вопроса о туалетах для предстоящего обеда, то Шарлотта, с глазу на глаз, посвятила камеральную советницу в свой замысел, в игриво-веселую затею – повторить вольпертсгаузеновский бальный наряд с недостающим розовым бантом. Случилось так, что она сначала выспросила младшую сестру относительно ее туалета, сама же в ответ на такой вопрос сперва замкнулась в стыдливое, конфузливое молчание, а затем, покраснев, выложила ей свой многозначительный в литературном и личном смысле замысел. Впрочем, мнение сестры она тут же предвосхитила и в известной мере опередила рассказом о том, сколь неприятно было ей холодное и критическое отношение Лотхен-младшей к ее затее. Посему, навряд ли много значило, что Амалия нашла ее план очаровательным – хотя мина, с какой она это сказала, не слишком соответствовала ее словам, – и, как бы в утешение, тут же добавила, что если даже хозяин дома и не заметит намек, то уж, верно, найдется кто-нибудь, кто обратит внимание на банты. Больше она к этому предмету не возвращалась.

Вот и все, что можно сказать о беседах вновь свидевшихся сестер. Достоверно известно, что в эти первые веймарские дни Шарлотта Буфф ограничила свои встречи семейным кругом. Снедаемому любопытству общества пришлось дожидаться ее появления, народ же видел ее на прогулках, которые она совершала с сестрой по идиллическому городу и парку, возле «Храма тамплиеров», или по вечерам, когда она, в сопровождении служанки, дочери, а иногда и доктора Риделя, возвращалась с Эспланады в свою гостиницу на Рыночной площади; почти все узнавали ее, если не непосредственно, то по ее провожатым, и, никогда не оглядываясь, прямо смотря перед собой добрыми голубыми глазами, она нередко слышала, как замирали шаги прохожих, останавливавшихся, чтобы получше в нее всмотреться. Ее добродушно-достойная, немного величавая манера отвечать на приветствия, относившиеся к ее родным, хорошо известным в городе, но почтительно адресуемые и ей, возбуждали много толков.

Так настал лишь мимоходом упоминавшийся в разговорах и ожидаемый в напряженно-тревожном молчании день почетного посещения. Карета, нанятая Риделем, отчасти из попечения о туалетах дам и собственных башмаках, – ибо сей знаменательный день 25 сентября клонился к дождю, – отчасти же из уважения к событию, уже стояла у подъезда, когда около половины третьего все семейство, едва дотронувшись до второго холодного завтрака, уселось в нее под взглядами кучки любопытных веймарцев, уже посвященных кучером в цель семейной поездки, которые столпились вокруг ожидавшегося экипажа, как вокруг свадебной кареты или похоронных дрог. При подобных обстоятельствах зеваки, глазающие на участников церемонии, обычно вызывают зависть этих последних; ведь они так непринужденно чувствуют себя в своей будничной одежде и стоят в сторонке, сознавая преимущества своего положения, причем одни испытывают чувство превосходства, смешанное с сознанием «вам-то хорошо!», другие же благоговение пополам со злорадством.

Шарлотта с сестрой заняли высокое заднее сидение, доктор Ридель, с шелковым цилиндром на коленях, во фраке с модными высокими плечами, в белом галстуке, при крестике и медалях, поместился вместе с племянницей на довольно жесткой передней скамеечке. За весь короткий путь по Эспланаде через Фрауенторштрассе до Фрауенплана они не обменялись ни единым словом. Известная бережливость к своему оживлению, внутренняя подготовка, как за кулисами, к предстоящей затрате светской общительности обычны при таких переездах, здесь же имелись особо веские причины к задумчивому, даже робкому расположению духа.

Ридели чтити молчаливость Шарлотты. Сорок четыре года! – и тоже молчали из сочувствия, изредка с улыбкой поглядывая на нее, и раза два даже ласково дотронулись до ее колен, что давало ей возможность старческому явлению – неравномерному то уменьшающемуся, то вновь усиливающемуся дрожанию головы – придать вид дружелюбных ответных кивков. Украдкой поглядывали они и на племянницу, демонстративно безучастную и с явным неодобрением относящуюся ко всему этому предприятию. Лотхен-младшая, благодаря своей серьезной, добродетельной и исполненной самопожертвования жизни, была почитаемой особой, с одобрением или неодобрением которой невольно считались. Ее наставительно поджатые губы немало способствовали общей молчаливости. Все знали, что ее суровый осуждающий вид прежде всего относится к претенциозному туалету матери, сейчас скрытому под черной мантилей. Лучше всех это знала Шарлотта, ибо достаточно холодно высказанное одобрение сестры не могло не поколебать в ней веры в уместность ее затеи. За это время она не раз теряла вкус к ней и стояла на своем уже только из упорства, только потому, что однажды ухватилась за эту мысль. Успокаивала же она себя тем, что для воспроизведения ее тогдашнего вида не требуется особых приготовлений, ибо белый был раз и навсегда – и все это знали – ее излюбленным цветом, следовательно, на него она имела право, и только к розовым бантам, в особенности к недостающему банту на лифе,



и сводилась вся ее школьная выходка, от мысли о которой теперь, когда она восседала в карете со своей высоко взбитой прической, перехваченной лентой, немало завидуя ничего не символизирующим нарядам других, ее сердце все же билось в упрямо вороватом и радостном ожидании.

Но вот колеса загремели по булыжникам неказистой провинциальной площади, открылась Зейфенгассе и длинный фасад дома со слегка отступающими крыльями, мимо которого Шарлотта с Амалией Ридель уже не раз проходили. Два этажа и мансарда под не слишком высокой крышей, с одинаковыми желтыми воротами по обеим сторонам и плоскими ступенями, ведущими к расположенной посередине парадной двери. Покуда семейство вылезало из экипажа, на этих ступенях оживленно обменивались приветствиями другие гости, одновременно подошедшие с разных сторон. Два солидных господина в цилиндрах и шинелях с пелеринами – в одном из них Шарлотта узнала доктора Римера – пожимали руки третьему, более молодому, без верхней одежды, в одном фраке, но с зонтиком, видимо пришедшему из соседнего дома. Это был господин Стефан Шютце – «наш превосходный беллетрист и издатель», как узнала Шарлотта, когда начались взаимные приветствия и обязательные представления. Ример юмористически уклонился от представления Шарлотте, выразив надежду, что госпожа советница вспомнит человека, вот уже три дня осмеливающегося считать себя ее другом, и отечески потряс руку Лотхен, дочери. Его примеру последовал и сутуловатый человек лет пятидесяти, с мягкими чертами лица и длинными прядями выцветших волос, выбивающихся из-под цилиндра. То был не кто иной, как надворный советник Майер, профессор живописи. Он и Ример явились каждый со своей службы, а их дамы должны были прибыть отдельно.

– Итак, будем надеяться, – сказал Майер, когда они входили в дом – у него было нарочито отрывистое произношение швейцарца, в котором нечто прямодушно-немецкое смешивалось с иностранным, полуфранцузским акцентом, – что нам выпадет счастье, застать нашего хозяина в хорошем и бодром расположении духа, а не в брюзгливом и угрюмом, и тем самым избежать мучительного ощущения, что мы ему в тягость.

Он произнес это, обращаясь к Шарлотте, твердо и обстоятельно, видимо, отнюдь не думая о том, сколь мало ободряюще звучали эти слова интимного друга дома для впервые этот дом посещающих. Она не удержалась, чтобы не сказать:

– Я знаю вашего хозяина даже дольше, чем вы, и мне хорошо известна поэтическая переменчивость его настроений.

– Знакомство чем новее, тем доскональнее, – непоколебимо отвечал он.

Но Шарлотта уже не откликнулась. Она была поражена изящной роскошью лестницы, по которой они всходили, ее широкими мраморными перилами, величаво-плавным подъемом низких ступеней, прекрасными античными украшениями. На площадке, – где в белых нишах стояли отлитые в бронзе прелестные греческие статуи, а перед ними, на мраморном постаменте, тоже бронзовая, в великолепно схваченной позе, круто повернувшаяся борзая собака,

– Август фон Гете дожидался гостей. Он выглядел весьма приятно, несмотря на некоторую расплывчатость фигуры, и лица, обрамленного расчесанными на пробор кудрявыми волосами, при ордене, во фраке, с шелковым шейным платком и в камчатном жилете. Август проводил их несколько шагов по направлению к приемной, но тут же воротился приветствовать гостей, прибывших вслед за ними.

Слуга, также чрезвычайно величественного и достойного вида, хотя еще молодой, в

голубой ливрее с золочеными пуговицами, довел Риделей и мадам Кестнер с дочерью до конца лестницы, чтобы помочь им снять верхнее платье. Последняя площадка отличалась таким же благородно-роскошным убранством. Скульптурная группа, известная Шарлотте под названием «Сон и смерть», своим темным блеском контрастировавшая с белой плоскостью стены, стояла сбоку от двери, украшенной белым барельефом, в полу перед которой голубой эмалью было выложено «Salve!» [48 - Привет (лат.)]. «Ну что ж! – подумала Шарлотта, приободрившись. – Значит, мы желанные гости! Причем здесь брюзгливость и угрюмое расположение? Ах, и красиво же у этого мальчика! На Корнмаркте в Вецларе он жил скромнее. Там на стенке висел мой силуэт, подаренный ему из доброй дружбы и сострадания, и он по утрам приветствовал его взглядом и поцелуем, как это стоит в книге. Дано мне преимущественное право отнести к себе это „Salve!“ или не дано?»

Бок о бок с сестрой вошла она в распахнутые двери гостиной, чуть испуганная, ибо слуга – а это было ей непривычно – во весь голос выкрикнул: «Госпожа надворная советница Кестнер!» В комнате с роялем вдоль стены, весьма элегантной, но после обширной лестницы невольно разочаровывающей своими скромными пропорциями, с пустой дверной рамой, открывающей вид на анфиладу других покоев, подле колоссального бюста Юноны уже стояли гости: два господина и одна дама. Они прервали оживленный разговор и с любопытством обернулись к вновь прибывшим, вернее, к одной из них – она это отлично поняла, – и подготовились к взаимному представлению. Но так как ливрейный слуга тут же возвестил имена новых гостей, господина камерального советника Кирмса с супругой, которые вошли вместе с молодым хозяином, и непосредственно за ними дамы Майер и Ример, то, как это часто случается в маленьких городах с короткими расстояниями, все приглашенные внезапно и словно по мановению жезла оказались налицо, и приветствия стали всеобщими. Доктор Ример и Август фон Гете представили Шарлотте, очутившейся в центре этой маленькой толпы, всех незнакомых ей людей, чету Кирмсов, главного архитектора Кудрэй и его супругу, господина надворного советника Вернера из Фрейбурга, остановившегося в «Наследном принце», и двух дам: Майер и Ример.

Она понимала, какому злорадному любопытству, по крайней мере со стороны женщин, выставлена на показ, и противостояла ему с достоинством, отчасти, впрочем, навязанном ей необходимостью сдерживать усилившееся от всех треволнений дрожание головы.

Эта слабость, всеми замеченная, но различно воспринятая, странно контрастировала с чем-то девическим в ее облике. В белом, свободном, но доходящем только до щиколоток платье, заколотом на груди аграфом и отделанном розовыми бантами, в маленьких черных сапожках на пуговицах, она стояла, милая и старомодная, со своими пепельно-серыми волосами, высоко зачесанными над чистым лбом, – с лица, конечно, безнадежно старая, с отвисшими щеками, наивно покрасневшим носиком, но с лукавой улыбкой на губах. Мягкий, усталый взгляд незабудковых глаз обращался на представляемых ей гостей, и она внимательно выслушивала заверения в том, сколь радостно для них ее пребывание в этом городе и какая честь выпала им на долю: присутствовать при встрече столь знаменательной.

Подле нее стояла, время от времени ныряя в реверансе, ее критическая совесть, – если можно так назвать Лотхен-младшую, – наиболее молодая из всех присутствующих, ибо общество сплошь состояло из лиц уже в возрасте, даже беллетристу Шютце на вид было за сорок. Сиделка брата Карла выглядела весьма кисло – гладкие, расчесанные на прямой ряд волосы и темно-лиловое платье, без всяких украшений, с крахмальным гофрированным воротничком, как у пастора. Она уклончиво улыбалась и хмурилась в ответ на любезности, расточаемые и ей, но главным образом матери, которые она

воспринимала как заслуженные колкости. Кроме того, Лотхен страдала – и это передавалось Шарлотте, сколь храбро она тому ни противилась, – от слишком молодого убранства матери, вернее не от белого платья, которое еще могло сойти за каприз и причуду, но от злополучных розовых бантов. Ее сердце разрывалось от желания, чтобы люди поняли смысл этого неподобающего украшения и потому не сочли его скандальным, и страха, как бы они все же не поняли.

Одним словом, недовольство чопорной Лотхен граничило с отчаянием; чувствительная же и взволнованная Шарлотта невольно разделяла ее настроение и должна была прилагать немало усилий, чтобы не утратить веры в остроумие своей унылой шутки. Собственно, в этом кругу ни одна женщина не имела бы оснований упрекать себя за некоторое своеобразие туалета или опасаться упреков в эксцентричности, так как в одежде дам замечалась общая склонность к известной эстетической непринужденности, даже театральности, что явно контрастировало с официальной внешностью мужчин – у них у всех, включая и Шютце, в петличках пестрели различные знаки отличия, медали, ленты и крестики. Среди дам исключение, в известной мере, составляла лишь советница Кирмс, – в качестве жены очень высокого чиновника, она, видимо, считала для себя обязательной строгую сдержанность костюма, если, конечно, оставить в стороне огромные крылья ее шелкового чепца, почти уже фантастические. Что касается мадам Ример – той самой сироты, которую ученый высватал в этом доме, – а также мадам Майер, урожденной фон Коппенфельд, то их уборы отличались артистичностью и смелостью: первая как бы олицетворяла интеллектуальную скорбь – воротничок из желтых кружев на черном бархате одеяния, ястребиное лицо цвета слоновой кости, обрамлявшееся черными волосами, перевитыми белой лентой и в виде туго закрученного локона, осеняющими лоб; другая, Майер, более чем перезрелая, была одета под Ифигению, с полумесяцем на поясе, чуть пониже сильно открытой груди, и с античной каймой на лимонно-желтом платье классического покроя, на которое ниспадала с головы темная вуаль, с открытыми руками, по-модному затянутыми в длинные перчатки.

Мадам Кудрэй, супруга придворного архитектора, помимо пышности своего платья, выделялась еще и широкополой шляпой a la Корона Шретер; даже Амалия Ридель, в профиль несколько смахивавшая на утку, благодаря пышным буфам на рукавах и короткой пелерине из лебяжьих перьев сумела придать себе живописную оригинальность. Среди всех этих особ Шарлотта, в сущности, выглядела наименее претенциозной и притом в своей старческой детскости с достойной осанкой, нарушаемой лишь произвольным дрожанием головы, наиболее трогательной, приметной и примечательной, побуждающей к размышлениям или насмешкам. Измученная Лотхен считала, что безусловно к насмешкам. Она была твердо убеждена, что веймарские дамы пришли уже к некоему злорадному соглашению касательно ее матери, когда маленькое общество после первых приветствий разбилось на группы.

Кестнерам, матери и дочери, сын хозяина дома показал картину, которая висела над диваном, пошире раздвинув прикрывавшие ее занавески. Это была копия так называемой Альдобрандинской свадьбы; профессор Майер, пояснил он, некогда по дружбе скопировал ее для хозяина дома. И так как Майер уже приближался к ним, то Август занялся другими гостями. У Майера вместо цилиндра, в котором он пришел, на голове была бархатная ермолка, в сочетании с фракком имевшая особенно домашний вид, так что Шарлотта невольно взглянула ему на ноги, не мягкие ли на нем туфли. Это, конечно, было не так, но ученый историк искусств в своих широких сапогах ступал столь неслышно, как если бы ее предположение оправдалось. Руки его были небрежно заложены за спину и голова слегка откинута набок, вся его повадка, казалось, говорила, что вот-де он, истый друг дома, чувствует себя непринужденно и даже готов уделить нервничающим новичкам частицу своего душевного спокойствия.

– Итак, мы все в сборе, – произнес он с размеренным и как бы запинаящимся выговором, который вывез из Штефы на Цюрихском озере и пронес через все долгие годы римского и веймарского житья; лицо его при этом сохраняло полную неподвижность. – Итак, мы все в сборе и можем рассчитывать, что к нам не замедлит присоединиться и сам хозяин. Ничего нет удивительного, если гостям, впервые находящимся в этом доме, последние минуты ожидания удлинит известная робость. А между тем следовало бы воспользоваться этим временем, чтобы по привыкнуть к атмосфере и окружающей обстановке. Я всегда охотно прихожу на помощь неофитам, дабы облегчить им ехрегепсе, все же достаточно волнующий.

Он сделал ударение на первом слоге французского слова и с неподвижной миной продолжал:

– Самое лучшее: вовсе или по мере возможности не давать ему заметить напряженного состояния, в котором волей-неволей пребываешь, и приветствовать его без каких бы то ни было признаков волнения. Это облегчает положение как хозяина, так и гостя. При его необычайной восприимчивости, конфузливая робость гостей, с которыми он вынужден считаться, передается ему, как бы заражает его на расстоянии, так что и он начинает чувствовать известную скованность, которая только осложняет неловкость других. Куда разумнее держать себя естественно, не думая, что его следует с места в карьер занимать возвышенными или глубокомысленными разговорами, – к примеру, о его собственных произведениях. Ничего нет менее желательного. Гораздо лучше простодушно болтать с ним об обыкновенных и конкретных вещах; тогда он, готовый без устали внимать всему человеческому и житейскому, скорее оттаит, скорее получит возможность проявить свою участливую доброту. Я, конечно, не имею в виду фамильярности, пренебрегающей расстоянием между ним и нами, которую он, впрочем, – на это имеется ряд предостерегающих примеров – умеет быстро пресекать.

Шарлотта, за время этой речи, лишь изредка взглядывала на наставительного приближенного, не зная, что отвечать. Невольно она себе представила, – и тут же в этом утвердилась, – сколь трудно новичкам, особливо застенчивым, воспользоваться таким призывом к непринужденности для установления своего душевного равновесия. Обратное действие, думалось ей, куда вероятнее. Она лично была обижена вмешательством, проявившимся в столь менторской форме.

– Благодарю вас, – произнесла она наконец, – господин надворный советник, за ваши указания. Многие будут вам за них искренне признательны. Но не следует забывать, что в моем случае речь идет о возобновлении знакомства сорокачетырёхлетней давности.

– Человек, подобный ему, – сухо возразил Майер, – каждый день, каждый час кажущийся иным, надо думать, несколько переменялся за сорок четыре года. Ну-с, Карл, – обратился он к приблизившемуся лакею, – каково сегодня расположение духа.

– Сравнительно хорошее, господин советник, – отвечал молодой слуга. И тут же остановившись в дверях, створки которых – Шарлотта видела это впервые – уходили в стену, без особой торжественности, даже интимно понизив голос, возвестил: – Его превосходительство!

При этих словах Майер поспешил к остальным гостям, которые снова сошлись вместе и сгруппировались на известном расстоянии от особняком стоящих матери и дочери.

Гете вошел уверенными, мелкими, несколько дробными шагами, распрямив плечи и слегка откинув торс. На нем был двубортный наглухо застегнутый фрак и шелковые

чулки, на груди блистала искусно сработанная серебряная звезда, белый батистовый шейный платок, скрещивающийся у ворота, был заколот аметистовой булавкой. Его волосы, вьющиеся на висках и уже поредевшие над высоко вздымающимся лбом, были покрыты ровным слоем пудры. Шарлотта и узнала и не узнала его – то и другое потрясло ее одинаково. Прежде всего, с первого же взгляда она узнала ту единственную раскрытость собственно не столь уже больших глаз, темно мерцающих на смуглом лице, из которых правый был посажен несколько ниже левого. Их могучий и наивный взгляд теперь подчеркивался вопросительно поднятыми бровями, которые ровными тонкими дугами сбегали к чуть опущенным книзу уголкам глаз, – выражение, как бы говорившее: «Кто все эти люди?» Боже милостивый, через всю жизнь пронесла она память о глазах того юноши! Эти глаза, карие и близко посаженные, гораздо чаще казались черными, ибо при всяком душевном движении – а когда же его душа не была в движении! – зрачки их так сильно расширились, что чернота побеждала карий цвет радужной оболочки и создавала это впечатление. То был он и не он. Такого крутого лба у него раньше не было – ну, понятно, эта высота обусловлена отступившими, поредевшими волосами, впрочем, красиво ложившимися. Этот лоб порожден не обнажающей силой времени, хотелось ей сказать себе в успокоение, впрочем не слишком успокаивающее. Ибо время здесь было равнозначно жизни, труду, которые десятилетиями обтачивали горную породу его чела, так сурово изваяли это некогда гладкое лицо, так вдохновенно избородили его морщинами. Время, возраст, здесь они значили больше, чем обветшание, обнажение, естественный упадок, все, что могло бы внушить растроганность и печаль; они были полны смысла, были духом, делом, историей, – их следы, отнюдь не призывающие к сожалению, заставляли мыслящее сердце биться в счастливом ужасе.

Гете было тогда шестьдесят семь лет. Шарлотта могла почитать себя счастливой, встретившись с ним теперь, а не пятнадцатью годами раньше, в начале века, когда неповоротливая тучность, первые признаки которой сказались еще в Италии, достигла своей высшей точки. Это он преодолел. Несмотря на несколько деревянную походку, впрочем напоминавшую нечто характерное для него и в ранние годы, его стан под тонким, блестящим шелком фрака казался почти юношеским; его фигура за последнее десятилетие стала больше напоминать прежний, вецларский облик. Добрая Шарлотта перескочила через ряд его обликов, менее схожих с другом молодости, чем то, в котором он теперь предстал перед нею, пройдя через множество ей неизвестных стадий. Было время, когда его ожиревшее лицо казалось хмурым и надутым, так что подруге юности было бы многим труднее, чем нынче, в нем разобраться. Впрочем, в выражении его лица замечалось что-то искусственное, непонятно зачем наигранное, какое-то недостаточно мотивированное удивление при виде ожидающих гостей. В то же время было очевидно, что его большой, законченно прекрасный рот с не слишком узкими, но и не толстыми губами, углы которого резцом прожитых лет были глубоко вделаны в щеки, портила излишняя подвижность, нервный переизбыток быстро друг друга сменяющих и отрицающих выражений; Гете явно затруднялся в выборе какого-нибудь одного. Противоречие между величием и значительностью этих словно изваянных черт слегка склоненной набок головы и выражением ребячливого недоумения, известной кокетливости и двусмысленности тотчас же бросалось в глаза.

Еще в дверях он правой рукой обхватил предплечье левой, страдавшей от ревматизма. Ступив несколько шагов, он отпустил ее, остановился, отвесил собравшимся любезно-церемонный поклон и приблизился к обеим особняком стоявшим дамам.

Его голос, – он совершенно не изменился, остался тем же звучным баритоном, которым говорил и декламировал худенький юноша. Станным казалось, что этот голос, может быть, немного более замедленный и размеренный – хотя известная важность уже и тогда была ему присуща – исходит от почтенного старца.

– Дорогие дамы! – произнес хозяин дома и одновременно протянул правую руку Шарлотте, левую Лотхен, затем сблизил обе их руки и, держа в своих, продолжал: – Наконец-то я могу собственными устами приветствовать вас в Веймаре! Это поистине живительная, прекрасная неожиданность. А как, должно быть, обрадовались наши милые и почтенные Ридели столь радостно-желанному визиту. Поверьте, мы умеем ценить, что вы, однажды посетив эти стены, не прошли мимо наших дверей!

«Радостно-желанному», – сказал он, и благодаря не то смущенному, не то лукавому выражению, которое принял его улыбающийся рот, такое произвольное словообразование вышло прелестным. Что эта прелесть сочеталась с дипломатией, с преднамеренностью, с первого же слова устанавливающей дистанцию, Шарлотте было слишком ясно – об этом можно было догадаться уже по осторожной продуманности его слов. Для установления дистанции он воспользовался и тем, что она стояла перед ним не одна, но с дочерью. Это давало ему возможность, соединив четыре руки, держать речь во множественном числе и о себе говорить не «я», но «мы», так сказать, укрываться за свой дом, выдвигая предположение, что гости могли пройти мимо «наших» дверей. Да и любезное «радостно-желанное» он придумал в связи с Риделями.

Его взор несколько нерешительно перебежал с матери на дочь, но обращался и поверх них, к окнам. Собственно, Шарлотте казалось, что он ее не видит, но в то же время от нее не ускользнуло, что его беглый взгляд подметил ставшее сейчас уже неукротимым дрожание головы: на одно краткое мгновение он помертвел от этого открытия, лицо его приняло серьезное сострадательное выражение, но он мгновенно вышел из печального оцепенения и как ни в чем не бывало вернулся к любезному разговору.

– И юность, – продолжал он, повернувшись уже только к Лотте, дочери, – как золотистый солнечный луч врывается в наш сумрачный дом...

Шарлотта, до того лишь невнятно пролепетавшая о том, что ей было бы непростительно пройти мимо его дверей, начала запоздалое и явно затребованное представление. Главным ее желанием, сказала она, было представить ему это дитя, Шарлотту, ее вторую дочь, приехавшую из Эльзаса повидаться с матерью. Она говорила ему «ваше превосходительство», правда, как-то поспешно и словно проглатывая эти слова, и он не остановил ее, не предложил ей другого обращения, впрочем, может быть, потому, что был занят рассматриванием представляемой ему девицы.

– Красива! Красива! – решил он. – Немало мужских сердец, вероятно, сокрушили эти глазки.

Комплимент был настолько условным и так явно не подходил к сиделке брата Карла, что это уже вопияло к небесам. Кислая Лотхен скривила губы в мучительно-напряженной улыбке, что, вероятно, и заставило его следующую фразу начать с нерешительного «во всяком случае».

– Во всяком случае, я очень, очень рад, что мне наконец-то суждено было увидеть представительницу милой группы, силуэт которой мне некогда прислал покойный советник. Тому, кто умеет ждать, время приносит все.

Это уже походило на покаяние; то, что он упомянул о силуэте и Гансе-Христиане, было первым нарушением дистанции, ощущавшейся Шарлоттой, а потому она едва ли была права, напомнив ему, что он уже познакомился с двумя из ее сыновей, а именно с Августом и Теодором, когда они взяли на себя смелость посетить его в Гербермюле. Как раз это имя ей произносить, вероятно, не следовало, ибо он взглянул на нее, когда оно уже соскочило с ее языка, каким-то остекленевшим взглядом, слишком страшным, чтобы

его можно было отнести просто за счет воспоминания о встрече.

– Ах, да, конечно же! – тут же воскликнул он. – Как я мог позабыть! Простите эту старую голову. – И вместо того чтобы указать на забывчивую голову, он погладил, как и в момент своего появления, правой рукой левое предплечье, к болезненному состоянию которого, видимо, хотел привлечь внимание. – Как поживают эти превосходные молодые люди? Хорошо, так я и думал. Благополучие обусловлено их прекрасной натурой, это врожденное свойство, да и могло ли быть иначе при таких родителях. А путешествие наших любезных дам, – осведомился он, – надеюсь, было приятным? Дорога Гильдесгейм-Нордгаузен-Эрфурт отлично оборудована: почти всегда хорошие лошади, недурная пища на станциях и цены весьма умеренные, вам это обошлось, вероятно, не дороже пятидесяти талеров.

Сказав это, он, видимо, решил положить конец обособленности, повернулся и вместе с дамами Кестнер присоединился к остальному обществу.

– Надеюсь, – заметил он, – что наш молодой хозяин (он подразумевал Августа) уже познакомил вас с уважаемыми гостями. Все эти прекрасные дамы – ваши почитательницы, а достойные мужи – почитатели... – Он подряд раскланивался с мадам Кирмс в чепце, архитекторшей Кудрэй в широкополой шляпе, интеллектуальной Ример, классической Майер и Амалией Ридель, на которую уже раньше, во время «радостно-желанного», бросил выразительный взгляд и затем стал поочередно пожимать руки мужчинам, особенно отличив при этом горного советника Вернера, кругленького, добродушного человека лет пятидесяти, с веселыми глазками, большой лысиной и седой курчавой шевелюрой на затылке, отменно выбритые щеки которого уютно упирались в стоячий воротник, повязанный белым шарфом. Вернера он удостоил наклоном головы, и лицо его тут же приняло понимающее, усталое выражение, как бы говорившее: «Наконец-то покончено с формальностями, а уж мы с вами сумеем заняться чем-нибудь поделнее». При этом жесте лица Майера и Римера выразили одобрение, явно маскировавшее ревность. Затем, покончив с обходом гостей, он снова обратился к геогностику, тогда как дамы окружили Шарлотту и шепотом, непрерывно обмахиваясь веерами, начали расспрашивать, очень ли, по ее мнению, изменился Гете.

Они постояли еще некоторое время возле царившего над комнатой гигантского классического бюста, среди акварелей, гравюр и картин, украшавших ее обитые штофом стены, вдоль которых, так же как и в простенках между окнами и белыми дверьми, были симметрично расставлены прямые, изящные стулья и белые полированные шкафы с коллекциями. Повсюду размещенные произведения искусства и старинные безделушки, халцедоновые чаши на мраморных столах, крылатая Никая, украшавшая стол возле дивана под «Альдобрандинской свадьбой», античные статуэтки богов, ларов и фавнов под стеклянными колпаками, сообщали комнате вид музейного зала. Шарлотта не выпускала из виду хозяина дома, который, крепко стоя на раздвинутых ногах, немного слишком прямо и заложив руки за спину, – серебряная звезда на его шелковом фраке блистала при малейшем движении, – поочередно беседовал то с одним, то с другим из гостей – с Вернером, Кирмсом, Кудрэй, но не с нею. Ей нравилось исподтишка наблюдать за ним, не будучи обязанной вступать с ним в беседу, что, впрочем, ей не мешало со жгучим нетерпением ожидать продолжения разговора, хотя, с другой стороны, наблюдение за его беседой с другими отбивало у нее эту охоту, убеждая ее, что тот, кому в данный момент, сия честь выпадала, чувствовал себя не совсем в своей тарелке.

Друг ее юности производил впечатление исключительно аристократическое, сомнений тут быть не могло. Его костюм, в былые времена вызывающий, теперь изысканно скромный и чуть-чуть отставший от моды, превосходно гармонировал с известной чопорностью его манер и походки, а все вместе создавало впечатление величавого

достоинства. И все же, хотя в его осанке было нечто важное и он высоко нес прекрасную голову, казалось, что это величие не очень твердо держится на ногах; с кем бы он ни разговаривал, движения его были как-то нерешительны, скованы, и это своей неожиданностью тревожило наблюдающего со стороны не меньше, чем случайного собеседника. Так как каждый чувствует и знает, что непринужденная свобода и самозабвенная непосредственность поведения основаны на поглощенности предметом, то эта напряженность, естественно, заставляла думать, что он проявляет мало интереса к людям и обстоятельствам, а это безнадежно уводило от предмета разговора и его собеседника. Взор хозяина дома покоился на собеседнике, покуда тот, увлеченный разговором, не подымал своего, но стоило тому на него посмотреть, как хозяин уже отводил глаза, которые начинали неопределенно блуждать в пространстве. Шарлотта с женской проницательностью все это подметила, и нам остается только повторить, что она одинаково боялась продолжения разговора с другом юности и желала его.

Впрочем, многое в поведении Гете можно было отнести за счет трезво выжидательного, предобеденного состояния, которое длилось слишком долго. Он не раз вопросительно посматривал на сына, видимо исполнявшего обязанности мажордома. Наконец слуга приблизился с вожделенным известием, и Гете, поспешно перебив его, объявил маленькому собранию:

– Дорогие друзья, нас просят обедать. – С этими словами он подошел к Лотте и Лотхен, изящным жестом, как в контрадансе, взял их за руки и открыл шествие в соседний, так называемый желтый зал, где сегодня был сервирован обед, ибо малая столовая не могла вместить шестнадцать человек. Наименование «зал» было, пожалуй, чересчур громким для комнаты, в которую перекочевало общество, хотя она и выглядела просторнее, чем только что оставленная. И в ней в свою очередь высились два колоссальных бюста: Антиноя, меланхолического от избытка красоты, и величественного Юпитера. Серия раскрашенных гравюр на мифологические сюжеты и копия Тициановой «Небесной любви» украшали стены. И здесь за распахнутыми дверьми открывалась анфилада комнат, и особенно красива была та, что прилегала к узкой стороне желтого зала и вела через «комнату бюстов» к лестнице, спускавшейся в зимний сад и дальше к балкону, выходившему в зеленый двор. Убранство стола отличалось аристократической элегантностью: тончайшее камчатное полотно, цветы, серебряные канделябры, золоченый фарфор и бокалы трех видов перед каждым кувертом. Прислуживали молодой лакей и краснощекая служанка с пышными белыми руками, в чепчике, корсаже и широкой домотканой юбке.

Гете сидел в середине продольной части стола, между Шарлоттой и ее сестрой, справа и слева от них заняли места: надворный советник Кирмс и профессор Майер, дальше – с одной стороны мадам Майер, с другой – мадам Ример. Августу, из-за большего числа мужчин, не удалось соблюсти принцип чередования. Горного советника он посадил насупротив отца, место справа от того пришлось отвести доктору Римеру; возле него сидела Лотхен-младшая, имея своим кавалером еще и Августа. Слева от Вернера, напротив Шарлотты, поместилась мадам Кудрэй, далее доктор Ридель и мадам Кирмс. Господин Стефан Шютце и главный архитектор заняли оба узких конца стола.

Суп, очень крепкий бульон с фрикадельками, уже был разлит, когда гости стали рассаживаться. Хозяин, словно свершая обряд освящения, переломил хлеб над своей тарелкой. Сидя, он, видимо, чувствовал себя лучше, свободнее; к тому же так он казался выше ростом. Возможно, впрочем, что самое гостеприимно-семейственное председательствование за столом сообщало ему непринужденную веселость. Здесь он, казалось, был в своей стихии. Большими, лукаво блестящими глазами он окинул еще молчаливый круг гостей и с той же торжественностью, с какой положил начало трапезе, проговорил, размеренно и ясно артикулируя, как это свойственно южным немцам,



перенявшим говор северной Германии:

– Возблагодарим небо, дорогие друзья, за приятную встречу, дарованную нам по столь радостному поводу, и воздадим должное скромному, но любовно приготовленному обеду.

С этими словами он начал есть, и все последовали его примеру, причем общество кивками, переглядыванием, восторженными улыбками выражало свое восхищение этой маленькой речью – казалось, каждый говорит другому: «Что поделаешь? Что бы он ни сказал, это всегда прекрасно».

Шарлотта сидела, окутанная запахом одеколона, исходившим от ее соседа слева, и неволью думала о «благоухании», по которому, если верить Римеру, узнают божество. Она была как в полусне, и этот свежий запах казался ей трезвой материализацией божественного озона. Опытная хозяйка, она не могла не отметить, что фрикадельки были поистине «любовно приготовлены», то есть на редкость легки и воздушны. Но все ее существо пребывало в напряжении, в ожидании; оно и противилось установившейся дистанции, и все еще не отказывалось преодолеть ее. В этой надежде, не поддающейся точному определению, она чувствовала себя укрепленной свободной общительностью своего соседа в качестве председателя трапезы, но, с другой стороны, и слегка в ней поколебленной тем обстоятельством, что она сидела рядом с ним, – что было, впрочем, неизбежно, – а не напротив него, ибо насколько больше соответствовало бы это ее внутренней потребности иметь его перед глазами и насколько легче было бы и ему тогда заметить ее обдуманый наряд – средство устранить эту дистанцию! Она ревниво завидовала своему визави Вернеру в ожидании слов, лично к ней обращенных, на которые ей пришлось бы откликнуться сбоку, тогда как она охотнее пошла бы в любовную атаку, глядя прямо в лицо собеседнику. Но хозяин не спешил заговорить с ней, а обращался ко всем окружающим. После первых же ложек супа он, одну за другою, взял в руки две бутылки в серебряных подставках и слегка наклонил их, чтобы лучше рассмотреть этикетки.

– Я вижу, – продолжал он, – мой сын знаток своего дела: он предложил нам два прекрасных напитка, из которых отечественный может поспорить с французским. Мы твердо придерживаемся патриархального обычая – каждый сам наливает себе, это безусловно предпочтительнее стола, который невидимые духи уставляют винами, или педантической подачи в бокалах, чего я уже просто не терплю. А так каждый волен пить, сколько хочет, и видит по своей бутылке, каково он с нею управился. Согласны ли вы со мной, милостивые государыни, и вы, милый господин горный советник? Красного или белого? Мое мнение: сначала отечественная лоза, а французская – к жаркому, или же попробуем согреть душу вот этим? Я стою за него. Этот лафит восьмилетней давности приятно дурманит мозги, и я со своей стороны не хочу зарекаться, что вторично не обращусь к нему, впрочем, сей эйльферский портвейн создан, чтобы будить моногамические инстинкты в том, кто раз его отведал. Наши милые немцы странный народ, доставляющий слишком много хлопот своим пророкам, как и евреи своим, но зато их вина – благороднейший дар небес.

Вернер удивленно рассмеялся прямо ему в лицо. Но Кирмс, человек с тяжелыми веками и узким черепом, покрытым курчавыми седыми волосами, отвечал:

– Его превосходительство позабыл за честь немцам в заслугу свое собственное рождение.

Одобрительный смех, которым разразились Ример и Майер насупотив, изобличил, что они не столько занимались своими соседями, сколько вострили уши на слова хозяина

дома.

Гете тоже засмеялся – с закрытым ртом, вероятно чтобы не показывать зубы.

– Будем считать это смягчающим обстоятельством, – произнес он. И затем обратился к Шарлотте, спрашивая, что она будет пить.

– Я не привыкла к вину, – отвечала она. – Оно слишком быстро туманит мне голову, и только из дружбы я решусь пригубить немножко. Но вот что невольно привлекло мое внимание. – Она кивком указала на выстроенные в ряд бутылки. – Что бы это могло быть?

– О, это моя эгерская вода, – отвечал Гете. – Ваши симпатии пошли правильным путем, этот источник не иссякает у нас в доме, среди всех трезвостей на свете он больше всего пришелся мне по вкусу. Я налью вам под условием, во-первых, что вы отведаете немножко и вот этого горячего золота, а во-вторых, не станете смешивать столь различные сферы и не разбавите вино водой, что я считаю прескверным обычаем.

Он выполнял обязанности виночерпия на своем конце стола, поодаль тем же занимался его сын и доктор Ридель. В это время подали рыбу с грибным гарниром, запеченную в раковинах, и Шарлотта, хотя не чувствовала аппетита, не могла не отдать должного ее превосходным качествам. Напряженно вглядывавшаяся во все окружающее, исполненная тихого любопытства, она находила это высокое качество кухни весьма примечательным и приписывала его требовательности хозяина, в особенности когда заметила, что Август, теперь, как и позднее, своими слащаво меланхолическими и смягченными отцовскими глазами то и дело вопросительно и робко взглядывал на председателя пирса, как бы спрашивая, по вкусу ли ему данное блюдо. Гете, единственный из всех, взял две раковины, хотя вторую и оставил почти нетронутой. Что глаза у него были, как говорится, завидующие, обнаружилось за жарким, превосходным филе с разнообразными овощами, которое подавалось на красивых продолговатых блюдах – он столько положил себе на тарелку, что едва управился с половиной. Зато пил он большими глотками и рейнвейн и бордо; торжественный жест, которым он наливал вино, чаще всего относился к его собственному бокалу. Бутылку эйльферского портвейна вскоре пришлось заменить непочатой. Его и без того смуглое лицо за время обеда стало еще сильнее контрастировать с пудренными волосами. На его обрамленную гофрированной манжетой руку с короткими правильной формы ногтями, в строении которой, несмотря на всю ее ширину и силу, было нечто одухотворенное, крепко и ладно берущуюся за бутылку, Шарлотта смотрела с упорным, несколько сомнамбулическим вниманием, не покидавшим ее все это время. Он вторично налил ей эгерской воды и стал при этом повествовать, все тем же неторопливым, глубоким и звучным, ясно артикулирующим, но отнюдь не монотонным голосом, лишь изредка по-франкфуртски проглатывая конечные согласные, о своем первом знакомстве с сим благодетельным источником и о том, что франценсдорфские торговцы ежегодно доставляют ему в больших количествах эту воду, особенно теперь, когда он, отказавшись от поездок на богемские курорты, старается проводить курс лечения дома. Оттого ли, что он произносил слова так четко и точно и рот его приятно складывался в полуулыбку, имевшую в себе нечто безотчетно притягательное и властное, но все за столом невольно к нему прислушивались и возникавшие было частные беседы оставались бессодержательными и случайными, так что, стоило ему заговорить, и все тотчас же внимали словам хозяина. Он не мог этому воспрепятствовать, или только тем, что с подчеркнутой интимностью склонялся к соседу и обращался к нему, понизив голос; но и тогда остальные продолжали прислушиваться. Так он и после того, как советник Кирмс замолвил доброе слово за немцев, тотчас начал перечислять Шарлотте, так сказать, с глазу на глаз, преимущества и достоинства ее соседа справа: какой это

высокопоставленный и заслуженный государственный муж, к тому же выдающийся практик, душа гофмаршалства, не чуждый общения с музами, тонкий ценитель драматического искусства и незаменимый деятель новоучрежденного театрального ведомства. Казалось, он уже готов отослать ее к разговору с Кирмсом, как говорится сбуть ее с рук, но он тут же осведомился об ее отношении к театру, а также о том, не хочет ли она использовать свое дальнейшее пребывание в Веймаре для более близкого знакомства с возможностями и удачами здешней комедии. Его ложа к ее услугам, когда бы она ни пожелала ею воспользоваться. Шарлотта учтиво поблагодарила и заверила, что всегда находила удовольствие в комедиях, но что в ее кругу театру не уделялось достаточного интереса, да к тому же ганноверский театр вряд ли мог способствовать развитию любви к драматическому искусству, а потому и выходило, что она, всегда обремененная житейскими хлопотами и заботами, редко позволяла себе это удовольствие. Но поближе узнать знаменитый, им самим обученный веймарский ансамбль ей было бы очень приятно и интересно.

Покуда она это говорила, несколько понизив голос, он слушал, время от времени понимающе кивая головой, а затем, к вящему ее смущению, собрал и сложил в аккуратную кучку крошки и хлебные шарики, которые она машинально скатывала. Он повторил приглашение в ложу и выразил надежду, что обстоятельства позволят показать ей «Валленштейна» с Вольфом в заглавной роли, весьма удачный спектакль, приходившийся по вкусу многим заезжим гостям. Потом он сам посмеялся тому, что двойная ассоциация, вызванная упоминанием о Шиллеровой драме и разговором об егерской воде, навела его на мысль о старинном эгерском замке в Богемии, где были перебиты главнейшие приверженцы Валленштейна, чрезвычайно заинтересовавшем его своей архитектурой. Начав говорить об этом замке, он поднял глаза от тарелки, повысил интимно приглушенный голос и снова завладел всеми обедающими. Так называемая Черная башня, сказал он, в особенности если смотреть на нее с того места, где некогда был подъемный мост, великолепное строение из камней, по-видимому, добытых в Каммерберге. С этим он отнесся к горному советнику и понимающе многозначительно кивнул ему головой. Эти камни, по форме похожие на большие кристаллы, продолжал хозяин, необыкновенно искусно обтесаны и сложены так, чтобы максимально противостоять непогоде. Упомянув об этой родственности форм, он, с оживленно заблестевшими глазами, заговорил о минералогической находке, которую сделал по пути из Эгера в Либенштейн, а в эти места его завлек не только замечательный рыцарский замок, но и вздымающийся напротив Каммерберга Платенберг, весьма интересный в геологическом отношении.

Дорога туда, – весело и живо рассказывал он, – поистине головоломная; вся она изборождена ухабами, залитыми водой. Невозможно было определить на вид, до чего они глубоки, и его спутник, тамошний чиновник, положительно умирал со страха – будто бы за его, рассказчика, особу, на деле же за себя самого, так что он, Гете, только и делал, что его успокаивал и заверял в недюжинных способностях возницы, столь превосходно знавшего свое дело, что сам император Наполеон, повстречай он этого малого, несомненно назначил бы его своим придворным кучером. Этот последний осторожно въезжал в огромные колдобины – единственное средство не опрокинуться.

– И вот, когда мы, – так продолжался рассказ, – едва тащились по дороге, к тому же еще круто поднимавшейся в гору, я вдруг увидал на обочине нечто заставившее меня немедленно вылезть из экипажа, чтобы поближе рассмотреть диковинку. «Как ты-то сюда попал? Откуда ты взялся?» – спрашивал я, ибо, что бы вы думали глядело на меня из грязи? Близнецовые кристаллы полевого шпата!

– Ишь ты, поди ж ты! – воскликнул Вернер. И хотя он, вероятно, – Шарлотта это предполагала и даже на это надеялась, – был единственный из присутствующих,

знавший, что такое близнецовый кристалл полевого шпата, все начали высказывать восторг по поводу встречи рассказчика с этим чудом природы, и восторг неподдельный, ибо он так живо и драматично рассказывал о ней, а его радостное и удивленное восклицание: «Как ты-то сюда попал?» – было столь очаровательно, такое неожиданное, трогательное и сказочное впечатление производило, что человек – и какой человек! – на «ты» обращался к камню, что этот случай вызвал живое участие не в одном горном советнике. Шарлотта, с одинаково жгучим интересом наблюдавшая за рассказчиком и за слушателями, на всех лицах видела любовь и восхищение, даже на лице Римера; впрочем, у него это выражение смешивалось с обычной брюзгливостью, но и на лицах Августа, Лотхен она читала то же самое, и даже в обычных жестах и неподвижных чертах Майера, который, словно не замечая своей соседки Амалии Ридель, склонился в сторону рассказчика, боясь пропустить хоть слово, выходившее из его уст, выражалось такое горячее умиление, что слезы, хоть она этого и не сознавала, выступили у нее на глазах.

Ей могло быть только приятно, что друг юности после краткой беседы с нею стал снова обращать свою речь ко всем присутствующим, отчасти потому, что они этого жаждали, отчасти же – Шарлотта это отлично понимала – из желания соблюсти «дистанцию». И все же эти патриархальные речи *pater familias*[49 - Отца семейства (лат.)] доставляли ей какое-то своеобразное, несколько даже мифически окрашенное наслаждение. Старинные речения, поначалу смутно вспоминаясь ей, теперь прочно засели в ее голове. Лютеровы застольные беседы, подумала она и ухватилась за это сравнение, несмотря на всю его физиогномическую абсурдность.

Не прерывая еды, питья, выполняя свои обязанности виночерпия и временами откидываясь на стуле, он продолжал говорить то медленно, низким голосом, тщательно выбирая слова, то вдруг свободно и быстро, причем его движения заставили Шарлотту вспомнить, что он привык поучать актеров вкусу и театральной благообразию. Его глаза с характерно опущенными углами, блестящим и теплым взором окидывали стол, его рот двигался – не всегда одинаково приятно. Какое-то принуждение временами сводило его губы, столь мучительное и загадочное для наблюдателя, что удовольствие, доставляемое его речами, превращалось в беспокойство и сострадание. Но злые чары быстро рассеивались, и тогда движения его прекрасно очерченного рта становились исполненными такой прелести, что можно было только дивиться, до чего точно и непреувеличенно гомеровский эпитет «амброзический» – пусть доселе к смертным не применимый – определяет это обаяние.

Он рассказал еще о Богемии, о Франценсбрунне, об Эгере и его плодородной долине, описал благодарственный молебен по случаю урожая, на котором он там присутствовал, пеструю процессию стрелков и цеховых подмастерьев, патриархальный народ, во главе с духовенством в пышном облачении, со священными хоругвями, двинувшийся от городского собора к главной площади. Тут он понизил голос и, слегка выпятив губы, с выражением, предвещающим дурную развязку, в котором, впрочем, заключалась и доля шутилой эпичности, как будто он хотел рассказать детям что-то страшное, – приступил к повествованию о кровавой ночи, пережитой этим городом в пору позднего средневековья, о еврейском погроме, некогда устроенном тамошними жителями, внезапно поддавшимися кровавому призыву, как о том сообщает древняя летопись.

Много детей израилевых жило в Эгере на отведенных им улицах, где находилась и одна из знаменитейших синагог, а также богословская академия, единственная иудейская академия во всей Германии. Однажды какой-то босоногий монах, обладавший, надо думать, фатальным даром красноречия, говорил с церковной кафедры о страстях господних и заодно гневно обрушился на евреев, как на виновников всех людских злоключений. Тут один престарелый ландскнехт, до крайности возбужденный этой проповедью, бросился к алтарю, схватил распятие и с криком «кто христианин, за мной!»

метнул искру в толпу, готовую вспыхнуть ярим пламенем. Прихожане устремились за ландскнехтом, к ним пристал всевозможный сброд, и в еврейских улицах начались небывалые грабеж и смертоубийство. Злосчастных обитателей гетто согнали в узкий проулок между двумя большими улицами квартала и там учинили такую резню, что кровь из того проулка, и теперь зовущегося «Кровавым», текла бурным ручьем. Спасся от ножа только один еврей, который забился в трубу и там просидел до конца резни. Этого еврея, по восстановлении порядка, раскаявшийся город, – впрочем, подвергнутый императором Карлом IV значительному штрафу за совершенное злодеяние, – наградил званием эгерского гражданина.

– Эгерского гражданина! – воскликнул рассказчик. – Получив это звание, еврей почувствовал себя полностью вознагражденным. Надо думать, что он потерял жену и детей, все свое добро и состояние, всех собратьев, не говоря уже об отвратительном удушье, пережитом им в дымовой трубе. Наг и бос стоял он теперь, но он стал эгерским гражданином и даже испытывал известную гордость. Таковы люди. Они охотно идут на гнусный поступок, а затем, поостыв, еще извлекают удовольствие из жеста великодушного раскаяния, которым думают загладить позорное деяние, – что не только смешно, но, пожалуй, и трогательно. Ибо не может быть речи о коллективном деянии, а разве что о происшествии. На подобные эксцессы правильнее смотреть как на непонятные явления природы, порождаемые состоянием умов в ту или иную эпоху. И как здесь не признать благодатным, пусть запоздалое, вмешательство все же неизменно существующей высшей корректирующей гуманности, – в нашем случае власти римского императора, – хотя бы в известной степени восстановившей честь человечества повелением расследовать прискорбный случай и обложить провинившийся магистрат денежным штрафом.

Вряд ли было более сдержанно-примиряюще и успокоительно прокомментировать ужасное событие. Шарлотта нашла подобное изложение единственно правильным, если вообще правильно было излагать такие вещи в застольной беседе. Характер и судьба еврейского народа еще некоторое время оставались предметом разговоров, при этом Гете подхватывал замечания, вставляемые то одним, то другим из гостей: Кирмсом, Кудрэй или умницей Майер, и как бы перечеканивал их. О своеобразии этого народа он высказывался со спокойным бесстрашием и чуть насмешливым уважением. Евреи, заявил он, не героичны, но склонны к патетике; древность расы, кровавая многоопытность сделали их мудрыми и скептическими, что уже само по себе обратно героизму. Ведь отзвук мудрости, иронии слышится даже в речах совсем простых евреев наряду с ярко выраженной склонностью к пафосу. Надо только правильно понять это слово, а именно в смысле – страдание; еврейский пафос – это эмфаза страдания, на нас временами производящая гротескное, весьма странное и даже отталкивающее впечатление, – так же как стигматы и кликушество, которые в здоровом человеке не могут не возбудить антипатии, более того – вполне понятной ненависти. Трудно определить чувства природного немца, который слышит, как назойливый еврей-коробейник, грубо вытолканный слугою, восклицает: «Холоп предал меня мукам и позору». Тот заурядный обыватель ведь даже не имеет в своем распоряжении столь сильных, высоких, из глуби веков дошедших слов, тогда как этот, дитя Ветхого завета, все еще непосредственно связанный с его патетической сферой, в трагикомическом житейском случае не долго думая пускает в ход сии великолепные вокабулы.

Это было очаровательно, и общество дружно потешалось – по мнению Шарлотты, излишне громко – над сетованиями коробейника, чьи южно-пылкие жесты передразнил рассказчик, или, вернее, воспроизвел в легком мимическом намеке. Шарлотта сама не могла не улыбнуться, но она была слишком погружена в себя, слишком много мыслей роилось в ее голове, чтобы это веселье пошло дальше полувынужденной улыбки. Оттенок набожного благоговения и угодливости, слышавшийся в дружеском смехе

гостей, внушил ей досадливое презрение, ибо был вызван другом ее юности; но в то же время именно поэтому она почувствовала польщенную и себя. Разумеется, они должны быть растроганы готовностью, – не всегда легко ему дававшейся, что видно было по движению его губ, – с какой он уделял им часть своего богатства. Ведь за всей этой радушной общительностью стояло великое дело его жизни, сообщавшее резонанс его высказываниям и делавшее понятными бурные изъявления благодарности. Странно было и то, что в его случае – вероятно, единственном – духовное нераздельно смешивалось с общественно-служебным, так что трудно было определить, чем именно вызвано это безграничное почитание: тем ли, что великий поэт являлся случайно – или даже не случайно – грансеньором, или тем, что его титул воспринимался не как нечто отдельное от его гения, но, напротив, как светское выражение этого гения. Внушительное «ваше превосходительство», делавшее церемонным любое к нему обращение, в сущности, имело так же мало общего с его поэтическим гением, как и серебряная звезда, сиявшая на его груди; то были атрибуты министра, фаворита, но они до такой степени вобрали в себя понятие о его духовном величии, что казались от него неотъемлемыми. «Может быть, и в собственном сознании моего бывшего друга», – подумала Шарлотта.

Она стала размышлять об этом, впрочем не уверенная, что на такой мысли стоит задерживаться. В угодливом смехе остальных, бесспорно, выражался восторг перед подобным слиянием духовного и земного, гордость этим слиянием, и, с какой-то стороны, этот раболепный восторг ей казался неестественным и недостойным, почти кощунственным. Если бы и вправду удалось установить, что эти гордость и восторг не более как поощренный сервиллизм, то ее сомнения и связанная с ними горечь оказались бы не напрасными. Ей подумалось, что людям очень уж облегчено преклонение перед духовным, когда, украшенное пышным титулом и звездой, оно живет в великолепном доме с античной лестницей в образе элегантного старца с блестящими глазами, чей лоб напоминает вон того Юпитера в углу и кто глаголет амброзическими устами. Духовное, думала она, должно было бы быть бедным, уродливым, не ведающим земных почестей, для того чтобы истинно проверить людскую способность ему поклоняться. Она взглянула через стол на Римера, ибо ей вспомнились его слова, прочно в нее засевшие: «При всем том это не христианство». Ну что же, нет так нет, пусть не христианство. Она не желала судить и не имела ни малейшей охоты воспользоваться раздражением, которое сей уязвленный муж вносил в гимны и славословия своему учителю и кормильцу, но не могла удержаться, чтобы не взглянуть на него, в свою очередь разразившегося подобострастным хохотом, причем еле заметная складочка недовольства, скорби – одним словом, раздражения, опять залегла между его натруженными воловьими глазами... Затем ее взгляд скользнул дальше, мимо Лотхен к Августу, отодвинутому в тень и отвергнутому обществом сыну, несущему на себе пятно позора – отказа от добровольческой службы в армии, жениха амазонки. Не впервые за время обеда смотрела она на него. Еще когда его отец рассказывал о ловком вознице, сумевшем не перевернуть экипаж на ухабистой дороге, она пристально взглянула на камерального советника, ибо ей вспомнился его забавный рассказ о злополучном отъезде, о катастрофе с его другом и Майером, о воплощенном величии, свалившемся в придорожную канаву. И теперь, когда она переводила глаза с фамулуса на него, ее вдруг охватили подозрение, боязнь, относившиеся уже не к этим двум, но ко всем сидящим за столом. Страшная мысль на мгновение мелькнула у нее: что, если громогласность этого раболепного хохота вызвана тем, что он стремится что-то заглушить, скрыть. Мысль тем более неприятная, что была в этой мысли какая-то угроза, угроза и для нее самой, но в то же время и приглашение стать их соучастницей.

Слава всевышнему, то было бессмысленное, нелепое предположение! Любовь, одна только любовь витала над столом, смотрела из всех глаз, прикованных к осмотрительно весело повествующим устам друга. Все ждали еще большего, и не напрасно. Как Лютерова патриархальная застольная беседа, текла дальше звучная, образная речь. Он

еще продолжал развивать тему о евреях с непринужденным превосходством, невольно заставлявшим думать, что и он обложил бы эгерский магистрат корригирующим денежным штрафом. Гете прославлял высокую одаренность этого удивительного племени, музыкальный талант и способность к медицине – еврейские и арабские врачи в средние века снискали доверие всего мира. Что же касается литературы, то с ней еврейское племя – и в этом его сходство с французами – состоит в особо коротких отношениях. Нельзя не признать, что даже заурядный еврей владеет чистым и точным стилем лучше, чем природный немец; последним, в отличие от южных народов, как правило, недостает благоговейно-заботливого отношения к стилю. Евреи – народ святого писания, а отсюда явствует, что душевные качества и моральные убеждения суть обмирщвленные формы религии. Характерно, однако, что религиозность евреев направлена на земное, тяготеет к земному, а их склонность и умение сообщать земным делам религиозную динамичность заставляет думать, что они призваны сыграть немалую роль и в формировании будущего на земле. В высшей степени странно и вряд ли объяснимо, что, несмотря на ценные вклады, сделанные ими во всеобщую культуру, в народах продолжает тлеть стародавняя неприязнь к евреям, в любой момент готовая разгореться пламенем, чему пример погром в городе Эгере. Такого рода неприязнь, когда невольное почитание только приумножает отвращение, можно сравнить лишь с другою: с неприязнью к немцам, чьи исторические судьбы, а также внутренние и внешние отношения с другими народами до странности схожи с судьбами евреев. Он не хочет об этом распространяться, дабы не осквернить свои уста, однако не может скрыть, что временами леденящий страх охватывает его душу при мысли, что скованная ненависть мира, однажды высвободившись из оков, двинется на другую «соль земли», на немцев, и кровавая эгерская ночь покажется лишь слабым подобием неминуемо грядущих событий... Вообще же не стоит предаваться этим грустным размышлениям, да простят его дорогие гости за то, что он занялся отважными экскурсами в будущее и сопоставлениями национальных черт. Правда, существуют сравнения еще более неожиданные. В герцогской библиотеке хранится старинный глобус, на который нанесены краткие, но подчас весьма фрапирующие характеристики различных народов. Так, например, о Германии там говорится: «Немцы – народ, весьма схожий с китайцами». Это звучит в равной мере комично и метко, если вспомнить о немецком пристрастии к титулам и их преклонении перед ученостью. Разумеется, из подобных эпических заключений можно, при охоте извлекать все что угодно, и такое сравнение не меньше подходит к французам, чья культурная самоудовлетворенность и риторическая пытливость сильно отзывают китайщиной. Кроме того, они демократы, а следовательно, и в этом сродни китайцам, хотя им и далеко до радикальности китайских демократических убеждений. Ведь это соотечественники Конфуция пустили в ход словцо: «Великий человек – общественное бедствие».

Здесь все присутствующие разразились смехом, еще более громким, чем прежде: такие слова в таких устах вызвали целую бурю веселья. Гости откидывались на стульях, клали головы на стол, стонали от смеха, доведенные до изнеможения этой нелепостью, исполненные желанием показать хозяину, как они ценят то, что он адресовал это к себе, и в то же время довести до его сведения, сколь чудовищно абсурдным почитают они сие изречение. Только Шарлотта прямо сидела на стуле, застыв и уставившись в одну точку широко раскрытыми незабудковыми глазами. Дрожь пробирала ее. Она и вправду побледнела, и только легкое подергивание в углах рта выражало ее участие во всеобщей веселости. Станный морок овладел ею: среди башен со множеством крыш и колокольчиков прыгал на одной ножке чудной (умный, но непонятный) народ, с косами, в воронкообразных шляпах и пестрых кацавейках, воздымая к небу костлявый указательный палец с длинным ногтем и на чирикающем языке выкликал крайние и смертельно оскорбительные истины. И холод снова побежал по ней от страха: что, если не в меру громкий смех гостей стремится замаскировать потаенное зло, которое в несчастливую минуту все же сможет прорваться наружу, что, если кто-нибудь вскочит и,

опрокинув стул, крикнет: «А китайцы-то правы!»

Из сказанного явствует, как она нервничала. Правда, такая нервозность отчасти явление атмосферическое, порождаемое напряженной боязнью, обойдется ли все благополучно. Она носится в воздухе, когда люди разделены на одного и многих, когда один, в каком бы то ни было смысле, противопоставлен массе. И хотя старинный приятель Шарлотты и сидел среди всех за столом, но потому, что только он говорил, другие же составляли публику, здесь и возникла эта всегда не совсем подходящая, но тем более обольстительная ситуация. Единственный вглядывался большими темными глазами в бурю веселья, вызванную этой цитатой, и его лицо и поза снова приняли наивно-неискреннее выражение наигранного изумления, с которым он впервые вышел к гостям. Амброзические уста уже шевелились, готовясь к послесловию. Когда все утихло, он сказал:

– Правда, такое изречение не слишком рекомендует мудрость нашего глобуса. На решительном антииндивидуализме этих слов кончается сходство между китайцами и немцами. Нам, немцам, дорог индивид – и по праву, ибо лишь в нем мы велики. Но то, что это так, что это сказывается у нас куда явственнее, чем у других народов, сообщает отношению индивида и общества, при всех богатейших его возможностях, и нечто грустно-сомнительное. И не случайно, что естественное *taedium vitae*[50 - Отвращение к жизни (лат.)] преклонных лет у Фридриха Второго облеклось в форму изречения: я устал править рабами.

Шарлотта не смела поднять головы. Правда, она видела одобрителльные кивки, слышала оживленные голоса, но ее возбужденному воображению представилось, что из-под опущенных век все бросают на рассказчика коварные взгляды, и страх утвердиться в этом предположении все сильнее охватывал ее. Полная рассеянность, углубленность в свои мучительные мысли и чувства долгое время мешали ей внимательно прислушиваться к разговору, следить за его сцеплениями. Она не могла бы сказать, как свернул разговор на то или на другое, что время от времени доходило до ее сознания. Она едва не прослушала новое изъявление внимания к ней со стороны хозяина. Он уговаривал ее отведать хотя бы «минимум» (так он выразился) этого компота, и она послушалась его почти бессознательно. Затем она слышала, как он говорил об учении о цвете, в связи с некими карлсбадскими кубками; после обеда он обещал показать, сколь диковинно менялись цвета их росписи в зависимости от освещения. Затем присовокупил какое-то презрительное замечание об учении Ньютона, пошутил касательно солнечного луча, падающего на стеклянную призму сквозь дыру в оконной раме, и рассказал о листочке бумаги, который он бережет в качестве памятки о первых шагах на этом поприще. Этот листок хранит следы дождевых капель, упавших на него через дырявую палатку во время осады Мейнца. Он с уважением относится к таким маленьким реликвиям и памяткам прошлого и хранит их даже слишком бережно – за долгую жизнь накапливается чересчур большой осадок таких чувственных мелочей. При этих словах сердце Шарлотты под белым платьем с недостающим бантом начало отчаянно биться, ибо ей казалось, что она должна без промедления спросить его и о других составных частях этого жизненного осадка. Но тут же она убедилась в невозможности вопроса, отказалась от своего намерения и опять упустила нить разговора.

Когда начали менять тарелки после жаркого, ее слуха снова коснулся рассказ – как и почему он возник, она не знала, но хозяин с большой теплотой излагал историю одной певческой карьеры. Речь шла об итальянской певице, решившейся публично продемонстрировать свое необыкновенное дарование только для того, чтобы поддержать старика отца, сборщика податей в Риме, которого слабость характера довела до крайней нужды. Удивительный талант молодой девушки проявился на любительском концерте, директор театра тут же на месте предложил ей ангажемент, и таков был



восторг, ею возбужденный, что некий флорентийский меломан вместо одного скудо вручил ей за свой билет сотню цехинов. Она не замедлила щедро оделить родителей, и с того момента ее карьера круто пошла в гору. Девушка стала звездой музыкального неба, богатства потекли ей в руки, но первой ее заботой остались покой и благоденствие престарелых родителей, – представьте же себе сконфуженную радость отца, чья бесхарактерность была сторицей искуплена энергией и преданностью прекрасной дочери. Но на этом не кончились превратности ее судьбы. В нее влюбился богатый банкир из Вены и предложил ей руку и сердце. Она поставила крест на своей славе, чтобы сделаться его женой, и казалось, что ее корабль уже укрылся в великолепной и надежной гавани. Но банкир обанкротился и умер нищим, и вот женщина, уже не молодая, из многолетнего роскошного плена возвращается на сцену. Величайший триумф всей ее жизни ждет ее. Публика приветствует ее возвращение, ее обновленную деятельность такими изъявлениями восторга, что ей впервые уясняется, от чего она отказалась, чего лишила людей, сочтя сватовство креса венцом своей карьеры. Этот день ликующей встречи, после периода бюргерско-светского блеска, был счастливейшим в ее жизни; он-то, собственно, и сделал ее артисткой душой и телом. Но жить ей оставалось уже недолго...

Эту историю рассказчик дополнил несколькими замечаниями касательно своеобразной ветрености, безразличия, неосознания этой замечательной женщиной своего артистического призвания. Его легкие и величественные жесты как бы призывали слушателей благосклонно отнестись к такого рода ноншалантности. Странная женщина! При всей своей великой одаренности, торжественно, всерьез она, видимо, никогда искусства – включая собственное искусство – не принимала. Только чтобы помочь встать на ноги опустившемуся отцу, решила она применить свой ни ею, ни другими дотоле не открытый талант, поставила его на службу дочерней любви. Готовность, с которой она при первом же случае и, вероятно, на горе всем импресарио, сойдя со стези славы, удалилась в частную жизнь, весьма примечательна; да и все говорит за то, что она не оплакивала искусство, сидя в своем венском дворце, легко рассталась с пылью кулис и цветочными жертвами, приносимыми ее руладам и стаккато. Правда, когда того потребовала жестокая жизнь, она, не долго думая, вернулась к творчеству. И как же показательно, что этой женщине, лишь благодаря навязчивому признанию публики, понявшей, что искусство, которому она придавала столь мало значения и рассматривала лишь как средство к цели, всегда было ее подлинным и высоким призванием, суждено было прожить лишь недолгий срок после триумфального возвращения в его царство. Видимо, эта предназначенность, это запоздалое открытие, что ее существование идентично красоте, было ей не по плечу, жизнь в качестве его сознательной жрицы – недоступна и невозможна. Нетрагический трагизм отношения этого избранного существа к искусству, отношения, в котором скромность лишь с трудом можно отличить от гордыни, всегда живо интересовал его, рассказчика, и он был бы весьма не прочь познакомиться с этой дамой.

Не прочь были бы и слушатели, которые не замедлили заявить об этом. Только бедная Шарлотта не стремилась к такому знакомству. Странную боль и беспокойство причинил ей если не самый рассказ, то сопровождавший его комментарий. Сначала она, столь же ради себя, сколь и ради рассказчика, уповала на нравственную растроганность, которую должен был вызвать этот пример деятельной дочерней любви, но говоривший поспешил благодетельно-сентиментально дать иной, разочаровывающий оборот, перевести разговор в область завлекательного, все свел к психологии и сочувственно высказался о неизбежном в гениальной натуре пренебрежении своим искусством, что опять же – и из-за нее самой и из-за него – ее расхолодило и напугало. Она снова погрузилась в задумчивую рассеянность.

На сладкое сервировали издававший чудесный аромат малиновый крем, разукрашенный

сбитыми сливками и обложенный продолговатыми бисквитами. Одновременно подали и шампанское, на этот раз его все же разливал слуга из бутылок, обернутых в салфетки, и Гете, уже воздавший честь и прочим винам, быстро, один за другим, словно мучимый жаждой, выпил два бокала: осушенный он тотчас же через плечо протягивал лакею. После того как он, несколько мгновений предавшись, как выяснилось, одному веселому воспоминанию, смотрел своими близко посаженными глазами вверх, в пустоту, за чем с любовью наблюдали Майер и нетерпеливо-выжидающе остальные сотрапезники, Гете повернулся к горному советнику Вернеру и объявил, что желает о чем-то рассказать ему. «Ах, послушайте, чего я вам расскажу», – дословно произнес он, и этот ляпсус прозвучал в высшей степени неожиданно после обдуманно меткого красноречия, к которому он приучил слушателей. Потом он добавил, что большинство гостей, вероятно, еще помнит эту курьезную историю, но приезжим она безусловно неизвестна, а между тем она так мила, что никто, наверное, не посетует, услышав ее вторично.

И вот он начал рассказывать с выражением, говорившим об искреннем удовольствии, им самим получаемом от этого рассказа, о выставке, устроенной Веймарским союзом друзей искусства тринадцать лет назад, на которой, впрочем, был экспонирован и ряд весьма удачных произведений, присланных из других городов. И одним из удачнейших – никто не станет этого оспаривать – была отличная копия Леонардовой головки Хариты.

– Вы, вероятно, знаете Хариты в Кассельской галерее, и помните имя копииста: господин Рименгаузен, весьма приятный талант, в данном случае особенно похвально преуспевший. Головка была воссоздана в акварели, отлично передающей блеклый тон оригинала, причем копиисту на редкость хорошо удалось схватить томный взгляд, нежный, как бы молящий наклон головы и сладостную печаль прелестных уст. Смотреть на нее было поистине наслаждением.

Так вот, наша выставка открылась в том году позже обычного, а успех у публики заставил нас еще продлить ее. В помещениях стало холодно, отапливали же их, из соображений экономии, лишь в часы, означенные для посещения. За вход взималась небольшая плата – разумеется, только с приезжих; для наших сограждан был учрежден абонемент, дававший право входа в любое время, а следовательно, и в холодные часы.

Вот тут-то и разыгралась эта история. Однажды нам со смехом предложили приблизиться к головке Хариты, дабы мы могли собственными глазами узреть явление столь же трогательное, сколько и прелестное: на устах картины, вернее на стекле, в том месте, где оно прикрывало уста, виднелся неоспоримый отпечаток, изящное факсимиле поцелуя, запечатленного красиво очерченным ртом на очаровательном личике.

Можете себе представить наше удовольствие от того весело-криминологического изыскания, которому мы не замедлили предаться, дабы без огласки установить личность «злоумышленника»? Он был молод – очевидная предпосылка, к тому же подтверждавшаяся отпечатком на стекле. Он должен был быть здесь в одиночестве – на глазах у всех никто не отважится на подобный поступок. Отсюда следует, что это был наш согражданин, входивший сюда по абонементу. Он совершил свое деяние в холодные часы, подышав на холодное стекло, запечатлел поцелуй на собственном дыхании, которое затем застыло и кристаллизовалось. В эту историю были посвящены лишь немногие, но нам не стоило особого труда узнать, кто прогуливался в одиночестве по нетопленным комнатам. Предположение, переросшее в уверенность, остановилось на одном молодом человеке, которого я не назову и даже не опишу подробнее. Конечно, он никогда не узнал о том, что мы провели его нежные ухищрения, но нам впоследствии не раз представлялся случай дружески приветствовать обладателя уст, столь склонных к поцелуям.

Такой начавшийся с ляпсуса рассказ, которому с веселым изумлением внимали не только горный советник Вернер, но и все остальные гости! Шарлотта залилась краской. Она покраснела до самых корней высоко зачесанных пепельных волос так густо, как это допускала ее нежная кожа, и голубые глаза стали казаться одновременно бледными и яркими под этим наплывом краски. Она сидела, не глядя на рассказчика, почти отвернувшись от него в сторону другого своего соседа, надворного советника Кирмса: казалось, будто она ищет спасения на его груди, чего он, увлеченный рассказом, разумеется, не заметил. Бедная женщина была полна страха, что хозяин дома станет и дальше развивать тему об этом поцелуе, дарованном пустоте, и его физической обусловленности. И правда, едва только улеглось всеобщее оживление, за комментарием дело не стало, только он относился уже скорей к философии прекрасного, чем к учению о тепле. Гете что-то болтал о воробьях, клевавших вишни на картине Апеллеса, и о колдовском воздействии искусства, этого своеобразнейшего, а потому и чудеснейшего из всех феноменов, я человеческий разум – не в смысле простого создания иллюзии, но ведь отнюдь не оптический обман, но более глубокого воздействия, благодаря его, искусства, одновременной принадлежности и к небесной и к земной сфере, а также благодаря тому, что оно одновременно и духовно и чувственно, или, если держаться платоновской терминологии, оно, и божественной сущностью и чувственной видимостью взывая к чувствам, предстательствует за духовное. Отсюда и своеобразная душевная тоска, которую возбуждает прекрасное, нашедшее свое выражение в любовном поступке этого юного почитателя искусств, – выражение, порожденное теплом и холодом. Смех же наш здесь вызван неадекватностью этого в тиши совершенного поступка. Какое-то смешливое сожаление охватывает нас при мысли о том, что почувствовал обольщенный юноша, когда его губы коснулись холодного, гладкого стекла. Хотя с другой стороны, вряд ли можно себе представить образ более трогательный, чем эта случайная материализация горячей ласки, дарованной холодному и неприемлющему. Право же, это какая-то космическая шутка, и т.д., и т.д.

Кофе сервировался тут же за обеденным столом. Гете его не пил, и вместо десерта, следовавшего за фруктами и состоявшего из всевозможных конфет, крендельков и изюма, налил себе еще стаканчик южного вина, так называемого «tinto rosso». Затем он поднялся, и все общество снова проследовало в комнату Юноны и примыкающий к ней небольшой кабинет, среди друзей дома именовавшийся комнатой Урбино, по висящему там портрету какого-то герцога Урбино времен Возрождения.

Последующий час, вернее, три четверти часа были изрядно скучны, но Шарлотта все же предпочитала эту скуку волнению и стеснению во время обеда. Она охотно освободила бы друга юности от усилия, с которым он, видимо почитая это своим долгом, занимал гостей. Больше всего он, понятно, радел о приезжих и тех, кто впервые посетил его дом, а следовательно, о Шарлотте и ее родичах, а также о горном советнике Вернере; им он все норовил показать, как он выражался, «нечто весьма значительное». Собственноручно, а иногда с помощью Августа или слуги, доставал он огромные папки с гравюрами, раскрывал громоздкие крышки перед сидевшими дамами и стоявшими за их стульями господами, желая ознакомить гостей с хранимыми там «достопримечательностями», – так он называл гравюры эпохи барокко.

При этом он столь долго комментировал их, что на остальное гости едва успевали кинуть взгляд. Некая «Битва Константина» удостоилась подробнейшего разъяснения; он водил по ней пальцем, прося обратить внимание на расположение и группировку фигур и на все лады старался внушить слушателям, какой надобно иметь талант и фантазию, чтобы задумать такую картину и столь удачно ее выполнить. Собрание монет тоже было принесено в ящиках из комнаты Урбино и, надо отдать справедливость, на редкость полное и богатое: там имелись все папские монеты, начиная с XV века и до наших дней, и Гете подчеркнул разумеется с полным на то основанием, сколь много способствует

проникновению в историю искусств такая коллекция. Он знал по именам всех граверов, разъяснял, по каким историческим поводам была отчеканена та или иная медаль, сыпал анекдотами из жизни людей, в чью честь они изготовлялись.

Карлсбадские стеклянные кубки также не были позабыты. Хозяин приказал принести их, и правда, на свету они замечательно меняли окраску, желтизна их переходила в синеву, из красных они становились зелеными. Этот феномен Гете разъяснил более подробно с помощью небольшого и, если Шарлотта правильно поняла, им самим сконструированного аппарата, который принес Август, – деревянной рамы с черным и белым фоном, по которому передвигались матовые стеклянные пластинки, экспериментально повторявшие те же цветовые изменения.

Покончив с этим и считая, что на время он снабдил гостей материалом для обозрения, Гете, заложив руки за спину, начал бродить по комнате, время от времени с усилием переводя дыхание, причем звук, сопровождавший выдох, в какой-то мере походил на стон. Иногда он останавливался и в различных углах комнаты вступал в беседу с незанятыми гостями, уже давно изучившими его коллекции. Удивительное и неизгладимое впечатление произвело на Шарлотту то, как он разговаривал с писателем, господином Стефаном Шютце. Покуда она и сестра сидели, склоненные над аппаратом, взад и вперед передвигая пластинки, оба, старший и младший, стояли неподалеку, и Шарлотта украдкой делила свое внимание между цветовыми эффектами и этой сценой. Шютце снял очки и, держа их в кулаке, смотрел своими выпуклыми глазами, привыкшими к стеклам и без них имевшими напряженный, полуслепой, растерянный взгляд, на смуглое, с постоянно изменявшимся выражением, лицо своего собеседника. Речь между обоими писателями шла о «Карманном календаре любви и дружбы», уже несколько лет издаваемом Шютце. Гете очень хвалил календарь, называл его остроумным и разнообразным и, заложив руки за спину, расставив ноги, слегка втянув подбородок, заверял, что всегда извлекает из него много поучительного и занятного. Он советовал Шютце выпустить отдельной книгой свои юмористические рассказы, там публикуемые, и тот, краснея и еще сильнее тараща глаза, признавался, что и сам временами носится с этой мыслью, да вот не уверен, оправданно ли будет подобное собрание. Гете покачал головой в знак протеста против этих сомнений, но обосновал целесообразность издания не ценностью рассказов, а чисто человеческим, так сказать, каноническим образом; собирать урожай необходимо, сказал он, пройдет время, настанет осень жизни, когда хлеб должен быть свезен в житницы, рассеянное по полям водворено под надежный кров, иначе не опочиешь спокойно и прожитая жизнь не заслужит наименования истинной, примерной жизни. Дело только в том, чтобы подыскать хорошее название этому сборнику. И его близко посаженные глаза, как бы ища что-то, начали блуждать по комнате – без особой надежды на успех, как опасалась прислушивающаяся Шарлотта, ибо ей почему-то казалось, что он и вовсе не знает этих рассказов. Но здесь обнаружилось, как далеко уже зашел господин Шютце в своих помыслах, ибо название было у него наготове: «Веселые досуги» – хотел бы он назвать книгу. Гете нашел это превосходным. Он и сам не мог бы придумать лучшего. Название мило и не лишено тонкой возвышенности. Оно придется по вкусу издателю, привлечет публику, а главное, оно прямо-таки срастается с книгой. Хорошая книга рождается одновременно со своим названием, и то, что здесь никаких сомнений не возникает, есть наилучшее доказательство ее внутреннего здоровья и правдивости. «Прошу прощения», сказал он, так как к нему приблизился архитектор Кудрэй. К Шютце же, снова водрузившему на нос очки, устремился доктор Риммер, видимо желая выспросить, о чем с ним беседовал Гете.

Под самый конец приема хозяину вдруг пришло на ум показать Шарлотте старинный портрет ее детей, тот самый, что был ему некогда подарен молодой четою. Встав с места, он водил мать и дочь, а также Риделей по комнате среди гравюр, монет, изделий из

цветного стекла, показывая им отдельные раритеты: статуэтки богов под стеклами, старинный замок с ключом, висевший на оконной раме, маленького золотого Наполеона в треуголке и со шпагой, стоявшего в закрытом конце Колокольнеобразной барометровой трубы. Тут его и осенило:

– Теперь я знаю, – воскликнул он, – что вам еще следует посмотреть, мои дорогие! Старинный дар, силуэт ваш и ваших достославных деяний! Надо, чтобы вы убедились, сколь преданно и с каким почетом я его хранил в продолжение десятилетий. Август, будь так добр, дай мне папку с силуэтом. – И пока все еще были заняты рассматриванием столь оригинально заточенного Наполеона, камеральный советник принес откуда-то папку и, так как на круглом столе уже не было места, положил на рояль, после чего пригласил отца и дам приблизиться.

Гете сам развязал тесемки и бережно развернул папку. Она содержала пожелтевший, пестрый хаос сувениров, силуэтов, поблекших праздничных од и венчиков из цветов, зарисовок местностей, скал, извилистых речек, и пастушеских типов, которые хозяин во время былых странствий двумя-тремя штрихами набросал для памяти. Старый поэт, видимо, давно ее не касался и не мог найти искомого.

– Черт побери, куда же задевалась эта штука! – воскликнул он раздосадованный, в то время как его руки все быстрее и нервней перебрасывали бумаги.

Окружающие сожалели, что причиняют ему столько хлопот, и настойчиво изъявляли готовность отказаться от своего любопытства. В последний момент Шарлотта сама заметила силуэт и вытащила его из груды других сувениров.

– Я нашла его, – сказала она, – вот и мы.

И Гете, несколько смущенный, не без недоверчивости всматриваясь в листок бумаги с наклеенными на нем профилями, отвечал с отзвуком досады в голосе:

– Да, вам было суждено отыскать его. Это вы, моя дорогая, и покойный архивариус и пятеро ваших старших. Милой барышни, здесь присутствующей, еще нет на нем. Где же те, которых я знаю? Вот эти? Да, да, дети вырастают.

Майер и Риммер приблизились и стали украдкой подавать знаки, сдвигая брови, жмурясь и чуть заметно кивая головой. По их мнению, на этом пора было закончить визит, и кто поставил бы им в упрек, что они так пекутся о покое великого человека? Гости подошли прощаться, к ним присоединились и те, что болтали в комнате Урбино.

– Итак, вы хотите меня покинуть, мои дорогие, и все зараз? – спросил хозяин. – Ну что же, если вас влекут долг и радости, кто смеет возражать? Прощайте, прощайте! Наш милый горный советник еще останется со мной. Не правда ли, Вернер? Это решено? У меня в кабинете имеется для вас кое-что интересное, недавно прибывшее из чужих стран, и на этом мы, старые авгуры, отлично закончим праздник. Окаменевшие пресноводные улитки из Либница. Дражайшая подруга, – обратился он к Шарлотте, – от души желаю вам всего лучшего и надеюсь, что Веймар и ваша милая родня сумеют удержать вас здесь еще некоторое время. Жизнь слишком долго разлучала нас, и теперь я вправе рассчитывать, что она дозволит мне еще раз встретиться с вами. Не за что благодарить. До новой встречи, уважаемая. Прощайте, дорогие дамы! Всего лучшего, господа!

Август проводил Риделей и Кестнеров вниз по прекрасной лестнице до наружной двери, перед которой теперь, кроме наемной кареты Риделей, стояли еще два экипажа, ожидавшие чету Кудрэй и Кирмсов. Дождь лил уже вовсю. Гости, с которыми они

распростились еще наверху, приветливо кивая, проходили мимо них.

– На отца живительно подействовало ваше присутствие, – произнес Август.

– Он даже позабыл о своей больной руке.

– Он был очарователен, – отвечала советница Ридель, и супруг веско подтвердил ее мнение. Шарлотта сказала:

– Если он страдает от боли, то его дух, его живость еще больше достойны восхищения. Мне совестно даже подумать, и я жестоко упрекаю себя, что не осведомилась о его болезни. Мне следовало предложить ему мой оподельдок. Перебирая подробности свидания, особенно после столь долгой разлуки, всегда приходится раскаиваться в досадных упущениях.

– В чем бы они ни состояли, – отвечал Август, – это дело поправимое, хотя и не тотчас же, ибо я полагаю, что отцу теперь некоторое время придется соблюдать режим, и это принудит его на первых порах воздержаться от дальнейших встреч. Да к тому же, сказавшись больным при дворе, он уже не может принимать участие в светской жизни. Я должен оговорить это наперед.

– Бог мой, – воскликнула она, – это само собой разумеется! Примите еще раз наш привет и благодарность.

И вот они снова сидели вчетвером в высокой карете, катившейся по мокрым улицам. Лотхен-младшая, выпрямившись на своей скамеечке, раздувая ноздри, смотрела в глубину кареты – мимо уха матери, чье злополучное платье было теперь закрыто черным плащом.

– Он великий и добрый человек, – сказала Амалия Ридель, а муж подтвердил:

– Да, ты права.

Шарлотта думала, а может быть, и грезила.

«Он велик, а вы добры. Но я тоже добра, добра от всей души, и такой я хочу быть. Ибо только добрые люди умеют ценить величие. А китайцы, которые там скачут и чирикают под островерхими крышами, мне не по душе».

Вслух же она обратилась к доктору Риделю.

– Я чувствую себя очень, очень виноватой перед тобою, дорогой зять, и хочу поскорее в этом покаяться. Говоря о досадных упущениях, я слишком хорошо знала, что приходится под этим подразумевать, и теперь я возвращаюсь домой весьма разочарованная, весьма недовольная собою. Я не сумела ни за обедом, ни после сказать Гете о твоих планах и желаниях и попросить его о содействии, что твердо входило в мои намерения. Не знаю почему, но это ни разу не пришлось к слову. Я здесь и виновата и безвинна. Прости меня!

– Пустое, – отвечал Ридель, не волнуйся, милая Лотхен. Тебе не было никакой надобности говорить об этом; уже самым своим приездом и тем, что мы обедали у его превосходительства, ты оказала нам неоценимую услугу, а остальное как-нибудь устроится, и я уверен, что к лучшему.

## Глава девятая

Шарлотта осталась в Веймаре еще до середины октября и вместе с Лоттой, дочкой, все время проживала в Гостинице Слона, владелица которой, фрау Эльменрейх, отчасти из практических соображений, отчасти же под напором своего фактотума, Магера, изрядно спустила цену за комнату. Нам немного известно о пребывании прославленной женщины в столь же прославленном городе. Кажется, оно, в соответствии с ее преклонным возрастом, носило характер несколько замкнутый, но не вовсе неприступный. Если главным образом оно и было посвящено милым родственникам, но мы все же слышали о ряде интимных вечеров в различных кругах веймарского общества и даже о нескольких более торжественных, которые она любезно почтила своим присутствием. Один из них, как то и подобало, дали сами Ридели, за ним последовало два-три приема в близком им чиновничьем кругу. Далее надворный советник Майер и его благоверная, урожденная фон Коппенфельд, а также главный архитектор Кудрэй принимали у себя подругу юности Гете. Ее видели и в придворных сферах, а именно в доме графа Эдлинга, члена управления придворным театром и его красавицы супруги, княжны Стурдзы из Молдавии. В начале октября последние устроили у себя вечер, оживленный музыкальными выступлениями и декламацией. При этой okazji Шарлотта, вероятно, и познакомилась с госпожой фон Шиллер, давшей в письме к одной из своих иногородних подруг доброжелательно-критическое описание ее особы. В письме этой другой Шарлотты упоминается также и камеральная советница Ридель, в связи с lamentациями на «бренность всего земного», и описывается, какой степенной и чопорной восседала эта «шустрая блондинка» из знаменитого романа в кругу других дам.

При всех этих встречах Шарлотта, как того и следовало ожидать, была окружена благоговейным вниманием, а приветливость и сдержанное достоинство, с каким она принимала оказываемые ей почести, вскоре сделали то, что эти почести стали относиться уже не к литературной ее славе, но к ее собственным человеческим качествам, среди которых не на последнем месте стояло ласково-меланхолическое обхождение. Неумеренные изъявления восторга она отклоняла со спокойной твердостью. Так, например, рассказывают, что на одном из приемов, вероятно у графа Эдлинга, когда некая экзальтированная дама с распростертыми объятиями кинулась к ней, восклицая: «Лотта! Лотта!» – она остановила дуреху сдержанным: «Успокойтесь, моя милая», – после чего завела с ней благодушную беседу о городских и светских новостях.

Злость, сплетня и колкости, разумеется, не совсем пощадили ее, но были быстро обузданы благоволением всех новых знакомых, так что, когда по городу, надо думать благодаря нескромности сестры Амалии, распространился слух, что старуха явилась к Гете в наряде, не свободном от безвкусных намеков на времена Вертеровой любви, ее моральное положение уже настолько упрочилось, что эти пересуды нимало не могли повредить ей.

Вецларского друга она во время этих выездов более не встречала. Известно было, во-первых, что его беспокоит ломота в суставах и, во-вторых, что он очень занят просмотром двух очередных томов полного собрания своих сочинений. О вышеописанном обеде на Фрауенплане Шарлотта уведомила своего сына Августа, легационного советника, в лежащем перед нами письме, о котором можно только сказать, что оно носит явно поверхностный и небрежный характер, более того – нарочито пренебрегает справедливостью в оценке события: «О встрече с великим мужем я вам ничего не рассказала, да особенного и не могу рассказать. Разве только, что я вновь познакомилась со старым человеком, который, не знай я, что это Гете, да даже и так, не произвел на меня приятного впечатления. Ты знаешь, сколь малого я ждала от этой встречи, вернее, от этого нового знакомства, а потому и чувствовала себя

непринужденно; он на свой чопорный лад тоже делал все возможное, чтобы быть любезным ко мне, с интересом поминал встречу с тобой и Теодором... Твоя мать Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф».

При сравнении этих строк с воспроизведенной в начале нашего рассказа запиской к Гете невольно напрашивается вывод: насколько же более тщательной внутренней подготовке обязана первая своей изящной формой.

Но и друг юности в свою очередь написал ей однажды к концу ее веймарского пребывания и для нее уже почти неожиданно. Девятого октября, когда Шарлотта занималась своим утренним туалетом, Магер вручил ей карточку, после чего его весьма нелегко было выпроводить из комнаты. Она прочитала:

«Если вы, любезная подруга, пожелаете сегодня вечером воспользоваться моей ложей, то я позволю себе прислать за вами карету. Никаких билетов не нужно. Мой слуга проводит вас через партер. Простите за то, что я не могу явиться сам, также как и за то, что до сих пор не показывался. В мыслях я часто пребывал с вами. С наилучшими пожеланиями – Гете».

Прощение, испрашиваемое в письме, – видимо за то, что корреспондент не мог лично сопровождать ее, а также и за то, что до сих пор не показывался, – было ему молчаливо даровано, ибо Шарлотта воспользовалась приглашением, и воспользовалась для себя одной; Лотхен-младшая питала пуританское отвращение к дарам Талии, сестра же в этот вечер была уже куда-то ангажирована вместе с мужем. Итак, экипаж Гете, удобное ландо, обитое синим сукном и запряженное двумя холеными гнедыми, доставило ее в театр, где ганноверская надворная советница, навязчиво лорнируемая публикой и возбуждающая всеобщую зависть – что, впрочем, не мешало ей внимательно смотреть спектакль, – и провела вечер, сидя на почетном месте, которое еще так недавно занимала женщина совсем другой стати – Христиана – мамзель. Она не покинула ложи и во время большого антракта.

Давали историческую трагедию Теодора Кернера «Розамунда». Это было тщательно разыгранное изящное представление, и Шарлотта, как всегда, в белом платье, на этот раз, правда, отделанном темно-лиловыми бантами, с начала и до конца смотрела его с удовольствием. Облагороженная речь, горделивые сентенции, страстные возгласы, воспроизводимые отлично поставленными голосами и сопровождаемые благородно-размеренными жестами, ласкали ей слух и взор. Кульминационные пункты действия, возвышенные сцены смерти, когда умирающий, до последнего мгновения в совершенстве владея речью, произносил рифмованные строки; сцены за сердце хватающей жестокости, излюбленные трагедией, благополучный исход которой сам злодей возвещал словами: «И ад во прах повержен», – нанизывались одна за другой по всем правилам драматического искусства. В партере много плакали, и у Шарлотты на глаза несколько раз навертывались слезы, хотя она и позволяла себе критиковать произведение, написанное столь юным сочинителем. Ей не нравилось, что героиня в стихотворении, прочитанном ею в виде монолога, упорно называла себя «Розой». Далее, она слишком хорошо знала детей и не могла не оскорбиться поведением занятых в трагедии театральных учеников. Над ними занесли кинжал, чтобы заставить их мать выпить отраву, и, когда это совершилось, они говорят ей: «Мама! Ты так бледна. Развеселись! Мы тоже веселенькими будем». И затем, показывая на гроб, фигурирующий в сцене, восклицают: «Взгляни-ка! Как весело там свечки полыхают!» Тут в партере снова слышались всхлипывания, но глаза Шарлотты уже не наполнились слезами. Такими



глупыми, подумала она, уязвленная, дети все же не бывают, и, право, надо быть уж слишком юным борцом за свободу, чтобы составить себе подобное представление о младенческой невинности.

Да и с сентенциями, произносимыми звучными голосами любимцев веймарской публики, не все, думалось ей, обстояло благополучно; несмотря на теплоту и мастерство подачи, они свидетельствовали, по ее мнению, о недостатке житейского опыта и понимания, который, впрочем, трудно приобрести автору, только и знающему, что воинственным всадником скакать по полям и лугам. Была там одна тирада, от которой Шарлотта никак не могла отделаться и все время мысленно возвращалась к ней, покуда не заметила, что прослушала и проглядела все, что за нею следовало. Даже покидая театр, она с неудовольствием ее вспоминала. Дело в том, что некто превозносил благородство отчаянного удальства, другой же, трезвее смотревший на вещи, возражал против того, что дерзость называется благородной. Стоит только кому-нибудь расхрабриться и дерзко напасть на все святое и почитаемое, как его уже провозглашают великим и причисляют к звездам истории. Но не кощунство, заверял автор, делает человека великим. Нет ничего легче, как переступить границу, отделяющую человечество от ада; для такого подвига потребна лишь заурядная низость. Зато другую границу, соприкасающуюся с небом, можно перелететь только на крыльях высокого и чистого вдохновения. Звучало это складно, но одинокой гостье почетной ложи казалось, будто автор и егеря-добровольцы, с этими своими двумя границами, взялись преподавать человечеству невежественную и ложную топографию морали. Граница человеческого, размышляла Шарлотта, существует, вероятно, лишь одна, и за нею нет ни неба, ни ада, или, вернее, есть и небо и ад, и величие, ее переступающее, тоже, скорей всего, лишь одно, а следовательно, кощунство и чистота соединяются в нем таким образом, о котором воинственная наивность поэта знает не больше, чем о незаурядном уме и тонкой чувствительности детей. А может быть, он и знал об этом, да держался того мнения, что поэзии полагается устанавливать две границы человечества и детей выводить в виде трогательных идиотов. Это талантливая вещь, но талант автора был направлен на то, чтобы создать пьесу такой, какой она должна быть по общему мнению, и границу человеческого ему-то уж во всяком случае не удалось переступить ни в ту, ни в другую сторону. Ну да, конечно, молодое писательское поколение, несмотря на все свои таланты, что-то немного забалтывается, и великим старцам особенно его опасаться не стоит.

Так она думала и все еще продолжала мысленно предаваться своим возражениям, когда под гром аплодисментов опустился занавес; слуга с Фрауенплана снова появился в ложе и, почтительно приблизившись, накинул ей на плечи мантилью.

– Ну, Карл, – произнесла она (он успел сообщить ей, что прозывается Карлом), – это было прекрасно. Я получила большое удовольствие.

– Его превосходительству будет приятно об этом услышать, – отвечал он, и его голос, первый трезво неритмический звук будней и действительной жизни, услышанный ею после многочасового пребывания в выпренном мире, заставил Шарлотту понять, что все ее придирки главным образом имели целью заглушить состояние высокомерного и немного грустного отчуждения, в которое нас легко повергает соприкосновение с искусством. Никто не спешит повернуться к нему спиной, и это подтверждали упорные аплодисменты не желавшей покидать партер публики, бывшие не столько изъявлением благодарности актерам, сколько средством еще немного побыть в сфере прекрасного, прежде чем отрешиться от него, опустить руки и побрести восвояси. Шарлотта, в шляпе и мантилье, не обращая внимания на ожидавшего ее слугу, тоже еще несколько минут постояла у барьера, мягко хлопая в ладоши, обтянутые шелковыми митенками. Затем она последовала за Карлом, снова надевшим высокий цилиндр, вниз по лестнице. Ее глаза,

утомленные ярким светом, на который она смотрела из темноты, были при этом подняты вверх – в знак того, как она все же насладилась трагедией, хотя и спорной – с ее двумя границами.

Ландо с поднятым верхом и двумя фонарями по обе стороны высоких козел, на которых, упершись ногами в высоких сапогах с отворотами о покатую подножку, восседал кучер, приветствовавший ее поднятием цилиндра, снова остановился у портала. Слуга подсадил Шарлотту, заботливо укрыл ей ноги пледом и привычным движением вскочил на козлы, чтобы занять свое место рядом с кучером. Тот щелкнул, лошади тронули, и экипаж покатился.

Внутри он выглядел обжитым, – да и не удивительно, немало он послужил во время путешествий и должен был служить еще для поездок в Богемию, к Рейну и Майну. Темно-синее стеганое сукно, которым он был обит, производило уютное и элегантное впечатление, стеклянный фонарик со свечой был прилажен в одном из углов, к услугам седока имелись даже письменные принадлежности – сбоку, там, где вошла и теперь сидела Шарлотта, в кожаном мешочке торчал блокнот и карандаш.

Она тихо сидела в своем углу, скрестив руки на ридикюле. Через маленькие оконца стенки, отделявшей внутренность кареты от козел, падал рассеянный, тревожно мерцающий свет; и при этом мерцании она заметила, что поступила правильно, заняв место в уголке у самой дверцы, ибо здесь она была не так одинока, как в ложе, Гете сидел рядом с нею.

Она не испугалась. Такого не пугаются. Только глубже подвинулась в уголок, немного ровнее села, глянула на освещенную мигающими огоньками фигуру соседа и прислушалась.

На нем был широкий плащ со стоячим воротником, подбитый красным и с красною же каймой, шляпу он держал на коленях. Его черные глаза под крутым лбом и юпитеровой шевелюрой, на этот раз не напудренной, а каштановой, как в юности, разве только чуть поредевшей, с лукавым блеском были обращены к ней.

– Добрый вечер, моя дорогая, – произнес он голосом, которым некогда читал Кестнеровой невесте из Оссиана и Клопштока. – Поскольку я не мог сегодня вечером быть возле вас или встретиться с вами в течение этих дней, я тем более не захотел лишиться себя удовольствия проводить вас домой после театра.

– Очень мило с вашей стороны, тайный советник Гете, – отвечала она. – Меня это радует, и главным образом потому, что это ваше решение и сюрприз, который вы мне уготовили, говорят об известной гармонии наших душ, если можно ее предположить между великим человеком и маленькой женщиной. Ведь это показывает мне, что и вы сочли бы неудовлетворительным – до боли неудовлетворительным, если б нашему недавнему прощанию, после поучительного осмотра коллекций, было бы суждено стать последним и за ним не последовала бы встреча, которую я с готовностью признаю последней на веки веков, если только она послужит хоть мало-мальски примиряющим заключением этой истории.

– Заключение, – услышала она голос из его угла, – заключение – это разлука. Встреча – небольшая глава, фрагмент.

– Я не знаю, что ты там говоришь, Гете, – возразила она, – и не уверена, хорошо ли разбираю твои слова, но я не удивлена, и тебе нечего удивляться, ибо я ни в чем не уступаю маленькой женщине, с которой ты совместно стихотворствовал на берегу

сверкающего Майна и о которой твой бедный сын мне рассказал, что она совсем просто вступила в твою песнь и продолжала ее так же хорошо, как ты сам. Что ж, она дитя театра, с горячей кровью. Но женщина остается женщиной, и все мы, если нам это суждено, вступаем в мужчину и в его песню... Встреча, небольшая глава, фрагмент? Но, видно, не настолько – и ты это почувствовал, – чтобы мне, скорбя о полной неудаче, возвратиться в одинокую вдовью обитель.

– Разве ты после долгой разлуки не заключила в объятия любимую сестру?

– произнес он. – Как же можешь ты говорить о полной неудаче?

– Ах, не смейся надо мной! – отвечала она. – Ты же знаешь, что сестра была только предлогом, помогшим мне поддаться искушению съездить в твой город, отыскать тебя в твоём величии, в которое судьбе угодно было вплести и меня, и найти исход этой фрагментарной истории во имя спокойствия вечерних часов моей жизни. Скажи, очень я явилась некстати? Очень жалкой выглядит эта моя школьная выходка?

– Нет, этого я отнюдь не хотел сказать, – произнес он, – хотя вообще не следует давать пищу людскому любопытству, сентиментальности и злости. Но я, уважаемая, вполне понимаю ваши побуждения, и для меня ваш приезд не был некстати, по крайней мере в высшем смысле этих слов. Единство сколько-нибудь значительной жизни не знает случайностей, и, наверно, потому мне еще совсем недавно, по весне, опять попала в руки наша книжечка «Вертер», которая позволила вашему другу окунуться в давнее и старое, ибо он твердо знал, что вступает в эпоху обновления и возврата, эпоху, еще более богатую возможностями страсть пережечь в духовное. И не удивительно, что там, где настоящее приобретает облик обновленного прошедшего, в многозначительной череде явлений посещает нас и неомоложенное прошлое с поблекшими эмблемами, с дрожащей головой – трогательным свидетельством его подвластности времени.

– Нехорошо с твоей стороны, Гете, что ты спешишь с упоминанием об этом свидетельстве, и ничего нет утешительного в том, что ты называешь его трогательным, ибо трогательное не твоя сфера. Там, где мы, простые люди, бываем растроганы, ты усматриваешь лишь интересное. Я отлично заметила, что ты не остался слепым к этой маленькой слабости, отнюдь не характерной для моего вполне бодрого общего состояния и вызванной не столько временем, сколько моей причастностью к твоей непомерно великой жизни – причастностью тревожной и волнующей. Но вот что ты заметил поблекшие эмблемы моего платья, этого я не знала, – ну, да конечно, ты замечаешь куда больше, чем может, казалось бы, заметить твой рассеянный взгляд; да в конце концов ты и должен был их заметить: ведь я придумала эту шутку в расчете на твое чувство юмора, хотя теперь понимаю, что она была не столь уж юмористической. Но, возвращаясь к моей подвластности времени, позволь тебе сказать, господин тайный советник, что ты мог бы этого и не подчеркивать, ибо, вопреки всем поэтическим обновлениям и омоложениям, твои жесты и походка стали до того деревянными, что боже упаси, да и твоя куртуазная важность, сдается мне, тоже нуждается в оподельдоке...

– Я рассердил вас, моя дорогая, – произнес он мягким басом, – этим беглым замечанием. Но не забывайте, что я сделал его, желая оправдать ваш приезд и пояснить, почему я считаю приятным и многозначительным то, что и вы явились мне в этом рою стародавних видений.

– Удивительное дело, – перебила она. – Август, этот необъявленный жених, говорил мне, что ты тютюировал его мать, мамзелю, она же обращалась к тебе на «вы». Меня поразило, что сейчас здесь происходит обратное.

– Ты или вы, – ответил он, – и тогда, в твоё время, у нас перемежались, в настоящую же минуту выбор того или иного обращения определяется душевным состоянием каждого из нас.

– Хорошо, я согласна. Но вот ты говоришь о моём времени, вместо того чтобы сказать «наше» – а ведь оно было и твоим. Но твоё время настало снова, обновлённое и омоложенное, насыщенное содержанием настоящего, моё же было лишь однажды. А потому мне не следует обижаться, что ты без обиняков напомнил мне о моей ничего не доказывающей маленькой слабости, впрочем, к сожалению, все же доказывающей, что это было только моё время.

– Друг мой, – отвечал он, – разве может вас волновать и огорчать ваш бранный облик, когда судьба избрала вас из миллионов и даровала вам вечную юность в поэме? Все бранный сохранено в моей песне.

– Ты прав, – сказала она, – и я с благодарностью признаю это, несмотря на все тяготы и волнения, для меня, бедной, отсюда проистекшие. Но я хочу тут же добавить то, о чём ты, верно из куртуазности, умалчиваешь: было глупо, что я своё бранный существо разукрасила эмблемами прошлого, неотъемлемой собственностью вечного существа из твоей песни. Ведь тебе не пришло бы в голову нарядиться в голубой фрак с жёлтой жилеткой, на манер тогдашних мечтательных юнцов, напротив, черен и торжествен был шелк твоего фрака, и, должна сознаться, серебряная звезда на нем красила тебя не меньше, чем Эгмонта Золотое руно. Ах, Эгмонт, – вздохнула она, – Эгмонт и дочь народа. Ты хорошо сделал, Гете, увековечив и свой юный образ в этом творении, дабы теперь, ревматическим вельможей, проникшимся мудростью отречения, благословлять трапезу в кругу своих льстивых приближенных.

– Я вижу, – отвечал он, немного помолчав, глубоким и растроганным голосом, – моя подруга сердится не только на моё, с виду неделикатное, на деле же лишь нежное упоминание об этой печати времени. Её гнев или её печаль, выражающаяся в гневе, коренится в более глубоком и достойном, и разве я не поджидал её в карете именно потому, что почувствовал необходимость поставить себя под удар этой гневной печали, признать её достоинство и правоту и, может быть, смягчить её искренней просьбой о прощении.

– О боже, – испугалась она, – до чего снисходит ваше превосходительство! Этого я услышать не хотела, и теперь краснею, как при той истории, что вы рассказали за малиновым кремом. Прощение! Моя гордость, моё счастье – и мне прощать вас? Где тот человек, что может сравниться с моим другом? Весь мир его чтит, и потомство будет во веки веков благоговейно произносить его имя.

– Ни смирение, ни душевная чистота, – отвечал он, – не смягчат жестокости отказа в просимом. Сказавший: мне нечего прощать, становится непримиримым по отношению к тому, чей удел спокон веков быть без вины виноватым. Там, где возникла нужда в прощении, ничто не должно становиться на его пути, даже скромность. Такая скромность не ведает душевной муки, горячего чувства, которое обжигает человека, когда справедливый упрек настигает его во тьме непоколебимой веры в собственное достоинство и превращает в кучу раскаленных раковин, какие применяются на постройках вместо извести.

– Друг мой, – сказала она, – я бы ужаснулась, если бы мысль обо мне могла хоть на мгновение смутить твою непоколебимую веру в собственное достоинство, от которой для человечества столь многое зависит. Но я только допускаю, что это жгучее чувство прежде всего относится к первой, с которой началось отречение, чтобы всегда

повторяться потом: к дочери народа, той, которой ты, отъезжая, протянул руку с коня; ведь к вящему моему успокоению я прочла, что ты со мной расставался, чувствуя себя менее виноватым. Бедняжка под могильным холмом в Баденском герцогстве! Откровенно говоря, я не очень скорблю о ней, она не умела достаточно крепко держать себя в руках и зачахла, а ведь все сводится к тому, чтобы иметь мужество сделать из себя самоцель, даже когда ты только средство. Вот она и лежит теперь где-то под Баденом, тогда как другая, после плодovитой жизни, пребывает в достойном вдовстве и бодром обладании сил, которое вряд ли кто возьмет под сомнение из-за слегка трясушейся головы. Да и кроме того, ведь я счастливица, – ибо я очевидная и несомненная героиня твоей бессмертной книжки, неоспоримая, вплоть до последней мелочи, несмотря на эту маленькую путаницу с черными глазами, и даже китаец, как ни далек ему наш образ мыслей, дрожащей рукой выписывает на фарфоре рядом с Вертером меня – меня, а не другую. Этим я горжусь и не хочу допустить даже мысли, что та, под могильным холмом, была соучастницей, что начало положено ею, что она первая пробудила в твоём сердце Вертерову любовь. И вот я боюсь, вдруг однажды обнаружится, что она – та подлинная, чье имя сопряжено с твоим в том выспреннем мире, как имя Лауры с именем Петрарки, а я буду свергнута, забыта: вырван будет мой образ из ниши в соборе человечества. Эта мысль временами до слез тревожит меня...

– Ревность? – спросил он улыбаясь. – Разве Лаура единственное имя, произносимое с благоговением? Ревность к кому? К твоей сестре, нет, к твоему отражению, к второй тебе? Разве облако, образуясь и принимая новый образ, не остается тем же облаком? И стоименный бог, разве он не един для нас, для нас всех? Вся эта жизнь – лишь преобразование форм, единство во многом, прочное в сменах. И ты и она, все вы одна в моей любви и в моей вине. Так ты совершила эту поездку, чтобы сыскать умиротворение?

– Нет, Гете, – отвечала она. – Я приехала, чтобы бросить взгляд на возможное, столь очевидно уступающее действительному, и все же, со всеми своими «а что, если бы» и «а коли бы так», всегда подле него пребывающее и достойное наших вопрошаний. Разве ты не согласен со мной, старый друг, и разве и ты не вопрошаешь о возможном среди твоей почетной действительности? Она плод отречения, я это знаю хорошо, а значит, и мучительно медленного увядания, ибо отречение и увядание живут в тесной близости, и вся действительность, все сущее – только зачахшее возможное. Есть нечто страшное в таком увядании, верь мне, и мы, простые смертные, должны избегать его, всеми своими силами противиться ему, даже если голова у нас начинает трястись от напряжения, иначе от нас останется лишь могильный холм в Баденском герцогстве. Ты – дело другое, у тебя было чем это восполнить. Твоя действительность мало похожа на отречение и неверность, скорее напротив, на всеосуществление и высшую верность. Ей свойственно такое величие, что никто не смеет вопрошать ее о возможном. Это так.

– Твоя сопричастность, дитя мое, поощряет тебя к довольно странным комплиментам.

– Что ж, хоть это право я имею: говорить и славословить искренней, чем непричастная толпа. Но одно я должна тебе сказать, Гете: хорошо, уютно я себя не чувствовала в твоём кругу, в твоём великолепном доме. У меня сжималось сердце, ибо вблизи от тебя уж очень пахнет жертвоприношениями – не фимиамом, его бы я легко перенесла, ведь и Ифигения курила фимиам перед алтарем скифской Дианы, но против человеческих жертв она подняла свой укрощающий голос, а ведь их-то и приносят тебе, и все вокруг тебя похоже на поле битвы или царство злого цезаря... Эти Римеры, только и знающие что брюзжать и дуться и отстаивать свою мужскую честь, и твой бедный сын с его семнадцатью бокалами шампанского, и эта амазоночка, что выйдет за него к новому году и впорхнет в твой мезонин, как бабочка в огонь, не говоря уже о Мариях Бомарше, не умевших держать себя в руках, подобно мне, и зачахших, – что все они, как не жертвы

твоего величия? Ах, приносить жертвы сладостно, но быть жертвой – горький удел.

Мерцающие блики тревожно скользнули по фигуре человека в плаще, что сидел подле нее. Он сказал:

– Дорогая, дозвожь искренне ответить тебе – на прощание и в знак примирения. Ты говоришь о жертве, а здесь начинается тайна. Тайна великого единства мира, жизни, личности и творчества. Пресуществление – все. Богам приносили жертвы, а под конец жертвою стал бог. Ты прибегала к сравнению, мне милому и близкому: мошка и смертоносное пламя. Ты хочешь сказать – я то, куда жадно стремится мотылек, но разве среди превратностей и перемен я не остался горящей свечой, которая жертвует своим телом для того, чтобы горело пламя? И разве я сам – не одурманенный мотылек, извечный образ сожжения жизни и плоти во имя наивысшего духовного пресуществления. Старая подруга, милая, чистая душа, я первый – жертва, и я же жертвоприноситель. Однажды я перегорал для тебя и продолжаю перегорать, всегда – в дух и в свет. Знай, метампсихоза для твоего друга – сокровеннейшее, высшее, величайшая его надежда, первое вожделение. Игра превращений, изменчивый лик, когда старец воплощается в юношу и юноша в мальчика, единый лик человеческий, в котором сменяют друг друга отпечатки жизни и юность магически проступает из старости, старость из юности: потому мне было так мило и близко – тебя это успокоит, – что ты надумала явиться ко мне, символом юности украсив свой старческий облик. Единство, моя дорогая, – размежевание и перетасовка. Так и жизнь открывает то свое природное лицо, то нравственное, так прошлое переходит в настоящее, первое отсылает ко второму, указуя путь к будущему, которым чревато и то и другое. Отзвук чувства, предчувствие... Чувство – все!.. Да раскроются наши все вбирающие, все постигшие глаза на единство мира. Ты требуешь возмездия? Оставь, я вижу, как оно серым всадником движется мне навстречу. И тогда снова пробьет час Вертера и Тассо, ибо двенадцать раз бьет и в полночь и в полдень, и только то, что бог мне даст поведать, как я стражду, только это, первое и последнее, мне останется. Тогда разлука будет прощанием, прощанием навеки, смертным борением чувств, и час ужасных мучений, мучений, что предшествуют смерти, ибо они есть умирание, но еще не смерть. Смерть – последний полет в пламя. Во всеедином чем быть ему, если не новым пресуществлением? В моем успокоенном сердце покойтесь, милые образы, – и сколь радостен будет миг, когда мы снова очнемся.

Давно знакомый голос умолк. «Мир твоей старости!» – только прошептал он еще. Экипаж остановился. Свет его фонарей теперь смешался со светом двух других над дверьми Гостиницы Слона. На крыльце, с руками, заложенными за спину, и поднятым кверху носом, стоял Магер, вдыхая воздух звездной осенней ночи. Он ринулся вниз, на панель, чтобы опередить слугу при открывании дверцы. Разумеется, бежал он не как-нибудь, а как человек, уже несколько отвыкший от бега, изящно подняв плечи и с достоинством виляя задом.

– Госпожа советница! – воскликнул он. – Добро пожаловать! Надеюсь, госпожа советница провели содержательный вечер в нашем храме муз! Смею ли я предложить эту руку в качестве надежной опоры? Боже милостивый, госпожа советница: помогать героине Вертера при выходе из экипажа Гете – это событие. Как мне назвать его? Событие, достойное увековечения.

Приложение. Томас Манн. «Вертер» Гете

«Вертер», или, как полностью называется эта книжка, «Страдания юного Вертера», роман в письмах, принес Гете-писателю самый большой, самый широкий и самый шумный успех

в его жизни. Франкфуртскому адвокату сравнялось двадцать четыре года, когда он написал эту повестушку, небольшую по объему, да и по охвату мира и жизни юношески ограниченную, но предельно насыщенную взрывчатой силой. Это было второе более или менее крупное произведение Гете. Ему предшествовала шекспирианская драма из рыцарского прошлого Германии «Гец фон Берлихинген», уже привлекая внимание литературной общественности к молодому сочинителю своей страстностью, теплотой и тем, что она приблизила к нам историю, вдохнула в нее жизнь. Однако «Вертер» показал Гете совсем с другой стороны, ибо по своей сущности и воздействию на читателя книга резко отличалась от предыдущей. Ее успех в какой-то мере носил даже скандальный характер. В этой маленькой книжке была такая потрясающая, парализующая сила чувства, что блюстители нравственности всполошились, а моралисты с ужасом и возмущением усмотрели в ней искусительный дифирамб самоубийству. Но именно в силу этих качеств она подняла переходящую всякие границы бурю восторга, так что мир буквально бредил блаженством смерти: роман вызвал опьянение, лихорадку, экстаз, охвативший всю обитаемую землю, он был той искрой, что, попав в пороховую бочку, мгновенно развязывает опасные силы.

Нелегкое дело – проанализировать состояние умов, лежавшее в основе европейской цивилизации той эпохи. С исторической точки зрения это было предгрозовое состояние, предчувствие очистившей воздух бури французской революции; с точки же зрения культурно-исторической это была эпоха, на которую Руссо наложил печать своего мечтательно-мятежного духа. Пресыщение цивилизацией, эмансипация чувства, будоражащая умы тяга назад, к природе, к естественному человеку, попытки разорвать путы окостеневшей культуры, возмущение условностями и узостью мещанской морали – все это вкупе породило внутренний протест против того, что ограничивало свободное развитие личности, а фанатическая, безудержная жажда жизни вылилась в тяготение к смерти. В обиход вошла меланхолия, пресыщение однообразным ритмом жизни. Умонастроение, известное под названием «мировой скорби», усугубилось в Германии от воздействия той кладбищенской поэзии, которая бытовала тогда в английской литературе. Сам Шекспир повинен в этом. Юные умы были одержимы «Гамлетом» и его монологами. Молодежь увлекалась наводящей ужас мрачной оссиановской героикой седой старины. Казалось, будто читатели всех стран втайне, неосознанно, только и ждали, чтобы появилась книжка какого-то еще неизвестного молодого немецкого бюргера и произвела переворот, открыв выход скрытым чаяниям целого мира, – не книжка, а выстрел прямо в цель, магическое слово. Рассказывают, будто молодой англичанин, много лет спустя приехавший в Веймар, встретил на улице Гете и упал в обморок – силы изменили ему, когда он воочию увидел творца «Вертера». Впоследствии Гете вспоминает в одной из венецианских эпиграмм о всемирном успехе «Вертера»:

Немец мне подражал, француз читал мою книгу.  
В Англии ласкою встречен был неприкаянный гость.  
Но много ли проку мне в том, что даже далекий китаец  
Вертера с Лоттой рисует робкой рукой на стекле?

Вертер и Лотта сразу же встали в один ряд с классическими влюбленными из книг и преданий: с Лаурой и Петраркой, Ромео и Джульеттой, Абельяром и Элоизой, с Паоло и Франческой. Каждый юноша мечтал так любить, каждая девушка – быть так любимой. Целое поколение молодежи узнавало в Вертере свой собственный душевный строй. Юные мечтатели демонстративно носили костюм, в который писатель одел избранника смерти – синий фрак при желтых панталонах и жилете. В своем подражании меланхолические адепты доходили до крайности – были случаи самоубийств, которые открыто и прямо приписывались влиянию Вертера, а следовательно, по словам моралистов, лежали на совести того, кто сочинил этот подрывающий основы роман. Обезумевшие юнцы забывали об одном – хотя творец «Вертера» с величайшим

мастерством изобразил, как назревает в юной груди решение покончить с собой, сам он и не подумал убить себя, а творчески изжил самоубийственные настроения, избавился от них, описав их. В своих воспоминаниях Гете говорит об этой grimase жизни – о контрасте между целительной ролью, которую роман о Вертере сыграл для него самого, и тем воздействием, какое он оказал на внешний мир. Гете сам прошел через все то, что угнетало и парализовало его поколение. Мысль о самоубийстве отнюдь не была чужда ему, временами он бывал даже близок к ее осуществлению. Так в «Поэзии и правде» Гете рассказывает, что в предвертеровский период он каждый вечер, прежде чем погасить свет, пробовал вонзить в грудь на один-два дюйма острие имевшегося у него кинжала. Но это ему никак не удавалось, тогда он посмеялся над собой и решил не умирать. Однако он сознавал, что жить дальше он может, только выполнив свою писательскую задачу, то есть рассказав в книге обо всем им продуманном и прочувствованном. Таким признанием, или, говоря словами самого Гете, «генеральной исповедью», и был «Вертер». Закончив работу, Гете почувствовал, что она принесла ему избавление и возродила к новой жизни. Но в то время как самого себя он исцелил и образумил, претворив действительность в вымысел, другие были сбиты с толку и решили, что надо претворить вымысел в действительность, пережить перипетии романа и не долго думая застрелиться. И вот то, что пошло на пользу ему, было объявлено в высшей степени вредоносным.

До самой смерти Гете гордился этим своим юношеским произведением и наряду с «Фаустом» ставил его себе в наибольшую заслугу. «Кто в двадцать четыре года написал «Вертера», – говорил он в старости, – того никак не назовешь тупицей». Одно из значительнейших событий его жизни – встреча с Наполеоном в Эрфурте – тоже связано с «Вертером». Император прочитал эту книжечку не менее семи раз, мало того, он брал ее с собой в египетскую кампанию и во время знаменательной аудиенции учинил автору придиричивый допрос. Великий жизнелюбивый не разу не отрекся от спорного юношеского образа, чья тень всегда по-братски сопутствовала ему, и в семьдесят пять лет, вновь претерпевая из-за юной Ульрики сладостные и жестокие муки любви, он в стихотворении «Вертеру» с оттенком иронии признается, что взялся за прежнее...

Положенное в основу «Вертера» событие личной жизни Гете, идиллически горестная любовь к Лотте Буфф, прелестной дочери амтмана в Вецларе-на-Лане, получило такую же широкую известность, как и самый роман, – и на это есть все основания, ибо значительнейшая часть книги полностью совпадает с действительностью, правдиво, без изменений повторяя ее. В 1772 году, двадцати трех лет от роду, Гете приехал в этот живописно расположенный прирейнский городок, чтобы, по настоянию отца, в качестве свежее испеченного доктора права практиковать при всеимперском суде. Однако же сам он намеревался заняться по преимуществу изящной словесностью, творить и жить, и осуществил свое намерение, а в имперском суде даже не показывался. Улочки в Вецларе были узкие и грязные, но природа кругом – чудесная; был май месяц, все стояло в цвету, и тут, возле источников, ручейков или же на приречных холмах с красивыми видами, праздный мечтатель скоро облюбывал себе уютные уголки, чтобы читать милых его сердцу Гомера и Пиндара, спорить с друзьями, рисовать, размышлять. На устроенном молодежь сельском балу судьба свела его с девятнадцатилетней Лоттой, которая вместе с овдовевшим отцом и многочисленными братьями и сестрами жила в так называемом «Немецком доме». Лотта, миловидная, белокурая, голубоглазая девушка, веселая и домовитая, не очень образованная, но наделенная здоровым и тонким чутьем, была одновременно ребячлива и не по летам серьезна, так как ей пришлось заменить умершую мать целой ораве братьев и сестер и вести хозяйство в отцовском доме. В первый раз Гете увидел ее, когда заехал за ней в загородный дом амтмана, и она, уже одетая на бал, в белом платье с розовыми бантами, стояла, окруженная малышами, и оделяла их хлебом на ужин, – эта сцена доподлинно увековечена в «Вертере» и не раз воспроизводилась художниками. Он провел с Лоттой весь вечер, на следующий день



нанес ей визит и успел влюбиться по уши, прежде чем узнал, что она помолвлена. Ибо вскоре оказалось, что у Лотты есть жених, секретарь ганноверского посольства Кестнер, честнейшая посредственность; он искренне любит Лотту, и она отвечает ему доверчивой любовью. Отметим, что страсти тут нет, а есть спокойная, не лишенная нежности взаимная склонность с расчетом на совместную будущность, разумное устройство жизни и на создание семьи. Надо только подождать, чтобы обстоятельства нареченного позволили ему жениться.

И в эти отношения в качестве третьего вступает Гете, приятель, к которому молодая чета питает восхищение и сердечное расположение, – поэт, гений, искренний друг и вместе с тем вероломный, в житейском смысле ненадежный, ветреный расточитель чувств; только что он разлюбил и бросил Фредерику Брион, убоявшись брачных уз. Это тот молодой демон, который говорит о себе в «Фаусте»:

Не выродок ли я, беглец бездомный?  
Не знающий покоя, всем чужой?

Весьма приятный выродок красивый, талантливый, полный ума и жизни, пылкий, чувствительный, озорной и задумчивый, словом, чудак, но чудак обаятельный; жениху и невесте, Кестнеру и Лотте, он очень нравился, младшим детям амтмана он искренне полюбился. И вот они втроем проводят удивительное, блаженное и опасное лето, – впрочем, гораздо больше вдвоем, ибо Кестнер, человек добросовестный и занятой, бывает с ними нечасто, вернее, даже редко, и, пока он корпит над бумагами у своего посланника, Гете, которому делать нечего, проводит время у его невесты, Лотты.

Он помогает ей по хозяйству, в огороде и в саду, вместе с ней собирает овощи, лущит горох. Перед поглощенным делами женихом у него то преимущество, что он всегда свободен, ничем не озабочен, не говоря уж о том, что как личность гениальный юноша имеет все преимущества перед усердным служакой Кестнером, которого и сравнивать-то с ним нелепо. Лотта, без сомнения, влюбилась в него, но, будучи здравомыслящей, положительной девушкой, держала свое чувство в узде, так же как и его переменчивую и отнюдь не молчаливую страсть она умела держать в узде и в границах разума. Правда, не всегда. Однажды, в малиннике, он осмелился поцеловать Лотту; она сильно разгневалась и не замедлила – не знаю, то ли покаяться, то ли пожаловаться своему нареченному. Так или иначе, решено было держать гостя поостроже, холоднее обращаться с ним, тем более что уже пошли пересуды об этой щекотливой ситуации. Кестнер был расстроен, но сердиться не мог. Лотта отчитала грешника, раз и навсегда заявила ему, чтобы он ничего, кроме дружбы, от нее не ожидал. Почему он был так пришиблен? Неужели он этого не знал? Неужели рассчитывал отбить невесту у добрейшего Ганса-Христиана и самому посвататься к ней, как уже поговаривали многие? Конечно нет, хотя бы из соображений порядочности и приличий, и не только из этих соображений, а еще и потому, что в его увлечении полностью отсутствовала кестнеровская положительность и целеустремленность, что это была любовь-однодневка, без планов на будущее, по существу – становление новой книги.

Нареченные скорбели о сумасбродстве и бессмысленных страданиях милого юноши и довольно своеобразно старались утешить его, подарив ему силуэт Лотты и один из розовых бантов с того платья, которое было на ней, когда он впервые увидел ее. Заметьте, – эти подарки Лотта делала не одна, а совместно с женихом, с Кестнером, и это было все равно что подаяние, которое принц принимает от очень скромных и славных людей. В начале осени Гете тайком уехал. Внезапно исчез. Четыре месяца длилась идиллия втроем. Впечатления, которыми она обогатила писателя и в которых безраздельная, мучительно самозабвенная искренность чувства все время, несомненно, переплеталась с процессом творчества, – эти впечатления пополнились встречей с

другой женщиной, во Франкфурте, куда он направился, – как ни странно, в его жизни нашлось для нее место сразу же после разлуки с Лоттой.

Это была Максимилиана Ла Рош из Эренбрейтштейна, необычайно красивая черноглазая молодая женщина, только что вышедшая замуж за вдового франкфуртского негодяя Петера Brentano и томившаяся в его мрачном доме, где пахло оливковым маслом и сырами. Гете подолгу просиживал у нее, дурачился с ее пятерыми пасынками, так же как с братьями и сестрами Лотты (он обожал детей, и дети всегда сразу же льнули к нему), вторил на виолончели фортепианной игре Макси, и надо полагать, этим дело не ограничилось. Недаром разъяренный негодяй Brentano ворвался однажды в комнату, началась бурная сцена, пришлось пережить, по словам самого Гете, «ужасные минуты», и дружба оборвалась. Но черными глазами вертеровская Лотта (у настоящей глаза были голубые) обязана госпоже Brentano.

Знакомство с нею немало способствовало пополнению фабулы романа. Еще большую роль сыграл случай самоубийства в кругу знакомых писателя. Секретарь брауншвейгского посольства Иерусалем, человек одаренный, меланхоличный и болезненно чувствительный, пустил себе пулю в лоб от неразделенной любви к чужой жене, а также от обиды за унижения, которые ему приходилось терпеть в свете. Этот случай наделал много шума. Гете он тоже искренне, по-человечески огорчил и тем не менее оказался для него как нельзя кстати, – смутно вырисовывающаяся вецларская драма приобрела реальное содержание; начался внутренний процесс отождествления с Иерусалемом, осуществившим то, о чем давно и много думал сам писатель, – образ был вполне подходящий, чтобы наделить его всей мировой скорбью и творческой тоской, всем величием и убожеством, всей слабостью, неудовлетворенностью, всеми страстными порывами эпохи и собственного сердца; теперь в этом увлекательном замысле нерешенной оставалась только форма.

Первоначально она мыслилась как драматическая, но из этого ничего не выходило. Ее вытеснила другая, соединявшая в себе элементы драмы, лирики и повествования: форма эпистолярного романа, традиция которого была создана Ричардсоном и Руссо. Молодой писатель уединился от общества и в месяц запечатлел на бумаге «Страдания Вертера», – такая быстрота была бы еще поразительнее, если бы не множество писем и дневниковых записей, сделанных им в вецларскую пору и почти без изменений, даже с теми же датами перенесенных в роман.

Это было чудо искусства, – такого сочетания непосредственности и не по летам зрелого мастерства не встретишь, пожалуй, больше нигде. В книге говорится о юности и гениальности, и сама она – порождение юного гения. Я пишу для людей, которые читали эту удивительную книжку и, без сомнения, знакомы с основательнейшим научным комментарием к ней. Мне остается разве что подчеркнуть или напомнить прекрасные и тонкие детали произведения, которые я, перечитывая его, отметил для себя.

Несколько слов о герое и авторе писем, о юном Вертере. Это сам Гете, без того творческого дара, каким оделила его природа. Чтобы изобразить человека, обреченного смерти, слишком хорошего или слишком слабого для жизни, писателю достаточно показать самого себя, исключив творческий дар, который служит ему опорой и поддержкой, манит продолжать жизненный путь и – повторим определение, данное нами Гете, – делает его жизнелюбивым. Гете не покончил с собой, потому что ему надо было написать «Вертера»... и многое другое. У Вертера же нет иного назначения на земле, кроме страданий от жизни, печальной способности сознавать свои недостатки и гамлетовского омерзения к познанной действительности, которое душит его; поэтому гибель Вертера неизбежна. И «роман» его – нелепая и недозволенная любовь к девушке, принадлежащей другому, – только маска, которой прикрывается его влечение к смерти,

более или менее случайная форма предрешенного конца. Лотта очень тонко и верно определяет положение, как ни льстит ей страсть этого незаурядного и даже в слабости своей необычайно привлекательного юноши, как ни велико искушение, ставящее под угрозу ее благоразумие и добродетель. «Разве вы не чувствуете, что сами себя обманываете и умышленно ведете к гибели? – спрашивает она его. – На что вам я, Вертер, именно я, собственность другого? На что вам это? Ох, боюсь, не потому ли так сильно ваше желание, что я для вас недоступна». Горькая насмешка, которой он отвечает на ее слова, показывает, как больно они его задели. И эта обида очень верно подмечена. Ибо психолог-пессимист, который упивается безнадежно мрачным созерцанием глупого человеческого сердца, бывает крайне недоволен, когда психология обращается на него самого.

Я вовсе не хочу сказать, что Вертер щадит себя. Он – самоистязатель, мастер беспощадной интроспекции, самонаблюдения, самоанализа – до предела утонченный продукт христианско-пиетистской духовной культуры и созерцательного изучения душевных глубин. Лессингу, человеку иного духовного склада, не понравился этот образ; он усмотрел в нем повод к отрицанию чуть ли не всей современной христианской культуры, если она способна порождать подобных индивидов. Разве римский или греческий юноша так и по этой причине – по причине несчастной любви – лишил бы себя жизни? – спрашивает он. Это еще куда ни шло. Но никак нельзя согласиться с тем, что утонченная изнеженность, приводящая в своих крайних проявлениях к вырождению, перечеркивает всю христианскую культуру. Нет, христианство явилось таким огромным шагом вперед на пути к совершенствованию человеческой совести, что ради него стоило так страдать и умирать, как об этом, на основе глубоко личных переживаний, с проникновенной последовательностью рассказывает Гете в своем юношеском произведении.

Этот маленький роман – образец строгой логичности, образец умно, изящно и точно, без единого пробела составленной мозаики мельчайших душевных движений, психологических оттенков и характерных черточек, которые в целом дают картину любви и смерти. Мало того, по воле писателя смертная слабость героя воспринимается как избыточная сила. Вертер и в самом деле похож на тех благородных коней, о которых упоминается в книге и которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы было легче дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят. «Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу», – говорит он. Вечную свободу. Вертер, как и Фауст, рвется из ограниченного и относительного в бесконечное и абсолютное. Прочитайте, что пишет Вертер о пространственной дали и будущем, о неумной тяге за положенный ему предел в пространство и будущее – и он встанет перед вами во весь рост. Есть еще одна, третья область экспансии – область чувства, но и здесь он с отчаянием и презрением к себе убеждается в ограниченности, в несовершенстве человеческой природы. «Чего стоит человек, этот хваленый полубог! Именно там, где силы всего нужнее ему, они ему изменяют. И если он окрылен восторгом или погружен в скорбь, что-то останавливает его и возвращает к трезвому, холодному сознанию именно в тот миг, когда он мечтал раствориться с бесконечности». Жизнь, личность, индивидуальность – для него узилище, он сам употребляет это слово при виде разбушевавшейся природы, с которой жаждет слиться. «Я без раздумья отдал бы свое бытие, – восклицает он, – за то, чтобы вместе с ветром разгонять тучи, обуздывать водные потоки! О, неужто узнику когда-нибудь выпадет в удел это блаженство?» Этот эмоциональный пантеизм мы найдем впоследствии в волюнтаристической философии Шопенгауэра.

Высшей и самой действенной формой душевной экспансии является любовь, – Вертер ищет ее, с самого начала он готов к ней, а инстинкт смерти приводит его к безнадежной, губительной любви. В его натуре было что-то, внушающее доверие всем, в особенности же простым людям и детям, и потому с ним разоткровенничался один крестьянский парень,

страстно влюбленный в свою хозяйку-вдову; ей несладко жилось в браке, и она не хочет вторично выходить замуж. Самозабвенная любовь юноши глубоко поразила Вертера. С первой же минуты зависть закралась в его пустующее сердце. Он говорит в письме к другу. «В жизни своей не видел я, да и вообще не воображал себе неотступного желания, пламенного, страстного влечения в такой нетронутой чистоте. Не сердись, если я признаюсь тебе, что воспоминание о такой искренности и непосредственности чувств потрясает меня до глубины души, и образ этой верной и нежной любви повсюду преследует меня, и сам я словно воспламенен ею, томлюсь и горю». Он уже во власти любви, хотя ему еще не на кого обратить эту любовь. В следующем письме он рассказывает о своей первой встрече с Лоттой.

И тут начинается настоящий, любовный роман, психологическое богатство которого вмещает все оттенки от идиллического, юмористического, пленительного до темных бездн духовного соблазна, но надо всем, даже в счастливейшие мгновения, с самого начала лежит тень смерти. Помните то место, где Вертер говорит о своих отношениях с женихом, с Альбертом, и высказывает догадку, что если Альберт к нему доброжелателен, то скорее под влиянием Лотты, чем по собственному почину? На это женщины мастерицы: ведь им же выгоднее, чтобы два вздыхателя ладили между собой; только это редко случается. Вот что я имею в виду, когда говорю о юмористических штрихах. В ту пору Вертер еще способен мыслить свободно и, как ни опутан он страстью, способен насмешливо разоблачать дипломатические уловки «женщин как таковых». Но тому же Альберту, которого он не может считать достойным Лотты, он впоследствии будет желать смерти, сперва в виде предположения, «что, если бы Альберт умер?», а в конце концов эта мысль приведет его к «безднам», от которых он отступит с содроганием, и хотя он не назовет их, однако имя им – убийство.

Не только ненависть, но и любовь приводит его к безднам. Участь крестьянского парня, страдающего от несчастной любви, зловещей тенью следует по пятам за его участью и вселяет в его чистую, рыцарски благородную душу соблазн насилия. Работника прогнали со двора за то, что в порыве безнадежной страсти он попытался силой овладеть любимой женщиной, – безумство, в котором отчасти повинна и она; сознательно или бессознательно она поддерживала его чувство, наполовину уступая и разрешая ему кое-какие вольности. А Лотта? Разве и она не вела себя точно так же? В книге есть вопиющая по своей опасной идилличности сценка, из которой явствует, как с помощью прикрытого маской невинности кокетства эта добродетельная девушка разжигала страсть Вертера: я говорю о сцене с канарейкой, когда Лотта у него на глазах подставляет птичке губы для поцелуя и тут же посылает ее поцеловать Вертера, а потом с улыбкой кормит ее крошками изо рта. Вертер отворачивается. Ей не следовало это делать, думает он, и так же, разумеется, думаем и мы, – ведь она достаточно умна, чтобы понимать, на какой опасной грани находится Вертер, и достаточно добра, чтобы бояться за него. Допустим, она его любит, – тогда она тем более должна щадить его. Но именно любовь, которую она, оставаясь верна слову, данному Альберту, питает к нему, к Вертеру, именно любовь и наталкивает ее на те «вольности», какими вдова-крестьянка довела своего работника до исступления. Что Лотта любит Вертера, можно догадаться по тем разоблачающим психологическим штрихам, на которых построено все повествование, до смешного предательское по тонкости анализа бессознательных побуждений. Лотта чувствует, как тяжело будет ей расстаться с Вертером. Ей хотелось бы считать его братом или женить на одной из своих подруг и тем самым наладить безупречные отношения между ним и добрейшим Альбертом. Но, перебирая мысленно всех подруг, она в каждой видит какой-нибудь недостаток, – ни одной не находит достойной своего друга. Молодой автор добавляет: за этими размышлениями Лотта «до глубины души» почувствовала, «если не осознала вполне», что ее затаенное желание – сохранить Вертера для себя. В «Избирательном сродстве» он уже так прямо не высказал бы этого, – хотя подобные места в «Вертере» по своей психологической проникновенности близки к этому роману.

Я не поддамся искушению выделить из великого множества тонких оттенков все, что стоит особо отметить. Поражает своей смелостью эпизод с безумцем, который ищет цветов зимой и вспоминает о счастливых, привольных временах, когда ему жилось весело и легко, как рыбе в воде, подразумевая те времена, когда он был буйным и сидел в сумасшедшем доме. Здесь явно выражена зависть к блаженному состоянию безумия, – пожалуй, самый резкий психологический ход во всей книге.

Большое место в романе занимает мысль о самоубийстве, которая у самого писателя стала чуть ли не навязчивой идеей в вертеровский период. Вертер теоретически оправдывает этот шаг с самого начала, задолго до того, как примет решение осуществить его. Он не хочет признать самоубийство слабостью и доказывает, что именно в этом человеческая гордость и свободная воля торжествуют над обессиливающим воздействием страданий. «Разве недуг, истощая все силы, не отнимает и мужества избавиться от них?» – спрашивает он. Честолюбивое стремление быть выше этой дилеммы, доказать самому себе, что никакие страдания не отнимут у него мужества избавиться от них, становится у Вертера одним из сильнейших импульсов к самоубийству, и здесь мы особенно ясно видим, как, абстрагируя в творческих целях те мысли, которые грозили смертью ему самому, молодой писатель свободно пользуется ими в качестве вспомогательных пояснительных психологических средств и таким образом сам спасается от опасного наваждения.

Нельзя упускать из виду и социальный план, – Гете вводит его в книгу, чтобы всесторонне осветить причины отворачивания Вертера к жизни; его чувствительный герой становится жертвой классовых предрассудков, когда берет место при посольстве, чтобы бежать от близости Лотты. Столкновение с чванливой знатью, в среде которой у него, впрочем, есть доброжелательница, фрейлейн фон Б. – девица, коей под влиянием идей, навеянных Руссо, «высокое положение только в тягость, ибо оно не дает ей душевного удовлетворения», это унижительное, вызывающее у героя бурный протест столкновение с ненавистным классом настолько характерно для исторической позиции и революционной направленности «Вертера», что даже в самом беглом разборе его нельзя обойти молчанием. Недаром эта линия не понравилась Наполеону. «Зачем вам это понадобилось?» – спросил он Гете во время эрфуртской аудиенции, и Гете как будто не очень рьяно защищал тот социальный протест, который привнес в чисто любовную человеческую трагедию. Зато его бурной юности были сродни такие настроения. Вспомним прозаическую сцену в «Фаусте», где злополучный соблазнитель Гретхен негодует на жестокость общества, жертвой которого пала несчастная девушка. Для представления в Веймаре министр Гете вычеркнул эту бунтарскую сцену; возможно, что, превратившись в консервативного олимпийца, он стеснялся того эпизода в романе, где подспудное, ограниченное духовным и личным планом революционное начало любовной истории вдруг прорывается наружу в социальном плане. Однако и без этого заострения «Страдания Вертера» безусловно надо отнести к тем книгам, которые предрекли и подготовили французскую революцию.

Гете, конечно, понимал это и не переставал этим гордиться. В старости он ужасаясь и вместе с тем любовно вспоминает о «Вертере». «После того, как он вышел, я перечитывал его всего раз, – говорит он в 1824 году, – и остерегаюсь когда-нибудь еще прочесть его. Ведь там что ни слово, то зажигательная ракета! Мне становится не по себе, и я боюсь вновь впасть в то патологическое состояние, которое породило эту книгу».

Перечитывал он Вертера за восемь лет до того, в 1816 году. В тот же год, по странному совпадению, у шестидесятисемилетнего Гете произошла примечательная – во всяком случае, примечательная с нашей точки зрения – встреча, уже не с книгой, а с живым человеком. Пожилая дама, всего на четыре года моложе его, приехала погостить в

Веймар к одной из своих замужних сестер и решила повидаться с Гете. Это была Шарлотта Кестнер, урожденная Буфф, Лотта из Вецлара, вертеровская Лотта. Они не встречались сорок четыре года. Она и ее муж в свое время немало пострадали от того, что в «Вертере» так откровенно были преданы гласности их семейные обстоятельства. Но при существующем положении вещей старушка склонна была скорее гордиться тем, что послужила прообразом героини юношеского романа, написанного человеком, который стал такой знаменитостью. Ее появление в Веймаре произвело сенсацию, отнюдь не приятную маститому старцу. Его превосходительство пригласил госпожу надворную советницу к обеду и держал себя чопорно и церемонно, что явствует из ее письма к сыну, где она сообщает о состоявшемся свидании. Это письмо – трагикомический историко-литературный и человеческий документ. «Я познакомилась со стариком, – пишет она, – в котором, не знаю я, что он Гете, нашла бы весьма мало приятного; впрочем, даже и зная это, я не изменила своего мнения».

По-моему, на основе этого анекдота стоило бы написать назидательный рассказ, а то и роман, в котором можно было бы поговорить о подлинном чувстве и писательском вымысле, о гордыне и старческом маразме, а главное – дать углубленную характеристику Гете и гения вообще. Быть может, найдется писатель, который возьмет на себя такую задачу.

Перевод Н.Касаткиной

Примечания

Глава первая

С. 21. Святая Германдада (от исп. hermandad – братство) – здесь ироническое обозначение полиции. Св. Германдада – союз городов и крестьянских общин Испании, основанный в 1476 г. испанским абсолютизмом для борьбы с феодальной знатью; с 1498 г. Святая Германдада стала выполнять функции сельской полиции, в 1835 г. заменена жандармерией.

С. 23. Немецкий орденский дом – один из управительских домов Тевтонского ордена. Амтманом, то есть управляющим экономией Немецкого орденского дома в г.Вецларе, в 70-х гг. XVIII в. был отец Шарлотты Буфф.

С. 28. ...человек, который написал «Ринальдо». – Христиан Август Вульпиус (1762-1827), брат жены Гете, Христины; романист и драматург, автор популярного разбойничьего романа «Ринальдо Ринальдини».

С. 29. «Мы свидимся, найдем друг друга...» – «Страдания молодого Вертера», книга первая, запись в дневнике Вертера от 10 сентября.

С. 31. ...фея фольпертгаузенских балов. – Вольпертгаузен – предместье в г.Вецларе, где Гете впервые встретился на балу с Шарлоттой Буфф 9 июля 1772 г.

Глава вторая

С. 32. «А я, милая Лотта, счастлив...» – Из письма Гете к Шарлотте Буфф от 11 сентября 1772 г.

С. 35. «Я оставляю вас счастливыми...» – Из писем Гете к Шарлотте Буфф от 10 и 11 сентября 1772 г.

С. 37. «Песнь о Фингале» – одна из эпических поэм, изданных в 1762-1765 гг. в Эдинбурге шотландским поэтом Джемсом Макферсоном и приписанных им легендарному барду Шотландии III в. Оссиану. Фингал – герой кельтского народного эпоса, по преданию, живший в Ирландии в конце III в.

С. 40. Веллингтон, герцог Артур Уэсли (1769-1852) – английский полководец и реакционный государственный деятель. В битве при Ватерлоо (18 июня 1815 г.) командовал вооруженными силами антинаполеоновской коалиции.

Меттерних, князь Клеменс (1773-1859) – австрийский государственный деятель и дипломат, один из главных организаторов Венского конгресса и Священного Союза, вдохновитель феодально-абсолютистской реакции в Европе. Прозван «князем тьмы».

Талейран-Перигор, князь Шарль-Морис (1754-1838) – французский дипломат, один из крупнейших представителей буржуазной дипломатии в Европе начала XIX в. Руководил внешней политикой Франции при Директории, наполеоновской империи и в период Реставрации.

...Каслри, сэр Роберт Стюарт (1769-1822) – английский реакционный политический деятель, министр иностранных дел, боровшийся за установление гегемонии Англии в Европе.

Гарденберг, барон Карл-Август (1750-1822) – прусский канцлер, представлявший Пруссию на Венском конгрессе, вовлекавший ее в антинаполеоновскую коалицию европейских держав.

Варнгаген фон Энзе, Рахиль-Антония-Фредерика (1771-1833) – жена немецкого писателя, историка, дипломата, Карла-Августа Варнгагена фон Энзе (1785-1858). Хозяйка литературного салона, посещавшегося крупными деятелями немецкой культуры: Шлегелем, Гумбольдтом, Шеллингом, Фихте, Гуцковым, Гейне, Берне, Шамиссо, и сыгравшего значительную роль в литературной жизни Германии той эпохи.

Шеллинг Фридрих-Вильгельм-Иозеф (1775-1854) – один из выдающихся представителей классического немецкого идеализма. Натурфилософские воззрения Шеллинга оказали значительное влияние на немецких романтиков.

Блюхер фон Вальштадт, князь Гебхард-Леберехт (1742-1819) – прусский фельдмаршал, командовал прусскими войсками в битве при Ватерлоо.

С. 42. Виланд Кристоф-Мартин (1733-1813) – поэт и романист, деятель немецкого Просвещения. Главные его произведения – сатирический роман «Абдериты», фантастические поэмы «Музарион» и «Оберон». С 1772 г. – воспитатель герцога Карла-Августа в Веймаре, где позднее сблизился с Гете. В юные годы Гете вывел его в фарсе «Боги, герои и Виланд».

Гердер Иоганн-Готфрид (1744-1803) – немецкий мыслитель и историк искусства, идеолог движения «бури и натиска». Автор труда «Идеи к философии истории человечества»,

представляющего опыт создания всеобщей истории культуры. Оказал большое влияние на молодого Гете, с которым познакомился в Страсбурге в 1770 г.

Фальк Иоганн-Даниэль (1770-1826) – немецкий писатель-сатирик из веймарского кружка Гете, издатель «Карманного календаря для друзей шутки и сатиры» (1797-1806). Автор книги «Гете в ближайшем личном общении».

...вдова Шиллера – урожденная Шарлотта фон Ленгефельд.

Мадам Шопенгауэр Иоганна-Генриетта, урожденная Трозингер (1770-1838) – мать философа Артура Шопенгауэра, писательница-романистка, близкий друг Гете.

Ягеманн фон Гейгендорф Каролина (1780-1847) – певица и драматическая актриса, примадонна Веймарского придворного театра, фаворитка герцога Карла-Августа.

...великая княгиня, супруга наследного принца. – Сестра русского императора Александра I, Мария Павловна, была замужем за наследным герцогом, позднее великим герцогом Карлом-Фридрихом Саксен-Веймарским.

Шарлотта фон Штейн, урожденная фон Шардт (1742-1827) – подруга юности и зрелых лет Гете, гофмейстерина герцогини Анны-Амалии Веймарской. Послужила прообразом Ифигении в гетевской драме «Ифигения в Тавриде».

С. 43. Ример Фридрих-Вильгельм (1774-1845) – один из ближайших сотрудников Гете, ученый-филолог, автор «Греко-немецкого словаря» (1804). В 1803-1812 гг. жил в семье Гете как воспитатель его сына Августа, а также секретарь и доверенное лицо самого поэта.

### Глава третья

С. 52. Вольф из Галле Фридрих-Август (1759-1824) – немецкий ученый-филолог, известный своими исследованиями и переводами классиков античности.

С. 54. ...прусского посла, господина фон Гумбольдта. – Гумбольдт Фридрих-Вильгельм (1767-1835) – видный немецкий ученый-лингвист, один из основоположников сравнительно-исторического языкознания. Прусский дипломат и государственный деятель. В годы, о которых идет речь, был прусским резидентом при папском дворе в Ватикане.

С. 57. ...его сыну, Августу. – Юлий-Август-Вальтер фон Гете (род. в 1789 г. в Веймаре, ум. в 1830 г. в Риме).

...мамзель Вульпиус. – Вульпиус Иоганна-Христина-София (1765-1816) – жена Гете с 1788 г., мать его сына Августа; в 1806 г. сочеталась с ним церковным браком.

С. 59. Борн Иоганн-Генрих – товарищ Гете по Лейпцигскому университету, впоследствии встретившийся с ним в имперском суде в Вецларе, где Гете практиковал в 1772 г.

Иерузалем Карл-Вильгельм (1747-1772) – секретарь брауншвейгского посольства, застрелившийся от несчастной любви к жене своего друга, фрау Герт. История самоубийства Иерузалема, рассказанная Гете его другом Кестнером, широко использована в романе «Вертер».



С. 62. Мейер Иоганн-Генрих (1759-1832) – один из ближайших друзей Гете в веймарский период; историк искусства, автор «Истории пластических искусств у греков», посредственный живописец-классицист; с 1807 г. – директор Академии художеств в Веймаре и ближайший сотрудник Гете по изданию журнала «Пропилеи».

Цельтер Карл-Фридрих (1758-1832) – друг Гете, дирижер и музыкальный педагог, учитель Ф.Мендельсона и Дж.Мейербера, директор Берлинской консерватории и певческой академии. Переложил на музыку ряд стихотворений Гете и Шиллера.

С. 63. ..."в толк не возьму, что он находит в нем» – слова Гретхен о Мефистофеле в сцене «Сад Марты» («Фауст», часть первая).

С. 65. Мерк Иоганн-Генрих (1741-1781) – друг юности Гете и Гердера, литературный критик, переводчик и беллетрист. Цинический ум и «великий отрицатель» (Гете), многие черты которого автор «Фауста» присвоил Мефистофелю.

Клаудиус Маттиас (1743-1815) – немецкий поэт-лирик, одним из первых обратившийся к фольклору.

Гельти Людвиг-Кристоф-Генрих (1748-1776) – поэт из школы «бури и натиска». Один из первых ввел в немецкую литературу XVIII в. жанр баллады.

Маттисон Фридрих (1761-1831) – немецкий поэт-лирик, мастер элегии и поэтического ландшафта.

Вандсбекерова «Луна на небе встала» – застольная песня Маттиаса Клаудиуса. Вандсбекер – псевдоним поэта, выбранный по названию газеты «Вандсбекский вестник», издававшейся им в 1770-1775 гг.

С. 66. ..."Боги! Я дивлюсь, как человек..." – слова Кассия из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (акт первый, сцена вторая).

С. 67. «Пролог на театре» (1797-1798) – к «Фаусту», написанный в подражание высоко ценившейся Гете драме индийского классика Калидасы «Сакунтала».

«Она сосет...» – начальная строфа стихотворения Гете «Притча» (1810).

С. 69. ..."благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу». – Библия, «Первая книга Моисеева», глава 49.

С. 70. ...того неустрашимого дурачка... путившегося на поиски страха.

– Имеется в виду немецкая народная сказка в обработке братьев Гримм – «Сказка о том, кто ходил страху научиться».

С. 74. «...не налипло, а вплетено в ткань». – Из письма Гете к Кестнеру от 21 сентября 1774 г.

Сознание, что твое имя... – Там же, цитировано неточно.

...однажды он написал, что хотел бы крестить их всех. – Намек на письмо Гете к Шарлотте Буфф в конце марта 1773 г.

С. 75. «Тысячи, тысячи поцелуев...» – «Страдания молодого Вертера», книга вторая, предсмертное письмо Вертера.

С. 76. Эрфурт и свидание с Наполеоном. – Встреча Гете с Наполеоном состоялась во время Эрфуртского конгресса 2 октября 1808 г.

С. 81. ...о Геце фон Берлихингене, рыцаре с железной рукой. – Гец фон Берлихинген (Готфрид) (1480-1562) – герой одноименной драмы Гете, рыцарь, участник Крестьянской войны в Германии 1525 г. Прозвище свое получил потому, что в войне Пфальца с Баварией потерял руку и заменил ее искусственной, сделанной из железа.

...приятели из трактира «Кронпринц»... дали ему прозвище «Гец прямодушный». – Имеется в виду дружеский кружок «рыцарей Круглого стола», основанный в 1772 г. секретарем брауншвейгского посольства, Августом-Фридрихом Гуэ.

«Франкфуртский ученый вестник» – литературный орган движения «бури и натиска». Основан в 1772 г. во Франкфурте-на-Майне Георгом Шлоссером совместно с Генрихом Мерком. Гете был постоянным сотрудником этого журнала.

С. 85. Фамулус (лат.) – в средние века ассистент, ученый служитель при профессоре или лаборатории.

...с древним, прелестным образом отрока. – Намек на греческий миф о прекрасном юноше Нарциссе, влюбившемся в свое собственное отражение в ручье и покончившем самоубийством.

В ней много от знатного вельможи... – Намек на сцену из драмы Гете «Эгмонт» – «Жилище Клерхен» (действие третье, явление второе).

С. 87. ...ее черные глаза идут от Максимилианы Ларош. – Де Ларош Максимилиана (1756-1793) – дочь писательницы Софи де Ларош, подруги Виланда. Максимилиана и ее муж, богатый коммерсант Петер Brentано (наряду с Шарлоттой Буфф и Иоганном-Христианом Кестнером), послужили прообразами персонажей «Вертера».

#### Глава четвертая

С. 96. Эйнзидель – малоодаренный поэт и музыкант; паж, позднее камергер герцогини Анны-Амалии Веймарской.

Кнебель Карл-Людвиг фон (1744-1834) – друг Гете, поэт, переводчик Лукреция и Проперция, воспитатель брата герцога, принца Константина Веймарского.

Бертух Фридрих-Юстин (1747-1822) – немецкий писатель и журналист, переводчик Сервантеса. Издавал «Иенскую всеобщую литературную газету», где сотрудничали Гете, Шиллер, Фихте, Гумбольдт и братья Шлегели.

Теренций Публий (около 185-159 гг. до н.э.) – римский комедиограф, внесший в комедию элемент плебейской сатиры и фарса.

Гримм Якоб (1785-1863) – выдающийся немецкий ученый, филолог и историк культуры, член Прусской академии наук, автор ряда трудов по лингвистике, истории права, средневековой литературе и фольклору. Основная языковедческая работа Гримма

«Немецкая грамматика» – первое сравнительно-историческое исследование германских языков, оказавшее влияние на последующее развитие языкознания.

Пюклер, князь Пюклер-Мускау, Герман-Людвиг-Генрих (1785-1871) – немецкий писатель и общественный деятель. Известен также своими работами по садоводству, считавшимися классическими в этой области.

Братья Шлегели – теоретики немецкого романтизма, сформулировавшие основные принципы его эстетики. Август-Вильгельм (1767-1845) – историк литературы, переводчик Шекспира, Данте, Сервантеса, Боккаччо и поэтов Возрождения, Фридрих (1772-1829) – лингвист и философ, автор романа «Люцинда».

Савиньи Фридрих-Карл (1779-1861) – немецкий ученый, юрист, специалист по римскому праву, основатель реакционной исторической школы в правоведении.

С. 100. Корнелиус Петер (1783-1867) – немецкий исторический живописец из школы «назарейцев», впоследствии директор Академии художеств в Дюссельдорфе, Мюнхене и Берлине. Известен своими иллюстрациями к «Песне о Нибелунгах» и гетевскому «Фаусту».

Овербек Фридрих-Иоганн (1789-1869) – немецкий живописец, глава реакционно-романтической школы «назарейцев», немецких художников в Риме начала XIX в. Известен своими фресками и картинами на религиозно-библейские темы.

Фридрих Каспар-Давид (1774-1840) – художник-пейзажист, представитель раннего романтизма в немецкой живописи.

С. 101. Уланд Иоганн-Людвиг (1787-1862) – немецкий поэт-романтик и историк литературы, буржуазный политический деятель. В дни германской революции 1848 г. был членом франкфуртского парламента.

Гофман Эрнст-Теодор-Амадей (1776-1822) – крупный немецкий писатель-романтик, композитор и музыкальный критик.

## Глава пятая

С. 106. Пассов Франц (1786-1833) – немецкий филолог-эллинист, учитель Шопенгауэра, автор греческого словаря и историк греко-римской литературы.

С. 112. Ней, герцог Мишель (1769-1815) – один из ближайших сподвижников Наполеона, участник всех наполеоновских походов, пэр Франции и маршал империи. Во время «Ста дней», посланный Бурбонами против Наполеона, перешел с войском на его сторону. После вторичного разгрома Наполеона был расстрелян.

Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль (1757-1816), герцог Кастильоне – офицер революционной армии во времена французской революции 1789-1793 гг., участник итальянского похода Наполеона; в 1814 г. перешел на сторону Бурбонов.

Ланн Жан (1769-1809), герцог де Монтебелло – один из выдающихся полководцев наполеоновской армии. Участник египетской экспедиции и итальянского похода. Сыграл значительную роль в победе над австрийскими войсками во время битвы под Монтебелло. Смертельно ранен в сражении при Эслинге.

С. 114. Рейнский союз (1806-1813) – объединение ряда германских государств под протекторатом Наполеона, распавшееся после поражения наполеоновской Франции.

С. 116. ...свой апофеоз «Эпименид». – Имеется в виду драматическая поэма Гете «Пробуждение Эпименида» (1814). Эпименид – критский юноша, сын нимфы, по преданию, проспавший в пещере сорок лет и после своего чудесного пробуждения почитавшийся согражданами как любимец богов.

«Но я стыжусь часов покоя...» – «Пробуждение Эпименида» (действие второе, явление девятое).

С. 123. Вольцоген Каролина, урожденная Ленгефельд (1763-1847) – немецкая поэтесса, сестра жены Шиллера и его биограф, автор книги «Жизнь Шиллера» (1830).

С. 124. ...певцом «Лиры и меча». – Поэт и драматург Теодор Кернер (1791-1813), отправившийся добровольцем на войну против Наполеона и погибший на поле сражения. В сборнике его стихотворений «Лиры и меч», напечатанном посмертно в 1814 г., идеи борьбы за освобождение Германии от власти Наполеона сочетаются с защитой религии и монархии. Стихи из этого сборника были переложены на музыку немецким композитором Карлом-Мария Вебером.

Бюлов Фридрих-Вильгельм (1755-1816) – прусский генерал, брат реакционного военного историка Генриха-Дитриха Бюлова. Принимал участие в разгроме наполеоновских войск в 1813 г. в битвах под Маккерном, Лукнау и др. В сражении при Ватерлоо первым вышел во фланг Наполеону.

Клейст Фридрих-Генрих-Фердинанд-Эмиль (1762-1823) – прусский фельдмаршал. Своим участием в битвах при Кульме и Лаоне (1813-1814) решил исход сражений в пользу союзных войск.

Йорк фон Вартенбург Иоганн-Давид-Людвиг (1759-1830) – прусский фельдмаршал. После изгнания Наполеона из России самовольно присоединился к кутузовской армии. Содействовал разгрому наполеоновских войск в бою под Вартенбургом.

Тауенцин Богислав-Фридрих-Эммануэль (1760-1824) – прусский генерал, отличившийся в войне коалиции европейских держав против Наполеона (1813-1814).

С. 125. ...здесь держали двор два императора... да еще прусский кронпринц. – Император российский Александр I, император австрийский Франц I и кронпринц, впоследствии король прусский Фридрих-Вильгельм IV.

С. 126. ...Граф Коллоредо Иозеф-Мария (1735-1818), австрийский фельдмаршал.

...с крестом Почетного легиона в петлице. – Гете получил от Наполеона орден Почетного легиона во время Эрфуртского конгресса 14 октября 1808 г.

С. 128. ...Фихте... разгуливал, вооруженный до зубов. – Фихте Иоганн-Готлиб (1762-1814) – немецкий философ, субъективный идеалист, педагог и общественный деятель. В период наполеоновской оккупации был одним из идейных вождей немецкого национально-освободительного движения.

Шлейермахер Фридрих-Даниэль (1768-1834) – немецкий философ-идеалист, автор книги «Диалектика» и широко известных произведений, в которых сочетал религиозные идеи

протестантизма с учением Канта, Фихте и Шеллинга.

Иффланд Август-Вильгельм (1759-1814) – известный немецкий актер и драматург, автор «семейных пьес», в которых выводится попираемое дворянством третье сословие.

Коцебу Август-Фридрих-Фердинанд (1761-1819) – реакционный немецкий писатель, романист и драматург. С 1813 г. – тайный агент русского правительства в Германии. 23 марта 1819 г. был убит студентом Карлом Зандом.

С. 129. Клейст Генрих (1777-1811) – немецкий романтик, драматург и новеллист, участник войны против Наполеона. Наиболее значительные произведения – пьесы «Германова битва», «Принц Фридрих Гомбургский», «Кетхен из Гельбронна», «Пентесилея».

Ардт Эрнст-Мориц (1769-1860) – немецкий поэт и деятель революции 1848 г., депутат немецкого национального собрания. Патриотические песни и стихотворения Ардта пользовались большой популярностью во времена войны против Наполеона.

С. 136. Туснельда – жена Арминия, или Германа (17 г. до н.э. – 19 г. н.э.), вождя германского племени херусков, национального героя, освободившего Германию от римского владычества. Изображена в поэтической трилогии Клопштока «Герман». В кругу романтиков считалась идеалом немецкой женщины.

Гетева Доротея – героиня поэмы Гете «Герман и Доротея» (1797).

С. 138. Граф Эдлинг... женился на заезжей молдавской княжне Стурдза. – Эдлинг Альберт (1774-1841) – гофмаршал и театральный интендант в Веймаре. Стурдза Роксана Скарлатовна, в замужестве графиня Эдлинг (1786-1844) – сестра известного своим обскурантизмом русского дипломата и реакционного писателя А.С.Стурдза (1791-1854).

С. 141. «Фантастическое путешествие Пинто» – книга, вышедшая в Лиссабоне в 1816 г., описание странствований португальского путешественника Фердинанда-Мендеса Пинто (1509-1583), посетившего Абиссинию, Китай, Аравию, Индию, Японию и другие страны.

## Глава шестая

С. 152. ...нашу бедную герцогиню Амалию. – Имеется в виду вдовствующая герцогиня, мать Карла-Августа, Анна-Амалия Саксен-Веймарская.

«Давно ли смерть...» – монолог Эгмонта в тюрьме («Эгмонт», акт V, сцена 2).

С. 154. Клопшток Фридрих-Готлиб (1724-1803) – один из основоположников немецкой национальной поэзии XVIII в., реформатор немецкого стихосложения, порвавший с традицией классицизма, автор поэмы «Мессиада». Оказал значительное влияние на поэтов «бури и натиска».

Бюргер Готфрид-Август (1747-1794) – немецкий поэт, примкнувший к движению «бури и натиска», создатель немецкой баллады, внесший в поэзию фольклорные мотивы.

Штольберги, братья – немецкие писатели, граф Христиан (1748-1821) и граф Фридрих-Леопольд (1750-1819). Принадлежали к геттингенскому «Союзу рощи», примыкавшему к течению «бури и натиска». Оба были убежденными пиэтистами и поэтому осуждали «языческий» образ мыслей Гете.

С. 155. Николаи Христофор-Фридрих (1733-1811) – немецкий просветитель, издатель «Всеобщей немецкой библиотеки», литературный противник Гете и Шиллера. Выведен в «Фаусте» (часть первая, «Вальпургиева ночь») в образе Проктофантасмиста. Гете написал на него памфлет «Николаи на могиле Вертера».

«Ксении» (Буквально «подарки гостям») – собрание эпиграмм в дистихах, вылущенных в свет Гете и Шиллером (см. шиллеровский «Альманах муз» за 1797 г.) в ответ на нападки их литературных и идейно-философских противников. Название заимствовано у римского поэта-сатирика Марциала (XIII книга эпиграмм).

Профос – в XVIII – начале XIX в. человек, исполнявший в армии полицейские функции, на обязанности которого лежал надзор за арестантами и телесные наказания.

С. 156. Герцлиб Минна (1789-1805) – дочь чешского книготорговца, воспетая Гете в его сонетах; послужила прообразом Оттилии в романе «Избирательное сродство».

С. 157. Юнг Марианна (в замужестве фон Виллемер) – бывшая актриса, воспитанница и позднее жена франкфуртского банкира и литератора Виллемера, большого друга Гете. В «Западно-Восточном диване» выведена Гете в образе Зюлейки. Ей принадлежит несколько стихотворений, включенных Гете в этот сборник.

С. 159. ...был гостем министра фон Штейн. – Штейн, барон Генрих-Фридрих-Карл (1757-1831) – прусский государственный деятель, убежденный противник Наполеона. Провел ряд буржуазно-либеральных реформ, способствовавших развитию капитализма в Пруссии (ликвидация крепостничества, реорганизация армии, преобразование городского управления и т.п.).

...Кобленц, город господина Герреса и его «Рейнского Меркурия». – Геррес Якоб-Иозеф (1776-1848) – реакционный писатель и публицист, основал журнал «Рейнский Меркурий», пропагандировавший прусскую государственную систему.

С. 160. Лили Шенеман из Франкфурта. – Анна-Элизабета Шенеман, в замужестве фон Тюркгейм – невеста молодого Гете, дочь франкфуртского банкира. Воспета Гете под именем Белинды. Ей посвящены юношеские «пьесы с пеньем» Гете: «Эрвин и Эльмира» и «Клаудина де Вилла Белла», а также поэтическая сатира «Парк моей Лили» и ряд лирических стихотворений.

...бедная Фредерика из Зезенгейма. – Брион Фредерика-Элизабета (1752-1813) – дочь пастора Иоганна-Якоба Бриона, юношеская любовь Гете. Зезенгейм – село под Страсбургом, где Гете встретился с Фредерикой 13 октября 1771 г. Лирические стихи, посвященные Фредерике, знаменуют повторный пункт в творчестве Гете и в развитии немецкой поэзии: разрыв с традицией классицизма и обращение к народному творчеству.

С. 170. Вместе с первыми сценами «Фауста» лежали «Свадьба Гансвурста» и «Вечный Жид». – Имеются в виду фрагменты, хранившиеся в архиве Гете и опубликованные лишь посмертно. «Свадьба Гансвурста, или Ход мирских дел. Микрокосмическая драма» (1775) написана Гете на основе старого фарса Христиана Рейтера «Свадьба Арлекина» в духе средневекового народного театра с фольклорным героем Гансвурстом (Гансом Колбасой). «Вечный Жид» (начало 1774 г.) – незавершенная эпическая поэма, передающая по немецкому народному лубку XVI в. известную библейскую легенду об Агасфере.

С. 172. ...оболтусов из прусского тугендбунда. – Тугендбунд («Союз добродетели») – политическое общество, основанное в 1808 г. в Пруссии с целью подготовки борьбы против наполеоновской Франции. 31 декабря 1809 г. общество было запрещено, по требованию Наполеона, прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III и перешло на нелегальное положение.

Арним Людвиг-Иоахим или Ахим (1781-1831) – немецкий поэт и романист, глава реакционно-националистического Гейдельбергского кружка романтиков, сочетавшего националистические идеалы с католическим мистицизмом. Вместе со своим шурином Клеменсом Brentano (1778-1842) выпустил в свет сборник немецких народных песен «Волшебный рог мальчика». Составителями сборник был посвящен Гете.

С. 173. Фосс Иоганн-Генрих (1751-1826) – немецкий писатель и переводчик «Илиады» и «Одиссеи», а также классиков античности. Один из основателей «Союза рощи», автор идиллии в стихах «Луиза».

...я недолго любил Фосса-младшего. – Генрих Фосс – немецкий писатель, сын Иоганна-Генриха. Известен главным образом воспоминаниями о Гете и Шиллере.

С. 174. «Листок для отшельника» – газета, издававшаяся Ахимом фон Арнимом совместно с Якобом-Иозефом Герресом. Газета защищала прусский феодализм и вела борьбу с идеями французской революции и Просвещения.

## Глава седьмая

С. 180. Турки-Орбетто (Алессандро Веронезе, 1582-1648) – итальянский живописец, продолжатель традиций Возрождения. Известен своими картинами на мифологические и библейские сюжеты.

Дориньи Никола (1657-1746) – французский художник, рисовальщик и гравёр. Здесь речь идет об его серии гравюр с картонов Рафаэля «История Психеи».

С. 181. ...кантата в честь Дня Реформации – трехсотлетие со дня 31 октября 1517 г., когда Лютер выставил у портала Виттенбергского собора свои 95 тезисов, положившие начало борьбе за реформу церкви; кантата не была закончена поэтом.

«Пандора» (1800) – драматическая поэма Гете. В античной мифологии Пандора («Всеодаренная») – прекрасная женщина, созданная Гефестом и посланная на землю Зевсом с ящиком, где были заперты болезни и бедствия, чтобы наказать род человеческий.

...разыграл Аянта-биченосца. – Аянт, или Аякс, – один из героев «Илиады», воин, впавший в безумие под стенами Трои, когда доспехи погибшего Ахиллеса были присуждены не ему, а Одиссею.

С. 182. «Праздник святого Рохса» – статья Гете «Праздник святого Рохуса в Бингене», опубликованная в издававшемся им журнале «Искусство и древность».

С. 184. «Оры» – журнал, издававшийся Шиллером при активном участии Гете в 1774-1775 гг.

Трагелаф (греч.) – мифический зверь, полукозел-полуолень. Выражение заимствовано из

письма Гете к Шиллеру от 18 июня 1795 г.

Хирон неусыпный – в античной мифологии мудрый кентавр, получеловек-полуконь, врачеватель и воспитатель. Принимал участие в классической Вальпургиевой ночи («Фауст», часть вторая, акт II, сцена 3).

«Головы ваши хоть и кудрявы» и «Как же ты, пугало». – Хор пленных троянок с предводительницей Панталидой во главе в сцене «Местность перед дворцом Менелая в Спарте» («Фауст», часть вторая, акт III, сцена 1).

С. 185. Разве... я не заставил Фауста перевести библейское «слово» («смысл», «сила») через «деяние»? – Имеется в виду монолог Фауста в сцене «Рабочий кабинет Фауста» (часть первая).

«...пока я есть, я должен делать что-то» – слова Гомункула в сцене «Тесная готическая комната» («Фауст», часть вторая, акт II).

Гомункул – один из персонажей второй части «Фауста», крохотное, человекоподобное существо, созданное искусственно в лаборатории алхимика.

...как тот в Эрфурте... – Имеется в виду Наполеон. Встреча императора французов с Гете состоялась в Эрфурте в 1808 г.

...по поводу этой скандальной истории с «Изидой». – «Изида» – либеральная газета, издававшаяся в Веймаре в 1816 г. иенским профессором натурфилософии Лоренцом Океном, вызвала неудовольствие властей своим вольнодумством и нападками на личную жизнь герцога. Вскоре газета была запрещена, но продолжала выходить в Рудольфштадте до 1818 г.

С. 186. Пфафф Христиан-Генрих (1772-1852) – немецкий ученый, физик и химик, профессор Парижского университета, брат знаменитого математика Иоганна-Фридриха. Выступал противником естественнонаучных теорий Гете.

Евгения – героиня драмы «Побочная дочь», прообразом которой послужила авантюристка Стефания-Луиза Бурбон-Конти.

...и трещотка Сталь. – Известная французская писательница Анна-Луиза-Жермен Неккер, по мужу Сталь-Гольштейн (1766-1817), в конце 1803

– начале 1804 г. посетила Веймар, «германские Афины», и встречалась с Гете. Об этом рассказано в ее книге «О Германии».

...и Лудену «Немезиду». – После наполеоновских войн в 1813 г. Гете отказался сотрудничать в воинствующем патриотическом журнале Генриха Лудена «Немезида».

С. 188. ...предо мной обнаружилась межчелюстная кость. – Еще в 1784 г. Гете открыл, что *os intermaxillare* имеется у человека, так же как и у прочих животных. Кость эта называется в естествознании также «костью Гете».

Эрфуртский наместник – градоначальник Эрфурта, фон Дальберг.

Юношей я высмотрел, что башня на Страсбургском соборе должна была быть увенчана пятиконечной короной. – Имеется в виду статья Гете «О немецком зодчестве» (1778), в которой дается характеристика архитектуры Страсбургского собора.



С. 189. Прочитал ей «Семь спящих», «Танец мертвых»... – «Семь спящих» – стихотворение из «Западно-Восточного дивана» («Хульд-Намэ», «Книга Рая»), где рассказывается известная Гете по Корану легенда о семи эфесских юношах, живыми замурованных в пещере императором Децием и чудесно спасенных. «Танец мертвых» – романтическая баллада Гете.

С. 193. Окен Лоренц (1779-1851) – немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, идеалист пантеистического толка. Некоторые идеи Окена, а также его открытия в анатомии и эмбриологии сыграли положительную роль в истории естествознания.

С. 195. «Вечно струись, вода!» – песня кузнецов из драматической поэмы Гете «Пандора».

«Всем у этой переправы четверем стихиям слава!» – заключительная строфа классической Вальпургиевой ночи – гимн сирен, где прославляется гармоническое слияние стихий властью Эроса («Фауст», часть вторая, акт II, сцена 3, «Скалистые бухты у Эгейского моря»).

С. 196. ...в его фалесовой влажности. – Фалес (конец VII – начало VI в. до н.э.) – древнегреческий философ, родоначальник космогонической системы непунизма, признававший влагу праматерией мироздания.

Нептунов трезубец... – намек на триумф Галатеи в классической Вальпургиевой ночи. Галатея – прекраснейшая из дочерей морского бога Героя, здесь заступающая место Афродиты Анадиомены (Пеннорожденной).

...когда ты воспевал Эрвина и его собор. – Эрвин Штейнбахский (1240-1318) – зодчий Страсбургского собора. Построил лицевую часть фасада, который был закончен лишь в середине XIV в. его сыном Иоганном. Страсбургский собор – одно из наиболее замечательных зданий средневековой готики.

С. 197. ...в виде милого юноши из Кельна. – Буассере Сульпиций (1783-1854) – историк искусства и собиратель памятников старой германской живописи.

Ван-Дейк Антонис (1599-1641) – выдающийся фламандский художник-портретист, ученик Рубенса.

Дюрер Альбрехт (1471-1528) – величайший представитель культуры Возрождения в Германии, живописец, гравер и рисовальщик, автор трактатов по живописи, архитектуре и фортификации, друг и портретист немецких гуманистов

– Эразма Роттердамского, Пиркгеймера, Меланхтона.

...в Гейдельберге, у Буассере, в музее, тебе открылся новый мир. – Имеется в виду знаменитая картинная галерея братьев Буассере, Сульпиция и Мельхиора, собрание шедевров старинной германской живописи XIV-XVI вв. Впоследствии она была приобретена баварским королем Людвигом I и положила начало Мюнхенской пинакотеке, первыми директорами которой в 1927 г. были братья Буассере.

...он пришел... впрячь в свое дело... в свой план достройки Кельнского собора. – Речь идет о книге Буассере «Виды, планы и отдельные части Кельнского собора», где автор призывает к завершению постройки. Несмотря на охлаждение Гете к средневековому искусству, Буассере удалось заинтересовать поэта идеями и планами, изложенными в этой книге.

Блоксберг – гора Брокен, куда, по немецкому народному преданию, ведьмы и черти слетались на шабаш. Место действия первой Вальпургиевой ночи в «Фаусте».

Ауэрбахский погребок – излюбленное место сборищ лейпцигских студентов в годы пребывания там молодого Гете. По преданию, связано с немецкой народной легендой о чернокнижнике докторе Иоганне Фаусте. Здесь – место действия одной из сцен «Фауста» (часть первая, акт I, сцена 5).

Майер... разыгрывает Полония: it is back'd like a camel («Оно выглядит точь-в-точь, как верблюд»). – Реплика царедворца Полония из «Гамлета» (акт III, сцена 2). Здесь употреблено как определение соглашательства и беспринципности.

С. 198. «...троны, царства в разрушенье...» – Из стихотворения «Геджра» в «Моханни-Намэ» («Книга Певца»). В этом стихотворении Гете сравнивает «геджру», год бегства Магомета в Медину, считающийся началом магометанского исчисления, с своим собственным «бегством» из Европы на Восток и началом новой эпохи в его творчестве.

С. 199. ...о том из Шираза. – Гафиз родился в Ширазе и прожил там всю жизнь. Он не захотел покинуть родину, хотя его приглашали к своему двору правитель Багдада и делийский султан.

Тимур Средиземноморья – Наполеон. Гете посвятил ему одну из книг «Западно-Восточного дивана», «Тимур-Намэ».

...я восхищаюсь Палладием. – Палладио Андреа (ди Пьетро да Падова, 1508-1580) – итальянский зодчий позднего Возрождения, прославившийся своими постройками в Винченце и Венеции, где состоял архитектором Венецианской республики. Автор трактата «Четверокнижие зодчества».

...он слушал... о любовных вздыханиях Авроры по Гесперу. – Имеется в виду стихотворение «Летняя ночь» из «Саки-Намэ» («Книга Кравчего»), где рассказывается о любви зари, Авроры, к вечерней звезде, Гесперу, за которым она устремляется по небосводу, но достигнуть не может, так как его затмевает восходящее солнце.

С. 200. «Мои милые, мои рассерженные...» – Отрывочно и неточно цитированное письмо Гете Кестнерам (октябрь 1774). Последняя фраза взята из другого письма Гете – им же, от 21 ноября.

С. 204. ...широкая, твердая рука ремесленника, унаследованная от поколений бравых кузнецов и мясников. – Дед Гете с отцовской стороны, Фридрих-Георг (1657-1730), был портным, впоследствии трактирщиком; прадед, Ганс-Христиан, – кузнецом. С материнской стороны предки Гете носили фамилию Текстор, латинизированное Вебер (ткач), что также указывает на их происхождение из сословия ремесленников.

«Создает не сразу род...» – слова Ифигении из драмы Гете «Ифигения в Тавриде» (действие первое, явление первое).

...подмастерье из чужого города высватывает дочку мастера... – Дед поэта, Фридрих-Георг Гете, тогда еще портняжный подмастерье, в 1688 г. пришел из городка Артерн (в Тюрингии) во Франкфурт-на-Майне и женился на Анне-Элизабете, дочери портного Себастиана Лутца, вследствие чего сделался членом цеха портных и гражданином города Франкфурта.

С. 205. ...Корнелия-Фредерика-Христиана (1750-1777) – младшая сестра Гете. Здесь речь идет об ее браке с одним из друзей Гете, писателем Иоганном-Георгом Шлоссером (1739-1799).

...чудно красивая девочка, тихий, упрямый мальчик... – Родители Гете имели шестерых детей, из которых умерли трое. Гете помнил Иоганну-Марию (1756-1759) и Германа-Якоба (1752-1759).

Отец... имел брата... кончившего жизнь безумием. – Иоганн-Михаил Гете (ум. в 1733 г.).

...веселый франт, Текстор. – Имеется в виду дед Гете с материнской стороны Иоганн-Вольфганг Текстор (1696-1771), имперский советник вольного города Франкфурта.

С. 206. Зонненберг фон Франц-Антон-Иозеф-Игнац-Мария (1779-1805) – немецкий поэт из круга Клопштока. Творчество фон Зонненберга проникнуто апокалиптическими мотивами грядущей мировой катастрофы и гибели цивилизации.

...которого они окрестили кимвром. – Кимвры – германское племя, обитавшее в Ютландии и в конце II в. н.э. вместе с другими варварскими племенами двинувшееся на Рим. Здесь употреблено в смысле «варвар».

...стихотворение о Страшном суде. – Имеется в виду фантастическая картина гибели мироздания из поэмы фон Зонненберга «Донатоа», а также его эпос «Конец мира», написанный в подражание клопштоковской «Мессиаде».

«Бедный Генрих» – эпическая поэма одного из крупнейших средневековых немецких поэтов-миннезингеров Гартманна фон Ауэ (конец XII – начало XIII в.).

С. 209. ...Елена, святая Елена... – В сознании Гете сливаются воедино образ Елены Прекрасной, как одного из персонажей «Фауста», и мысль об острове св. Елены, где был заточен Наполеон с 15 октября 1815 г.

Эрнести Иоганн-Август (1707-1781) – немецкий ученый-филолог, прозванный немецким Цицероном, профессор риторики и богословия в Лейпциге, учитель Лессинга; его лекции посещал и Гете.

С. 210. Клапрот азиатский журнал. – Клапрот Генрих-Юлий (1783-1835) – известный немецкий ученый-ориенталист, путешественник и филолог. В 1802 г. издавал в Веймаре журнал «Asiatisches Magazin».

Руми Джелаледдин (1207-1272), по прозвищу Шейх – великий иранский и таджикский поэт, автор сборника притч и басен «Назидательные двустишия» и книги лирических стихов «Диван».

...светозарных пляд на небе Аравии. – Речь идет о семи прославленных «царях поэтов» арабо-иранского Востока – Фирдоуси, Энвери, Руми, Гафиз, Джами, Низами, Саади.

Гернгутеры – богемские братья, моравские братья – секта, основанная в Богемии в XV в. Петром Хмельчицким. Название «гернгутеры» происходит от поместья в Саксонии, Герренгут, где граф Николай-Людвиг Цинцендорф (1700-1760) восстановил эту секту.

С. 211. Гафиз Шамседдин Мохаммед (1300-1389) – величайший иранский и таджикский лирик XIV в.

...это фон Гаммер открыл его тебе. – Гаммер-Пушталъ Иозеф (1774-1856) – немецкий историк-востоковед и переводчик. Здесь имеются в виду гаммеровские переводы иранских поэтов, а также его «История словесности в Персии», с многими главами которой Гете ознакомился еще до их опубликования.

...смуглая Линдгеймерша – бабушка Гете с материнской стороны, Анна-Мargarита Линдгеймер, дочь прокурора имперской судебной палаты в г.Вецларе, доктора Корнелиуса Линдгеймера.

С. 215. Тимон Афинский – современник Сократа и Аристофана, разочаровавшийся в современном ему обществе и бежавший от людей в пустыню. Имя его стало нарицательным для определения мрачного человеконенавистничества.

С. 216. Капитан Ферлорен – адъютант и квартирмейстер принца Бернгарда Веймарского, состоявшего на русской службе в 1813 г.

С. 218. ...о робкой капле... – Стихотворение Гете «С небес скатясь, в ужасных вод пучину...» из «Матхаль-Намэ» («Книги Притч»).

...письмо Гуттена к Пиркгеймеру. – Ульрих фон Гуттен (1488-1523) – гуманист и политический деятель Реформации, идеолог немецкого дворянства, примыкавший к лютеровскому бюргерско-реформаторскому лагерю. Здесь имеется в виду послание к нюрнбергскому патрицию и гуманисту Виллибальду Пиркгеймеру (1470-1530), где Гуттен развертывает свою гуманистически-просветительскую программу.

С. 220. Торквемада законности. – Торквемада, Томас (1420-1498) – первый великий инквизитор Испании, основоположник инквизиционного кодекса и судебной процедуры.

С. 222. Мениппова сатира – по имени Мениппа Гадарского, древнегреческого поэта и философа-киника (III в. до н.э.). Ему подражал в своих «Менипповых сатирах» римский сатирический поэт Теренций Варрон. Выражение «Мениппова сатира» применяется к произведениям, отличающимся полемической остротой и написанным в духе сочного народного юмора.

Винкельман Иоганн-Иоахим (1717-1768) – немецкий историк античного искусства, автор «Истории искусства древности» (1764), одним из первых в Германии XVIII в. начал изучение и пропаганду эстетики и искусства античности.

С. 223. ...тема стихотворения... о супруге брамина. – Речь идет о гетевской поэме «Пария». Сюжет поэмы заимствован из индийской народной легенды. Томас Манн использовал этот же сюжет в философской новелле «Обменные головы».

С. 224. «Путешествие в Ост-Индию и Китай». – Имеется в виду немецкий перевод книги французского путешественника Соннера, вышедший в Цюрихе в 1738 г., источник, откуда Гете почерпнул сюжеты «Парии» и «Бога и баядеры».

«Коль чиста рука певца...» – Из стихотворения «Песнь и изваянье» в «Мозанни-Намэ» («Книга Певца»).

«Век вздыматься – век склоняться» – строфа из поэмы «Пария».

С. 228. У меня есть план изящного маскарадного шествия. – Дальше Гете развивает во всех подробностях творческий замысел, который впоследствии нашел художественное воплощение во второй части «Фауста» (акт I, сцена 3 – «Маскарад»).

Антропос, Клото, Лахезис (греч.) – три Парки, богини судьбы, по верованиям древних сопровождавшие человека с колыбели до могилы. Клото, богиня рождения, вила нить человеческой жизни на прялке, Лахезис, богиня жизни, вращала веретено, Антропос, богиня смерти, перерезала ножницами нить.

Терсит (греч.) – один из персонажей «Илиады», ахейский воин, поднявший мятеж в войске и призывавший снять осаду Трои, за что и был убит Ахиллесом. У Гете выступает во второй части «Фауста» под именем Зоило-Терсит.

С. 231. Кирмс Франц (1750-1826) – веймарский советник, член театральной комиссии, сотрудничавший с Гете по управлению театром.

...горный советник Вернер из Фрейбурга. – Вернер Абрагам-Готлиб (1750-1817) – немецкий геолог, преподаватель минералогии и горного дела во Фрейбургской горной академии, основатель геогнозии (науки, занимающейся эмпирическим изучением памятников жизни земли); Вернер является также одним из основоположников теории нептунизма, получившей широкое распространение в конце XVIII – начале XIX в. и утверждавшей, будто все горные породы произошли путем осаждения из вод первичного океана.

## Глава восьмая

С. 240. Шретер Корона (1751-1802) – подруга Гете, известная немецкая певица, драматическая актриса и композитор, автор романсов. С 1778 г. выступала в Веймарском придворном театре и сделалась фавориткой Карла-Августа.

С. 241. «Альдобрандинская свадьба» – античная фреска (век Августа), найденная в 1606 г. в Риме, вблизи Санта-Мария Ладжоре. Названа по имени ее первого владельца, кардинала Альдобрандини. С 1818 г. находится в Ватикане.

С. 251. ...показать ей «Валленштейна» с Вольфом в заглавной роли. – Вольф Пий-Александр (1782-1828) – известный немецкий актер и драматург, ученик Гете. Одной из коронных ролей его репертуара была роль Макса Пикколомини в исторической трагедии Шиллера «Валленштейн», которая шла в Веймарском театре с большим успехом.

...старинном эгерском замке в Богемии. – Там был убит Валленштейн 25 февраля 1634 г.

С. 262. Урбино – герцог Франческо Мария делла Ровере, отвоевавший свои владения у папы Льва X и его племянника, Лоренцо Медичи. Отравлен папой Климентом VII в 1538 г.

## Глава девятая

С. 268. «Розамунда» – трагедия Теодора Кернера, изданная и поставленная уже после его смерти; как и все творчество Кернера, проникнута националистическими идеями.

С. 277. Бомарше Мария – героиня драмы Гете «Клавиго», сестра известного французского драматурга Пьера-Огюстена Карона де Бомарше (1752-1799). К Марии-Луизе Карон посватался испанский писатель, королевский архивариус Хосе Клавихо-и-Фахардо (1732-1799), но обманул ее, отказавшись от брака. Бомарше ездил в Испанию с тем,

чтобы защитить честь сестры, и впоследствии рассказал об этой поездке в своих «Мемуарах».

С. 278. ...бог мне дает поведать, как я стражду. – Слова Тассо из драмы Гете «Торквато Тассо» (действие первое, явление пятое).

Р. Миллер-Будницкая

## Примечания

1

Она хочет только взглянуть на вас, если позволите (англ.).

2

Весьма интересно, очень важно (англ.).

3

Хорошо, войдите (англ.).

4

Покорно вас благодарю (англ.).

5

О боже, боже! (англ.).

6

Но это не существенно (англ.).

7

Я Роза Гэзл и так рада видеть вас (англ.).

8

В немецкой литературе и философии (англ.).

9

Знаменитость, а это мой конек, цель моих путешествий (англ.).

10

В греческом стиле (фр.).

11

Этого прелестного уголка (англ.).

12

Старый (англ.).

13

Великий проповедник (англ.).

14

Человек, который написал «Разбойников» (англ.), то есть Шиллер.

15

Немецкая литература и философия (англ.).

16

Прошу прощения (англ.).

17

Я совсем готова! (англ.)

18

Я готова (англ.)

19

Манера выражаться (фр.).

20

На заметку (лат.).

21

То есть (лат.).

22

Между прочим (фр.).

23

О мертвых – ничего или только хорошее (лат.).

24

Наблюдение (фр.).

25

Новинки (фр.).



26

В частном порядке (лат.).

27

Навязчивая идея (фр.).

28

Во что бы то ни стало (фр.).

29

Вопреки воле короля (лат.).

30

В арсенале (фр.).

31

Поощренным высшим начальством, обязательным (фр.).

32

Волк в басне (лат.) – латинская поговорка, соответствующая русской «легок на помине».

33

После поражения (лат.).

34

Сын (лат.).

35

Благодушие (фр.).

36

Время – единственное, где скардность похвальна (фр.).

37

Характеристика, точка зрения (фр.).

38

Здесь в смысле – «войди» (ит.).

39

Нет ничего темнее цвета (лат.).

40

Целое море, которое нужно выпить (фр.).

41

Точь-в-точь верблюд («Гамлет»).

42

Быть готовым – это все! (англ.).

43

Парикмахеры (ит.).

44

Магометово славословие, восхваляющее бога (лат.) – намек на фрагмент Гете 1774 года «Магомет».

45

Устроитель празднеств, придворный алхимик (фр.).

46

Примерно: «Ты хитер, а я хитрее вдвое» (фр.).

47

Просто на смех (фр.).

48

Привет (лат.).

49

Отца семейства (лат.).

50

Отвращение к жизни (лат.).